ISSN 0012-6756

Дружба народов

6/2021

В номере:

Жизнь после конца света

Роман Марины КУДИМОВОЙ «Поля фильтрации», фрагмент которого мы публикуем, — роман о боли и путях ее преодоления — медицинских и психологических. О непроходящей исторической травме народа, славящегося своим терпением. Время в романе движется не линейно, с перебросами из XIX века в XX, удивляя совпадениями и аналогиями. «Мы вовсе не врачи — мы боль», — знаменитая крылатая фраза Герцена замыкается и на тех, кто считает боль врагом — русских врачей, хирургов и анестезиологов, методом проб и ошибок избавляющих пациентов от страданий, не приносящих блага, разрушающих личность. Но самая продвинутая медицина не может помочь справиться с памятью, главным источником боли душевной. Герои романа учатся жить с этим грузом, сбросить который получается далеко не всегда. Захватывающий сюжет, масштабность времени и пространства, драматические судьбы героев, самобытный язык автора дают ощущение большой русской прозы.

«Пойдешь — не вернешься…»

Так переводится название самого крупного острова Аральского моря — Барса-Кельмес. И это не только метафора. Повесть Алексея УСТИМЕНКО о послереволюционном Туркестане, о Ташкенте, где живет и работает главный герой — писатель и драматург Борис Лавренев, редактор «Туркестанской правды», который пытается найти свою правду «в стычке двух разноокрашенных сторон, в драке белых и красных».

Контур человека

«С великими я дружбы не водил,
Зато водил знакомство с мастерами», —

таким признанием открывается юбилейная подборка Юрия РЯШЕНЦЕВА, известного поэта, автора хитов ко многим фильмам и спектаклям.

И как бы подхватывая эстафету поколений, с дебютными в «Дружбе народов» подборками выходят к читателю новые авторы Ирина КОЛЕСНИКОВА, Анастасия ТРИФОНОВА и Роман СМИРНОВ — чтобы «пресловутый искать окоём».

Свобода требует веры в бога

Писатель Геннадий ПРАШКЕВИЧ и физик Алексей БУРОВ продолжают обсуждение «вечных вопросов». В эссе «О революции и вязальщицах. Два письма на одну тему» они разбирают актуальные для сегодняшнего дня проблемы — социальные революции, роль и участие в них «простого человека», а также понимание свободы современным либерализмом.

Вся эта история…

«Мы все сегодня пытаемся вычитывать из разных слоев истории, из разных исторических периодов — какой-то свой шифр, ключ к происходящему именно сейчас, на наших глазах…» Такой ключ к современности автор театральной рубрики «Правила игры» Борис МИНАЕВ пытается отыскать, анализируя два премьерных спектакля: «Брежнев против Бэтмена» в Театре на Малой Бронной и «Гроза прошла» в Театре имени Моссовета.

Дружба народов

6'2021

Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал

Основан в марте 1939 года

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов»
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12

E-mail: dn52@mail.ru,
Сайт журнала:
http://дружбанародов.com

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.

Редакционная коллегия

Главный редактор Сергей НАДЕЕВ

Ольга БРЕЙНИНГЕР

Ирина ДОРОНИНА

Ответственный секретарь Елена ЖИРНОВА

Первый заместитель главного редактора Наталья ИГРУНОВА

Галина КЛИМОВА

Владимир МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр СНЕГИРЁВ

Редакционный совет

Сухбат АФЛАТУНИ
Муса АХМАДОВ
Ольга БАЛЛА
Дмитрий БИРМАН
Денис ГУЦКО
Иван ДЗЮБА
Ольга ЛЕБЕДУШКИНА
Фарид НАГИМ
Илья ОДЕГОВ
Кнут СКУЕНИЕКС
Сергей ФИЛАТОВ
Ренат ХАРИС
Вячеслав ШАПОВАЛОВ
ЭЛЬЧИН

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaompk.рф тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

Редакция не имеет возможности рецензировать и возвращать рукописи.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию, указанную в выходных сведениях.

При перепечатке наших материалов ссылка на журнал «Дружба народов» обязательна.

Сдано в набор 20.04.2021.
Подписано в печать 26.05.2021.
Формат бумаги 70 x 108 $^{1}/_{16}$
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ 8356. Цена свободная.

16+

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Юрий РЯШЕНЦЕВ. В просодии родной. *Стихи* ***3***

Марина КУДИМОВА. Поля фильтрации. *Главы из романа* ***7***

Ирина КОЛЕСНИКОВА. Так начинаются слова. *Стихи* ***59***

Игорь КУЗНЕЦОВ. Отставший. *Повесть про себя* ***61***

Сергей ПОПОВ. Божий карандаш. *Стихи* ***126***

Алексей УСТИМЕНКО. Барса-Кельмес. *Повесть* ***129***

Микаел АБАДЖЯНЦ. Гвоздь. *Рассказ* ***168***

Роман СМИРНОВ. Может быть, мэй би, мабуть. *Стихи* ***178***

Андрей ЗАВТУР. Записки таёжного лекаря. *Отрывок из повести* ***180***

Джасур ИСХАКОВ. Ночь жёлтой луны. *Рассказ* ***194***

Эвелина АЗАЕВА. Полукровка. *Рассказ* ***204***

Арина ОБУХ. Свободный переулок. *Рассказы* ***208***

Марк МАРЧЕНКО. ...И пусть остальное добавят потомки. *Рассказ* ***215***

Анастасия ТРИФОНОВА. Контур человека. *Стихи* ***222***

ПУБЛИЦИСТИКА

Геннадий ПРАШКЕВИЧ, Алексей БУРОВ. О революции и вязальщицах.
Два письма на одну тему ***225***

СВЯЗКА РЕЦЕНЗИЙ

Александр ЧАНЦЕВ. Пьеро ди Козимо — собрат де Кирико:
дадаизм, импрессионизм и традиционализм ***238***

КНИЖНЫЙ РАЗВАЛ

Елена САФРОНОВА. Семейный вальс (*М.Москвина. «Вальсирующая»*) ***247***

Дмитрий АРТИС. Осадные орудия (*С.Золотарёв. «Линзы Шостаковича»*) ***251***

Дмитрий БАВИЛЬСКИЙ. Таня и Саша в трипе (*С.Сачкова «Люди и птицы»*) ***253***

Елена ЕЛАГИНА. А напоследок я скажу... (*В.Шпаков. «Пленники амальгамы»*) .. ***257***

Амаяк ТЕР-АБРАМЯНЦ. В поисках корней и истоков (*Ингрия — наша родина.../
Составление и предисловие Э.Панкратовой*) ***260***

ЛИТЕРАТУРНЫЙ БАРОМЕТР

Евгений АБДУЛЛАЕВ. «Резко сняли министра...» ***263***

ПРАВИЛА ИГРЫ

Борис МИНАЕВ. Способность вычитывать ***267***

НАША ВКЛЕЙКА

Кари АМИРХАНЯН. «Незамеченная красота» Асмик Аветисян

SUMMARY ***272***

© «Дружба народов», 2021

Юрий Ряшенцев

В просодии родной

* * *

С великими я дружбы не водил.
Зато водил знакомство с мастерами.
Никто из них меня не убедил,
что в сорок лет закат не за горами.
Я возражал, смеясь, не сгоряча,
хотя порой мне было не до смеха,
что и любительский полёт мяча
есть составная счастья и успеха,
и розыгрыш с друзьями озорной,
и горечь от жестокого свиданья —
они свои в просодии родной,
и для чего им наше оправданье?

Они кивали, думая при том:
для нашего труда пропал, бедняга...
Одним ли с ними занят я трудом —
я думал, от мейнстрима на три шага.
Кто прав из нас, и нынче не пойму.
Стою, молчу, понять былое силясь...
А мастера, уйдя по одному,
со мной все перед смертью согласились.

Ряшенцев Юрий Евгеньевич — поэт, переводчик, прозаик, эссеист. Окончил филфак МГПИ (1954). Печатается с 1955 г. в журнале «Юность», где с 1990 г. — член редколлегии. Автор многих книг стихов, в том числе «Високосный год» (М., 1983), «Дождливый четверг» (М., 1990), «Прощание с империей» (М.,2000), «Полное собрание сочинений» в пяти томах (Оренбург, 2015). Известен как автор текстов песен и хитов к спектаклям и фильмам: «Три мушкетёра», «Гардемарины, вперед!», «Забытая мелодия для флейты» и др. Переводил грузинских, армянских, украинских поэтов. Лауреат президентской премии имени Булата Окуджавы (2003), Международной премии имени М.Ю.Лермонтова и др. Живет в Москве.

Лисица

Лисица, живущая на бывшей даче Фадеева,
обегает участки живых писательских дач,
будто ищет приют для грядущих лисят, но нигде его
не находит и тихо скулит от сплошных неудач.

А жить в постоянном соседстве с людьми — это хлопотно.
Люди не обижают, смеются, придерживают собак.
Так жила бы и дальше, вниманием людским избалована,
но, увы, от людей сатанеешь, как от передряг.

И ведь надо бы лисят уберечь от дурного влияния
кошек, хищных назойливых птиц, человеческих ли малышей.
Материнская доля грядёт: терпеливость, внимание,
утепленье норы, эксклюзивная ловля мышей.

От машин недалёкого города на дорогах — пылища.
Ночью легче. Но беременной поиск даётся с трудом.
Да, пожалуй, здесь лучшего детям не сыщешь жилища,
чем забытый забитый случайными досками дом.

В дни минувшего века своей головой светло-серой
здешний барин кивал, одобряя чужие труды,
лисьей хитростью вкупе с простой бесконтрольною верой
обеспечив свой жизненный путь до законной беды.

Снова ищет лисица пейзаж для норы поуютней.
Успокойся, рожай — чем негожа родная нора?
Право, нет в этой местности места дичей и безлюдней,
чем бурьян да пеньки, да от сгнивших ступенек дыра.

На краю России

На исходе пурги,
похлебавши шурпу,
мы в четыре ноги
проложили тропу —
за ветлу, за сарай,
за овраг и — замри! —
потому что тут край
Оренбургской земли.

Там, слыхать, новый быт:
ни звезды, ни креста.
Там Европа глядит
сквозь верблюжьи места.
Там в овечью кошму
сон упрятан. И там
непонятно, кому
будет рад Нурсултан.

* * *

Бывало... Да всяко бывало. Что, не жили, будто в потёмках?
Не знал ни потомок о предках, ни предок не знал о потомках.

Неведенье людям давало искомую прочность с покоем,
а знанье — крушение судеб и порчу анкет. А на кой им?

Но время не медлит. Округой владеет инстинкт безусловный.
Над птичьим гнездовьем ворона вопит о своей родословной.

Да клён престарелый молчит, молчит одиноко и трезво — почти без ветвей, как оно,
моё родословное древо.

* * *

Шум листвы слышнее шума моря.
Что ж поделать — море далеко.
Наши планы — Господу умора.
До загробной встречи, Шалико!

Никакого нету тут макабра.
Рознь народов наших — просто бред...
Что до смерти, то она лукава:
то ли есть она, а то ли нет.

Вон тюльпан на дорогой могиле
чуть дрожит под тяжестью шмеля...
Сколько б мы с тобой ни хоронили,
разве же разлучница — земля?

Я смотрю, как весело летает
наш пустой гамак на свежаке.
Любопытно, кто там обитает
в этом сумасшедшем гамаке?

Говорят, у вас не стало лета.
Что ж ты смотришь, нищий, как кинто.
Вон чинара: в холод и — раздета.
Кто-то же раздел её. Но — кто?

* * *

Волга как Волга, не шире, не уже.
Небо над бором дегтярно.
Кто это в форточку дышит снаружи
медленно, нерегулярно?
Дуб, на прибрежном взойдя перегное,
взял передышку? Однако
эта луна — словно сердце больное
у августовского мрака.
И на простую оконную раму
с жёлтым раскачанным кругом,
как на опасную кардиограмму,
спутник мой смотрит с испугом.
А говорил, что, мол, ноги немеют,
что, мол, и жить неохота...
Гиблой непознанной прелестью веют
Вареговы болота.

* * *

Что за день, посмотри-ка в окно: ну и ну!
Там смятенье, там шторм, там волна на волну,
а над ними, о Господи, третья волна.
Но ведь море за тысячу вёрст от окна.
Это страсть, не припадок, не мелкий невроз —
эта ярость дубов и осин, и берёз.
Дышат бездной самой эти тёмные рвы
в проливной кутерьме разъярённой листвы.
И зелёные с бешенством катят валы.
И, похоже, колотит стволы о стволы.
И вверху электрический мощный заряд.
И воронье гнездо вдруг из куч — как снаряд.
Вот и явная жертва стихийного зла...
И, насытясь, стихия на убыль пошла.
Через час я пройду, всё дивясь, что живой,
под безмолвной — без волн и без молний — листвой.
Жёлтый лист на помятом блестит цветнике,
Словно крупный янтарь на прибрежном песке.

Марина Кудимова

Поля фильтрации

Главы из романа

Сальпетриер

I

Чуть нос высунешь во двор, сразу:

— Повитель! Повитель!

Как это клички прирастают к людям? И почему «повитель»? Наверно, из-за кучеряшек, которые выбивались из свежезаплетенных кос и разбегались по лбу и лицу.

У мамы на Юлины волосы терпения не хватало, и тогда она шлепала Юлю по голове «ежовой» щеткой с металлическими зубцами. Зубцы забавно было вынимать из резиновой подушечки и вставлять обратно. Когда мама застала Юлю за этим занятием, ор был нещадный:

— Остригу наголо!

Уж остригла бы, чем так мучить! Но ежеутренние пытки с выдиранием целых прядей не прерывались.

— Больно! Больно! — верещала Юля.

— Не больно! Не больно! — перекательно вопила мама.

Когда ее ссылали на Проспект Труда, начиналось раздолье. Тетя Ната плести косы вообще не умела, звала на помощь Михневых. Они приходили всей семьей — двойняшки Олька и Элька, Юлины ровесницы, старшие — Колька и Шурка, бабушка, которую никто иначе не звал, дочь бабушки и мать всех остальных — Евлалия Захаровна. Она чесала Юлю лучше всех, но после ночной смены долго спала, и Юля по три дня ходила нечесаная, чему только радовалась. Нет, лучше всех чесала бабушка, но она взяла — и умерла. С тех пор Юлю отправляли на Проспект Труда при каждом удобном случае, а с тех пор, как Юля пошла в школу, удобным случаем стали каникулы. Тетей Ната приходилась маме, а не Юле, но звать ее так выпало Юле. Муж Липов звал ее НАТО. А мама — Натулей, вот что странно.

Кудимова Марина Владимировна — поэт, переводчик, публицист, литературовед. Родилась в Тамбове, там же в 1973 году окончила пединститут. Печатается с 1969-го. Автор нескольких книг стихов. Лауреат ряда литературных премий. Живет в Переделкине.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2020, № 1.

У тети Наты Юле чем-то нравилось, чем-то нет. Она ужасно боялась Натиного мужа с нечеловеческим именем Никандр Никанорович. Евлалия Захаровна тоже не подарок, но тетя Ната окликала ее Лалей, и это действовало умиротворяюще. Муж в домашней обстановке, впрочем, звался Никой, что не мешало страху заполнять Юлин мочевой пузырь. Как только Ника свешивал к ней моржовые усы, Юля ощущала нестерпимый позыв к малой нужде, и пару раз опровостоволосилась в этом направлении.

— Фу, пискля, — сказал Никандр Никанорович, когда у Юли потекло по голым летним ногам. Хотя писком казус не сопровождался по причине онемения.

Он долго потом не подходил и не свешивался, что Юлю устраивало. Но писклю не забыл.

В маленький город, где торжествовал Проспект Труда, Юлю везли из большого, находившегося поблизости, на медленном поезде с твердыми ребристыми сиденьями. Поезд останавливался четыре раза и стоял дольше, чем ехал. На одной из остановок параллелил вагонам забор с колючей проволокой и вышкой с солдатом. Юля ему всякий раз махала — не забору, конечно, он не отвечал и не шевелился. Юля думала, что сюда переселили оловянного солдатика. Ее эта мысль радовала. Значит, он не расплавился в огне.

Никанор Никандрович — нет, наоборот, Никандр Никанорович ее специально не пугал. Но, свешиваясь, задавал коробящие вопросы:

— А что ты, любезная, думаешь о политике лейбористов?

Или:

— А не приходило ли тебе в голову, малютка, что узкие поля «Арифметики» Диофанта, на которых якобы не поместилось доказательство теоремы Ферма, лишь предлог, и на самом деле доказательства просто не существует?

Он никогда не сажал Юлю на колени, а дядиСерёжиных сыновей всегда сажал и подбрасывал. Она подходила и пыталась пристроиться, но моржовый Ника ее отгонял:

— Пискля-а, — тянул он брезгливо. — Отойди! Тут мальчишки играют.

Однажды она закапризничала от такого неравенства, тогда Никандронович раздул усы и произнес ужасную гадость, от которой она долго просыпалась ночами и плакала:

— Шебуршишка-пискля,
За спиной хвост трубой,
Язычок через плечо,
Рожки маленькие.

Последнее слово он противно и визгливо растянул: «маааааленькие». И Юле все снилась и снилась эта шебуршишка с рожками и язычком.

У Ники был ненастоящий сын Володя, который никогда не играл вместе с дядиСерёжиными Гешкой, Гошкой и Васькой. Иногда пытался присоединиться, но усы Никандра-Никанора начинали так шевелиться, словно собирались отделиться от губы и схватить Володю за палец. Гешка, Гошка и Васька Юлю от дворовых не защищали и обзывались «повителью» совместно с ними. А ненастоящий Володя защищал, кирпичами и палками кидался. Он был старший и походил немного на старичка, будто от Ники своего заразился. Учился в ремесленном, но хотел стать художником. Сам говорил. Его Никанордр нашел в детском доме и никуда от себя не отпускал.

— Сбеги от него! — как-то велела ему Юля.

— Много ты понимаешь! — сказал Володя загадочно и добавил: — Пискля!

Юля отпрянула и больше не подходила. Он ее предал повторенным чужим

словцом. Одевался Володя, как солдат на вышке, только черного цвета, и тетя Ната сравнивала его с реалистом. Что еще за реалист такой?

Дядя Серёжа был летчик гражданской авиации. Тут Юля обладала необходимым знанием. Авиация — это самолет. Ей думалось, потому «гражданская», что граждан переносит по воздуху с места на место. Она очень хотела бы попасть в самолет — хотя бы на земле, и когда дядя Серёжа выпивал, — а это каждый день, он обещал ее взять в кабину и посадить за штурвал. Штурвал Юля представляла. Это руль — такой же, как в дядиСерёжиной «Победе», только без бибикалки — бибикать в небе нельзя, да и некого предупреждать. Птиц, что ли? У дяди Серёжи тоже была форма, красивая, темно-синяя, но в отпуске она в коридоре висела на вешалке.

У тети Наты болели ноги, и она всегда сидела на кухне и стряпала. Не только на «ораву», как она прозывала летних родственников, но и на гостей Ник-Ника.

— Ника! Ника! — каждые полчаса взывала она из кухни. — Иди попробуй. Кажется, недосолено.

Юля время по часам еще не разбирала, но ей казалось, что «каждые полчаса» — достаточно часто. Никанодор выходил в полосатой текучей пижаме, немного шаркая, из комнаты, где он всегда занимался с Володей, — в ремесленном, по-видимому, задавали на дом больше, чем в школе. Тетя Ната дула в ложку, он наклонялся и с осторожным присосом пробовал.

— В меру, матушка, в меру, — говорил. — Недосол на столе, пересол на спине. Сальпетриер у твоих ног. Ты нам не мешай, мы с Володей занимаемся.

— Знаю я, чем вы занимаетесь! — вызывающе говорила тетя Ната.

Никанорд ее осаживал:

— Молчи, НАТО! — и ушаркивал в таинственную комнату, куда никому не разрешалось проникать.

Сальпетриером он по-чудному нарек городок, который носил имя героя гражданской войны. Вообще Ника был большим чудаком. У тети Наты руки до Юли не доходили, и она целый день околачивалась во дворе или у Михневых, в том же дворе, только за низенькой отдельной оградкой. Кормили ее и там, и там, а менять трусики и носочки она поневоле научилась сама, так что проблем не испытывала. Олька и Элька дрались до крови, Колька и Шурка их подзадоривали, а то и приобщались, Лаля просыпалась, разнимала и разводила по углам. Элька, порыдав, шла просить прощения, а Олька — никогда. От этого Юля чаще общалась с Олькой, хотя нравилась ей больше Элька. Лаля заново засыпала, и из угла можно было идти куда хочешь. Олька всегда к вечеру хотела в детский сад по соседству, потому что детей там летом не держали, увозили куда-то в лес. Юля любила играть, а Олька разговаривать о стыдном.

— Ты с мужиками это самое? — спрашивала Олька, по-беличьи цокая семечками.

У Юли холодели руки. Она тогда еще не ходила в школу и ничего толком про это не знала — только вроде бы что дети из живота родятся.

— То есть? — спрашивала Юля нейтрально.

— То есть-хреноесть, — дразнительным голосом повторяла Олька. — Ну, они на тебя ложились? Письку трогали?

Они с Гешкой, Гошкой и Васькой сколько раз спали в дядиСерёжиной «Победе», и беспокойный младший Васька наваливался на нее среди ночи, а один раз заехал рукой по носу. Юле вдруг стало жарко щеками.

— А в шесть лет это можно? — догадываясь о чем-то невыносимом, интересовалась она.

Олька хихикала, сплевывая ошкурки. Юля раздумывала, у кого выяснить подробности. Перед Олькой дальше позориться не хотелось.

— А тебя? — Юля задала вопрос шепотно, как ангиной заболевшая.

— Чего? — Олька уже, кажется, забыла суть дела.

— Трогали?

— Ага, — беспечно выдохнула Олька. — К мамке один ходит, и меня тоже это самое.

— Где? — у Юли скакнуло что-то выше живота.

Она представила себе, как мама возвращается с работы, а на нее в этот момент налег чужой дядька, и к чему это приведет.

— А вот тут, на чердаке, — она показала на крышу детского садика, и Юля увидела небольшую, настежь распахнутую дверцу. — Ты только не говори никому, — предупредила Олька, но Юля и без нее сообразила, что о таком распространяться не стоит.

Когда Володя в очередной раз отбил ее у мальчишек и сопровождал домой, она решилась:

— Вот если какой-то дядька на меня наляжет — это как?

— Какой дядька? — Володя нахмурил свое полустарческое лицо.

— Ну, например, — пояснила Юля.

— К тебе кто-то пристает? — Володя приостановил пересечение двора.

— Нет! — как можно чистосердечнее успокоила Юля. — Например же!

— Ты только мне скажи, — Володя взял ее за плечо и повел дальше. — Я разберусь.

Юлю это успокоило, но ненадолго. Володя был все время в распоряжении Никандра — или Никанора, — и попробуй его дозовись, если что.

Больше, чем нависаний с дурацкими вопросами, Юля боялась только дождевой бочки. Бочка стояла в углу, как наказанная Олька, и в ней глубоко что-то булькало само по себе. Прошлым летом, перед школой, она ждала и не могла дождаться, когда мама ее заберет покупать форму и портфель. Нетерпеливо играла в штандар, хотя радовалась, что ее не обзывали и не гнали, и смотрела в сторону Проспекта Труда, который простирался совсем не далеко от станции. Мяч, криво подброшенный несуразной Элькой, вместо того чтобы лететь прямо к небу, описал дугу и плюхнулся в бочку. Юля стояла ближе всех, ее даже забрызгало, и она, не раздумывая, бросилась, и даже не бросилась, а отогнулась, чтобы достать. Бочка была Юле по шею, мяч отнесло к противоположному краю. Юля немного подпрыгнула, протянула руки, на уровне подмышек измазалась и окарябалась о ржавый обруч, встала на цыпочки, потянулась — и последнее, что она помнила, была ее собственная мысль:

— Сейчас они увидят, что у меня трусики порванные.

Все последующее Юля знала по наперебойным рассказам Гошки, Гешки и Васьки.

— Я как заору: «Повитель утопла!» — Гошка.

— Нет, это я заорал! А ты заревел, — Гешка.

— Чего врете? — Васька. — Она кувырк! А я Вовку увидел и заорал.

В общем, все, по их словам, заорали, не исключая Кольки и Шурки Михневых. В это же время Володя в черном, ремень с блестящей пряжкой, шел по двору с одной стороны, а мама со станции — с другой. Ноги Юли торчали из бочки сандалиями. Володя успел первым, не жалея гимнастерки, сунул руки в бочку, вытянул Юлю, как рыбу из садка, и понес текущую со всех сторон навстречу маме, которая, говорят, тоже визжала как резаная:

— Караул!!! Скорую!!!

Юля очнулась голая, когда мама терла ее грубым полотенцем, и в свою очередь загаркала привычное, если дело касалось мамы:

— Больно! Больно!

— Не больно! Терпи, дрянь такая! — мама шлепала ее и терла, шлепала и терла.

Гулять Юлю не выпустили, и остаток дня она провела с тетей Натой на кухне, обернутая еще более, чем полотенце, грубым одеялом. По случаю такого приключения

Юля была в центре внимания, и даже Никанондр сочувственно шевелил усами и говорил с оттенком жалости:

— Ах ты, пискля!

Мама с дядей Серёжей здесь же выпивали.

Зато Юля вдоволь наелась блинчиков, которые тетя Ната переворачивала и снимала с невиданной скоростью особенной лопаткой, бросая в огромную белую тарелку. Обычно Гошка, Гешка и Васька расхватывали пальцами раскаленную добычу со сковороды, минуя тарелочную стадию.

— Давайте Вовку позовем! — предложил дядя Серёжа. — Хватит ему там со стариком кувыркаться. Вовка — герой дня.

— Жизнь тебе спас, чучундре! — сказала мама и подергала Юлю за нос.

— Вова! Вова! Иди сюда! — голос у тети Наты был, как заводской гудок.

Володя пришел через некоторое время. Подпер притолоку и вопросительно выговорил:

— Ну?

— Что ну? — взвилась тетя Ната, которую Володя раздражал чаще, чем Юля — маму. — Стой как человек!

— Я как человек, — сказал Володя серьезно.

— Ладно, мать, кончай! — сказал дядя Серёжа. — Садись, Владимир, выпей с нами за подвиг спасения на водах.

— Не пью, спасибо, — сказал Володя.

— Дедушка не разрешает? — усмехнулся дядя Серёжа.

— У меня нет дедушки, — сказал Володя с вызовом. — Я сирота.

— Ой, только не надо, — сказала тетя Ната. — У каких родителей ты бы так жил? И кто они еще были, неизвестно.

Володя промолчал, отвернулся. Юля подумала, что между детским домом и детским садом разница, как между Олькой и Элькой.

— Слышь, — неожиданно сказал он, не поворачивая лица к присутствующим, и такое обращение могло быть адресовано только Юле. — Пойдем к нам. Мы книжку читаем интересную. Про Бикельгерия.

Мама и дядя Серёжа беззастенчиво засмеялись.

— Гекльберри, — сказала тетя Ната злобно. — Гекльберри Финн.

— О, финны, — задумчиво сказал дядя Серёжа. — Красавица Суоми, какку-пукки!

— Сергей! При ребенке! — строго сказала тетя Ната.

Дядя Серёжа чмокнул Юлю в не до конца просохшие волосы и хрипло запел:

— Много лжи в эти годы наверчено,
Чтоб запутать финляндский народ.
Раскрывайте ж теперь нам доверчиво
Половинки широких ворот!

— Половинки? — озадаченно спросила мама.

— Никогда! Только по полной! — дядя Серёжа ровно бултыхнул из бутылки в рюмки, которые Юле всегда казались опасно хрупкими, и продолжил пение:

Ни шутам, ни писакам юродивым
Больше ваших сердец не смутить.
Отнимали не раз вашу родину —
Мы приходим ее возвратить.

— Можно я с Володей пойду? — тихо попросила Юля.

Мама не обратила внимания, а тетя Ната сказала преувеличенно ласково:

— Иди, иди, деточка! А то им без тебя скучно.

Пока Юля плелась за Володей по коридору, из кухни раздавался жизнеутверждающий хрип:

— Мы приходим помочь вам расправиться,
Расплатиться с лихвой за позор.
Принимай нас, Суоми-красавица,
В ожерелье прозрачных озёр!

Юля впервые перешагнула порог заветной комнаты и замешкалась. Она никогда не видела столько книг.

Никандрон из обширного кресла вскинул изумленные усы.

— Пусть она послушает, — сказал Володя просительно. — Чего ей там с пьяными!

— Ну, кто даму приглашает, тот ее и ужинает, — Никанондр вдруг улыбнулся добро, как настоящий дедушка.

— Она поела уже, — сказал Володя. — Давайте дальше.

— Как прикажете, гости дорогие! — новоявленный дедушка снова не рассердился, а осклабился и вздел очки: «Отец валялся в углу. Вдруг он приподнялся на локте, прислушался, наклонив голову набок, и говорит едва слышно:

— Топ-топ-топ — это мертвецы... топ-топ-топ... они за мной идут, только я-то с ними не пойду... Ох, вот они! Не троньте меня, не троньте! Руки прочь — они холодные! Пустите... Ох, оставьте меня, несчастного, в покое!..

Потом он стал на четвереньки и пополз, и все просит мертвецов, чтоб они его не трогали; завернулся в одеяло и полез под стол, а сам все просит, потом как заплачет! Даже сквозь одеяло было слышно...»

На этом месте Юля, завернутая в одеяло не хуже сумасшедшего из книги, не выдержала и заревела со страху.

— Пискля! — Никадрдронович бросил книгу и зажевал ус. — Я же говорил, не надо сюда никого водить! Разве нам плохо вдвоем?

Он взял Володю за руку, но тот выдернул, точно из рукава:

— Ей спать надо. Она и так чуть не уходилась, а вы пугаете!

— Это не я. Это Марк Твен, — попробовал отговориться Никандрарий. — Ты же был инициатором приглашения, и вот тебе пертурбация...

— Могли бы пропустить, где страшно, — ворчливо и не так чтобы вежливо перебил Володя. — Она же маленькая!

Он второй раз за день взял Юлю на руки, и она затихла, прижалась к его плечу и заметила попутно, как Володя сильно вырос. Донес ее до диванчика, на котором Юля спала с тех пор, как решила больше не оставаться с братьями в машине во избежание налегания. Юля остановила его:

— Побудь чуть-чуть.

Володя присел на край:

— Чего боишься, дурочка? У Гека отец пьянюшка. Белая горячка у него. Он опомнится потом.

— Тебе в детском доме было плохо? — спросила Юля.

— Ну, как плохо? Жрать только хотелось. А так — жить можно. Я там всегда малышню укладывал. Надзиралка к хахалю уйдет, а я оставался, мне даже нравилось. Сказки им рассказывал.

— А мне расскажешь? — попросила Юля.

— Да я уж позабыл все с этим... — Володя запнулся.

— А у Никандра тебе хорошо?

— Могло быть хуже, — сказал Володя. — Пацаны такие пушки заряжали, когда с воли приходили. А тут... Ничего, тики-так. Ну, все, спи давай.

— Какие пушки? — успела спросить Юля и провалилась.

Утром они с дядисерёжиными сыновьями и мамой зачем-то мчались в какое-то Обокино, где продавались сушеные лещи. В Обокине застряли на три дня у какой-то знакомой дяди Серёжи, и он гонял на чьем-то мотоцикле по пруду, и мотоцикл заглох, а дядя Серёжа хрипел:

— Отдать пульс! Убрать лапти!

А Гошка и Гешка его перекрикивали:

— Папа! Вылезай сейчас же! Мы все маме расскажем!

А дядя Серёжа махал мокрым кулаком и кричал:

— Стукачи! Вы мне не сыновья!

А Васька кричал:

— Я не расскажу! Я не расскажу!

— Молодец! Жиган! Наследник! — одобрял его намерения дядя Серёжа.

А знакомая бегала по берегу и кричала:

— Мой меня убьет!

А потом они опять пили, потом ехали из Обокино с вязанкой ненужных лещей в багажнике, и дядя Серёжа горланил жутким голосом:

— Три друга, три пилота
Летали на У-два...

А мама отчего-то была скучная.

И они ни с того ни с сего начали падать с моста в реку, и мама истошно взвыла:

— Идиот! Угробишь всех!

И на сей раз к реву Гошки и Гешки присоединился Васька, а Юля молчала — ей после бочки было все равно, и Володя же сюда не успеет.

А дядя Серёжа твердил, как по радио:

— Не бздеть горохом! Спасение неизбежно! Я заговорен!

И откуда-то появился трактор и тащил их тросом.

Совсем скоро Юля пошла в школу. Там ничего хорошего ее не ожидало.

А Никандратий вскоре умер. И Юля этому совсем не обрадовалась почему-то.

II

Правильно: поля орошения. Но прижилось — «фильтрации». Где там канавы, где трубы дренажные, сколько сточные воды «отдыхают» в септике, погибают ли в почве бактерии или заселяются в человеке ворующем в виде гельминтов, она не знала и знать не желала. Верила в очищающую силу почвы и на сытость уповала как на залог жизни. Каждый год видела своими глазами, что супеси, на которых стоял городок, а за его пределами были размечены ОРСовские угодья, политые профильтрованными и отстоявшимися фекалиями, пудретами, как говорили прежде, так хорошо родят, что и обывателю на унос хватает, и заводчанам остается.

С полей тащили все, и она — больше всех. О моральной стороне отучила думать война, третья на ее веку. Кого-то войны, судя по газетам, воодушевляли, но у нее каждая вынимала частицу души. В первую она потеряла Игорёчка. Во вторую стала тем, что есть. Третья окончательно лишила самомнения. Когда выходила за Липова, была уверена, что жене главного инженера бытом заниматься не придется, и рассчитывала уж во всяком случае на домработницу. Предупреждения, что Липовы берут ее именно в таком качестве — прислуги за все, она отметала, полагаясь на сословный этикет, которому следовал ее первый муж. Но Липовы избегали посторонних

взглядов. Ей не сразу удалось поставить себя в их купеческом куркульском клане, но удалось в итоге так, что всю войну свекровь Александра Лавровна молилась Спасу Нерукотворному:

— Господи! Укроти сердце Гитлера и... — следом за фюрером неизменно произносилось ее имя.

Всю войну она моталась по деревням, некогда обеспечившим завод рабсилой, но еще не вконец опустевшим, выменивая на продукты вещи из бездонного сундука свекрови, чтобы прокормить тунеядную ораву, родственников бесполезного в постели мужа, и воровала в промышленных масштабах плоды подсобного хозяйства, организованного ОРСом, пока по возвращении с промысла ей не переехала ноги полуторка. Липовым довольно долго пришлось обходиться спецпитанием руководящего состава 1-й категории. Раздробленные полуторкой колени не вернули былой подвижности, и с годами травматический артрит только набирал болевую силу, переключив ее атомную энергию на войну с домашними и соседями.

К кормящим угодьям прилипло «поля фильтрации», а к казённому предприятию оборонного назначения «Красный боевик», поочередно менявшему маски — то завод № 204, то «Сельхозмашиностроение», то «Пластмассы», к языкам горожан присохло первоначальное название — «пороховой» под номером 43, и секретность приняла характер абсурда. «Пороховой» — значит, изготовляющий порох, что же еще? В 1915 году шла война, но скрывать характер продукции смысла не видели. Тотальная комическая таинственность пришла вместе с большевиками. Липов среди других специалистов оказался в городке тоже по милости военного ведомства, как она скоро поняла, чтобы не попасть в действующую армию, где его пристрастия неизбежно бы обнаружились и подверглись остракизму.

Бомбежка 42-го года, когда из-за линии фронта к заводу прорвались юнкерсы, унесла целую смену девчонок — авиабомба попала в снарядный цех, полишинельски именуемый пятым производством. До тех пор бомбы почему-то падали в основном на городское кладбище. Начальство не пострадало, из мужиков погиб только бригадир, а девчонок Липов за людей не держал и называл не иначе как «мокрощелки». Другие, покуда живые женского пола выходцы из детдомов и эвакуанты, в основном из приграничного Выборга, на скорях обучались в ФЗУ, разгребали головешки пожарища, доставали обгорелые тела товарок, укладывали их в гробы и хоронили в братской могиле. А еще они разгружали пульманы с углем для ТЭЦ и обрабатывали раненых из санпоездов перед отправкой в эвакогоспитали. От той бомбежки сохранился образ загоревшегося дуба. Огонь мог перекинуться на смежный третий цех, и пожарные истово сбивали пламя. А дуб, пропитанный до корней воспламеняющимися веществами, вспыхивал снова и снова, точно в этих вспышках заключался остаток его погубленной жизни.

Периодически по ночам она слышала за школой неподалеку от их дома какие-то ослабленные взрывы, всякий раз думая, что немцы уже прорвались в город. Липов под страшным секретом сообщил, что в школе все тех же девчонок после двенадцатичасовой смены без выходных готовят для работы в тылу врага и учат пускать под откос вражеские составы. На день им с перебоями выдавали по шестьсот граммов хлеба и иногда позволяли доесть за грузчиками остатки супа. Она пару раз сидела с этими недоростками и рабочими бабами постарше в бомбоубежище — траншее двухметровой глубины с заделанным бревнами и засыпанным землей верхом, которую сами копатели называли живой могилой, а потом в крайнем случае спускалась в погреб с неиссякаемыми ее трудами припасами.

После войны завод прославился неваляшками из отходов военного производства. Они ассоциировались с кувырканами, покупаемыми на волынских ярмарках, и

отцовскими объяснениями принципа устойчивого равновесия, в продолжение которых она незаметно затыкала уши, чтобы пропустить развенчание чуда, оставаясь в неведении.

Когда расписались, Липов повел ее представлять сослуживцам в заводоуправление, чтобы отвести крепнущие на его счет подозрения. Прогнал быстренько и по территории, куда допуска посторонним не было, но и под трибунал не угодишь, если ты главный инженер. Она попала, конечно, не в святая святых, где производили заряды, но в то же время и не на кухню. Станки, показалось ей, помнили Карла Маркса, и условия соответствовали описанным в «Капитале» или в каких-то других сочинениях об ужасах капитализма, ни одно из которых она, естественно, не читала, но из-за неустанной пропаганды знала не только об их существовании, но фрагментарно и о содержании.

Липов учился на инженера в Петербурге и называл себя техноложцем, что ее особенно забавляло, с тех пор как она узнала, что его оригинальные вкусы — не сплетня и не игра скудного воображения аборигенов. Слово «техноложец», вторая часть которого корнем совпадала с закрепленной в Уголовном кодексе, наводило на ироническую мысль, что противоестественные связи мужчина может иметь и с техникой. А Липов технику любил и даже, можно сказать, поклонялся ей, хотя гвоздя не умел вбить.

Иногда она, как в молодости, думала об упущенных возможностях. Например, о том, что могла бы выйти замуж за первого директора завода, генерал-майора, ее земляка из не смирившегося с уездным статусом Новоград-Волынского, древнего Звягеля, переименованного Екатериной после раздела Речи Посполитой. Там всегда жило много поляков, и ее семья носила добрую толику польской крови, а строительство порохового завода почему-то именно полякам и поручили. Место отозванного в Главное Управление Миончинского занял полковник Скосырский. Подписанный им приказ № 1 гласил с некоторым акцентом: «Всем, согласно спискам, явиться по заводскому гудку на работу в цехи и строительные площадки». «На работу в цехи» с тех пор ходило по гудку за малыми исключениями трудоспособное мужское население, а «в строительные площадки» встраивались беженцы из окрестных деревень. Они возвели медсанчасть на месте здания больницы и военного обоза — фурштадта, нерушимо стоящие до сей поры. При этом одно из сооружений не изменило первоначального лечебного назначения, но в смысл сноса прежнего никто не вдавался, привыкнув автоматически подчиняться приказам. А в жилых бараках потомки пороховых первопоселенцев обитали посегодня. По удивительному совпадению ее первый муж выпустился из Михайловского училища и воевал на Великой войне вместе с сыном Миончинского, Георгиевским кавалером, который позже организовал артиллерию Добровольческой армии и погиб в бою под Екатериноградом.

В долиповский период она часто представляла руины Звягельского замка на левом берегу Случи и саму реку с ивами, обвешанными «тарзанками», со скалистыми берегами и архаическими валунами. Или еврейские помпезные дома и лавки плотным полукольцом вокруг базарной площади, гомонящей на идише, согласно которому город звался Звил. Она могла бы нарисовать дворянский герб рода Сухекомнаты с тремя страусиными перьями, к которому принадлежал и первый директор. А вот с музыкой обстояло сложнее. Синагогальный хор, часто выступавший в клубе благородного собрания, в памяти слитно раскрывал рты, но по-рыбьи. Вместо пения в голове звучал уличный, всегда на повышенных тонах, говор:

— Галю!

— Га?

— Ходь до мэнэ!

— Нэ можу!

— Чому?

— Видпочиваю!

И навязчиво вечное — на все случаи — неразделимое «будьласка» булькало в ней, как лишний стакан воды в животе на бегу.

Погромы грянули при Петлюре. Она к тому времени давно покинула Волынь, но с земляками иногда пересекалась. От них слышала, что грабежи начались на старом базаре, жгли лавки на Соборной и, словно в насмешку, на Пожарной, а на Корицкой дотла сгорели хоромы Лейзера Штенделя. Спалили старинную ратушу и много храмов. Потом Звягель заняли немцы, которые наряду с чехами облюбовали добротное местечко незадолго до войны и налегли в основном на пиво и колбасу. Потом прошлое, включая ее детство, покатилось в тартарары, и она стала такой, как теперь. Собственно детства она не помнила до той черты, за которой оно кончилось. Из всех однокашниц сохранилось лишь водевильное имя Мэри Брикельгойз — без лица и иных подробностей. Из внешних впечатлений — велосипедные колеса газировочной машины со льдом и тучные некусачие осы над стеклянными трубками с сиропом. Впрочем, дореволюционная машина совмещалась с конструкцией агрегата 30-х годов, когда после смерти первого мужа она сама торговала газировкой, безбожно недоливая и для пущей пенистости добавляя соду.

Благополучие, сытость и хорошая семья ведут к бессобытийному и потому не консервируемому памятью существованию. Она училась в единственной женской гимназии, куда была принята без экзаменов как дочь работника просвещения. Кажется, училась неплохо. Но память запускала свои тайные механизмы на истории с диаконом, когда ей уже исполнилось шестнадцать. В этой истории время тоже наделало множество прорех. Например, она совершенно позабыла, как начался их бурный роман. Помнила только, что познакомились они после причастия во дворе Свято-Николаевской церкви, прихожанами которой были все члены ее семьи.

Во время службы она ни малейшего внимания на незнакомого сослужающего точно еще не обратила, и его: «Господу помолимся», «У Господа просим», «И весь живот наш Христу Богу предадим» отличались от недавно почившего протодиакона Петра лишь молодой звонкостью. Вместо облика представали перламутровые пуговицы под мышками, гармонирующие с парчой стихаря. А в грасской гостинице, когда они сбежали в Австрию, запечатлелась ее подвязка на жемчужном подряснике, тогда как непосредственно любовный акт испарился начисто. Опамятование начиналось с трясущейся бороды отца, приплюснувшего служителя культа к стене, держа за грудки, хотя никаких «грудков» на подряснике не было. Отец, преподававший в гимназии физику, ездил стричься в Польшу, одеваться в Австрию, и, несмотря на бородатую трясучку, из-под его шляпы-федоры фирмы Питера и Карла Хабигов с черной лентой и репсовым бантом выступали аккуратные треугольники тонко прошитых сединой висков. Потом снова следовал провал в несколько лет, заканчивавшийся тихой свадьбой с Алексеем.

Замуж она вышла без тени любви — не то что страсти, и, видимо, поэтому они с мужем прожили хорошую согласную жизнь без измен и истерик, если не считать ее деловитые и скорострельные связи за продукты из военных пайков, пока Алексей воевал в Галиции, тесно, как ее начальная жизнь, связанной с Украиной, Польшей и Австро-Венгрией.

Игорёчек сгорел от бактериального менингита за три дня. Думали, что простуда, парили ножки и натирали скипидаром, чего делать было категорически нельзя. Мальчик сначала стонал, потом кричал: «Головка, головка болит!» Доктор разобрался оперативно. Уложил на спину, пригнул головку к груди, и ножки самопроизвольно согнулись в коленях. «Это менингит. Молитесь». Мамочка молилась всю ночь. Утром

у ребенка посинел треугольник, выделившийся между носиком и ртом. Жар усиливался, термометр не вмещал. К вечеру Игорёчек ослаб и бредил какими-то собачками. Следующую ночь она просидела, держа его на руках, к утру, видимо, задремала, но хватки не ослабила и остывание тельца почувствовала — словно из форточки дохнуло в грудь. В момент, когда осознала, что это не жар спадает, а подступает совсем другой, окончательный холод, она и стала, как теперь. Только инерция волынского детства, мамочкиного воспитания с цирлихами-манирлихами, да, пожалуй, остаток раскаяния за блудодейный побег держали ее душу еще некоторое время в исконном состоянии.

Когда добрались с отцом до дома, мамочка усмехнулась и спросила негромко: «Ну что, наигралась в Наташу Ростову?» Но игра продолжалась еще много лет и окончилась, только когда голова Алексея отяжелела в ее руках, как тельце Игорёчка, отошедшего в той же позе, в которой родился. Окончилась резко, будто ножом ударили. После похорон она незамедлительно пошла к директору рынка, с которым когда-то переспала так же бегло, как и с другими. От него зависело, будут ли Игорёчек и мамочка, а теперь Серёжка, сыты и веселы, и через час из решетчатого загона с тарными ящиками рабочие уже выкатывали тележку с цилиндрами, тащили со склада баллон с газом и резиновыми шланиками соединяли сатуратор с этим баллоном и водопроводным краном. На следующий день в тени, отбрасываемой тентом, закрепленным над тележкой, стояла пусть небольшая, но не иссякающая очередь жаждущих, дававших при умелом обмане стойкий доход.

Тогда она еще была способна оживляться воспоминаниями. Так, в первые торговые дни ощущала нёбное покалывание детского глотка сельтерской. Шипуче извергнутый в бокал из глиняной бутылки с водяным знаком, изображающим лубочного льва в короне и с мечом в поднятой лапе, призрак этой минералки перемежался с нежным эстрагоновым миражом воды Лагидзе с Головинского проспекта в Тифлисе, куда Алексей взял ее с собой в командировку вскоре после свадьбы. Говорили, что Лагидзе однажды готовил свой волшебный лимонад прямо в кабинете Сталина. Врали, должно быть! Вскоре вкусовые галлюцинации прекратились, и белая куртка на ее екатерининской груди процвела изжелта-медовыми разводами грушевого сиропа. Выдох газа при поворачивании краника походил на немонотонное шипение падающего снаряда. Над газировочным агрегатом сонно, как в призрачных воспоминаниях о Звягиле, кружили тучные некусачие осы.

Серёжка родился, когда гражданская пошла на убыль. Совзнаки не считались за деньги, соль и мыло продолжали дорожать. Самой большой загадкой оставалось, чем живы люди и почему они не вымерли целиком, а не частично. Но многое исподволь менялось, оживало и возвращалось в потерянное русло обыденности, будто бы не произошло конца света. Мамочка часто повторяла в самые трудные дни: «Никакая партия с жизнью не справится». «Прокомбедились», — ехидно заключила соседка, когда началась первая волна партийных чисток.

Как ее мужу, кадровому офицеру, удалось спастись и ни во что не встрять, она не помнила и не размышляла. Мамочкиными молитвами — как еще? Мамочка любила Алексея и почитала больше, чем она, жена его перед Богом, и пользовалась полной взаимностью. После смерти Игорёчка вся семья провела в вязком забытьи пару лет, потом — ничего, оклемались. Горе вечным не бывает, как и война. Алексей заведовал железнодорожными пакгаузами, жить стало можно. Это она убедила его, неподкупного, что воровать для семьи, для уцеления и векования — не грех, а долг. И не воровство это, а возвращение награбленного. Алексей сопротивлялся, даже впервые накричал на нее. Но потом, чуть поутих на дорогах бандитизм, съездил в свое имение и вернулся другим человеком, готовым если не на все, то на очень многое. Серёжка и родился не

от тех, кто стоял под брачным венцом двенадцать лет назад, а от совершенно, неузнаваемо других людей.

Могил родительских Алексей не нашел и куда бросили тела матери и отца не установил — крестьяне темнили или помалкивали. Братья сгинули на фронтах по обе стороны. Зато ему удалось извлечь из не разворошенного освобожденным народом по причине неотыскания в перекопанном вдоль и поперек саду тайника, обозначенного отцом, когда светопреставление только начиналось, кое-какое золотишко. Жалкое, мелкое, незавидное. Когда она, естественно, не показывая, предложила сбыть находку известным скупщикам из клана доктора Мордуховича, их подслушала домработница и стукнула куда следует. Неделю они с мадам Мордухович прожили в камере среди хипесниц и воровок на доверии, набрались вшей и жаргона, но доказать ничего не удалось, и их выпустили. Мишпуха не поскупилась, а победившие еще не научились безотказно вымогать нужное из арестованных. Евреи, среди которых она выросла, таинственными совпадениями много раз помогали ей выбираться из самых безнадежных переделок. Золотишка хватило на взятку начальнику железнодорожного узла, и Алексея, еле-еле устроившегося на склады грузчиком, повысили в должности. О том, как она сходила и к этому начальнику и как его руки воняли астраханской вяленой воблой, Алексей не узнал — или сделал вид. Делать вид он уже научился сносно.

Мамочка сразу назвала Серёжку «отпетым». Он орал по трое суток без всякой видимой причины, обследованный со всех сторон доктором Мордуховичем, накормленный и перепеленутый, и унять его на пару часов могла только марля, обмокнутая в маковый отвар, добытая хитростью в бывшей аптеке Феррейна. Когда мамочка тайно его крестила, Серёжка, вопреки прогнозам, во время погружения не издал ни звука, потом с неделю давал всем выспаться и, по-видимому, сам отдыхал от бесчинств. Но в целом ор продолжался лет до пяти, пока Алексей не схватился за ремень. Серёжка умолк, посмотрел на отца с адским блатным прищуром, схватил со стола швейные ножницы и визговато выцедил:

— Убью-ууу!

Чадолюбивый Алексей, часами не отходивший от кроватки Игорёчка и не спускавший его с колен, вдел ремень обратно в брюки и больше никогда присутствия Серёжки не замечал. Когда начались безразборные посадки остатков классовых врагов, Алексея спасла внезапная смерть от удара. Мамочки не стало через год. Она осталась с «отпетым» один на один и, как ни странно, договорилась о мирном сосуществовании, но только между ними. Внешних это не касалось, и Серёжка не упускал ни единого случая нашкодить и набезобразничать. От школы для дефективных спасла ее встреча с директором с предсказуемой повесткой. Времена менялись, и от шкраба пахло «Шипром» с ноткой индийской пачули и дубового мха, не выветренными наглым воровством одеколона у Франсуа Коти. Говорили, что он каким-то боком в родстве с Наполеоном. Врали, наверное! Для нее парфюм был неотрывен от Франции, а Франция — от лучшего детища Франсуа, безвозвратного аромата «Лориган». Неудобно лежа грудью на столе в директорском кабинете, она думала: «Интересно, знает ли мужлан, что "шипр" — это Кипр?» Она уже давно поняла, что никаких киприв на свете нет и никогда не будет.

Серёжкина отпетость была изживанием прошлого. Он патологически отверг свою родословную, принял игру по новым правилам как должное и далеко превзошел ровесников, не отягощенных семейной историей. В нем не было ни следа происхождения, ни грана благородной наследственности — он признавал только уличное скотство и шпанские законы. Однажды Серёжка купался в реке, а она металась по берегу, ища хотя бы пузырик на поверхности в том месте, где он нырнул минут пять назад. Но Серёжка, помотав нервы, выныривал, махал рукой и орал:

— Маття! Здаровва! Я тутта!

Давно бесслезная, сухоглазая до слепоты на похоронах Алексея и мамочки, она неожиданно по-девичьи горько заплакала от этого плебейского «маття»...

Городок, куда им пришлось ретироваться, когда Серёжка пырнул шилом сына сапожника, Липов называл Сальпетриером. Знаменитая лечебница Шарко для истеричек, каковыми Липов считал всех без исключения женщин, была выстроена в 13-м округе Парижа на месте пороховой фабрики, и название переводилось как «склад селитры». Кабинетные дежурные встречи с власть имущими спасти Серёжку от тюрьмы, куда он стремился с упорством маньяка, на сей раз не могли. Им посоветовал скрыться начальник милиции и слово сдержал — местонахождения не выдал. Она быстренько завела нужные знакомства, не стала вникать, почему главный инженер Липов до сих пор холост, и организовала сватовство. В первую ночь, когда она, промучившись, отчаялась дождаться хотя бы паллиативной ласки и, перевозбудившись, взвыла, он невозмутимо сказал:

— Я, видишь ли, не по этой части. Ты уж сделай милость, сдержись как-нибудь. А то маман разбудишь.

Последнюю, как вскоре выяснилось, не разбудил бы и выстрел Большой Берты. Липов положил глаз на Серёжку незамедлительно, и того пришлось отправить в школу первоначального летного обучения аж в чувашский райцентр. Авиация была единственным, что его интересовало, помимо шелапутств. Александра Лавровна, молясь, чтобы Серёжка из Чувашии не вернулся, неизменно называла Осоавиахим и ДОСААФ Иоакимом и Иоасафом:

— Управь, Господи, дабы попущением Твоим сущие Иоаким и Иоасаф не выпустили раба Твоего Сергия из тенет своих!

Мысль взять мальчишку из детдома пришла в 43-м, когда Серёжка приехал в отпуск в Сальпетриер уже старшим лейтенантом. Липов активно пичкал его фирменными настойками, и Серёжка хвастался, что на фронте пил антифриз, но перепить закоренелого и каждодневно упражняющегося Липова не мог, слабел, бледнел, глаза разъезжались, а Липов подначивал: «Какой же ты мне товарищ?» Она не спускала с Серёжки глаз, сама укладывала, стаскивала сапоги, подавала холодную воду и рассол и не чаяла дождаться, когда кончится его отпуск, ипохондрически понимая, что летает «сталинский сокол» на фанере и шансов уцелеть нет почти никаких. Но отпетый не получил ни царапины. «Совершил 341 вылет, эвакуировал 790 раненых бойцов и командиров, доставил к линии фронта десятки тонн медикаментов и крови, 22 раза отбомбил передний край обороны врага». Так было написано в благодарственном письме от командования на ее имя. Орден, несмотря на молодость, отпетый получил ближе к победе «выслужной», крепко девальвированный — Красного Знамени на подвесной пятиугольной колодке. Липов утверждал, что одним из первых такую награду заслужил от Советов Нестор Махно. Врал, наверно! Она представляла, что ее сын вытворял между вылетами, и усмехалась: орден всяко лучше штрафбата.

После войны Серёжка безнаказанно погулеванил и женился на невозмутимой и в первом поколении интеллигентной учительнице, которая подряд родила ему трех сыновей. Обосновался под Москвой рядом с третьеразрядным аэропортом, получил квартиру и водил третьеразрядные самолеты в третьеразрядные города. Лихость и отпетость проявлялись только в отпуске и были умело сдерживаемы и корректируемы учительницей. Лавровну похоронили, и побитые молью остатки сокровищ из неисчерпаемого сундука были розданы соседям, за исключением коврика с лежащей, вытянув лапы, собачкой, напоминавшего Липову о детстве. Липовских братьев-каплунов, пожиравших добытое ею на полях фильтрации и ничем иным не замечательных, она выжила достаточно скоро. Можно было и дух перевести.

Липов давно ничего от нее не скрывал. Он вообще после смерти матери дал себе волю. Рыбалки с участием его пороховых сослуживцев участились кратно, заканчивались домашними оргиями и ночным преферансом. Ей приходилось накрывать стол и кормить всех прихлебателей. После очередной рыболовной экспедиции в ванне поселили сома-исполина с червячными тошнотворными усами и запахом утопленника. Ночью он выпрыгнул, часа четыре пролежал на холодном полу, но с жизнью не расстался и, трепыхающийся, был водружен на место. Только отсох один ус и грудной плавник. Пока его не взрезали от анальной дырки до головы, не набили зеленью и луком, не положили полукольцом на противень и не запекли в заводском духовом шкафу, она мылась в тазике и поневоле сравнивала эту вонючую живучесть с собой и остальными невесть как уцелевшими людьми.

Партнеры Липова часто менялись, и она только диву давалась, насколько распространен среди мужчин противоестественный порок. За сердце и кошелек главного инженера постоянно боролись несколько кандидатов. Однажды это кончилось массовым побоищем за преферансом якобы из-за мухлежа, а на самом деле из-за очередности свиданий. Особо безрассудной преданностью отличался старший экономист Полуканин, словно загримированный под Акакия Акакиевича с иллюстрации Боклевского, с бахромой отросших волос ниже затылка.

Липову давно надоели карикатурные типы преферансистов, но переключаться на другую аудиторию он все же побаивался. За ничтожными исключениями, они никуда не ходили парой, а после истории с полуторкой — тем паче. Но однажды Липов был вынужден взять ее на банкет по случаю победы и одновременного юбилея завода, куда всех приглашали с супругами. Расползшееся от малой подвижности и обильной пищи тело отвергало попытки напяливания старых платьев, а новые не покупались с посещения загса. Пришлось срочно строчить нелепый балахон из занавески. Еле-еле, вскрикивая от дергающей боли в коленях, она взобралась на второй этаж, подползла к актовому залу, подпираемая липовским партнером-шофером Борей, отсидела пустые речи, после которых предстоял чуть менее мучительный спуск к банкетным п-образным столам. На обратном пути Липов приказал остановиться возле ограды ФЗУ. Во дворе, во славу трудовых резервов озаряемом редким в послевоенном Сальпетриере фонарем, гужевали после занятий учащиеся, прыгая через поставленного раком слабейшего, отчего их форменные тужурки вздымающимися полами напоминали зловещих черных бабочек.

— Мальчишки... Мальчишки... — бормотал Липов, ухватившись обеими руками за чугунные прутья.

Она не вылезла из машины, избегая лишней боли в коленях, но открытая для циркуляции дверца доносила это мечтательное бормотание, или оно угадывалось наработанным ею инстинктом всегдашней опаски. Много лет спустя, когда по нескольку раз в день заводили исполняемую дуэтом Кобзона и Кохно одноименную песню, ее всякий раз желчно подташнивало на словах:

Мальчишки, мальчишки,
Вдруг сердце забилось в груди:
Мальчишки, мальчишки,
Что будет у вас впереди?

За судьбу Вовки она стыда не испытывала — стыд в ней давно иссяк наподобие регул, силой природы, а Вовка в конечном счете устроился для детдомовца совсем не плохо. Липова перестали удовлетворять услуги Полуканина, и, отвергнутый, тот принялся усиленно сплетничать в заводоуправлении. Все сальпетриеровцы прекрасно и давно были осведомлены о липовских интересах, но сдерживать надвигающийся с

неотвратимостью родов скандал становилось сизифовым трудом. В партии Липов не состоял никогда, и все его попытки стать системе своим пресекались Лавровной, имевшей над сыном власть неограниченную.

— Упаси Бог! — Лавровна, сцепивши руки, откидывалась на стуле, точно Магдалина на картине Караваджо, не объясняя, как апелляция к Всевышнему соотносится с безбожной властью и намерением отпрыска поладить с ней.

Партия могла примерно наказать, но могла по коллективному капризу великодушия и прикрыть. Впрочем, в ее власти Липов в качестве административной единицы пребывал, как в неограниченной воле матери, — помимо своего желания, возраста, но в связи со специализацией — в одном случае сына, в другом — главного инженера. И партия применила меры к ослушнику, потерявшему страх, но не публично разносные, а медленно убивающие. Среди выборгских беженцев очутилась бездетная чета Сюсюкайловых. Глава ее имел за плечами ту же «техноложку», что и Липов, хотя был моложе, следовательно, неопытнее, и все полагающиеся допуски к оборонному производству получил отнюдь не чудом: Сюсюкайлов в партии состоял и подсидеть морально уязвимого Липова мог по этой статье. Инженерский состав потрепала война, все рвались на фронт, квалифицированных кадров не хватало, а жилья не хватало всегда, и местком — главный клеврет партии — решил подселить Сюсюкайловых в комнату, освободившуюся после смерти Лавровны. Липова призвали, объявили готовое решение и вперили многозначительный взгляд.

— Перетерпишь! — только и сказал Липов, выждав, пока она устанет возмущаться, и добавив со всегдашним презрительным многоточием: — Женщина...

Половина Сюсюкайлова Серафима, просчитав выгоду налаживания отношений, подкатывала к ней с первого дня. Глава ущербной семьи в свою очередь завоевывал как умел симпатию Липова, хотя в главном оказался не перспективен — туповат и одноклеточен. Самое время было осуществить задуманное.

Шефство над детским домом завод взял во время войны. Количество сирот превзошло эпоху «борьбы с беспризорностью» с рейдами чекистов по паровым котлам, где несчастные искали тепла, с тем лишь отличием, что на сей раз детей обездоливали внешние, а не внутренние враги. Вовку она приметила в тот единственный раз, когда перед новым годом напросилась поехать с делегацией заводских доброхотов, детей которых сколько-то защищала от сиротства оборонная бронь. Бомбежки прекратились — немца отогнали к Украине. Пока шефы таскали в жилой корпус мешки с собранной заводчанами одеждой и обувью, пока директор богадельни, сам замурзанный не хуже своих призреников, докладывал, как по плану партии детдом отлично снабжается медикаментами, бакпрепаратами и дезинфекционными средствами, она успела оглядеться. Поразило, что многие дети обуты в галоши на босу ногу, несмотря на двадцатиградусный мороз.

После отчета настало время подарков. Раздавал их ряженный Дедом Морозом парторг с не уступающей Сюсюкайловым анекдотичностью фамилией Лямзес. Большинство воспитанников залезали руками, покрытыми скорлупой цыпок, в пакетики со сладостями и одиноким скукоженным мандарином тотчас по получении, воровато оглядываясь на преодолевающие гримасу злобы лица педагогов и торопясь успеть проглотить как можно больше. Лишь один оголец неопределимого возраста — от восьми до тринадцати — сунул пакетик под вытертую вельветку со сломанной молнией и выкрался вон со сборища. То ли стеснялся давиться гостинцами при всех, то ли больше других боялся, что отнимут. Прикусив стон — переехаанные полуторкой колени при вставании распарывали мозг залповым огнем боли, она покостыляла следом. Оголец, не обращая на хромое преследование никакого внимания, подскочил к печке в коридоре, скинул галоши и голыми руками, видимо, защищенными коростой

от температурной чувствительности, натряс в обувку сноп едва прогоревших, еще мерцающих красным угольков и сунул ноги в резиновую нутрь.

— Что ты делаешь?! — не выдержала она, жалость потерявшая еще раньше стыда. — Обожжешься!

Малый схватил кочергу, стоявшую у вьюшки, и замахнулся:

— Слышь, хромуга! Не подходи! Не отдам! — защищая запазушный клад, он скрестил руки на вельветке, будто собирался причащаться.

— Я не возьму! — она придала голосу максимум бескорыстия.

— Чего надо? — поинтересовался он, отступая, правда, не стремительно, в глубь кромешного коридора.

— Хочешь у нас жить? — во многом неожиданно для себя, хотя давно приуготовила этот вариант, спросила она. — Мы хорошо питаемся. Суп, второе мясное, хлеба вдоволь.

— Не врешь? — спросил богадельник.

— Нет! — она зачем-то перекрестилась.

Детдомовец, балансируя на носках, — угли, наверное, все же нешуточно прижгли его ступни — подкрался поближе, сунул руку за пазуху, вытащил из кулька пожухлый мандарин и протянул ей:

— На!

— Как тебя зовут? — спросила она, жестом отвергая подарок.

— Вовкой! — он разинул рот с языком цвета угольков в его галошах и втолкнул туда фрукт, не освободив от кожуры. Сморщился, но мгновенно прожевал и прокомментировал:

— Кисляк! — и добавил деловито-гайморитно:

— Оформляй!

А в подтверждение согласия доверительно пояснил:

— Мы углями ноги греем.

Когда закончилась возня с бумагами, когда Вовку отскоблили и немного откормили, когда подлечили ожоги на подошвах, она впервые увидела Липова любящим и заботящимся, дающим, а не берущим и, понимая всю подоплеку, возревновала к собственной затее, как ни к кому из преферансистов и собутыльников. Липов подступился к Вовке не сразу, был осторожен, не пугал натиском. Научил играть в шахматы, подогнал по математике, взял с собой на рыбалку. Но смотрел, как говорили местные, вназырь и все маслянее. Каждое утро подходил к сундуку Лавровны, на котором Вовка спал, присаживался и вопрошал ернически, но ласково:

— А что ты, Владимир, думаешь о политике Южного Китая?

Вовка хлопал глазами и щерился, уже влюбленный в Липова, но не осознающий, чем это ему грозит. Он на удивление много и охотно читал и прилично, хотя и трафаретно, рисовал. Слово «коттедж» она, давно отвергшая начертательные знаки, кроме как в жилконторских жировках, взяла на вооружение из его книжки, которая привлекла внимание названием — «Изгнание владыки». «Неужели о митрополите?» — подумала она. Слово «изгнание» подразумевало явно антирелигиозную направленность. «Владыкой» в этой махровой квазижюльверновской фантастике с орнитоптерами и геликоптерами величался арктический холод, который большевики намеревались чем-то там растопить и поставить на службу народу, но «коттедж» засел в памяти, и она про себя так и называла дом на проспекте Труда, где хозяйничала до появления Серафимы Сюсюкайловой. Через боль, с охами и гримасами, настырно пересаживала однолетники и рыхлила землю под многолетниками. Из-за малой мобильности и скаредности Липова на предоставление персонального автомобиля она перенесла овощные радения, за исключением картошки, с полей фильтрации под окна.

Прищипывала и пасынковала томаты и шугала прохожих мальчишек, в каждом из которых ей чудился хитник. Процесс пасынкования снова приводил к Вовке и неотвратимости судьбы, а урожайность против полей фильтрации приводила в отчаяние. Но она брала себя в руки и стерилизовала томаты по мамочкиному рецепту — с лаврушкой, луком и заливкой заранее распущенным в кисло-сладком растворе желатином. Огурцы Липов не любил, особенно целые, очищенные. Вовка был всеяден, но не так прожорлив, как она ожидала. И хулиганством особым не отличался, но ненависть к заморышу, которого она поместила сюда своими руками, тихо, на слабом огне, закипала в ней.

Зато Серафиму, рыжую левшу, она возненавидела с полувзгляда. Карминные губы и молочная, крапленная сгруппировавшимися шлепками веснушек кожа Сюсюкайловой привели ее к согласию с древними греками, которые считали рыжих вампирами, зачатыми во время менструации. Ей даже приснилось, как Серафима кусает ее сзади за плечо. В действительности это она торжествующе подкусывала соседку по любому поводу, на что Серафима реагировала бесящим облизыванием губ мокрым языком с последующим оскалом зубов, которые были еще белее изобилующей пигментом кожи.

— Что это у вас опять подгорело? — морщила Сюсюкайлова напудренный нос, появляясь в розовом пеньюаре на оккупированной с утра пораньше массивной утварью кухне. Демонстрируя соседке, кто здесь хозяйка, она с недавних пор всегда держала кухонный стол разложенным, так что Серафима могла пролезть к плите боком-боком.

— Это я пирожки с младенческими потрошками жарила, — ядовито отбивала она крокетный шар намеком на бездетность оппонентки вследствие криминальных абортов.

Но непрошибаемая бестия и ухом не вела.

— У Володи ужасно пахнет от ног, — с прононсом, изображающим брезгливость и аристократизм, пронюньгала Серафима. — Вы бы его носочки в холодной водичке стирали.

— Это у вашего мужа из подмышек воняет, — огрызалась она. — Вы бы его лимончиком протерли.

— Это не подмышки, — протянула ведьма, кошкообразно изгибая позвоночник. — Это железы внешней секреции. Сегодня шесть раз за ночь меня удовлетворял. И до работы пару раз успел приложиться. Не выспалась, кофе хочу, а вы тут все так загромоздили...

Пока антагонистка протискивалась к конфорке, она успела оценить увесистость ответного намека, после чего глаза ее застлало оранжево-красным светом, как при обработке фотопленки, и, перехватив тесак, которым шинковала капусту для начинки, диагональным хватом, она ледоколом двинулась на Сюсюкайлову, рассекая грудью кастрюли и сковородки. Сюсюкайлова все же слегка растерялась, потому что маневра у нее было больше и к выходу она была ближе, но не вылетела из кухни вон и не заперлась в комнате, где ее без передышки удовлетворяли, а почему-то побежала вокруг стола против часовой стрелки. Артритные колени, словно железные вязи, сковывали движения, что делало проигрыш в скорости рыжей бестии заведомым, но это не остановило и не остудило, а лишь раззадорило, и она тяжело заковыляла по кругу, вместо того чтобы настигнуть Серафиму встречным маневром. Серафима на безопасном расстоянии задрала пеньюар вместе с ночной сорочкой в кружевах по подолу и с безумным приплясом, сверкая ягодицами, припевала:

— Тра-та-та! Тра-та-та!

В дверях показался Липов, отчего-то задержавшийся дома, и, качая чалой — снег с грязью — головой, рявкнул:

— Мокрощелки... А ну, цыть!

Сюсюкайлова брызнула к себе, пискнув:

— Доброе утро, товарищ главный инженер!

— Бон матан, — оригинально отозвался Липов вместо «бонжур» и, тотчас забыв о Сюсюкайловой, задал вопрос ее потенциальной убийце:

— Ну-с, где твои хваленые пирожки? Владимир проголодался.

Сердце у нее упало, подскочило и размножилось шеренгой, как шары Ньютона, колотящиеся друг о друга. Она поняла, что неотвратимое произошло вот сейчас, пока она гонялась за Сюсюкайловой, как черепаха за Ахиллом.

Липов так и умер, предаваясь преступной страсти. Упал поперек кровати, счастливый, достигший цели. Вдвоем с пасынком они насилу успели натянуть на него штаны, пока ехала скорая.

Сальпетриер достойно и за счет государства проводил заслуженного техноложца. Сюсюкайлов скоро получил квартиру в новом доме. Они с Вовкой остались наедине. Пенсию ей назначили смехотворную.

Коломнин

I

В начале второй декады беспогодного петербургского ноября 1886 года три старшекурсника Императорской военно-медицинской Академии — Бенедиктов Максим по прозвищу Трахея, Загорянский-Кисель Фаддей по прозвищу Кисель и Горошков Павел по прозвищу Уретра — переминались с ноги на ногу в парке против трехэтажного корпуса клинической больницы Св. Архангела Михаила, известной как Михайловская, у часовни, и демонстративно курили. Наказывать их никто бы не стал, поскольку нарушители порядка держали выпускные экзамены, которые начались в конце пятого курса и продолжались на шестом году обучения. Двадцать семь экзаменов! Двадцать семь...

В центре главного здания на втором этаже помещалась домовая двусветная Михаило-Архангельская церковь, но тот, ради кого студенты толклись здесь, не мог претендовать на помещение там. Профессор Коломнин, последние шесть лет занимавший кафедру академической хирургической клиники, два дня назад выстрелил себе в правый висок из револьвера системы Смита-Вессона III образца. В его левой руке полицейский врач обнаружил зажатый на случай неудачного выстрела скальпель. Постройка главного здания академии тоже когда-то завершилась самоубийством: обвиненный Государем Павлом Петровичем в казнокрадстве и криворукости, повесился архитектор делла Порто. Первый президент академии, шотландец, баронет Виллие, был Павлом Петровичем обласкан чином действительного статского советника, что не удержало баронета совершить подлог — именно он констатировал смерть пораженного табакеркой Императора от инсульта.

Гроб с телом Коломнина выставили в кабинете его служебной холостяцкой квартиры неподалеку, на Выборгской же стороне, и у последнего земного пристанища профессора несли круглосуточную вахту слушатели академии, которую по старой памяти называли МХА (медико-хирургическая), безбожно склоняя эту аббревиатуру. На квартире служились и панихиды. Профессор Боткин убедил правящего архиерея, что Коломнин убил себя в помрачении рассудка, ссылаясь на руководство для

священнослужителей. Архиерей, морщась и недовольствуя, келейно молиться благословил.

Троица поборников здравия, задымляющая воздух, свое дежурство у гроба отстояла. На лекции, особенно такого качества, какое задавал Коломнин, разносословный народ сбегался со всего Петербурга. Лесгафт начинал читать в семь утра, и было уже не протолкнуться. А ко времени начала лекции Коломнина и дышать становилось затруднительно от многолюдства. Документы на входе ни у кого не истребовались, и академики под прикрытием толпы, с зари обтиравшей стены, чтобы занять места в амфитеатре, щеголяли в демократических обносках. Но теперь они были облачены в Высочайше утвержденную два года назад форму. Под двубортными офицерскими пальто серого драпа скрывались темно-зеленые кашемировые сюртуки с закругленными воротниками. Серебряный галун был нашит наискось по середине погона, сукном крытые фуражки бутылочного цвета венчались круглыми кокардами, шаровары напущены поверх коротких, без шпор, сапог, башлыки на швах колпака обшиты серебряной тесьмою.

Нынешние строгости, как и переименование МХи вкупе с сугубой военизацией, начались после ареста Кибальчича, изготовившего бомбу для убийства Государя Императора, хотя бомбиста исключили из академии за несколько лет до этого. Но эхо вольницы 70-х запоздало откликнулось, и мнение в верхах, что Кибальчич вышел законченным социалистом именно из стен на Выборгской, а не из университета, который бросил раньше, обернулось ломками и перетрясками. Трахея, Кисель и Уретра «попали на казну», то есть учились за казенный кошт и жили в комнатах при главном корпусе. Происходили они не из бедных семей и особливых тягот не испытывали, в отличие от многих несытых сокашников, различными способами добывающих десять-пятнадцать целковых в месяц, которые обеспечивали сносное существование.

— Ну, скоро там? — пробасил Бенедиктов. — А то внутрь пойдем, холодно.

— Нет! — воскликнул нервный Горошков. — Нельзя внутрь! Мы обещали сохранять инкогнито.

— Какое инкогнито? — усмехнулся Трахея. — Нас тут уже все видели кто хотел. Торчим добрый час.

— Все равно не на глазах у Конференции, — сказал Горошков, очевидно, себе в утешение.

Конференцией в академии по Петровской традиции именовалась учебная часть.

— Дрейфишь? — грубо спросил Бенедиктов.

— У меня Маша беременна, — уныло выговорил Горошков.

Он один из всех был женат на херсонской красавице и стремился занять место сверхштатного ординатора в местной земской больнице. Чтобы порвать с армией, ему предстояло оплатить учебу, и отец Горошкова, справный ярославский купчина, раздумывал, не проклясть ли отпрыска.

— Ничего, господин Сизиф, — намекнул ему Бенедиктов с сарказмом. — Помотаешься по губернии верст по сорок в день, поспишь в клоповниках, поерзаешь на острие прогресса, в самой гуще клинических исследований — оставишь благотворительность и воспользуешься Машиным приданым.

— Клопы, между прочим, указывают на зажиточность, — возразил Уретра запальчиво. — Если в жилище есть клопы, значит, имеются перины и подушки. Это вам не тараканы! И земство развивается, участковая медицина уходит в прошлое, стационары строятся.

— Бесплодное прошлое чревато зияющим настоящим, — сказал Бенедиктов, любящий афоризмы. — Земская медицина имеет дело со следствиями, не искореняя

причины. Доктора Чехова читай. Про русского неудачника с теплым сердцем и безалаберной головою. Говорят, кстати, что «певец сумерек» Боткина с Тургеневым сравнивает.

Горошков открыл было рот для продолжения дискуссии, но передумал. Может быть, потому, что, по купеческому представлению о литературе как о занятии пустом, не читал Чехова, а заодно и Тургенева.

— А ты потянешь лямку армейскую год-другой, так тоже взвоешь, — только и сказал Уретра.

Бенедиктов хмыкнул.

Молчаливый Кисель, сын вице-адмирала, передернул плечами и натянул башлык на уши. Час выдался совсем не добрый. Выпускники, которые миновали все сроки отчисления, взялись доставить в редакцию «Петербургского листка» открытое письмо, которое как раз сейчас подписывали активисты, рискующие не в пример озябшей троице. Накануне в газете появилась мерзкая публикация за подписью некоего Селецкого, которая переполнила чашу терпения академиков. Но газетная саранча налетела чуть ли не на звук выстрела, во всяком случае, с прытью, превышающей скорость телеграфного аппарата. Некролог в суворинском «Новом времени» поместили сочувственный, тем более что заведовал типографией Суворина и вел всю хозяйственную и финансовую часть его империи зять владельца газеты и родной брат покойного Пётр. Но в части выводов и эта публикация была поспешной. Подписи собирались в клинике, а не в главном здании, дабы усыпить око администрации.

Наконец из больничных дверей вывернулся подготовишка Тубеншляк в одном сюртуке и, ежась, коротко пробежал до часовни.

— Готово! — выпалил посланец. — И профессора подписали, и ординаторы, и даже служители некоторые.

Тубеншляк протянул письмо Киселю, который, по-видимому, меньше других насмехался над его фамилией. В последние два года во МХу был чудовищный недобор, и процентную норму никто не блюл. Впрочем, католиков и иудеев в академии было полно всегда, и вероисповеданию во врачебной, по преимуществу атеистической, среде значения практически не придавали. Даром что большинство врачей вышли из церковной среды и в медицину ударились вопреки воле отцов, через пень-колоду окончив семинарии.

Редакция «Листка» арендовала на Екатерининском канале. Рядом с Михайловской больницей, на Большом Сампсониевском, угол Самарской, где каждый год выпускники до золотого лоска начищали на счастье бока богини Гигиеи, украшавшей фонтан, как раз в этом году стал останавливаться паровик — трамвай о четырех вагонах, по сравнению с конкой более ходкий и вместительный. На паровом трамвае можно было добраться до Знаменской, а там уж добежать до Екатерининского. В настывшем вагоне приятели рассматривали подписи под письмом.

— Морозов подписал? — наконец проявил дар речи Кисель.

Ординатор Морозов ассистировал Коломнину на той злосчастной операции. Бенедиктов мрачно кивнул. Профессор не забыл упомянуть ассистента в предсмертной записке и там же подчеркнул свое состояние, облегчив архиерейскую дипломатию Боткина: «На прошлой неделе, вероятно, случилось временное помрачение ума от неприятностей, и от того та операция. Я не виноват, желал добра. Доктора Морозова и других прошу не винить». Во МХе эту записку уже выучили наизусть и пережевывали под разными соусами.

Но и печать не унималась. За истекшие дни не нашлось в столице ни одной газеты, которая не оттопталась бы всеми конечностями на покойном. Пока медики тащились до Знаменской, они успели в сотый раз обсудить произошедшее. Итак,

ординарный профессор Императорской Военно-медицинской академии, известнейший в своей области ученый, блестящий оператор, более ста раз в год державший в золотых руках человеческие жизни, один из самых любимых педагогов, новатор и смелый экспериментатор с внешностью кавказского горца покончил с собой из-за врачебной ошибки, приведшей к гибели пациентки. Некто Шуляковская обратилась к нему по поводу туберкулезной язвы в прямой кишке. По какой-то причине Коломнин использовал для анестезии не хлороформ и эфир, а клизму с кокаином. Через три часа пациентка скончалась. Раздышать, как выражаются медики, ее не удалось.

— Он ей правда полтора грамма вдул? — задал Кисель вопрос, на который уже получил ответ не единожды.

— Почти, — подтвердил Бенедиктов.

— Многонько, — дергая по-кроличьи носом, сказал Кисель.

— Но она боль чувствовала, — вступил Горошков.

— Откуда в газеты проникла версия отравления? — напирал Кисель.

— Откуда, откуда... У меня зато на их счет одна версия — невежества, — басанул Бенедиктов. — Борзописцы! В статье фистулотомия с трахеотомией перепутаны. Кокаиновых отравлений при местной анестезии только опубликованных полторы сотни.

— В глаз вводят офтальмологи — и хоть бы что, — подтвердил Уретра. — А в мошонку или уретру — exitus letalis.

Трахея и Кисель не выдержали скорбного настроя и прыснули, одновременно вспомнив, как Уретра на практических по патанатомии, отвечая про матку, очерчивал указкой желудок на мужском трупе, пока случайно не поддел пенис.

— Что смешного? — попунцовел Горошков.

— Ты вообще уровень Коломнина понимаешь? — пристал к нему Трахея. — Он при челюстно-лицевых операциях интратрахеальный наркоз вводил. Наружную сонную артерию под турецкими пулями перевязывал. По внутривенному переливанию ему равных в России не было. Карболку на салицил в повязках заменил.

— А работал как! — подхватил Кисель. — В клинике первым появлялся и последним домой уходил. Мог в палату в полночь заглянуть, посты проверить. А его теперь неврастеником выставляют.

— Для его же пользы, — попытался оправдать выставляющих Горошков.

— А как его в Киеве травили — Модестов рассказывал, — добавил Кисель.

— Кому рассказывал? — проворно спросил Бенедиктов.

— Я к нему на лекции по римской истории в университет бегал. Разговорились как-то в кулуарах.

— В Киеве кого не травили... Интересно, Коломнин Лукашевича читал? — Бенедиктов, надо отдать ему должное, о многих научных новинках узнавал раньше преподавателей.

— А что Лукашевич? — встрепенулся неожиданный любитель римской истории.

— Он сообщает о ста пятидесяти случаях введения растворов кокаина — заметь, подкожно, для эксперимента. И о тридцати шести операциях под кокаиновым обезболиванием. И ни разу не превысил дозы в три сотых!

— Наверняка пристрастился, — предположил Уретра.

— Земец — ты и есть земец! Наука тебе побоку, таблетку за гривенник пропишешь — и с плеч долой, — Бенедиктов натянул Горошкову фуражку на нос.

— Но твой Лукашевич панариции на пальцах оперировал, а не прямую кишку, — выказал осведомленность Горошков, зыркая из-под козырька.

— Холод, господа, как в прозекторской, — лязгнул зубами Кисель, перебивая спорщиков.

Паровик подъезжал к Знаменской. Возле редакции «Петербургского листка» стоял лоток с нераспроданными газетами, годными на завертку. Бенедиктов взял верхнюю.

— Ну, и какой объективности вы от них ожидаете? Только послушайте заголовки! «Шерстяная вата». «Русское туалетное мыло». А, вот «Наши доктора»... Ну, конечно, фельетон! Иного не заслуживаем. «Газета для умирающих»! Это про себя или про конкурентов? Снова мыло — теперь царское. Вот погоди, — обратился он к вечно третируемому Уретре. — Про тебя скоро тоже будут писать. Земства для них неизменные козлы отпущения. А так — рекламой живы, что вы хотите?

— Мы хотим внутрь, — проскрипел мерзляк-южанин Кисель.

Швейцара при входе не было. В коридор выходили две двери. Бенедиктов мгновение помедлил и дернул на себя ручку правой. В заваленном гранками и затененном клубами табачного дыма кабинете сидел Джо-Джо. Приятели остолбенели. Они специально, в познавательных целях, ходили на представление, даваемое американским антрепренером Барнумом, где демонстрировался показательный случай гипертрихоза — повышенной волосатости. Несчастного юношу с заросшим наподобие оврага лицом, которого, как говорили, провезли по всем российским ярмаркам и заграничным паноптикумам, шарлатан Барнум называл Джо-Джо. Медики дали сторожу на полуштоф, и тот поведал, что парня отыскали в Костромской губернии и что отец его страдал таким же отклонением.

Газетный Джо-Джо, конечно, не так оволосател, как цирковой, но близился к выгодной Барнуму стадии. Он вздел на лоб треснутые очки и замогильно спросил:

— Что угодно?

— Опровержение! — первым успел отозваться, конечно, Бенедиктов.

— Опровержение чего? Что Земля круглая? — Джо-Джо устало откинулся в шатучем кресле. — Так с этим сегодня уж дважды обращались. Не рассматриваем.

— Ваша газета оклеветала уважаемого человека! — выпалил Уретра.

— Да ну? — удивился Джо-Джо. — Не вас ли?

— Прекратите фиглярствовать! — нарочито тихо сказал Трахея, увлекавшийся методами наведения транса по Шарко.

Джо-Джо неожиданно стушевался и протянул руку:

— Давайте, что там у вас.

— Прежде объяснимся, — твердо и чуть громче проговорил Бенедиктов. — В вашем малопочтенном листке за явно вымышленной подписью напечатано бездоказательное обвинение нашего учителя, профессора Коломнина, в том, что он своими действиями якобы убил здоровую женщину.

— А что, не убил? Или, может, ожила подобно сыну Сарептской вдовы? Это, знаете ли, сенсация! Это мы сейчас же в номер поставим! — осклабился Джо-Джо сквозь растительность, выходя из гипнотического умиротворения.

— Если не перестанете паясничать и всуе поминать Писание, я вас усыплю, — сказал Трахея, приближаясь к газетчику на угрожающее расстояние. — Я, знаете ли, приемами владею.

— Если усыпите, так ничего и не добьетесь, — спокойно парировал волосатый, впрочем, отодвигаясь в противоположный угол кресла. — Как возмутившая вас заметка называлась?

— «Две смерти», — в три голоса грохнули лекари.

— А вы что хотите? Третью? Так этого дела в вашей карьере будет вдоволь! Двузначно, знаете ли. Это если повезет.

Джо-Джо наконец взял из рук Бенедиктова давно протягиваемое письмо, внимательно прочитал подписи под ним.

— Ишь, профессура-то из себя вышла! Грудью встали. А то всё собачатся меж собою...

Джо-Джо встал, уперся руками в стол и оказался толстобрюхим коротышкой. Волосы у него кустисто росли из носа и ушей, а борода изо рта.

«Как же он ест?» — слитно подумали молодые люди.

— Ну-с, ладно! Опубликуем мы сей вопль коллективной души. Ступайте и успокойте вашу анатомическую общественность.

— Зачем вы так? — с театральной человечностью вопросил Уретра.

— Зачем?! — волосатик подпрыгнул. — Зачем?! А затем, что мадамочка на небеса отправилась во цвете лет. И наставник ваш самоубиенный прекрасно понял, кто в этом виноват. И поступил, по крайней мере, честно, хоть и богопротивно. И, коли бы вы знали те сведения, которыми располагаю я, вы бы, может, так не напирали, а попридержали бы своих борзых.

— Какие сведения? — мрачно поинтересовался Бенедиктов.

— А такие, милостисдарь, что до операции-то там дело не дошло. Кокаиновым клистиром все и закончилось. Ошибочка с дозировочкой вышла, и об этом, как справедливо написал господин Селецкий, знает чуть ли не каждый служитель в клинике и многие студенты. Так что вы бы сперва разобрались, а потом уж гневом праведным исходили-с. Как будто мало ваш брат народу гробит, а потом оправдывается ловко — не подкопаешься. А тут хвостик прищемили — и шуму на весь свет! Профессор застрелился, ишь ты! А никому не известная провинциалка никого и не занимает. Вы от своих орибазиев для начала бы объяснений потребовали, а не меня, грешного, гипнотизировали. А теперь — до свиданция! Мне номер через час в типографию сдавать, — Джо-Джо указал на дверь слегка дрожащей рукою. Толстые короткие пальцы были мохнаты по самые ногти.

Троица последовала в направлении его мановения. Только Кисель промямлил уже почти за дверью:

— Гипертрихоз не лечится.

Но Джо-Джо вряд ли его услышал.

Молча шагали по Екатерининскому вдоль черной предзимней воды. Пять лет назад бомба Гриневицкого разорвала здесь Царя.

— Кто такие орибазии? — спросил обычно тщательно скрывающий всякое любопытство, выдающее неосведомленность, Кисель.

— Орибазием личного врача Юлиана Отступника звали, — пробурчал начитанный Бенедиктов.

— Слушайте! — призвал Уретра. — А давайте мужа этой жертвы обезболивания найдем.

Приятели воззрились на Горошкова, как будто он на их глазах открыл панацею.

— Стойте тут! — Бенедиктов сделал повелительный жест и, не дожидаясь реакции, развернулся и помчался к только что покинутому парадному.

— Сумасшедший! — диагностировал вслед Кисель.

Уретра высказаться не решился.

Трахея прибежал обратно как из пушки выстреленный.

— «Пале-Рояль». Рядом, — отрывисто и не останавливая разбега, сообщил он.

— Как ты узнал? — не выдержал Уретра.

— Обычно. Пригрозил начать сеанс гипноза и сообщить в полицию о покрывательстве клеветников.

— А он?

— Интеллигентом меня обозвал.

Доход от меблированных комнат на Пушкинской, бывшей Компанейской, близ Николаевского вокзала, владелица, баронесса фон Таубе, давно делила то ли с каким-то итальянским проходимцем, то ли с женою проходимца. Рубль за номер и гривенник за ассоциации с романом Дюма-пэра кусались, но приезжие на несколько дней в столицу холостяки и главным образом люди свободных профессий полюбили это нелепое сооружение с эркерными драконами. Узнать номер господина Шуляковского и наличие его персоны на месте стоило пятиалтынный. Горничная была смешлива и податлива.

Бенедиктов бесповоротно постучал согнутой фалангой в дверь.

— Что угодно? Я завтрак не заказывал, — раздался из недр невротический голос.

— Из газеты, репортер, — солидно сказал Бенедиктов.

Дверь распахнулась, тут же поспешила запахнуться обратно, но Трахея успел вставить локоть в щель, рискуя переломом. Все еще невидимый обладатель голоса с очевидно истерическими нотками заверещал:

— Вы из полиции? У меня заплачено. Я только что потерял жену. Имейте совесть! — вероятно, несчастного обманула форма бесцеремонных.

— Мы не из полиции. Мы из прозекторской, — зачем-то еще сильнее напугал постояльца Уретра.

Этот эвфемизм memento mori оказал магическое действие. Проход освободился, и бурши, принятые за полицейских, втиснулись в невзрачный по сравнению с фасадом и на первый взгляд пустой номер с серой штофной перегородкой.

— Увидеть во сне ткани предвещает, что неверные друзья будут чинить вам помехи, ввергая в потери и неприятности, — Бенедиктов зачем-то процитировал сонник Миллера и отдернул занавеску. За ней с прижатым к стене затылком, словно собираясь замерять рост, стоял худощавый брюнет в визитке и съемном пластроне.

— Прошу вас успокоиться, — медленно произнес Трахея. — Мы — студенты военно-медицинской академии и не имеем в виду причинить вам неудобства. В результате трагической ошибки, связанной с вашей женою, наш любимый профессор покончил с собой. Мы намерены лишь выяснить природу этой ошибки и степень его виновности. Чисто профессиональный интерес.

Постоялец молчал, вращая зрачками.

— Это вы написали в газету под именем Селецкого? — брякнул Кисель.

— И что? И что? — вдруг попугаем заповторял брюнет. — Многие литераторы скрываются за вымышленными именами. Доктор Чехов подписывался «Чехонте».

— Абсолютно ничего, господин Шуляковский, — почти промурлыкал Бенедиктов, незаметно подтаскивая перепуганного за полу визитки к открытому пространству номера. Сказывалось прохождение практики в заведении св. Николая Чудотворца для душевнобольных на Пряжке. — Давайте мирно поговорим. Вы в публикации выразили сомнение в том, что операция после обращения вашей жены в клинику была произведена. Мы располагаем другими данными.

— Из какого источника? — вякнул вдовец с параноидальным любопытством во взоре.

— Один из нас ассистировал профессору Коломнину, — не моргнул глазом Бенедиктов.

— Да! Да! Прооперировал! Но убил ее! Убил! — все более отрывисто выкликал Шуляковский.

— Хирург — а профессор Коломнин был выдающимся хирургом, — назидательно заговорил Трахея, — призван не убивать, а спасать. Он не разбойник и не маниак. Мы сочувствуем вашему горю, однако добиваемся истины. И добьемся! — Бенедиктов

не выдержал и рубанул кулаком по спинке стула, на который упал Шуляковский. Тот заслонил лицо руками, сложенными крестом, как человек, которого бивали.

— Она была слабого телосложения, — забормотал он. — Дважды фосфором травилась...

— Спичками, что ли? — спросил Кисель. — И с чего бы? — с той минуты, как вдовца удалось выволочь на свет, он почему-то не сводил с него взгляда.

— От нервов, — тихо сказал Шуляковский.

— Как вы попали к профессору? — Бенедиктов, похоже, не без удовольствия переходил от роли психиатра к роли следователя.

— Мне его сослуживец рекомендовал. На Балканах с Коломниным познакомился.

— Вы из военных? Не похоже.

Шуляковский пожал плечами.

— Что показал первичный осмотр?

— Язву прямой кишки с пол-ладони величиной, — послушно отвечал застигнутый вдовец.

— Так профессор из-за фосфора решил не прибегать к эфиру или хлороформу? — прозрел Кисель.

— Я не знаю. Я не специалист, — вяло бубнил постоялец.

— Голову даю — он с Сущинским консультировался, — выпалил Горошков.

Сущинский занимал в академии кафедру фармакологии и пребывал в большом и не всегда подтверждаемом авторитете.

— Кому твоя голова нужна? — осадил товарища Бенедиктов. — Вы лично с профессором говорили после осмотра?

— Говорил, — кивнул Шуляковский. — Он уверял, что кокаин не опасен. Какого-то француза цитировал. Убеждал, что дурные последствия маловероятны.

— Делляфоса, — снова догадался Кисель. — Тот по сорок восемь гран больным засаживал — и хоть бы хны.

— Но зачем вы написали, что операции не было? — приступил Бенедиктов.

— Погоди, погоди, — зачастил Кисель. — Вы вскрытия боялись. Почему?

Шуляковский опустил голову и уставился на руки.

— Что это у вас с ногтями? Руку покажите, — внезапно приказал Кисель.

Шуляковский обреченно вытянул обе.

— Да у вас не сифилис ли часом? — безжалостно, в лоб, спросил Кисель. — Ногти характерного серого цвета, с бороздами и точечной истыканностью. Не потому ли жена фосфор со спичек соскребала, что заразили вы ее вульгарным образом?

— Я позора не хотел. Для нее, не для себя, — тихо и без истерики сказал Шуляковский.

— Болезнь — не позор. Плохих и хороших болезней не бывает. Это предрассудки обывательские. Позор — трусость. Вы достойного человека оговорили. Великого хирурга! — приятели никогда не видели Киселя в таком вдохновении.

— Обойдемся без эмоций! — сказал Бенедиктов резко. — Тут уголовное преступление налицо.

— Донесете? — еще тише, чуть — и шепот, спросил вдовец.

— Мы — врачи, а не доносчики, — ответит Кисель, не уменьшая пафоса. — Лечение бы вам начать, пока не поздно.

— Поздно, — Шуляковский встал со стула. — Две смерти на мне.

— Ну, воля ваша, — Кисель глубже натянул фуражку и уже на выходе добавил. — Вы тут к совести взывали... Знаете, что Коломнин сказал, когда его коллеги утешать бросились?

Шуляковский молчал. Не дождавшись признаков заинтересованности, Кисель продолжил:

— Он сказал: «У меня есть совесть, я сам себе судья».

— Сам? — Шуляковский расположенно ухмыльнулся. — А Бог?

Кисель только рукой махнул.

Поели в Бахминской польской кухмистерской по тридцать копеек порция и вернулись тем же макаром на Нижегородскую. На месте Анатомического института прежде был деревянный барак, переполненный трупами и освещаемый жирно коптящими масляными лампами. Студенты в черных клеенчатых фартуках нещадно курили прямо у столов, чтобы отбить трупный запах, преследующий жителей Выборгской и пациентов госпиталя. В относительно новое, но уже почти столь же зловонное здание профессор физики Егоров провел электричество. В зале стоял пристенный часовой шкаф — красного дерева, от пола до потолка, в резном корпусе с низким маятником, демонстрируя искусство равно часовщиков и краснодеревщиков. Накануне костодробительного экзамена по нормальной анатомии, изучающей органы здорового, то есть не существующего в природе человека, в морфологическом корпусе оставались в окружении трупов самые отпетые. С двенадцатым ударом часов надо было проорать во всю глотку: «Жооопаааа!!!», что якобы гарантировало успешную сдачу.

— Найду кое-кого, поговорю, — это были первые слова, сказанные Бенедиктовым после «Пале-Рояля». — Завтра похороны. Форма парадная. При шпаге.

Однокурсники поручкались и подавленно разошлись.

Скорбный лист Шуляковской Трахея получил без труда и незадорого. Старших МХовцев сотрудники считали за своих, говорили с ними на равных, и особых церемоний не потребовалось. В карточке значилось, что операция была произведена без дефектов. Туберкулез не подтвердился. Резюме: «отравление кокаином».

Морозов до странности легко нашелся в лабиринтах главного здания. Еще в прошлом году он тянул студенческую лямку и поначалу запираться не стал. Рассказал, как в присутствии Коломнина трижды ввел шприцем в виде клизмы раствор кокаина по шесть гран. Но больная не теряла болевой чувствительности, и добавили еще столько же. Шуляковская продолжала стонать. Язву выскоблили, наложили тампон со стерильным маслом. Пациентку перенесли в палату. Пульс был учащенный. Через сорок пять минут она потеряла сознание. Появилась одышка — диспноэ, синюха — цианоз лица и рук. Морозов вызвал Коломнина, и тот констатировал отравление. Сделали искусственное дыхание способом Сильвестра. Больного кладут на спину, под лопатки суют одеяло, сложенное валиком, голову закидывают и поворачивают набок, чтобы рвотными массами не задохнулся. Коломнин сам встал на колени у изголовья, взялся за предплечья несчастной у локтевого сгиба и отводил ее руки за голову. Применили входящую в моду электростимуляцию мышц — фарадизацию, ввели подкожно эфир и мускус, внутривенно — аммиак, сделали трахеотомию, через трубку закачали кислород и амилнитрит. Все манипуляции оказались безрезультатными. Морозов подтвердил догадку, что Коломнин воспользовался консультацией Сущинского, поскольку опыта использования кокаина не имел, и Сущинский советовал вкатить не более двух гран. Через два часа Шуляковская врезала дуба, не приходя в сознание.

— Но ведь она люська, — осторожно сказал Бенедиктов. «Люська» происходило от «люэса», и Морозов не мог за год забыть студенческого жаргона.

— Откуда ты взял? — Морозов потемнел и, кажется, вспотел. Во всяком случае, отер лицо платком.

— Такой корифей, как Коломнин, сифилис еще при осмотре должен был вычислить, — сказал Бенедиктов, не отвечая. — Ты у Тарновского учился?

«Распознавание венерических болезней у женщин и детей» штудировал? По сифилидологии практиковался? И ничего не заметил? Что, мироздание рушится? Бога за бороду схватил, к гению пристроился, диссертацию кропать начал, а тут такая неприятность в облике смерти.

— Да кто гений? — уязвленно, с горловым шипением выговорил Морозов. — Психопат, идеалист, перфектионизмус...

— Ах, вот оно как! — Бенедиктов еле сдерживался. — То-то вы ему пятки лизали, перфектионизмусу!

— Я ничего никому не лизал! — отверг Морозов. — Иди-ка ты со всем этим, Трахея...

— Куда? — весело спросил Бенедиктов, предвкушая драку.

— К Боткину иди!

— А ведь ты прав, — задумчиво сказал Трахея. — С этим надо к Боткину...

II

Как все несостоявшиеся хирурги, Сергей Петрович Боткин, клиницист и диагност, мэтр плессиметра, гранд простукивания и ослушивания, изживал недопущение в высшую касту медицины, занимаясь всякой социальной ежедневностью. Свидетели рассказывали, как он в молодости становился посреди комнаты с закрытыми глазами, его хорошенько раскруживали, пока не терял ориентации, после чего Боткин, стуча молотком по изогнутой костяной пластине, безошибочно указывал, обращена ли пластина к стене, окнам, двери в другую комнату или к печке с открытой заслонкой. Даже в его неоднократном замечании, что военный врач должен быть не только хирургом, но и терапевтом, слышалась хроническая уязвленность.

Первый лейб-медик из русаков, пользовавший Государыню Марию Александровну и сопровождавший Ее Величество на воды, Боткин состоял во всех мыслимых обществах и комиссиях числом до сорока трех, был попечителем всех городских больниц и богаделен, гласным Думы, редактировал газету, читал лекции, вел частную практику и выпиливал на виолончели фа-мажор Брамса.

В хирургию он не попал из-за астигматизма — книгу держал у самых глаз, вдобавок страдал печеночной коликой и грудною жабой, но ни одного рычага не отпускал. И на своих знаменитых домашних раутах на Галерной, собиравших сходбища, всегда присутствовал самолично. Жил, впрочем, скромно, без затей, как полагается русскому лекарю, и свои немалые гонорары ухал на филантропию. От звания царскосельского лейб-медика, которое вызывало в его адрес сардонические насмешки либералов, Боткин время от времени с хорошо продуманной безуспешностью пытался отбояриться, пользуясь тем, что состояние здоровья Императрицы скакало от кратковременного улучшения к резкому ухудшению, но при этом болезненно соперничал со своим гатчинским коллегой — немцем Здекауэром. Если Здекауэр занимался холерой, Боткин тут же бросался на чуму. На астраханской чуме его и подкараулила главная, после хирургии, неудача жизни.

Инициатор создания русского эпидемиологического общества, Боткин так и не выехал в станицу Ветлянскую — или, как многие из командированных на место трагедии чиновников, не осел хотя бы в Царицыне, по соседству. Пораженная странным недугом Ветлянка массово вымирала. От аналогичных симптомов последовательно гибли и все посланные — или по собственной инициативе туда отправившиеся — врачи, в том числе отец Бенедиктова. Заочно поставленного астраханцам чумного диагноза, или, как выражались еще несколько лет тому, *диагнозы*, Боткину не могли простить ни в правительственных, ни в медицинских

кругах. Твердо можно было сказать лишь о массовой инфекции бубонной формы. Бенедиктов-старший, как и удравший от смертельной опасности местный доктор Депнер, упоминал в рапорте об особом развитии в Ветлянке сифилиса. Юный Бенедиктов рвался из имения под Саратовом в Астрахань, но уступил мольбам матери и через год поступил во МХу. Ошеломленный газетной и закулисной травлей баловень судьбы, но при этом действительно фанатичный трудолюбец, Боткин по закону парных случаев — или из упрямства — ошибся вторично, если признать ошибкой «чумной кошемар», используя ставший популярным оборот Каткова. А именно к этому склонялись члены двух комиссий, одна из них — иностранная.

Вскоре после того, как граф Лорис-Меликов «победил» ветлянскую заразу, спалив дотла триста станичных домов и рыбные склады, забитые икрой и селедкой, Боткин нашел несомненные признаки бубонной чумы у дворника Михайловского артиллерийского училища Наума Прокофьева. Слухи о проникновении черной смерти в столицу поползли со скоростью фетовских «серебряных змей». «Кошемар» под бойкими газетными перьями превращался в «чумную комедию», а бедолагу Прокофьева именовали «премьером» и «бенефициантом». Одно то, что никто из сорока восьми соседей Прокофьева, пожарным порядком выселенных в карантинное оцепление в Екатерингоф, не заболел, могло смутить кого угодно. Но Боткин продолжал упорствовать в диагнозе, а дворника держали за семью печатями в госпитале. И снова были отряжены две авторитетные комиссии, от градоначальника и от медицинского совета, и обе пришли к заключению, что дворник болен люэсом.

Повеселевшего Наума под шумок выписали, а его соседей на тех же дрогах к их вящей радости вернули в михайловские подвалы. Наиболее зубодробительным фельетоном по сему поводу снова разразились «Московские ведомости»: «Итак, в Петербурге, как и по всей Руси, по поводу чумы произошло много шуму из ничего, и петербургские газеты уже спешат взапуски одна пред другою оплакивать несчастную жертву ошибки, — не Прокофьева и не людей, внезапно схваченных и подвергнутых карантинным стеснениям, — а медицинскую репутацию г. Боткина». И, хотя клиницист оговаривался, что «от этого случая, даже если бы таковых встретилось и несколько, до эпидемии чумы — лежит огромное расстояние», его в течение нескольких недель полоскали и обвиняли во всех смертных грехах вплоть до сговора с англичанами и намерении уронить биржевой курс рубля.

Среди учеников профессора немедленно отыскали закоренелых нигилистов. Одного из них, Алышевского, архиятр якобы внедрил в ливадийский дворец. Выводы были сделаны на том основании, что доктор Алышевский пользовал Императрицу в партикулярном пиджаке и не мыл рук после того, как играл с дворцовыми собачками. Газеты иного направления в свою очередь объявляли Боткина спасителем Царствующего дома и — бери выше — Отечества. На карьере Боткина двойное квипрокво, надо сказать, существенно не отразилось, однако он, страстный борец со старением, резко поседел, погрузнел, и нос у него помясистел, так что очки стали глубоко врезаться. Но его недоверчивое отношение к «генералу», как почтительно называли венерический недуг в войсках, оставалось необъяснимо стойким.

Зайти к Боткину в кабинет мог при желании каждый, к тому же приемы он вел открытые и любил, чтобы как можно больше студентов присутствовало в кабинете и в созданной им лаборатории. И все чаще профессор погружался в специфически русское состояние, которое его кумир Пирогов называл самоедством, в коем его и заставали посетители. Бенедиктов просунул голову в кабинет, слегка кашлянул, поскольку Боткин сидел спиной к двери. Сергей Петрович обернулся довольно живо, но всем корпусом, как свойственно тучнеющим, и Бенедиктов только что обратил внимание на то, что он является полным тезкой самоубийцы Коломнина. Сюртук

клинициста, жилет и сорочка были расстегнуты, а в руке он держал стетоскоп с диковинно длинной гибкой ручкой.

— Можно, профессор? — спросил Бенедиктов, стараясь не басить через меру.

— Входите, Максим, — разрешил Боткин, застегиваясь, но не слишком торопливо.

Бенедиктов не удивился: архиятр многих студентов знал по именам.

— Стетоскоп для самовыслушивания, — прорекламировал мэтр и зачем-то добавил: — Подарок, — как будто посетитель мог заподозрить его в хищении или возмутиться тем, что инструмент куплен за свои.

— Шумок in corde довольно резкий, — засвидетельствовал Боткин. — Ну да Бог с ним! Вы, простите, по какой надобности? У меня через час заседание на Васильевском. Проштрафились?

К Боткину, зная его добродушие, часто обращались в отчаянных ситуациях, и многим он помогал улаживать конфликты с Конференцией.

— Я, знаете ли, сам в Университете в первый месяц учебы не был обеспечен от афронта, — языком осьмнадцатого столетия Боткин в который раз на памяти Трахеи принялся рассказывать, как сутки отсидел на цугундере за незастегнутые крючки вицмундирного воротника.

Бенедиктов дослушал историю преследований и начал без преамбул:

— Я, профессор, собственно, по поводу Коломнина...

— Ужасная, ужасная драма! Я потрясен, — Боткин заломил руки. — Но замечательно, смею заметить, Суворин написал, — Боткин взял со стола лежащий сверху номер «Нового времени»: — Как тут? А, вот: «...произнес над собою как над хирургом жестокий, страшный, несправедливый суд, но никто не откажет ему в высоком и благородном порыве, под влиянием которого он заносил над собою руку».

— Я читал, профессор, — Бенедиктов еще немного смягчил интонацию, хотя при его голосовом диапазоне было уже и некуда.

— А что же тогда? С погребением неувязки? Городские власти препятствуют?

— Нет, всё своим чередом, — остановил поток Бенедиктов. — Но причина случившегося заставляет задуматься...

Боткин пересел на диван и, сопя, как провинциальный комик, наконец справился с петлями и пуговицами.

— Видите ли, молодой человек... Меня смерть Коломнина тоже на многие размышления подвигнула. Я днями непременно выскажусь на торжественном заседании Общества русских врачей. Уже и набросал кое-что. Заседание будет максимально открытым. Но вам скажу приватно... У каждого хирурга есть своё персональное кладбище, и профессионал должен уметь с этим жить.

Бенедиктов представил отца в астраханской, пропахшей рыбьей требухой глуши, в чумном балахоне с палаческим колпаком, — и выдавил:

— Вы, безусловно, правы. Но сейчас посмертная судьба коллеги отдана на откуп мало того что людям несведущим, так еще и бессовестным. Необходимо мнение специалистов.

— Что вы хотите от газетчиков? — повторил светило недавнюю фразу собеседника. — Мы исправим положение, но, конечно, не так скоро. Я свое выступление напечатаю в ЕКГ, — так Боткин именовал для краткости свою «Еженедельную клиническую газету». — Некролог уже заказан, и даже присланы первые наметки, — Боткин тяжело потянулся к столу, пошарился и извлек листки: «Неутомимость в постоянном труде, неустанное стремление к истине не только в сфере научной, но и обыденной жизни, безусловная справедливость всегда и во всем, доходящая до необычайной строгости в отношении к себе, чуткая отзывчивость к животрепещущим запросам врачебного дела, — вот те характерные черты, которыми обрисовывается

симпатичная личность покойного Сергея Петровича». Я лично поведаю обо всех препонах, которые ставили покойному на профессиональном поприще завистники и недоброжелатели, особенно в Киеве. Именно эти человеческие пороки вольно или невольно развили в нем недоверие и пессимизм. Мы также непременно опубликуем прошлогодний блестящий доклад Коломнина на тему военно-полевой хирургии «Сравнительный очерк действия на организм различных пуль». Ведь Сергей Петрович состоял в нашем обществе, хотя относился к его деятельности скептически, как, увы, и ко многому другому.

Репетиция траурной речи затягивалась, и Бенедиктов почувствовал горячее нетерпение.

— Вы считаете, что окончательный диагноз погибшей был поставлен верно? — почти перебил он Боткина, с годами привыкшего, что ни говори, к фимиаму и преувеличенной почтительности.

Боткин развел руками:

— Причиной смерти несчастной, как показало вскрытие, послужило только отравление кокаином.

— Но Коломнин не считал себя ответственным за ошибку в анестезии, — Трахея перестал придавливать голосовые связки.

Профессор, кажется, его не слышал, увлекшись:

— Как бы то ни было, не что иное, как смерть пациентки, стала причиной душевных терзаний, усугубленных одиночеством, усталостью и давним состоянием нервного расстройства.

«Значит, не сплетни, — подумал Бенедиктов с горечью. — Они хотят его психопатом выставить. Честь мундира блюдут».

— И почему вы говорите об отсутствии профессионального мнения, когда Манассеин во «Враче» дал некролог еще вчера? — первые нотки раздражения мелко разбежались по благородно скорбному тону Боткина.

— Эта публикация и породила кривотолки, — оспорил Бенедиктов.

— Чем же, позвольте спросить?

— Простором для толкований. Во «Враче» написано: «хотел произвести операцию». Хотел — еще не произвел. Журналисты на все лады повторяют.

— Ну, это, знаете ли, издержки, — Боткин трудно, не за одно усилие, поднялся с дивана. — Простите, Максим Максимович, но мне пора.

«И отчество помнит, — зло подумал Бенедиктов. — Все он отлично помнит и понимает».

— И вы меня извините великодушно, Сергей Петрович! Займу еще мгновение вашего драгоценного времени. Николай Иванович Пирогов, как известно, много занимавшийся вопросами анестезии, был ведь не только вашим учителем, но также воспитателем и Коломнина. Позволю себе напомнить, что Пирогов считал обнародование ошибок священною обязанностью добросовестного преподавателя. Подчеркну, с вашего позволения: преподавателя! А мы имеем дело с непревзойденным хирургом, честь которого задета. Я покуда лишь скромный студиоз, но волею обстоятельств мне удалось овладеть фактами, согласно которым покойная страдала венерическим заболеванием. Как я имею основания предполагать, муж пациентки попросил профессора из ложных представлений о приличиях скрыть их. Не могу вообразить, чтобы врач уровня Коломнина не распознал признаки сифилиса. Однако он был связан словом. Возможно, погибшая принимала препараты ртути, оказавшиеся несовместимыми с кокаином. Возможно, ее основное заболевание снизило порог чувствительности. Не исключено, что это был случай, как выражается госпожа Тарновская, «психопатического темперамента». Супруг этой незаурядной женщины,

как вам известно, защищался в нашей академии по теме «Распознавание венерических болезней у женщин и детей». Профессор Коломнин не перенес непростительной уступки обстоятельствам. Операция в данном случае вообще не была показана. Он сознательно пошел на риск — и потерпел фиаско, что его и убило. Самое трудное — это сказать больному, что операция не нужна. Ведь больной у врача спасения ищет. А врач не имеет права выказывать свои сомнения.

Боткин при упоминании венерических болезней явственно вздрогнул, не мог скрыть замешательства и некоторое время пытался овладеть собой.

Помолчали за смирение.

— А вы знаете, — неожиданно сказал диагност, — ведь он приходил ко мне в эти дни.

— Зачем? — совсем уж по-бурсацки бесцеремонно осведомился Бенедиктов, хотя, в отличие от товарищей, в бурсе никогда не учился.

— Советовался. Кипу книг и журналов приносил. Вот так подбородком держал, — Боткин показал, как и скривился от подступающих слез. — Мы лечим не болезни, а больных. То есть людей. А человек сложен. Можно сказать, ограниченно познаваем. И поэтому у нас есть право на ошибку. И будет всегда, пока существует медицинская помощь. И никто от ошибок не застрахован. Я — первый, — и многозначительно посмотрел на собеседника.

— Он и на заседание кафедры приходил, — торопливо, чтобы не упустить момент, заговорил Трахея. — Сказал, что оставляет преподавание. Ибо священную обязанность нарушил...

— Пожалуй, я несколько скорректирую свое выступление в Обществе. Засим позвольте откланяться. Извозчик, поди, совсем продрог.

На пороге стоял очередной ищущий покровительства ординатор с шубой.

III

— Ле-е-ея! Лееея! — протяжно и тонко звал во сне Бенедиктов, и этого зова хватало, чтобы извергнуться и проснуться в возгрях. Хорошо, по праву выпускника он жил в комнате один и застирывал казенную простынь в тазу без свидетелей. Кисель после летних вакаций привез из своего черноморского приволья брошюру какого-то местного профессора-правоведа, обезумевшего на почве эмансипации. По его провинциальному мнению, столичная женщина-эмансипэ выглядит следующим неприглядным образом: «...мужская шапка, мужской плащ, грязная юбка, оборванное платье, бронзовый или зеленоватый цвет лица, подбородок вперёд, в мутных глазах всё: бесцельность, усталость, злоба, ненависть, какая-то глубокая ночь отблесков болотного огня, — что это такое?» Однокурсники всласть повеселились, цитируя устрашившегося правоведа, но втайне Бенедиктов знал, что любит в Лее именно эту бронзу скул и «отблески болотного огня» в оливковых, агатовых, паюсных зрачках, матово мутнеющих перед завершением очередного сражения тел. Он знал каждый выступчик ее худобы, а за состоянием юбки или платья уследить часто элементарно не успевал.

Лея снимала флигель на Зверинской, в бывшей Татарской слободе, смотревшей на шпиль Петропавловского собора с копией ангела Ринальди, но, как и вся Петербургская сторона, повторявшей типические черты уездного захолустья. Даже Большой проспект Петроградской стороны, отчего-то копировавший названием магистраль Васильевского острова, был застроен небольшими сонными домами, из которых самый внушительный, с пожарной каланчой, выходил на Съезжинскую. А Зверинскую, словно бы намекавшую на перевод Леиного имени — «антилопа», — отличало беспримерное количество огородов, палисадов и жемчужного куриного помета. В непролазной грязи посреди улицы постоянно застревали повозки.

До Стрелки и набережной Невы было не более четверти часа хода, до Выборгской через плашкоутный мост — столько же, и всякий раз, покидая Зверинскую, Бенедиктов будто попадал не просто в другой город, но и в другую эпоху.

Черты оседлости Лея избежала, выучившись на фельдшерицу при Рождественском лазарете на Песках. Деньги на курсы дал ее соплеменник Гораций Гинцбург. Разрешение на съем пришлось брать у Леиного дяди, ювелира. Хозяйка, вдова мелкого чиновника, круглый год торговала хлёбовом на Обжорке, везя с великими предосторожностями во избежание расплескивания огромные чугуны в тележке и неся их до засаленного стола на голове. Летом неплохую выручку давала клубника, а зимой — соленья. По возвращении она выпивала отдохновенной настойки и мертво засыпала, никогда не влезая в жизнь жилички. И к ней тоже никто не вторгался с расспросами, куда она, бездетная бобылка, девает деньги или на что их копит.

Им было не до хозяйки. Из-за его экзаменов и ее работы виделись они не чаще раза в неделю и успевали так соскучиться, что стоило Бенедиктову взять Лею за плечи и вложить большие пальцы под прижатые к туловищу руки в чуть волглые подмышки, как возбуждение накрывало их на много часов, иногда на всю неусыпную ночь, а в коротких перерывах они курили и говорили, никогда потом не помня, о чем. Они почти никуда не выбирались, и не из-за безденежья, а из-за необходимости уединения, если не учитывать, что познакомились в театре, когда Лея еще принадлежала не ему.

На премьеру русской «Кармен» в самом начале сезона билеты с хорошей скидкой добыл все тот же Боткин, заботившийся о культурном развитии студентов. В Мариинском шел нескончаемый ремонт, и оперу с образцовой испанкой Славиной давали в Большом Каменном театре, который теперь закрыли, признав пожароопасным, каковым он стал, как думал Бенедиктов, для него одного. С Леей они столкнулись в буфете, со второго взгляда на второй акт уже не пошли, побредя куда-то от Театральной площади и на миг очнувшись на Зверинской возле пропахшего хлёбовом домишки, а за дверью впав в непроходимое забытье. Единственное место, где удавалось пригасить страсть, был Зоологический сад, Зверинец рядом с их неостывающим ложем на территории Александровского парка, давший имя улице, в пределах которой эта страсть полыхала. В минувшем году кончился срок аренды земли, и директор, оборотистый немец по фамилии Рост, хлопотал о продлении, но, видимо, не вытягивал запрошенную взятку, что не помешало ему в году текущем соорудить новый павильон для обезьян.

Зверинец был маленький по территории, но удивительно разумно и уютно устроенный и чистый. Служители-татары драили вольеры и посыпали песком дорожки. На голландской ферме можно было купить свежайшие масло и сливки. Даже симфонический оркестр играл. Лею и Бенедиктова особенно привлекали австралийский щеткохвост, которого, как и их самих, трудно было выманить из дупла, умилительный толстый лори с бурыми пятнами вокруг глаз, точно у сердечника, и бразильская носуха из семейства енотовых с потешным, казалось, отдельно приставленным, полосатым хвостом. Скелет кита лекарская парочка инстинктивно обходила — он напоминал обоим испытания по анатомии. Им нравилось толкаться на выставках экзотических народов с нубийцами на абиссинских лошадях, кафрами, пигмеями и флегматичным китайским великаном Шанг-ю-Дзингом.

Нынче Трахея встретил Лею на углу Кронверкского, и до уездного мирка Зверинской они дошли безгласно. Лея, как и он, каждый день видела страдания и смерть, излишней сентиментальностью не отличалась и умела оставлять за порогом лазарета все, что касалось работы. При этом она жалела в зверинце всех заложников любви к зрелищам и по-немецки осведомлялась у нубийцев, не мешает ли им кольцо в носу. Печка была натоплена — видимо, хозяйка сегодня вернулась с Обжорки

пораньше. Бенедиктов помог Лее снять жакет, потянулся к плечам, но та увернулась, точно в танце:

— Песни песней сегодня не будет, Бенедиктов, — сказала она слишком знакомым тоном, чтобы усомниться в твердости намерения.

— Может, за вином сходить?

Несмотря на захолустность, на Петербургской торговало несколько недурных ренсковых погребов, и Лея иногда любила махнуть бокал виноградного, после чего становилась совершенно неудержимой.

— Нет, и вина не будет, — твердость, пущая прежней, не охладила его, но заставила подчиниться.

Бенедиктов не раздеваясь сел у стола и поймал себя на том, что, год проведя в этой комнатенке, не смог бы ее описать.

— Зачем ты его оставила? — спросил он тоскливо.

— Это он меня оставил, — тихо сказала Лея.

— После «Кармен»? — уточнил Бенедиктов.

Они никогда не касались этой темы.

— До, — коротко ответила она, и из суламифьих глаз выскользнули два чистой воды бриллианта. — Возможно, что и до знакомства. Ему нужна была не женщина, а идеал. Я для этого не подхожу. И никто не подходит.

Бенедиктов подумал, что не видел ее плачущей.

— Послушай, — сказал он, беспомощный перед женскими слезами, как все не окончательно подлые мужчины, — самоубийство чрезвычайно выборочно связано с каким-то конкретным обстоятельством. Одним, так сказать, боком. Здесь совокупность причин действует по нарастающей. Мечников с собой кончал несколько раз. Говорят, Толстой о нем повесть пишет.

— Не знаю, при чем здесь Мечников, а тем более граф Толстой, — Лея вяло усмехнулась. — Но мы каждый день друг другу эту совокупность создаем. Существует право, по которому мы можем отнять у человека жизнь, но нет права, по которому мы могли бы отнять у него смерть. Ничше ведь ты мне толковал.

— Он ошибся, — Бенедиктову все же удалось поймать ее запястья. Они были холодны и неотзывчивы. Он успел подумать, что ошибку с его слов легко приписать модному немецкому философу, а не покончившему с собой профессору медицины. — Или не распознал психопатическую конституцию. Такое может с каждым врачом случиться, понимаешь?

— Он — не каждый, — сказала Лея. — Он — первый.

— Твой? — спросил Бенедиктов и пожалел об этом.

— И мой. И вообще. Он везде и всегда был обречен первенствовать. И никогда ни в чем не ошибаться. Ему не надо было становиться врачом. Медицина построена на лжи. Даже когда больному «открывают правду», это самая отъявленная ложь. Как в политике. Врач никогда не знает всей правды, и это мучило его особенно. Если бы ты знал, как мучило! Он же прекрасно понимал, что его не осудят за ошибку, а, наоборот, оправдают и возвысят. Потому что сами кругом в заблуждениях. И эта солидарность, пресловутая «честь мундира» слишком напоминает круговую поруку, когда на кону жизнь. Но в медицине карьера выше жизни! И вот он смертным грехом самоубийства попытался сказать: нет, не выше. Око за око! Я убил ее — убью и себя. И не надо мне Крафт-Эбинга тыкать. Не был Коломнин неврно-психопатическим субъектом. А если пациентка была истеричкой, так тем хуже!

— Да ведь гордыня это! — не выдержал Трахея.

— Может, и так, — небывалая сговорчивость начинала его пугать. — Только на церковный язык отщепенцы переходят, когда других доводов нет. Он не о себе пекся. Но в том, чему жизнь посвятил, ошибаться не считал себя вправе.

Бенедиктов хотел возразить, что все, что делает человек, он делает для себя и думает всегда в конечном счете о себе, но не стал.

— Почему это я отщепенец? — предпочел он обидеться.

Лея уселась на кровать и закурила александрийскую сигарету Гианаклиса. Слезы ее не высыхали и не теряли формы, оставаясь парной прозрачной фигурой горя.

— А ты думаешь, если «с веком наравне», так уже пастырь?

Бенедиктов стерпел, хотя в другой обстановке нашелся бы, что сказать. Древняя кровь Леи делала ее заведомо старше и мудрее.

Она поведала ему о романе с Коломниным в их первую ночь. Лея не то что не умела лгать — была слишком женщиной, чтобы не уметь, но не видела в этом никакой нужды. Объясняться с профессором она Бенедиктову запретила, притом была уверена, что мстить он не станет. Всякий раз, встречая Коломнина на кафедре или в операционной, он испытывал сложные чувства молодой победительности вперемешку с общей некомильфотностью. Его уважение к хирургическому искусству Коломнина, к его профессиональной интуиции высшей пробы, конечно, не умалилось, но подспудно он словно ждал подвоха. И самоубийство стало таким подвохом.

Лея выдохнула сладковатый египетский дым:

С тех пор как слово «смерть» — когда-то только слово —
Мне в сердце скорбное ударило, как гром, —
Я в жизнь не верую — угрюмо и сурово.
Смерть, только смерть одна мне грезится кругом!..

— Ты же не любишь Надсона, — насторожился Бенедиктов. Лея нередко обнаруживала познания, которых он в ней не подозревал. Словно из воздуха ловила.

— Как же еврейке не любить Надсона? — Лея смотрела испытующе.

Этой темы они до сегодняшнего дня тоже тщательно избегали.

— Ведь стихи — не когда любишь, — их можно вовсе не любить повседневно, — а когда совпадает. На сей раз вот совпало... Говорят, Надсон умирает в Киеве. Что это за Киев такой, где всем плохо?

Лея наконец заплакала в полную силу, обильно, слизывая слезы, сползающие к углам рта, накапливаясь там, и удерживая обеими руками изливающиеся по щекам двумя карликовыми водопадиками.

«Она ведь любила его», — подумал Трахея, улавливая в себе подростковую оскорбленность.

Лея вдруг подняла голову и убрала руки с лица:

— Ты забыл, что Свидригайлов здесь застрелился?

— Где? — Трахея читал «Преступление и наказание» лет десять назад, мало что соображая.

— На углу Съезжинской и Большого, — она всхлипнула и продолжила в чуть заложенный нос:

Недуг смущенного былым воображенья
Кладет печать ее на лица всех людей,
И в них не вижу я, как прежде, отраженья
Их грез и радостей, их горя и страстей;
Они мне чудятся с закрытыми очами,
В гробу, в дыму кадил, под флером и в цветах,
С безжизненным челом, с поблеклыми устами
И страхом вечности в недвижимых чертах...

Кадил, кажется, не будет?.. Но и страха вечности тоже. Если бы боялся, не стал бы стреляться... Он просто хотел, чтобы ей не было больно! Понимаешь? Чтобы не было больно... Он говорил, что главное — победить боль, а потом уже болезнь...

Бенедиктов обхватил конвульсирующее тело и неистово начал целовать расслабленный безмускульный рот, мокрые шею и уши — туда тоже натекло.

Ушел, когда заснула. Долго стучался в заднюю дверь на Нижегородской. Не достучался. Через кухню, где уже варганили завтрак, прошел к себе в комнату. Достал с полки томик Надсона, 3-е издание «Стихотворений», и дочитал:

И тайный голос мне твердит не умолкая:
«Безумец! не страдай и не люби людей!
Ты жалок и смешон, наивно отдавая
Любовь и скорбь — мечте, фантазии твоей...
Окаменей, замри... Не трать напрасно силы!
Пусть льется кровь волной и царствует порок:
Добро ли, зло ль вокруг, — забвенье и могилы —
Вот цель конечная и мировой итог!..»

Бенедиктов с размаху сел на кровать и остаток ночи провел, раскачиваясь взад-вперед. Он думал о том, что, может быть, боль побеждать не надо, что в боли и проявлен весь человек. И если есть порог, за которым боль бессмысленна, то там и человек лишается смысла, то есть жизни. И мало-помалу отыщутся такие способы анестезии, что человек полностью отучится терпеть. И медицина станет услугой по выписыванию рецептов — не более. «Человек — не более своей боли», — кажется, эти слова ему пришли уже во сне.

Похоронная процессия растянулась по Забалканскому проспекту от Сенной до Московских ворот — мимо Скотопригонного двора и боен, откуда вышли посмотреть на человеческую смерть башколомы, нутренщики и обдирщики в таких же фартуках, как прозекторы Анатомического института. Бенедиктов бегал вдоль червем изгибающейся человеческой цепи взад и вперед до самого Воскресенского монастыря, но Лею так и не приметил. Ему махали из колонны Кисель и Уретра. Он не ответил.

Новодевичье кладбище было самым помпезным в столице — место стоило что-то около полтысячи рублей. Здесь хоронили знаменитостей, к когорте которых Коломнин никогда не принадлежал, оставаясь известным узкому кругу профессионалов. При повороте на девятую дорожку, где закапывали врачей, Бенедиктов оглянулся на бюст Некрасова в свисающей сзади наподобие банного полотенца тоге и подумал, как следы МХи для знающих прослеживаются на погостах: онкологического поэта пользовал профессор Богдановский, которого Коломнин за что-то презирал. Возможно, его отношение было связано с убийством Царя-Освободителя. Что и говорить, Его Величеству целый штат лейб- и гоф-медиков дал вульгарно истечь кровью. Почему не перевезли в Михайловский дворец — рядом, а потащили, не зафиксировав, колыхая по брусчатке, в Зимний? Почему не наложили жгуты на раздробленные голени? Вот тебе и смерть в «красных сапогах», предсказанная московским юродивым! Один хирург Круглевский, выпускник академии, показал себя молодцом да фельдшер Коган, которого все бросили наедине с умирающим мало что не на час. Между прочим, Боткин тоже в царском кабинете по должности присутствовал. Пульс измерял!

Бенедиктову удалось протиснуться ко гробу, который несли студенты, в надежде отыскать Лею в головах толпы. Он запнулся — шпага запуталась в ногах, чуть не упал, и в его сторону повернул голову держащий храмину на левом плече сын Боткина Евгений. Бенедиктов отметил его припухлые мальчишеские губы и миндалевидные, с азиатчинкой, глаза, которыми сын корифея близоруко и сосредоточенно посмотрел

на споткнувшегося. Следом отец нес на руках мальчика лет пяти, а мать зажимала подмышкой его костылики. Мальчику с месяц назад Коломнин спас ногу. Операция эта среди хирургов успела стать легендарной. Мальчик вырывался из рук и твердо, страстно, без нытья говорил:

— Сам пойду! Сам! Пусть доктор увидит, как я хожу!

Речей надгробных Бенедиктов слушать не стал.

— Ле-е-е-е-е-я! Леееея!

Аналгезия

I

Юля хотела стать врачом, но выучилась на медсестру общего профиля. Как раз объявили восьмилетнее образование, пришлось лишний год в школе неволиться. Экзамены сдала на «хорошо» — русский письменно и устно, алгебру письменно и геометрию устно. В медучилище из-за недобора брали с тройками. У Юли троек не было, разве что самооценка посредственная. В классе ее почему-то мальчишки восемь лет доводили, а дома от нее никаких достижений не ждали, а на имеющиеся не обращали внимания. Тихоней будучи, Юля в училище сдавать документы боялась и взяла с собой подружку Римку. Так вместе и поступили, хотя Римка не собиралась. Но, из многодетной семьи, стипешкой прельстилась. Написали изложение, биологию ответили по «шпорам», за чулок в районе ляжки засунутым. Увидели себя в списках принятых. Юля не поверила, а Римка сказала: «Чё, нормально!»

В здании красного кирпича, двухэтажном, помещалась до революции повивальная школа. Акушерское дело Римка выбрала. А Юля не хотела узко специализироваться, а всё попробовать. На практике побывала и в травматологии, и в хирургии, и в педиатрии, и в гастроэнтерологии, даже в вендиспансер удалось. И в родилку с Римкой увязалась. Медкомиссию акушерки проходили строжайшую. Все анализы и мазки. Зубы залечить. Ни царапины чтоб на коже. Халат накрахмаленный до хруста, колпак кулаком ткни — не сомнешь. Юля там и преэклампсию увидела, и тазовое предлежание, и роды они с Римкой приняли под окрики акушерки-солдафонки.

И везде Юле нравилось, даже в прозекторской, даже на картошке, хотя она в колхозе вшей набралась, но не она одна — все девчонки привезли и долго потом выводили. И учебный процесс не тяготил. Римке латынь не давалась, а Юля прямо купалась в ней, союзы и предлоги в конец слов относя. Учебников не хватало, но маманя, «классная дама», постоянно что-то придумывала. Они песню в группе разучили:

O Fortuna
velut luna
statu variabilis,
semper crescis
aut decrescis и т.д.

На смотре второе место заняли. Первое, конечно, «песне-остаётся-с-человеком» присудили. Культпросветучилище звали «кульком». Их попробуй перепой — хоть на латыни, хоть как! КВНы с шутками на медицинские темы проводили. Команда девчонская. На зуботехническом два парня учились — и те растыки деревенские. На втором курсе Римка Юлю сманила на танцы в артучилище. Юля думала, ее никто не пригласит, так пошла — присмотреться. Ни «шпилек» у нее, ни «болоньи». Правда,

у Римки тоже. Зато волосы в «бабетту» легко укладывались, и костюм из набивного поплина соседка Света пошила с мини-юбкой. Но стенку весь вечер подпирала Римка, а Юлю закадрил курсант по фамилии Сорокопут, в артучилище самый клевый. Они танцевали, потом до дома провожал, не лез. В общем, Юля выправилась немного, к своему делу безошибочно пристроившись. В хирургический кружок записалась. Виды патологий изучали на куклах, а кукол этих сами и мастерили, вместе, конечно, с завпрактикой. Из облбольницы ординаторы приходили смотреть, на все стороны кукол вертели и восхищались.

Об анестезиологии-реаниматологии, пока не появился Тимурываныч, Юля имела понятие смутное. Таких отделений еще в училищах не открыли. Ну, наркоз они по хирургии проходили. Юля была уверена, что в операционной король — хирург. Так оно и есть, конечно. Но Тимурываныч был королем везде, даже по сравнению с Сорокопутом, который сразу перестал испускать сияние и поблек. Тимурываныч времени доказывать, что он главный, не тратил. Это само собой признавалось, только он появлялся. А появился на новогоднем «Огоньке», когда девчонки уже пару раз вышли во двор, в слепую от окон завуча зону, кирнуть «биомицину» — «Билэ мицне» за рубль двадцать две — и затянуться болгарской «Родопи». Смеха ради название читали как «Погана». У медиков всегда была мода курить. Но у Юли от никотина болела голова. Когда вернулись, разя, как кошачья трава, Тимурываныч сидел за столиком с завпрактикой. В костюме с узкими лацканами и в нейлоновой рубашке. Никто не знал, кто это. На внешность не Ален Делон, но симпотный.

— Освежились? — спросил насмешливо. Сто процентов знал, куда и зачем они исчезали. И как будто заранее знал всех, и они его знали раньше.

— Девочки, — сказала завпрактикой, преодолевая искушение сейчас же написать докладную директору, — это Тимурываныч, новый анестезиолог горбольницы номер четыре.

«Четверку» звали «обкомовской». Попасть туда никто и не мечтал. Рассказывали, там аппаратура японская.

— Тимурываныч любезно предложил прочесть у нас спецкурс по своей специальности, — продолжала завпрактикой, справляясь с бешенством. — Анестезиология и реаниматология в нашей стране только развиваются.

— Кое-где уже и развились, — улыбнулся Тимурываныч. — Подумайте за время сессии. После каникул начнем. А пока — дискотека!

Откуда-то взялась гитара. Ее точно в зале предварительно не было, никто из девчонок не играл. И прислоненной к столику не видели.

Тимурываныч что-то там покрутил и запел без надрыва, неожиданно:

Проходит жизнь, проходит жизнь,
как ветерок по полю ржи.
Проходит явь, проходит сон,
любовь проходит — проходит всё...

Девчонки замерли, слезами давясь на фоне «Билэ мицне». Им было по семнадцать лет, жизнь ураганила. Через год, когда вышел фильм «Вертикаль», Юля сравнила и поняла, что Тимурываныч поет лучше Высоцкого. Но немного на него похож. Невысокий и неотразимый. Только без наклеенной бороды.

Когда в ближайшую субботу длинновязый Сорокопут наклонился поцеловать, она увернулась и сказала немыслимое:

— У тебя уши лопоухие!

Все твердили, что медсестре замуж за военного надо, и она соглашалась. Но Тимурываныч военным не был. Маячила сессия и муки безответности.

Их учили хорошо. И по физиологии, и по детским, и по инфекционке, и по дерматовенерологии, и по стоматологии, и по неврологии, и по терапии лекции не хуже вузовских, такое существовало общее мнение, хотя никто из потока на вуз в будущем не замахивался. Но Тимурываныч — это было нечто другое. Гипноз и месмеризм. Он рассказал и про Гипноса, и про Мессмера. Юля осмелилась и спросила:

— А вы пробовали?

— Пробовал, — отреагировал Тимурываныч. — Не помогло!

Он любил, когда задавали вопросы. Никогда не опускался до «понятности». Юля сначала половину слов не разбирала, а он настаивал: «Вопроску включаем!»

— Томасу Мортону, впервые применившему в 1846 году ингаляционный эфирный наркоз, поставили памятник в Бостоне, — говорил Тимурываныч, никуда не подглядывая. — Вообще Мортон был стоматологом, имел право только зубы лечить. Но с той исторической операции — а оперировал он художника Эббота — ведет отсчет анестезиология, хотя эфир для обезболивания Кроуфорд Лонг впервые применил за четыре года до Мортона и десять лет скрывал этот феноменальный факт. На постаменте памятника Мортону написано: «Во все времена до него хирургия была агонией». Осмелюсь поправить: не только хирургия. Принцип: «терапия — это не больно» действует до сих пор. Но терапия — такой же, может, лишь чуть менее проявленный источник страданий. Боль — это яркий, но всего лишь компонент страдания. Когда мы говорим: «Душа болит», мы переносим эмоциональные переживания в область боли. Когда мы говорим: «Пациент страдает», мы объединяем его физические и эмоциональные ощущения. Великий врачеватель Войно-Ясенецкий сказал: «Для хирурга не должно быть "случая", а только живой страдающий человек». Боль — главный противник анестезиолога. Анестезиолог защищает пациента от страданий, а не от своего коллеги. Эббот после той вошедшей в учебники операции заключил: «Мне не было больно!» Вот высшая похвала и цель людей моей профессии.

Что же такое боль? Это опережающий болезнь сигнал организма. Древние греки называли боль сторожевым псом здоровья. Английский физиолог Шеррингтон считал, что боль «в корне целесообразна». А вот что говорил русский психиатр Чиж: «Боль является самой первой реакцией на убивающее живую ткань раздражение, и самое ничтожное раздражение, например, укол булавки, капля уксусной кислоты, вызывает боль, хотя разрушение, причиненное этим раздражением, так ничтожно, что иногда мы не можем убедиться в его присутствии при помощи имеющихся в нашем распоряжении методов исследования. Боль можно рассматривать как предупреждение об опасности; она сообщает организму, что, если раздражение будет продолжаться и станет интенсивнее, живая ткань, составляющая организм, превратится в мертвую ткань».

Отношение к боли в человеческой истории изменчиво. Боль веками считали абсолютно благоприятным фактором, а в смысле моральном — абсолютно благотворным. Выносливость, адаптированность к боли специально воспитывалась, а, напротив, неумение терпеть боль вызывало презрение. И установки любого общества были напрямую связаны с отношением к боли. Но если умение преодолевать боль самостоятельно для человека есть проявление героизма и высоты духа, то для врача — это признание в непрофессионализме и беспомощности. Поймите: мы находимся с пациентом по разные стороны боли. И если человек согласен терпеть, то врач не должен соглашаться с таким губительным подвижничеством. Современная медицина требует немедленного вмешательства в болевые ощущения, превосходящие определенный порог, и безотлагательных действий врача. Наш физиолог Кассиль указывает: «В тот момент, когда из механизма информации боль превращается в

нестерпимое болевое ощущение, разрушающее весь строй физиологических процессов в организме, полезная роль ее кончается».

Что такое болевой порог, каковы его уровни, какова переносимость боли отдельного человека, мы не знаем, как не знаем достоверно и происхождения боли — иначе при лечении было бы меньше срывов. Француз Лериш высказал замечательную мысль: «Мы не равны перед болью». Но боль вызывают не только болезни, если сама по себе боль не является болезнью, что пока тоже точно не установлено. О целительности боли и самого страдания можно говорить только применительно к живым, но и то далеко не ко всем живым. С болью связаны и действия хирурга, то есть операционные травмы. Анестезиология призвана их минимизировать. Она долго оставалась придатком к хирургии, которая сама была признана областью медицины только после распространения эфирного наркоза. А до этого хирург был чем-то средним между парикмахером и кровопускателем. Так продолжалось, пока не поняли, что анестезиология должна развиваться автономно. Чехословацкий хирург Ирасек предупреждает: «Боль отягощает и разрушает человеческую жизнь... Если боль достигает большой силы и если она длится продолжительное время, то она отнимает у человека желание работать и лишает его радостей жизни. Боль захватывает почти весь круг его интересов и концентрирует его внимание только на самом себе и на своей боли. Боль истощает человека душевно и физически, делает его подавленным, затуманивает ясный взгляд на жизнь и на будущее, отчуждает его от близких людей, не дает спокойно есть. Боль снижает физические способности и силу человека, изнашивает его, изменяет и уничтожает его духовные качества и даже его моральный облик.

Если боль не ослабить или не превозмочь, она делает из человека развалину, погруженную в мысли только о своей боли...»

Смерть от болевого шока — явление повсеместное, и это не смерть от заболевания или раны. Это смерть от отсутствия обезболивания или от недостаточного обезболивания, а значит, отсутствия анестезиологии в качестве клинической дисциплины. Иначе получается как в анекдоте:

— Больной перед смертью потел?

— Обильно, доктор.

— Оччень ха-ра-шо!

Тимурываныч бесподобно произносил это, прямо как артист. Еще он любил повторять: «Вскрытие показало, что больной умер в результате вскрытия» и другие перлы — не сосчитать. И он часто сокращал «анестезиолог» до «анест». Юля привыкла, ей нравилось.

— Врач может убить больного различными способами, растянуть это удовольствие на годы и совершать убийство хладнокровно, незаметно и безнаказанно. Болезнь убивает лишь одним способом — своим наличием в организме, и то организм противостоит и борется до конца. Так кто опаснее для человека? И понимаете ли вы, в какую профессию ввязываетесь и что от вас зависит? Медицина потеряла качество, которое назвал великий поэт:

И нам сочувствие даётся,
Как нам даётся благодать.

Спасение как цель можно, конечно, заменить временным облегчением как средством. Дать таблетку или сделать инъекцию. Но это решение паллиативное. Да, препараты для наркоза постоянно совершенствуются и когда-нибудь станут абсолютно безопасными. Но, оказывая обезболивающее действие, эти препараты изобилуют побочными свойствами, многие из которых вредны и даже опасны. Запомните:

несмотря на уже достаточно высокую технику общего обезболивания и аппаратуры, состояние наркотического сна больного в любой момент может стать неуправляемым. Но пациент не должен видеть, как его оперируют. Точно так же человек не видит собственного рождения иначе как во сне. Хирургическое вмешательство — великая тайна врача и больного органа — или группы органов, но не личностей врача и пациента.

Тимурываныч говорил нечто невообразимое и неслыханное. Юле казалось — или так и было, — что он обращается к ней одной или она вбирает в себя всех присутствующих. На перекурах девчонки, записавшиеся сдуру на спецкурс, ошарашенно качали головами:

— Че-то он загибает!

— Ага, врет как на мертвого.

— Лучше бы про наркозный аппарат рассказал.

— Стукнуть на него куда следует — весь шик слетит.

— На практику в «четверку» определит — и то хлеб.

Юля молчала. В ней глубоко пела любовь, не выходя наружу бессмыслицей и желчностью. У Юли пока ничего особо никогда не болело — ну, там, зуб или голова от сигарет. Она понимала, что Тимурываныч говорит о другом и что он — враг боли, которая убивает. Борец с болью. А девчонки — выдерги и пустобрешки, не злые, а глупенькие. И работать они почти все будут хорошо. И замуж выйдут за военных, разъедутся по гарнизонам, нарожают детей.

Один раз Тимурываныч привел на занятия дядьку. Дядька такой уже пожилой, поджарый. Тимурываныч зажал шприц, как нож в театре, и с размаху тыкнул поджарого в шею. Дядька сверкнул металлическими зубами и отогнал шприц, точно комара. Девчонки разом отшатнулись, как в патанатомии от первого трупа, и хором ахнули.

— Перед вами довольно редкий случай — аналгезия, — сказал Тимурываныч, вынув иглу и звонко бросив в стерилизатор. — Больной не чувствителен к боли. Не ощущает болевого импульса при самых сильных раздражителях. То есть совсем — хоть пилой пили. Но пилой мы не будем.

— Во повезло мужику! — басовито восхитилась Лидка.

Отличница, а глупость сморозила!

— Напрасно вы так думаете, — Тимурываныч протянул в ее сторону указательный палец. — Но сначала давайте познакомимся с гостем. Представьтесь, пожалуйста.

Мужик немного пособирался с мыслями:

— Бенедиктов Максим Максимович.

Снова подумал и несуразно добавил:

— Сын военврача и военфельдшера.

— Коллега, значит, по боковой линии. А сами кто по профессии?

— М-м-м-м, — мужику так трудно давался ответ, будто на допросе, или у него была не аналгезия, но амнезия. — Подшныривал немного на зоне. А так-то я с третьего курса меда загремел.

— Год рождения? — уточнил Тимурываныч, делая вид, что не заметил добавления.

Мужик опять помычал от натуги и вспомнил:

— Одна тысяча девятьсот пятый.

— Хорошо, — похвалил его Тимурываныч. — Первая русская революция! Когда вы обнаружили свою особенность?

— Я в поезде родился, — нежданно перестав мычать, разболтался Максим

Максимыч, как на политинформации. — Родители с русско-японской возвращались. В Харбине работали, в госпитале...

— Простите, — перебил его Тимурываныч и пояснил девчонкам. — Дело в том, что дети в неонатальном, то есть послеродовом периоде малочувствительны к боли или вообще ее не испытывают из-за неразвившейся центральной нервной системы. Я думаю, это не совсем так, но доказать пока не могу. Также считается, что новорожденные не помнят боли, и она не имеет никаких последствий для их психики. С этим я тоже не согласен. Но давайте послушаем Максима Максимовича.

— Короче, отец принял роды, пуповину перевязал, к груди маминой меня приложил. Все как надо.

— Надеюсь, вы этого не помните, — пошутил Тимурываныч.

— Не. Я помню, — серьезно сказал безболезненный. — Запах помню и вкус слатенький.

— Хорошо, — во второй раз поддержал Тимурываныч его фантазии и немного поправил. — Сладенький. Но когда стало ясно, что у вас завышен болевой порог?

— Это мне, наверно, уже год был. Мы плыли на пароходе в имение отцовское, пароход дернуло, и я об шконку шарахнулся.

— Вы ударились о твердую поверхность, — перевел Тимурываныч.

— Ну да, — мужик надолго замолк.

— И? — всем требовалось продолжение, Тимурыванычу в том числе.

— Мать говорит: «Сынок, ты почему не плачешь?» — и гладит меня, гладит по голове. А я ей: «С чего мне плакать-то?»

— Вы так рано обрели дар речи? — Юля слышала в голосе своего героя смех, который он не выпускал наружу.

— Ну, как? — призадумался потешный Максимыч. — Говорить я не говорил. Словами в смысле. Но она же меня понимала. Это за базар считается?

Тимурываныч не выдержал и пустил хохоток.

— И что же мать?

— Ну, ощупала меня. Там нажала, тут. «Не больно? Не больно?» А мне щекотно, смех разбирает.

Тимурываныч понемногу забрал у мужика инициативу.

— Ученые утверждают, что болью той или иной степени интенсивности сопровождается до семидесяти процентов болезней. Осознание боли зависит не только от психоэмоционального состояния пострадавшего, но и от уровня его интеллекта. Болевой синдром, возможно, как ничто другое, проявляет человеческую личность. В каком-то смысле боль есть врожденная актерская способность человека. Градаций боли множество, и я устану их перечислять, а вы — запоминать. Поэтому остановимся на основных. Повышенная — гипералгезия, пониженная — гипоалгезия и отсутствующая — аналгезия. Теперь о зависти к тем, кому не больно. Сколько раз вы получали серьезные травмы, связанные с вашей особенностью, Максим Максимович?

— А? — отозвался он как спросонья. — Ну, это... Руку сломал — вот тут, в локте.

— Заметили? — спросила с места Римка.

— Какое! Уже когда срастаться стала — смотрю, че-то кривая рука.

— А как же мама-фельдшер? — съехидничал кто-то из девчонок.

— А мать уже тогда тово, — Максим Максимыч мотнул головой куда-то вдаль. — Я у бабки жил в Ростове.

— А отец? Он же доктор, вы вроде говорили.

— Так отец в Манчжурии того, в русско-японскую, — удивился обезболенный такой неосведомленности.

Тимурываныч почувствовал, что разговор идет не туда:

— Отсутствие реакции на повреждения — патологическое состояние. При аналгезии может нарушаться осязание, человек глотает кипяток, сжигая слизистую и пищевод, не реагирует на зубную боль, не чувствует жары и холода. Не замечает трещин и переломов костей. Аналгезия — тяжелая генетическая патология. Причины ее не установлены. Шанс выжить при таком заболевании ничтожен. Нашему гостю это удалось, что по-своему уникально.

— Так я в дурхате сидел, — перебил Максимыч. — Начальство в положение вошло. А так бы амбец беспроцентный.

— Ну, вот видите, — поддержал Тимурыванович. — Так что, прежде чем завидовать такому больному, стоит задуматься о тяжелейших последствиях его состояния. При аналгезии врач лишен возможности патофизиологически обосновать болевой синдром. Есть вопросы по теме?

Юля решилась:

— Анестезия и аналгезия — не одно и то же? Слова похожие.

— Хороший вопрос! — Тимурыванович обрадовался. — При аналгезии утрачивается только болевая чувствительность. А при анестезии... Ну, в общем, все чувства так или иначе замирают, притупляются. Одна из наших задач, чтобы они после операции восстановились. Под наркозом нет любви, как говорил мой учитель. Вы любили когда-нибудь, Максим Максимович?

Девчонки привыкли аплодировать Тимурыванычу после каждой лекции. Но на первых хлопках безболезненный вдруг встрепенулся:

— Это... Мне яйца зажало на лесоповале!

Поржали вволю.

II

— Зачем ты лжешь?

— Чтобы выжить. Чтобы когда-нибудь сказать правду.

— Скажи сейчас.

— Я еще не выжил. Только получил передышку. И надежду.

— На что?

— Что безбольностью своей кусок хлеба сам добуду и других накормлю. Меня убивать невыгодно.

— Так дай своей лжи передышку. Короткую. Вроде телесной любви.

— Телесная любовь бессловесна. Она мычит, стонет, дышит. Исторгает междометия. Но не говорит. Кто говорит во время слияния, тот не любит. Говорят, то есть лгут, в перерывах.

— Ложь — отдохновение от любви?

— В своем роде — да. Любовь изнурительна, и, если бы не Бог, человеку не присуща за полной ненадобностью. Ложь между приливами желания не так отвратительна.

— Но ты даже год своего рождения переврал. Боишься смерти? Или любви?

— Это не ложь, а приспособляемость. Я же по матери еврей. У меня в крови, на уровне инстинктов умение найти наиболее безопасное положение в пространстве. Все, что носит прагматический характер, что для чего-то нужно, не ложь. Ложь не имеет практического смысла. Этим она сродни творчеству. О-о-о! Я слишком много слов сказал.

Иди!.. Иди!..

Ты успеваешь?..

Мама! Мамаааааа!..

— Почему ты всегда в эту минуту зовешь мать?

— Потому что в эту минуту я всякий раз рождаюсь. Что это? Ты меня укусила? Реакцию проверяешь? Не появился ли болевой синдром? Нет, не появился. Ты спрашивала, откуда у меня шрамы. Это до тебя проверяли — долго и методами посильнее женского укуса.

— Страсть безотчетна. В момент оргазма я не помню о твоей особенности. Но зачем ты и про свое нечувствие боли неправду рассказываешь? Все ведь было не так?

— Какая теперь разница — после того, что случилось, и перед тем, что случится? Так я, по крайней мере, образ мамы не поганю.

— А отца? Ты ведь знаешь, как он погиб и когда.

— Знаю. Даже краем помню того нелепого графа, который маме об этом сообщил. Корвин-Коссовский. С не менее нелепым именем Болеслав Ричардович. Ричардович из села Папузы! «Рассердился дед на бабу — хлоп Папузы кулаком!» Он привез отцовскую сумку. Кожаную, французскую. На заклепках вычернено было: Paris. Такие у многих офицеров имелись. Сумка абсолютно пустая. Но мама узнала по зашитому ею кармашку. Или очень хотела узнать. Еще кусок погона, якобы отцовского.

— Почему «якобы»?

— Потому что погон уширенный, на генштабовский похож. У военмедов другого образца были. Но врачи любили форсануть, от установленной формы отступали. Околыши на фуражках, например, у них по уставу синие, а они черного бархата носили.

— Откуда ты знаешь?

— Мама журнал «Разведчик» читала. Я потом на чердаке целую подшивку нашел. Типография Тренке и Фюсно.

— Там об околышах писали?

— Там обо всем, что военного дела касалось, писали. Часы Корвин вроде отдал отцовские, подлинные. Крышка японской пулей пробита. Из винтовки «Арисака». Стрелки на 10.12 пристыли. Мама насчет часов не сомневалась, всегда их с собой носила. Смародерили часы. Хорошие, мозеровские, хоть и не работающие. Польстился германец. Ложь, кстати, это сломанное время. Нарушает порядок действий. Иногда это выгодно, иногда полезно. Чаще всего бессмысленно. Может, здесь ответ на твой вопрос.

— Ты знаешь, что произошло там, на Сахалине?

— От мамы — в пересказе Корвина. После Цусимы юг был отрезан, а на север от Корсаковского колесной дороги, считай, не было. Только телеграфная тропа, и то буреломом заваленная. Вьючные лошади ноги переломают. Единственная регулярная часть да четыре дружины из каторжных и ссыльнопоселенцев, которые воевать не собирались ни за какие коврижки и уклонялись всеми способами. А то еще и наводку японцам давали. Сидеть-то на Сахалине тяжко было. Достаточно Чехова почитать. Моряков несколько десятков с потопленных судов. Шесть орудий с артиллеристами и береговая охрана. В лагере волею судеб оказался сын медсестрички из ссыльных. Говорил, ополченцы кету ловили в Тунайче на пожрать. Увидели японцев, драпанули в тайгу. На наших и вывели.

— Тунайча — это река?

— Лагуна. Озеро то бишь. Второе по величине на Сахалине. Десять на десять километров. Кроме «Разведчика», мама еще «Русский инвалид» читала. Круг ее чтения вообще был не дамский. Наизусть почти помню статью, столько раз слышал. Южная часть острова после Цусимы была от материка практически отрезана. Японцы крейсировали в проливе Лаперуза и с Японского моря блокировали Владик и Корсаковский. Тактически там ничего не оставалось, как партизанить.

Отец после высадки десанта оказался в отряде штабс-капитана Гротто-Слепиковского Болеслава Владиславовича у поста Чеписань. Один пулемет. Сто семьдесят пять человек. Тридцать шесть лошадей. Шансов никаких. Слепиковский был хорошим офицером, даже каторжан как-то умудрился в кулак собрать. Боеприпасы и продовольствие в тайге. По Тунайче на лодках к ближайшему складу сплавились. Там дружинников японцы накрыли. Наши в ложементах залегли — так стрелковые окопы назывались. Отбились. Триста самураев уложили. Тогда микадо морем орудия подтянули и давай долбить. Ответить нашим было нечем. Слепиковский на бруствере правофлангового окопа стоял. Снарядом разнесло.

— А остальных?

— Неизвестно. Слухи одни. Но, зная жестокость самурайскую, думаю, всех, кого в лагере нашли, штыками прибили. Отец, по словам Корвина, находился в медицинской землянке. Раненых уничтожали без разговоров. А кто там врач, кто ополченец, не разбирались. Законы военного времени.

— А граф-то как спасся?

— Часть отряда в тайге скрылась. Так он говорил. Но — как проверишь?

— День гибели известен?

— 28 июля, 1905 год. Тридцать пять дней продержались ни на чем. Об этом напишут когда-нибудь. И переврут все. Ложь — фермент памяти.

— Погоди. Так ты поэтому дату рождения такую выбрал?

— Мама выбрала. Я появился в 1903-м. В Харбине. Кстати, произносили только «в Харбине», ударение на последний слог. Летом, но числа точно не знаю. Мама говорила: ты родился, когда его не стало. Бзик такой. В России поменяла метрику. Это оказалось несложно.

— А как родители там оказались?

— Я — поздний. Родители почти на пятнадцать лет расстались, потом встретились на КВЖД. Отцу уже за сорок было, маме чуть меньше.

— Почему расстались?

— Там странная история, связанная с самоубийством преподавателя академии, где отец учился.

— У твоей матери был с ним роман?

— Все-таки все женщины — ведуньи! Особенно психофизиологи. Как ты догадалась?

— Это оказалось несложно, как ты говоришь.

— Мне было одиннадцать, когда мама погибла. Что я мог понимать? Отца помнил только запахом и контуром, что ли. Мама уехала из Петербурга, когда с отцом разорвала. Не на родину. В Симбирскую губернию, в земскую больницу. Там ее отец и нашел: медицинская статистика работала превосходно, особо не спрячешься. Когда Ростов в Область войска Донского вошел, евреев хотели выселить, да местная буржуазия отстояла и адвокат Браиловский за каждого ходил просить городского голову. В итоге тем, кто поселился в Ростове до мая 1887 года, было оставлено право жительства. Евреи любят драматизировать и искать сочувствие.

— Зачем ты так говоришь? Все ищут сочувствия. Человеку трудно оставаться со своим несчастьем наедине.

— Человек несчастен по факту рождения. Ни у кого не может быть привилегий и первенства. Будешь дальше слушать?

— Буду.

— В 1901-м, когда на юге начались погромы, отец увез маму в Харбин. В управлении КВЖД на происхождение и вероисповедание не смотрели. Русских в Китай хлынули в начале века десятки тысяч, в том числе тысячи евреев. Грандиозную

железную дорогу в Манчжурии должны были строить здоровые люди. Только большевики на это наплевали — поэтому у них все наперекосяк. У мамы был уже огромный фельдшерский опыт. Харбинская Центральная больница только строилась. Родители сначала работали в деповских участковых.

В 1902-м грянула холера. Отец был хирургом, а не эпидемиологом, но бросился в самое пекло. Дед мой, Бенедиктов-старший, погиб на астраханской чуме. Отца вина мучила. Русские любят быть виноватыми. Он еще в 92-м году в Поволжье холеру борол вместе с профессором Анрепом. Говорят, этот Анреп местную анестезию изобрел. Но задвинули. Немцы считаются пионерами. А на КВЖД постоянно нападали то «хищники тайги» хунхузы, то «бойцы гармонии» ихэтуани, поклонявшиеся божеству Юй Хуаню. Участок за участком рушили и снова возводили. Никакому Куперу и Майн Риду не снилась дальневосточная экзотика! Харбина словно ничто плохое не касалось. Из безлюдного поселка на болотах с редкими фанзами «хаобин» — по-китайски «брод» — превращался в город, не уступавший Владивостоку или Хабаровску. С первого барака, заложенного инженером Шидловским, всего несколько лет миновало. В 1903-м КВЖД ввели в эксплуатацию. Тут как раз и я родился. Достроили Центральную больницу — восемь отделений на двести шестнадцать коек. Отец перешел туда, в хирургию. Ему везло на поляков. Отрядом, где его настигла смерть, командовал Гротто-Слепиковский. Главным врачом в Харбине был Ясенский, старый холостяк, его помощником — доктор Хмара-Борщевский, старшим врачом — Новкунский. И за всем этим стоял скалой балтийский немец Витте. И серб Хорват, путеец, генерал. При нем харбинскую жизнь называли «счастливой Хорватией». Имперская симфония!

— А ты, ты сам помнишь Харбин?

— Я помню наш дом — особняк, который выделили отцу. Там было очень тепло — зимы в Северной Манчжурии сибирским не уступят. Помню шоколадный собор...

— Почему «шоколадный»?

— Стены были покрыты темной олифой, как я понимаю. Помню китайца, который нам прислуживал. И зелень... Очень много зелени. Моим первым словом было «ли». Похоже на китайское, но это всего-навсего «лист»... Дай руку. Он стал взрослым? Ему теперь можно? Или ко мне! Кель... кель манда...

Как быстро! Время, время вернулось...

Я хочу вечно!

Хочу всегда!

Мама! Ма-а-а-а-ма...

Ты молчишь. Я не знаю, как тебе. Я хочу знать, как тебе.

— Я слушаю тебя. Ты впервые мне рассказываешь свою жизнь. Вы вернулись в Россию, когда мать узнала?

— Она не хотела уезжать из Манчжурии. Намеревалась добраться до Сахалина. И графа просила ее сопроводить.

— А он?

— Он срочно отбыл в Папузы. В октябре 905-го грянул погром в Ростове. Мама все бросила, и мы помчались спасать бабушку.

— Но как вы могли ее спасти? А за тебя, маленького, не боялась?

— Человек в отчаянии плохо способен к здравому суждению.

— И что вы застали?

— На Дмитриевской, где жила бабушка, обошлось. Рядом жили Риттенберг, главврач Еврейской больницы, который маму потом на работу взял, и Рувинский, бывший слесарь, умудрившийся получить выгодный кредит. На них почему-то организаторы не показали. Громили в основном лавочки — и не только еврейские, а подряд, какие попались. Трупов было много. Если считать по числу населения —

больше, чем в Одессе. Квартир пострадало не Бог весть сколько. Их в «мирное время» шпана богатяновская и нахаловская каждый день обносила. Сожгли Покровский и Новый базары, часть Московской улицы. Зарево на тридцать верст полыхало. Буянили на Таганрогском и Темерницкой, на Большой Садовой, на Старопочтовой. Прости, тебе эти названия ни о чем не говорят, а мне каждое дорого. Жертв могло, конечно, быть больше, но евреи умеют прятаться. Русские и армяне помогли. Да и слухи о том, что начнется, ходили задолго. Ожидание погрома — дело в общине привычное. И потом это же была управляемая акция, по всей империи прокатилось. Три с половиной сотни погромов только за октябрь. В Пскове еще в начале года приготовишек били, старших гимназистов гоняли как зайцев. Но на суде обвинили разбойников в «нанесении обиды действием в многолюдном собрании». В Вятке евреев было наперечет, но досталось магазинам Зингера, Зильбермана и Кацнеленбогена да аптеке Кацнельсона.

— Откуда ты знаешь?

— Все оттуда же.

— Почему вы остались в Ростове?

— Прижились. Маме больница нравилась. Бабушка была счастлива оттого, что мы с ней. На самом деле, как я думаю, маме постепенно полегчало вдали от дома, где каждая чайная ложечка напоминала об отце. Отпустило.

— А ты?

— Я был мал. Отца быстро забыл. Меня любили две прекрасные женщины. Какая разница, где тебя любят? Рос. Пошел в гимназию. Учился. Хорошо учился, между прочим. Мы как-то очень ровно прожили девять лет. Потом опять пришла война.

— Ты что-нибудь помнишь?

— По рассказам — больше, чем по событиям или впечатлениям. Вне связи с войной помню довольно много. Трамвай с бельгийскими вагонами. Ростовцы ужасно гордились тем, что раньше Петербурга обзавелись электроконкой с европейской колеей. Помню станцию «Нахичевань-Донскую», Балабановские рощи, куда ездили на пикники, а после революции расстреливали и тех, и этих. Запах копченого рыбца и весенней селедки. Арбузы, арбузы, арбузы. Чирканье каблуков по булыжнику. Многоголосье армян, греков. Казачий говор. Идиш.

— А татары?

— Само собой. Есть даже специальный термин — донские татары. Целые хутора по-ногайски говорили. Ты обиделась?

— Уточнила. Татар всегда забывают упомянуть.

— Память — набор обрывков. Воспоминания обессмысливаются от повторений так же, как слова. Вертинский пел: «Надо жить — не надо вспоминать». Я и начало войны помню образами. Казачьи штандарты. Улицы в лошадином навозе. Газетный лозунг: «Ничего немецкого нам не надо!» Шрифт помню. Даже слово «фельдшер» тогда запретили. И принялись немецкие поселения на задонской стороне переименовывать. А их больше сотни было. Руэнталь, Мариенталь, Блюменталь. Но немецкими от этой глупости колонии быть не перестали. Немцам в России до XX века везло, а потом фортуна им изменила. И, думаю, не в последний раз.

— Маму мобилизовали?

— В двух словах не ответишь. В 10-м году в Ростове создали Общину Святителя Николая сестер милосердия Общества Красного Креста. На углу Суворовской и Соборного. Многие думают, что Красный Крест занимался благотворительностью, убогих обихаживал. Отчасти, конечно, так. Но по уставу это — организация, подчиненная военному ведомству. Война с Японией показала, что волонтерами не обойдешься.

Стали серьезно сестер милосердия обучать. Одно это говорит, что к войне с немцем готовились.

Врачом общины был такой Парийский Николай Васильевич. Нагрузке дореволюционного врача не позавидуешь. Парийский служил и главврачом городской Николаевской больницы на восемьсот коек, и еще несколько медицинских обществ окормлял. Он знал моего отца по Медико-хирургической академии в Петербурге. Вместе работали у профессора Субботина в военном госпитале, в хирургии. Потом Парийский в ортопедию подался. Диссертацию защитил, пока отец с мамой отношения выяснял. Степень доктора медицины получил и звание военно-полевого хирурга. А отец — только второе. Николай Васильевич маму и позвал сестричек в общине натаскивать.

Когда война началась, как раз выпуск был маминых подопечных. Общины не финансировались, только на пожертвования жили. Помню билет на лотерею для «усиления средств» Общины сестер милосердия ценою в двадцать пять копеек. Помню серебряный матовый крест на ленте муаровой, которым маму наградили за безупречное служение в общине.

— Крест отдали?

— Сестра Надежда привезла. И свидетельство сестры милосердия военного времени. Так и написано было: «военного времени»! Реквизировали все в революцию.

— Надежда видела?

— Да. В 14-м году разлетелись сестрички по фронтовым госпиталям да по эвакопунктам. Мама девчонок своих не бросила. В военно-санитарный поезд с ними пошла. Старшей сестрой. Или «младшим дохтуром», как солдатики говорили. В Восточной Пруссии полевой госпиталь развернули в Даркемене. Там бои шли с августа. До линии фронта три километра. Раненые потоком, носильщики подтаскивать не успевали. Большинство тяжелые. Все голодные. А в сентябре город немцы заняли. Шоссе отрезали, обоз с ранеными захватили. Отходили полями да болотами. Только развернутся в какой-нибудь усадьбе, начнут перевязывать, как передовая отходит. Госпиталь следом снимается. Дороги обстреливаются. Запружены так, что двигаться невозможно. До Вильно доколтыхали. Сандружину собрали. Все местные записались — и поляки, и белорусы, и евреи, и литовцы. Все помогали чем могли. Одна волость четыреста пятьдесят яиц собрала. Осень грянула, распутица. Раненых по восемь верст пешкодралом тащили на носилках. Эвакуация организована из рук вон.

Добрели до Польши. Раненых начали в Сувалки свозить отовсюду. Санпоездов не хватало. Соломы на растопку не было, а холода ранние ударили. Коек недоставало, в уборных клали. Часть повезли подводами в Гродно. Постепенно краснокрестных и лечебные заведения в Варшаву перебазировали. О поляках много ерунды насочиняли. А они на равных со всей империей бремя войны несли. Студенты, барышни в санитары массово записывались. Никакой черной работы не гнушались. В общем, не подвели Варшава и окрестности. Маму приписали к подвижному лазарету и перевели в Гуру-Кальварию, километров сорок от Варшавы. Старшим врачом был доктор Эскин.

— Еврей?

— Да полно было врачей-евреев! Всех нас антисемитизмом запугали.

— Но погромы-то были?

— Много чего было. Ил со дна можно палкой поднять.

— Ты сам всегда подчеркиваешь еврейское происхождение.

— Ничего я не подчеркиваю! Я констатирую, как ты — свое татарское. Это нормально. Но гораздо нормальнее не обращать на это внимания. Что, увы, не получается ни у тебя, ни у меня. Я абсолютно русскокультурен и всем, кроме своих несчастий, обязан России.

— А несчастьями — кому?

— Людям. И своей дури беспросветной.

— Хорошо, оставим в покое национальности. Гура — гора, понятно. А кальвария что такое?

— Это храмы и часовни на холмах. Иногда десятки. Комплексы целые. Крестный путь символизировали. Католики любят мистерии, особенно Страстей Христовых. Сотни тысяч паломников собираются. Поляки в лагере рассказывали, что Гуру когда-то Новым Иерусалимом называли. 29 сентября Гуру заняли немцы. Флаги Красного Креста не помогли. Лазарет захватили и разграбили дочиста. Даже бинты и лекарства взяли. Санитаров увели — неприятелю тоже надо было ранеными заниматься. Мама воспротивилась мародерам. Оказала сопротивление доблестным войскам кайзера. В одиночку. Фельдфебель в нее выстрелил. Всё...

— Иди ко мне!

— Не могу. Маму убили. Всё!

— Что — всё?

— Рассказал, что знаю. Дошел до точки.

— Нет, что ты имел в виду?

— Ничего не имел.

— Ты тогда утратил болевой синдром?

— Да.

— Тебе было одиннадцать лет, и до этого никакой патологии ощущений и восприятия не наблюдалось?

— Вот ты и заговорила как лепила. Нет, не наблюдалось.

— Аналгезия — обычно врожденная. Результат неведомых науке мутаций.

— Может, я тогда и сошел с ума. У шизофреников завышен болевой порог. Я же к тебе с душевным расстройством поступил.

— Ты поступил, потому что случай интересный.

— Разные случаи встречаются. У Бога всего много.

— Пару лет назад я добыла статью одного американца на эту тему. Но там описывались исключительно врожденные случаи. Такие дети обычно не выживают. Куча осложнений. Но ты выжил.

— Не уверен... Может, это действие гипноза?

— И кто же тебя загипнотизировал?

— Мама. Она такие практики еще в Петербурге отрабатывала.

— Вот как? Гипнотическая анестезия? Ее впервые применил лейб-хирург Наполеона III Жан Жермен Клоке в 1829 году. Удалил молочную железу женщине, больной раком. Через пятнадцать лет профессор принципов и практики медицины Эллиотсон опубликовал отчет о хирургическом вмешательстве под гипнозом. Наши профессор Бехтерев и его ученик Нарбут в 1907 году подобное описали.

— Мама наверняка знала об этой работе. Она все медицинские журналы читала. А Иноземцев?

— Иноземцев впервые в России применил эфирный наркоз. Это не моя специализация. Так когда же мать провела над тобой сеанс? Перед отъездом на фронт? Или на расстоянии? Из Гуры-Кальварии?

— Далась тебе эта Гура! Ты вот что сейчас делаешь? Пытаешься меня раздразнить? Возбудить? Или материал для своего отчета копишь?

— Я пытаюсь понять.

— Дай руку! Поняла? Добилась своего? Ну, тогда поработай с объектом! Так! Так! Еще! Мммммм...

— Ты всегда мать зовешь, когда кончаешь. А теперь?

— Теперь буду себя контролировать.

— Аналгезия твоя и так контролируема. Ты потеешь, чувствуешь холод и голод.

— Еще скажи, что в сортир хожу не по будильнику.

— Именно так.

— Ты ведь рассматриваешь мою фиксацию на матери как Эдипов комплекс?

— Нет. Я просто понимаю, что ты не пережил ее смерть. Не смирился с потерей. В результате что-то произошло с болевыми рецепторами. Они перестали регистрировать ощущения, выходящие за пределы нормы, и передавать сигналы в мозг.

— Никакой боли нет. Есть страх. Я когда еще искал разгадку своего повреждения, прочитал у Монтеня, что боль становится безжалостной, заметив, что мы ее боимся, и смягчается, встречая противодействие.

— Искал — и нашел? Или перестал искать?

— Понимаешь... Оправа боли — терпение. Как багетная рама. Терпение — ширма боли, ее грим. Врачи презирают тех, кто орет во всю глотку, хотя понимают, что такая реакция приносит иллюзию облегчения. Надпочечники адреналин выбрасывают. Предпочтение отдается пациентам, которые тихонько скулят и жалобно смотрят. У бабушки был артрит, непереносимые боли в ногах. Ничего не помогало. Знакомая докторица сказала: «В вашем возрасте уже все терпят». Еще она говорила: «Человека делает боль!» Так только Бог может сказать. Но врач и должен быть безжалостен, как Бог. Не зря в книге сына Сирахова писано: «Почитай врача честью по надобности в нем, ибо Господь создал его, и от Вышнего — врачевание, и от Царя получает он дар...» Терпение — пожизненное приуготовление к смерти. Откуда-то я выудил стихи:

Весь путь на небеса —
Преодоленье боли.

Судьба лишила меня необходимости гримироваться терпением, справляться с болью, притворяться сильным.

— Но ведь ты помнишь болевые ощущения?

— Боль нельзя помнить. Она уходит — и забирает с собой всю себя. Уроки, полученные ребенком от взрослых, предшествуют знанию боли, предупреждают ее: «Не трогай, а то будет бо-бо!» Боль — это соприкосновение с миром. Тактильные ощущения у меня остались. Бо-бо пропало.

— Да, тактильные. Потрогай вот тут. Совсем про меня забыл!

— О, прости! Я еще не восстановился. Можно так?

— Можно. Только говорить при этом у тебя не получится. Здесь хорошо! Еще!

— Как по-татарски «лизать»?

— Ялау. Не отвлекайся. Да, да!

— Ты прекрасна в эти минуты! Как справедлива эта мимолетность, преходящесть! Иначе — не перенести. Только — убить. Убить — лишить боли. Зачем тебе все это? Зачем я, конченый, и такие, как я? Ты словно мешаешь себе быть счастливой.

— В Казани я занималась терапией болевого синдрома. У меня был руководитель, профессор. Мой первый мужчина. Он вынимал из пациентов боль, как занозу. Искал и вырывал ее жало железными пальцами. Он не применял обезболивающих. Распутывал узлы, завязанные болью. Пациенты выли, корчились и проклинали его. Боль — честный враг, и победить ее можно только в честном поединке. Я это в клинике поняла. Боль побеждается только большей болью, как грех — скорбью и страданием, превышающим размеры греха. Боль и грех взаимозависимы, как внешний и внутренний человек. Отрицание боли будет последовательно приводить человека к убийству. И наш век еще это докажет.

— Что, что ты такое говоришь? На дворе 1935-й год. Ведь так Господь видел Иова: «плоть его на нем болит, и душа его в нем страдает».

— Как ты жил после потери?

— Я не помню. Я не хочу. Бабушку убили в 18-м. Она следила, чтобы я не навредил себе. Она научила меня жить без боли и не погибнуть от незамеченной травмы. А ее, пережившую погром, убили в рифму — топором. По-раскольниковски. Драгоценности искали. Не было у нее драгоценностей, кроме нас с мамой! Не хочу ни об этом, ни о беспризорничестве, ни о детдоме, ни о колонии, ни о зоне. Продольного зови!

— Кого?

— Ну, конвойного.

— Я не могу оборвать записи на полуслове. Я столько времени им посвятила!

— Это не моя забота. У меня времени навалом. Буду в лагерь проситься. Я это не сегодня решил. И ни на минуту не забывал, на кого ты работаешь, и кто ты есть.

— Кто?

— Фашистка натуральная. Вы Германией свои опыты прикрываете, национал-социализмом. А сами в тысячу раз страшнее. Вы в великом народе боль убили, чтобы он не чувствовал, как вы его уничтожаете.

— Тебя не переведут в лагерь без моего ходатайства. Ты можешь оставаться здесь, пока ведутся исследования. В тепле, в сытости. Со мной.

— Там я свободнее.

— Тебя доломают. Ты деградируешь неизбежно.

— Деградирую? Ты серьезно? Минимум половина заключенных имеют психические отклонения. Мое даже не в счет. Так, игра природы. Но теперь, после дурхаты, я буду бесогонить на законном основании!

— То есть?

— Ну, играть по пятому номеру, февралить, гусей гнать. Дураком буду. Бажбаном.

— Максим! Что на тебя нашло?

— Имя мое вспомнила? Поверила зэку, чудачка? Всё! Отъелся, отоспался, налюбился. Домой пора! И так веревок наплел, поумничал. Спасибочки за пятиминутку!

— Какую пятиминутку? Прекрати юродствовать!

— Юродство — сознательное снятие сакрального. Обнажение смыслов. А я — мутант, мое уродство — не юродство. Даже антиюродство. Я — вечный подопытный. Я всегда кому-то буду интересен.

— Я не отпускаю тебя! Заключение еще не готово.

— Да я в заключении с 21-го года. С Дон ЧК. Они первые убедились, что я боли не ощущаю. Ногти вырывали. Целыми отделами сбегались смотреть, пока я сознание не терял.

— Перестань! Я все сделала, чтобы ты не страдал!

— А сейчас я сделаю так, чтобы ты не страдала. Чтобы поняла, как оно — на безболье. И не держала меня тут, как собаку Павлова, старейшины физиологов мира.

— Что ты делаешь? Отпусти меня сейчас же! Прекрати! За что?!. Я охрану позову! А! Аааа!

— Так я же тебя и просил позвать. Почему не послушалась? Почемуууу?.. Меня же иначе не закроют...

Эй, цирик, оглобля саратовская! Давай сюда! Я лепилу завалил.

III

В «четверку» Тимурываныч взял со спецкурса двоих. Юля вспыхнула, услышав фамилию, которую поначалу не соотнесла с собой. В больнице она впервые увидела своего героя в двубортном халате с рукавами на манжетке, швом на спине и хлястиком. Колпак он сдвигал на палец от бровей, отчего казался суровее. Они с Лидкой, второй

счастливицей, окаменевшей от страха, облачились в сестринские халаты с завязками и карманом спереди.

Как кумир учил их собирать и проверять наркозник, обрабатывать и стерилизовать трубки, канюли, воздуховоды, лицевые маски и мундштуки-загубники, списывать наркотики, заполнять расходники, вести протоколы на кровь и заменители, — кому это интересно? Лидка, колчушка, еле дотерпела до конца практики. А Юля научилась жить со своей любовью и ни на что не надеяться. Аппаратура в «четверке» действительно была — последний писк. Особенно в лаборатории. Даже ФЭК — фотоэлектроколориметр для определения концентрации вещества в растворе имелся. В других больничках только что с боем флюорографы приобрели. Юля все попробовала. И гемоглобин подсчитывать гемометром Сали, и лейкоциты с эритроцитами в камере Горяева, и группы крови со стандартными сыворотками, и резус-фактор в растворе желатина, и протромбин-индекс на водяной бане. А пациенты были важные, в одноместных палатах, в домашних пижамах. И помощники с портфелями — или кто они там — допускались независимо от порядка посещений. Один, с пузцом и лаковым зачесом, оказывал Юле знаки внимания и норовил заманить в палату, чуть жена за порог. Еле отговорилась подготовкой к сложной торакальной операции. Она пока только рядом с аппаратом стояла в операционной, но все равно.

В последний день, когда у Юли нутро сжималось перед прощанием, Тимурываныч махнул ей, высунувшись из кабинета. Она зашла обреченно.

— Слушай, — так он звал ее вместо имени. — Мне отделение дают в медсанчасти, — он назвал настоящим именем пороховой городок, где прошло Юлино детство. Сальпетриер, как его обозначали в странной, ни на какую другую не похожей семье, которая Юлю привечала.

— «Четверку» бросите!? — Юля про себя ойкнула.

— А что мне «четверка»? Сколько можно этих симулянтов обкомовских газовать? — Тимурываныч часто величал анестезиологов «газовщиками» или, по-американски, «гассерами». — Я у Куприянова в Ленинграде стажировался, в военно-медицинской. Он первый кафедру анестезиологии выбил. Технику в медсанчасть покупают не хуже здешней, я списки сам утверждал. Может, и дыхательный аппарат автоматический добудем. Реанимация пока йок, экстренная операционная — увы и ах, но там посмотрим. Мы с тобой еще элитой медицинской станем. А практика необозримая. Есть и еще один момент...

Тимурываныч замолчал и сдвинул большим и указательным пальцами колпак ниже, чем обычно. Юля поняла про момент, и ей даже отчего-то легче стало.

— В общем, если решишься, я о распределении похлопочу. И аттестую со временем. Опыта у тебя нет, но и готовых анестезисток тоже. Через горздрав провести не так сложно. Можно сказать, по блату. Ну, поедем? Не Сибирь же!

— Поедем! — запавшим внутрь механическим голосом, как немая, наученная говорить, повторила Юля.

— Отлично! — воскликнул Тимурываныч, словно оценку ставя. — По такому случаю хочу тебя угостить распространенным в узкопрофессиональных кругах коктейлем «Анестезистка». Готовлю, заметь, как у Хемингуэя, на глазах клиента из подручных материалов.

Юля знала, кто такой Хемингуэй, — фотопортрет висел на каждой стене. А какое притом он имел отношение к коктейлю «Анестезистка», неважно.

Тимурываныч достал из тумбочки два пузырька сорокапроцентной глюкозы с пробками из черной резины, похожей на сапожный вар, ополоснул стаканы с подноса под краном, протер салфеткой, плеснул из склянки со спиртом, разбавил водой из графина на том же подносе, добавил понемногу глюкозы, высыпал в каждый стакан по порошку аскорбинки и капнул пипеткой глицерина. На этом месте Юля немного испугалась:

— Глицерин зачем?

— Для мягкости, — невозмутимо, ответил Тимурываныч. — Исключительно для мягкости — и более ни для чего, — он протянул Юле тару. — Ну, за слётанность экипажа!

После дегустации «Анестезистки», несмотря на предосторожность, Юля кое-как добралась до общаги, где жила Римка, и, отмахнувшись от подруги, рухнула на койку. Хорошо, что Римкиных сожительниц в комнате не оказалось.

— На подай-принеси согласилась, — хмыкнула Римка, когда Юля, выспав коктейль, рассказала о своем счастье.

Юля смолчала. Похмелья не было ни грамма. Тимурываныч знал, что делает.

На первой же операции, «в поле», когда Юля полноценно ассистировала, больной проснулся и запел. Перелом берцовой кости. Парень с завода, лыжник. Вообще лыжниками в стационаре звали пожилых, с палочками, тапками шаркающих. Но этот, видимо, правдошный, со спартакиады. Укол в позвоночник — очень болезненный. Новомодный аппарат Илизарова, похожий на разобранный примус. Дрель со спицей — «пистолет». Юля в тумане от волнения. Тимурываныча срочно вызывают в приемник — клиента привезли «на девочке». То есть по скорой. И в это время лыжник открывает глаза, мучительно хочет сказать что-то — не получается, и вдруг начинает голосить, как радио:

— На тот большак, на перекрёсток
Уже не надо больше мне спешить...

Хирург и сестры от смеха фигурально повалились под стол, а Юля, перекрикивая песню, взвыла:

— Ой! Ой! Тимурываныч, на помощь!

— Ждешь волшебника, чтоб сказку рассказал? — веселились операционные сестры Белка и Стрелка.

Тимурываныч примчался, как в мультфильме «Шайбу! Шайбу».

— Отставить оперетту! — крикнул. — Обстановка в ателье приближенная к боевой!

Юля уже слезами давилась и захлебывалась, но поняла, что «ателье» — это операционная.

— Эй, ты чего? — Тимурываныч кивнул Белке, чтобы слезы Юле промокнула салфеткой. — Я же говорил, что наркоз может стать неуправляемым. Жизнерадостный какой, черт! Сейчас утихомирим. Где наша коробочка с чудесами? Загружаем и дудоним помалу! Пику в бок! Ты пойми, — пока Юля вводила препарат, он обращался к ней, как будто в операционной больше никого не было. — Лучше три раза по минимуму вкатить, чем один раз травануть. Боли не чувствует. Наркоз по Кальтенбруннеру отпадает. Сейчас мы его к Морфею на второе свидание отправим.

— Вы говорили, что пациент операцию видеть не должен, — забыв о врачебной этике, укоряла Юля. — А у него глаза открыты — он и нас видит, и инструменты, и железки эти.

— Ничего он не видит, цветочек, — сказал травматолог. — Вольты у него. Оживет — сама спросишь. Все, такси к подъезду!

Санитары втолкнули «такси» — больничную каталку. «Цветочек», начинающая Юля, выдохнула.

Ну, здравствуй, Сальпетриер!

Ирина Колесникова

Так начинаются слова

* * *

На Троицу жарко. Гостей редких жду.
Куплю абрикосов на рынке колхозном,
соседка полощет бельё на пруду
и кажется маленькой в деле серьёзном.

Нагнётся к воде, засучив рукава.
Со дна своё детство достанет и снова
плывёт по-собачьи оттуда сюда
из самого страшного сорок второго,
а дальше не помнит... Несётся отряд.

Приехали внуки на целое лето.
Беззубые рты абрикосы едят,
и рыжие косточки в небо летят,
и ангелы ловят их где-то.

* * *

Верхняя полка, книжка-гармошка,
душный вагон засыпает немножко.
Поезд ныряет в черничные ночи.
Спелые дни и вкусней, и короче.

Лето кончается, но остаётся
мамин подарок, июльское солнце,
банка с вареньем, мешочек с грибами,
книжка-гармошка с чужими стихами,
старого города тёплые липы,
новые вспышки тяжёлого гриппа,
тихое слово, святое причастье,
несовершенное, но всё же счастье.

Быстро пустеют купе и плацкарты.
Поезд ложится кружочком на карты,
и по пунктиру, как птичьему следу,
я возвращаюсь. Я скоро приеду.

Ирина Колесникова — поэт. Родилась в 1983 году во Владимире. Окончила филологический факультет Нижегородского государственного университета имени Н.И.Лобачевского. Автор двух поэтических сборников «Вслух о тебе» (2017) и «Между голосом и словом» (2019). Живет в Екатеринбурге. В журнале «Дружба народов» печатается впервые.

* * *

Смотрю на бледный профиль,
разгадывая, где
во мне библейской крови
растёт наследие.

Упорство мягких линий
округлого лица
скрывает без усилий
всю избранность отца,

и бабушкину схиму
по линии другой
пересекает имя,
стянувшее петлёй

измученную шею,
свою родную. Как
мне вымолить прощенье?
И можно ли вот так

пустить по ветру корни...

Безумствует орда,
её предощущаю
в роду своём, когда

вода покорной Клязьмы
и старые холмы,
и беленькие храмы, —
всё это я, всё мы

и все, кого не помню,
не знаю, как зовут,
но вижу так упорно
в себе и там, и тут.

* * *

Когда совсем привыкнет к телу
не знавшая его душа
и к горлу — высшему пределу —
с блаженной лёгкостью стрижа
приложится и, повсеместно
ища иного естества,
просыплется на жернова, —
под языком темно и тесно.

Так начинаются слова.

* * *

День закипает. Дети смеются.
Прячется кот на балконе.
Младший впервые пошёл. Оглянулся
и потянулся к иконе.
(Приподнимает большая рука
ангела этого до потолка).
Пальчиком водит по лику и плачет,
и незнакомая мама
кажется очень похожей на ту...
ту, что стоит у дивана.
Солнечный зайчик запрыгнет в окно,
вербные ветви поймают его.
Мама возьмёт на колени
сына, и радость души велика,
и утешение — вкус молока.
Движутся женские тени
вдоль разрисованной мелом стены.
Мальчику обе видны.

Игорь Кузнецов

Отставший

Повесть про себя

Тане Морозовой

«Тонкие вещи» и три жизни

Недавно дочь со спокойным изумлением и чуть с недоверием сказала-спросила:

— Тебе же в этом году шестьдесят?

— Ага. И как всегда — в декабре.

— Надо будет что-то придумать...

Раньше, уже немного давно, одна любимая тогда женщина требовательно и даже с некоторым раздражением попросила:

— Да напиши ты, наконец, про свои «тонкие вещи», а то только все говоришь и говоришь...

А мой давний, еще со студенческого Изборска товарищ, цыган, ныне директор усадьбы «Останкино», на мою не помню по какому поводу реплику: «Мне же в этом году шестьдесят», в своем кабинете и в присутствии красивой женщины, пришедшей со мной, изрек, кажется, только что придумав:

— Первые шестьдесят лет — самое трудное в жизни мальчика. Дальше — легче. Что ж, посмотрим...

На самом деле жизней-то было уже три.

Первая — до Тани.

Вторая — с Таней.

Третья — после Тани.

О первой и второй я отчасти написал, вполне документально[1]. Третья — продолжается, иногда отражаясь в прозе, но этак с вывертами. А вот здесь все можно рассказать в чистейшем виде, без фантазий. Почти.

Кузнецов Игорь Робертович родился в 1959 году. Окончил Литературный институт им.А.М.Горького в 1987 году. Печатался в журналах «Новый мир», «Знамя», «Иностранная литература», автор нескольких книг, в том числе «Бестиарий» с иллюстрациями Татьяны Морозовой (М., 2010) и др. Составитель нескольких изданий И.А.Гончарова (биография, комментарии). Живет в Москве.

Предыдущая прозаическая публикация в «ДН» — 2018, № 8.

[1] «Город без невесты» («ДН», 2019, № 6) и «Путь. Повесть о Тане» («ДН», 2012, № 8).

И когда у меня будет молодая жена, а мне кажется, что точно будет, не просто подруга, именно жена, умная, милая и незлобивая, я ей скажу:

— У тебя теперь тоже будет три жизни.

— Это как? — задумается она.

— Одна до меня, вторая со мной, а третья — после меня.

— Не хочу без тебя, — закапризничает, надеюсь, она.

А я, пропуская ее реплику мимо ушей, но хорошо запомнив, поясню:

— Зато в третьей жизни ты сможешь начать все сначала — у тебя на это еще останется, скорее всего, уйма времени. А вот для меня жизнь с тобой будет уже четвертой. И, думаю, последней.

Надеюсь, она поймет. Вот только где ж ее встретить?

А чудо? Разве ты забыл, что в твоей жизни чудеса всегда случаются?

Не забыл. Вспомнил. Их много, не счесть.

Например, Амстердамщина

Я тогда придумал роман «Амстердам», ни разу в этом городе не побывав и даже не слишком пока о нем мечтая, — времена у нас стояли уже чуть менее драконовские, но еще не окончательно вольные — вторая половина восьмидесятых.

Наша итальянская подруга Лаура как раз оказалась на очередных международных курсах русского языка в МГУ. И я ей говорю:

— А приведи к нам в гости каких-нибудь голландцев.

Лаура привела двух милых, немного мужеподобных девушек, имен которых история не сохранила. Зато они мне подарили мою первую книжку про Амстердам, а одна из них как-то преподала мне неожиданный урок столь незнаемой у нас тогда женской самодостаточности, надо сказать, странный для меня и по сию пору. Мы с ней, как сейчас помню, выходили из троллейбуса на Тверском бульваре, и я привычно подал ей руку, а она отшатнулась так, будто я протягивал ей на ладони мокрую и холодную жабу.

Девушки быстро куда-то канули, но к нам в дом потянулись другие голландцы — им ведь тоже было интересно узнать изнутри, как же живут эти загадочные русские, чей язык они старательно изучали.

Так, в некоторой последовательности, появились у нас ден Бур, Магрейт, она же Маргарита, ван дер Хейден и Якобин, быстро переименованная в Яшу. Все они уже неплохо говорили по-русски, а Яша так и вовсе с чудесным мАсковским прононсом.

И все они стали нашими друзьями уже на всю жизнь и даже переданы по наследству: для дочери Маши они вскоре, как и итальянская Лаура, превратились почти в родственников и, во всяком случае, мы до сих пор не потерялись и, пусть изредка, а общаемся, хотя бы в эпистолярном жанре. Думаю, внуку Пете тоже не избежать этой участи.

Несмотря на вроде бы тяжелые времена, всем нам тогда в России было весело.

Как-то голландские друзья зазвали к нам случайных соотечественников, сопровождавших гуманитарные грузы из Голландии в Россию: тонны сухого молока, детского питания и прочих долгосрочных продуктов.

Естественно, устроено было застолье. И кто-то из этих залетных голландцев изумленно сказал (нам перевели):

— Да мы дома-то так роскошно и вкусно не едим. И сюда мы возим гуманитарную помощь?!

«Наши» же голландцы ко всяким российским щедрым выкрутасам уже были привычны — они или подолгу и тогда, и потом работали в России, или часто приезжали. Их хороший русский язык этому способствовал, на время став даже основой профессии.

Почему они стали изучать русский язык, помню только про ден Бура. Он просто выбрал из двух, на его взгляд, самых сложных, предпочтя наш родной китайскому, русский же, по обстоятельствам, познал до самых глубин.

Одно время он работал в некой голландской структуре, связанной с Интерполом: сидел в наушниках в тайной, едва ли не подземной комнате, прослушивая и переводя телефонные разговоры российских бандитов, промышлявших в европейских пространствах. Ну понятно же, на каком русском они говорили.

Маргарита стала корреспондентом голландского радио и много где успела побывать на просторах недавно развалившегося СССР.

Однажды она брала интервью, кажется, у президента освободившейся Латвии. Естественно, заговорила с ним по-русски. Но тот наотрез отказался говорить на вражеском языке. Маргарита продолжила на английском, но у президента с этим как-то не заладилось. Она предложила ему общаться по-французски, но тот по-французски не знал. Немецкий ему тоже не подошел.

Немного вскипев, Маргарита перешла на голландский.

— Ладно, давайте по-русски, — махнул рукой президент.

Прилетев же как-то ранним утром из Баку, а жила она в тот раз у нас, Магрейт выложила на кухонный стол огромный, килограмма в полтора, шмат паюсной икры. Выяснилось, что икру можно резать ножом и намазывать в любом количестве на хлеб, хоть с маслом, хоть без. Сначала было очень вкусно. Но через несколько дней мы уже стали забывать угощать ею гостей: ну, черная икра, и что ж в ней такого?

Ван дер Хейден во время августовских событий 1991 года — лето же, отпуска — остался единственным голландским корреспондентом в Москве и заработал кучу денег, строча репортажи сразу для всех изданий Нидерландов. Еще мы с ним съездили на Кавказ, где каждый второй предлагал ему создать совместное предприятие, а каждый первый лучше него разбирался в голландском футболе. У него давно русская жена, а работает он главным редактором финансово-экономического журнала. Специфика издания в том, что они придумывают, как гражданам обойти всякие препоны налоговых органов. Те, являясь их самыми усердными читателями, в ответ придумывают очередные хитрые сложности, а эти... Так и соревнуются.

Якобин в качестве переводчицы долго и регулярно подвизалась на ниве сельского хозяйства, не без успеха продвигая в Россию лучшие сорта голландской картошки, в перерывах не менее регулярно и совершенно бескорыстно выходя замуж за всяких представителей гонимых африканских народов, дабы те получили искомое европейское гражданство, детей, впрочем, она родила все же голландских.

Мы подружились и с ее родителями — Йоппи и Йаном. Йан много лет был мэром небольшого городка Бергена, минутах в сорока езды от Амстердама, где сначала селились художники, а потом все больше очень богатые люди. Из его экскурсии по светлому зданию мэрии запомнились две детали: кран с бесплатным пивом на первом этаже и разнообразная живопись в каждом кабинете. Оказалось, что в коллекции мэрии порядка четырехсот работ бергенских художников, и каждый сотрудник сам выбирает, какой картиной украсить свой кабинет.

Мэр с женой жили в очень хорошем доме с большим садом, куда мы выходили, обувая деревянные башмаки-клумпы. Но принадлежали дом и сад не мэру, а мэрии. И когда Йан оставил свой пост, им едва хватило всех накоплений, чтобы купить — нет, не в самом Бергене, там цены на недвижимость были им не по карману, а где-то по

соседству — маленький домик (это всего лишь к слову о тонких голландско-русских различиях в понимании «службы народу»).

Теперь все наши голландские друзья живут дома, в Россию приезжая редко, мы и то ездим к ним почаще. При встрече обязательно вспоминаем Таню, а частенько и любвеобильного Бонда.

Роман же «Амстердам» я так и не написал. Оказывается, есть уже несколько клонов с похожим названием, а плагиатом я не занимаюсь.

Анубис и Бонд

Анубис был эрдельтерьером, рыжим, стремительным и вороватым, Бонд — лабрадором, шоколадным, вальяжным, мудрым и самым добрым из всех людей, кого я встречал в этой жизни — ну, немножко с хвостом.

Станинг Люкс Анубис, а так его звали по собачьему паспорту, появился, едва Маше исполнилось лет десять — возраст, когда ребенок уже сам может гулять с собакой. Забегая вперед, скажу, что это хорошо и правильно заводить собаку при взрослом ребенке: собаки приучили дочь к ответственности много больше, чем мы с Таней и бабушкой вместе взятые.

Маша научила его звонить лапой в колокольчик и аккуратно открывать зубами тубы с чипсами. На чипсах он как-то и попался. Я на кухне пил пиво, для удобства выкладывая часть продолговатых чипсин на крышку. Отлучаясь в глубины квартиры, я заметил, что чипсы вроде как понемногу уменьшаются в количестве. Спрятавшись в туалете, сквозь щелку я решил понаблюдать за происходящим. Воровато озираясь, Анубис прошествовал мимо, подошел к столу, боком челюсти осторожно взял несколько чипсин и тут же скрылся из кухни.

Как-то он сожрал торт, искусительно оставленный на уровне досягаемости, а еще щенком устроил пьяный новогодний дебош. Тогда шампанское почему-то плохо открывалось. Когда оно все-таки открылось, то едва ли не полбутылки выплеснулось на пол. Анубис эту лужу с удовольствием вылизал, через несколько минут — у шампанского же быстрый хмель — закачался на своих длинных неустойчивых лапах, доковылял до окна, завернулся в занавеску и уронил гардину, всеми этими действиями очень украсив нам празднование Нового года.

Таня тримминговала его со всяческими художественными излишествами — то делала ему челку, то ирокез на рыжей башке, то пуделиный хвост с игривой кисточкой на конце. Анубис не возражал.

Однажды ранним утром, и я еще сладко спал, Анубис, которому запрещено было заскакивать на все, что выше его груди, запрыгнул ко мне на кровать рыжими передними лапами и ткнулся мордой в лицо. Я не успел возмутиться — через три секунды заверещал домофон: это Таня вернулась из командировки. А жили мы, между прочим, на восьмом этаже.

Когда его укусил клещ, я был в Сочи. И по телефону впервые услышал это отвратительное слово «пироплазмоз». Остальное я тоже знаю только по рассказам жены.

Доктор сказал, что шансы пятьдесят на пятьдесят.

Анубис как тряпочка три дня лежал на подстилке под капельницей, привязанной к швабре, смотрел грустными глазами и, кажется, все понимал. Маша сидела рядом и гладила его между ушами.

Узнав, что он умер, я вышел из офиса во двор, уткнулся лицом в ближайший угол и заплакал.

Снова позвонила Таня:

— Маша рыдает. У нее обострился гайморит. Что будем делать?

Я на мгновение задумался:

— Или никогда больше не заводить собак, или брать прямо сразу.

— Ага, — сказала жена, — тут на Дмитровском шоссе как раз ощенилась лабрадорша.

— Хорошо, — ответил я. — Через три дня я прилечу.

Асфальтово-черная мамаша любящими беспокойными глазами наблюдала, как из картонной коробки нам вынимали шоколадную девочку и мальчиков, черного и коричневого — как известно, у лабрадорш помет часто бывает разноцветным. Маша сидела в кресле.

Шоколадный мальчик косолапо и определенно направился в ее сторону. Она наклонилась, взяла его на руки, обняла и прижала к себе. Гайморит кончился сразу и уже навсегда.

По клубным правилам того года имя пса должно было начинаться с буквы «Б». Так абстрактный Инстант Кофе стал нашим Бондом.

Он любил всех, и большинство отвечало ему взаимностью — к тем, кто мог не ответить, он заранее сразу даже не подходил. Самым широким его любовным жестом было положить кому-нибудь морду на колени. Особенно трогательно это выходило, когда Бонд только-только успел вынуть морду из поилки, а гость был в светлых штанах.

В темноте он напоминал очень грозного пса — какого-нибудь ротвейлера, — и мы спокойно отпускали дочь с ним гулять хоть в час ночи. На самом деле он создавал вокруг себя ауру доброты такой силы, что со злым умыслом никто и приблизиться бы не посмел, не смог.

Из-за чуть приоткрытой двери комнаты тещи я как-то услышал, что она с кем-то разговаривает, а была теща уже глуховата и по этой причине испытывала дефицит общения. Заглянув в щель, я увидел, что она сидит на диване и что-то рассказывает Бонду, склоняющему в такт ее речи голову то в одну, то в другую сторону. Время от времени он понятливо кивал: да-да, согласен, да-да, очень интересно. Я прикрыл дверь, чтобы им не мешать.

Провожая Таню, Бонд не плакал — просто положил свою огромную добрую морду на ее ладонь.

Прожив всю свою длинную и счастливую собачью жизнь — пятнадцать лет и пятьдесят дней, — он и умер ласково, когда я спал.

И Таня, и Бонд, ушли накануне Пасхи.

В Светлые дни я особенно чувствую их любовь.

Сим удостоверяется

Я заведовал отделом прозы, наверное, последнего советского издательства, созданного официально, а было мне двадцать восемь лет. Родилось оно при Московской писательской организации, прожило год или полтора и умерло, но это случилось уже без меня.

В начале же славных издательских дел громадьё наших планов зашкаливало, а, помимо прозы, были еще полноценные отделы поэзии, драматургии и даже публицистики. Располагалось издательство в одном из переулков, соединявших Поварскую с Новым Арбатом практически напротив дома Цветаевой, еще не превращенного в музей.

Мой карьерный взлет с нуля до таких вершин случился по воле нескольких совпавших обстоятельств.

На последнем Всесоюзном совещании молодых писателей меня приняли в Союз писателей СССР — существовала такая высшая форма поощрения, притом что у меня на тот момент была, кажется, лишь одна жалкая публикация в молодежном альманахе, остальное — только в рукописях. Главным редактором выбрали довольно известного тогда и тоже довольно молодого по тем временам, лет на десять постарше меня, сочинителя, взглядов вполне либеральных, директором же, видимо, для баланса, назначили человека из патриотов. Право набрать «творческих» сотрудников отдали либералу. А тогда всё пытались обновить — вот под эту раздачу я и попал. Хотя и не так уж просто. На самом деле кандидатов на мой пост было трое, и все мы выступали со своей «программой» на бюро, вроде так это называлось, прозаиков.

Базовым моим посылом высокому собранию было утверждение, что мы будем выпускать книги тех, кого другие не печатают, кому отказали уже и раз, и два, и три.

— А кто вообще никуда не приходил? — раздалась то ли язвительная, то ли любопытствующая реплика.

— Этих — в первую очередь! — без тени сомнения заявил я.

Уж не знаю, что на самом деле сработало, но выбрали меня.

Заклубилась издательская жизнь, отчасти буквально, ибо по крайней мере наполовину она бурлила не в тесных наших комнатах, а в просторном писательском клубе — Центральном доме литераторов, находившемся от нас минутах в десяти неспешной прогулки. В подчинении у меня оказалось шесть человек: две миловидные младшие редакторши и четверо редакторов полноценных. Двоих, много старше меня, мне «навязали», а оставшихся двоих я выбрал сам, пригласив толковых друзей. Причем к старшему поколению у меня претензий не возникало, а к собственным протеже они появились очень скоро. Когда они оба регулярно начали опаздывать на работу (притом что присутственных дней было то ли три, то ли четыре в неделю, а работа начиналась в полдень) и, главное, на заранее назначенные встречи с авторами, я вызвал их на улицу и сказал:

— Друзья мои! Если вы еще раз, вместе или по отдельности, опоздаете, я вас уволю.

Больше они не опаздывали.

Мы придумали уйму коллективных сборников, а они тогда оказались очень востребованы публикой, в их числе серию «историй», среди которых были «Странные истории», «Забавные», «Страшные» и какие-то еще, совсем уж невероятные; желая привлечь в них и «классиков» и совсем неизвестных авторов, к нам потянувшихся, в том числе и из эмигрантов, составили издательский план на ближайший год, все время пополнявшийся, и были очень горды собой. С Нагибиным я разговаривал больше по телефону: он все уточнял, в пользу увеличения, финансовые пункты издательского договора. С Битовым в нижнем буфете ЦДЛ обсуждали состав книги, которую он нам даст, и он сказал мне лестную фразу: «Наконец-то я говорю с нормальным человеком, а не с N». С Орловым, несмотря на разницу в возрасте и писательский «статус», мы просто подружились.

На самом деле мы выпустили всего несколько книг, потому как на большее количество почему-то все время не хватало бумаги. Откуда возник сей дефицит, понятно стало не сразу. Дело в том, что бумага тогда была двух «сортов»: по низким и еще стабильным госценам — «фондовая» и «кооперативная», покупавшаяся через товарно-сырьевую биржу, ясное дело, во много раз более дорогая. За нашими наивными «творческими» спинами бумага уходила налево, принося издательству солидный доход и без всякого книгоиздания. А еще вокруг начали почковаться кооперативные издательства, тоже активно пожиравшие нашу госбумагу. Нам все больше оставалось утверждать в художественном отделе эскизы обложек книжек, которым так и не суждено было появиться на свет. Самым же коммерчески успешным

в рамках нашего издательства оказался репринт «Детской Библии», выпущенный каким-то немыслимым тиражом.

Мы на фоне разгоравшегося коммерческого угара продолжали заниматься своей игрой в бисер, не опасной для нашей дирекции, а даже полезной в качестве прикрытия, но на деле совершенно бессмысленной. Зато зарплаты у нас были заоблачными, у меня так раз в пять выше тогдашней инженерской, составлявшей сто двадцать рублей.

Времена наступили странные и очень финансово неуравновешенные, купить даже за большие деньги было нечего, разве что по талонам Союза писателей в ЦУМе: нам с женой потом еще долго служили приобретенные там утюг и люстра. При этом льготная месячная путевка в Дом творчества «Переделкино» стоила двадцать пять рублей, обед в Дубовом зале ЦДЛ, не комплексный, а по меню, обходился рубля в три-четыре, за один (уже разрешенный) доллар в коммерческом киоске продавалась пачка «Мальборо», за него же можно было всю Москву пересечь на такси. Еще нам давали регулярные продуктовые заказы. И когда я в такси забыл свежевыданную мороженную курицу, жена на меня всерьез обиделась.

А еще Максимов, главный редактор парижского журнала «Континент», взял и подарил нашему издательству весь нераспроданный тираж. Забирать его в Брюссель, где он хранился в подвале максимовского дома, отрядили меня и завотделом публицистики Петю Паламарчука, как имевших на тот момент действующие загранпаспорта.

Отправив с Центрального телеграфа латинскими буквами телеграмму на авеню Керсбек почему-то еще до покупки билетов (что-то вроде: «На днях будем»), мы собрались в путь, поездом.

Никто нас, конечно, не ждал. Брюссельский номер Максимова не отвечал, позвонили по парижскому.

— Много не пейте, скоро буду, — сказал Максимов.

Он как в воду глядел, потому как опытный Петя вез с собой аж десять бутылок водки, часть которой, чтобы меньше смущать таможню, мы употребили еще по пути.

Петя позвонил знакомым из НТС (Народно-трудового Союза). За нами заехали на старомодном зеленом мерседесе, приняли, накормили, а у нас с собой еще много было. Помню, что там на полке стояла подборка «Континента» до того самого номера, когда Максимов поругался с «Посевом», энтээсовским издательством, а милая седенькая дама рассказывала, как они с товарищами еще недавно бросали с моста антисоветские листовки на проходившие внизу советские корабли.

На авеню Керсбек мы попали только к вечеру.

— Сразу спать — в детскую, на четвертый этаж! — распорядился Максимов.

С утра Владимир Емельянович сообщил, что едет в Рим на встречу с советскими писателями, им же и организованную. Оставил нам немного денег, полный холодильник еды и пару десятков новеньких, еще не сложенных картонных коробок.

И мы на месяц, так как двух, а меньшее нас не устраивало, купе «на раньше» не было в наличии, стали хозяевами огромного дома.

А еще целый двор с садом, выход прямо из кухни. И тут еще Петя поймал радио «Свобода», а там Света Василенко говорит о книге женской, которую Таня нарисовала.

Энтээсовцы иногда приглашали нас в гости и подкармливали, свозили в Брюгге, где самые вкусные на свете фриты и пиво, сваренное молчаливыми монахами-траппистами, темное, густое, как оливковое масло, и в Остенде, куда причаливали тогда лондонские железнодорожные паромы, познакомили еще с какими-то местными русскими, в том числе Апраксиными, потомками сподвижника Петра I Фёдора Матвеевича Апраксина, графа. Отец статного седовласого хозяина дома, как выяснилось, служил начальником штаба у Деникина (в параллель, в Париже мы ночевали в

библиотеке квартиры французского дипломата Махрова, чей папа был начальником штаба у Врангеля).

Сами же мы каждый день бродили по Брюсселю, изучив его до самых до окраин, съездили в Амстердам к Петиному знакомому художнику, жившему там по гранту и успешно продававшему свои картины, — я их познакомил с ден Буром, очень удивившимся, что мы к нему приехали на такси, — он тогда себе такой роскоши не позволял. Потом отправились в Париж.

Вышли на Северном вокзале. А перед ним нет никакой просторной площади, лишь обычная, хотя и парижская, улица. Петя отправился в кафе позвонить, а я стоял и глазел по сторонам. Из кафе вышел человек, сел в спортивного вида автомобиль, поднявший хищные фары и мгновенно умчавшийся, и только в этот миг осозналось: я в Париже!

Звонил Петя Ренэ Герра, к нему на метро мы и поехали в Исси-ле-Мулино. Из огромного окна мансарды его дома открывался с высоты птичьего полета весь Париж, особенно близкий, лежащий буквально под ногами Сакре-Кёр. И на этой мансарде были тысячи русских книг и практически все периодические издания, выпущенные русской эмиграцией. А на лестнице тебя встречали портреты Анненкова и кустодиевский Замятин. Но окончательно поразило меня даже не это. Ренэ, вроде как в шутку и уж очень загадочно улыбаясь, поставил мне на колени объемистый картонный ящик: «Как вы думаете, что это такое?» Я не знал, что и сказать. «Письма Бальмонта», — вроде как невзначай пояснил хозяин дома. В этом не было никакого кокетства удачливого «коллекционера», просто ему показалось, что я смогу подобный жест и вопрос оценить. Я оценил.

Потом Ренэ на своем «студенческом» рено с откидывающимися форточками возил нас по городу, показывая Париж. При развороте на площади Этуаль, в которую вместе с Елисейскими полями вливается, кажется, восемь улиц, он ловко лавировал вокруг арки между дорогими и оттого наглыми автомобилями, приговаривая: «А пусть это они меня боятся».

Вечером в квартире Махровых мы оказались на приеме в честь русских художников, живущих в Париже, а как мы могли на него не попасть, если должны были в этой квартире и ночевать? Из художников помню крупного Владимира Немухина и субтильного Оскара Рабина с грустным взглядом.

С утра, пешком, из Сен-Дени через весь Париж мы отправились на радио «Свобода», располагавшееся в квартире жилого дома по соседству с Эйфелевой башней. Стены кабинета главного редактора были оклеены карикатурами из «Крокодила» и прочих советских изданий: «Свобода» чаще всего олицетворялась в них микрофонами-кобрами, брызжущими слюной. Была договоренность, что Петя сначала поговорит в студии с известным антисоветским историком Михаилом Геллером по поводу только что вышедшего трактата Солженицына «Как нам обустроить Россию», а потом мы уже вместе расскажем о планах нашего юного свободного издательства. Меня пока определили в «будку» звукорежиссера, привычно двигавшего рычажки на пульте и без умолку что-то мне рассказывавшего. Самым интересным мне показалось то, что я сижу на стуле, где очень любил сиживать Виктор Платонович Некрасов. И тут во всем нашем околотке Парижа вырубилось электричество. Благо, о Солженицыне уже поговорили, а вот на меня электричества не хватило: оказалось, авария, и это надолго. Но гонорар заплатили не только Пете, но и мне — и из студии «Свободы» мы вышли по нашим тогдашним меркам изрядно богатыми.

Еще у нас была назначена встреча у входа в сад Тюильри с одним легендарным русским, в свое время сбежавшем на мотоцикле сразу после войны из советской зоны Германии в американскую. И вот, идем мы мимо одинокой колокольни, башни

Сен-Жак, а Петя, большой, бородатый и длинноволосый, внук маршала и выпускник МГИМО с хорошим французским, думая, что никто его не поймет, размахивает матерно руками: «Ну где же этот, тра-та-та, Тюильри?! Что за город, ни тра-та-та-та не поймешь!» А навстречу нам идет необыкновенно красивая седовласая женщина с двумя белыми шпицами на поводках. И говорит нам, плавно указывая тонкой рукой направление и нужный поворот, с той уже давно утраченной старорусской интонацией:

— Мальчики! Вам сюда и туда!

Вечером мы прогуливались по ярко освещенным Елисейским полям, где жарили каштаны веселые негры. У нас было мало монеток, и мы из автомата решили позвонить хотя бы Петиной жене. Чтобы та обязательно перезвонила моей. Как зачем? Что мы в Париже!

Картонных коробок, купленных Максимовым, упаковать весь «Континент» из подвала не хватило, и мы собирали недостающие по задворкам соседних магазинов.

Ко мне в гости из Амстердама приезжали Магрейт и ван дер Хейден, мы позвали с собой Петю и пили пиво на Гран-пляс, а потом обедали в рыбном ресторанчике. Мне друзья подбросили сто гульденов на жизнь, и я на них купил дочке коробку «Лего», а жене — профессиональные цветные карандаши.

Довезти подаренный журнал до Остенде, где отстаивался советский поезд, и спокойно загрузить два наших купе помог максимовский квартирант-валлиец, живший в пристройке над гаражом. Сами мы сели в Брюсселе, где поезд стоял всего несколько минут, а едва тронулись, Петя выудил из сумки бутылку виски, откопанную им, оказывается, среди залежей подвального «Континента», в свое время, видимо, заныканную там Владимиром Емельяновичем от жены.

Петя, извиняясь, сошел в Кёльне, где у него тоже были знакомые.

На родной границе пришла таможня в лице милой объемной дамы, которой жала ее форма.

Я ей протянул номер журнала и бумагу, мною сочиненную заранее, на бланке издательства, с подписью и печатью:

«Сим удостоверяется, что такой-то и такой-то, уполномоченные сотрудники советского издательства такого-то имеют право перевезти через границу СССР экземпляры журнала “Континент”, дружественно переданные издательству в дар французским правительством...»

Легко проглотив откровенно наглые «имеют право» и «французское правительство», она лишь поинтересовалась:

— Очень антисоветское?

— Да. Все про любовь.

— Проезжайте, — мою бумагу, впрочем, для порядка, а может, для коллекции, она оставила себе.

«Континент» я довез. По предназначению.

Кремлёвский кабинет с видом на мавзолей

В самом начале постсоветского времени у одного моего друга был кабинет в Кремле.

Друг имел некоторое отношение к «созданию имиджа» президента. В качестве консультанта.

Несмотря на то, что «отношения с общественностью» вменялись в обязанность целому департаменту, занимавшему чуть ли не половину второго этажа Сенатского здания, и я оказался отчасти востребованным.

Началось с того, что друг мне позвонил накануне Девятого мая и сказал:

— Надо срочно написать окончание поздравительной речи президента. Человеческое.

— Пары абзацев хватит? — уточнил я.

— Вполне. И попроще как-то, и подушевнее...

Мы с Таней прямо за кухонным столом, ручкой на бумажке, веселясь и все-таки помня о настоящем, эти два абзаца написали. И я тут же, по телефону, продиктовал текст.

Телевизора у нас тогда не было, так что речь Ельцина мы слушали по радио. Он говорил вполне обычные, правильные и довольно скучные дежурные слова. Но под конец оживился, дойдя до наших абзацев. Их он произнес слово в слово, с воодушевлением. Так, что даже мы почти растрогались.

И вскоре меня позвали уже непосредственно в Кремль. Я, конечно, с интересом согласился.

Бюро пропусков тогда находилось в одноэтажной пристройке слева от Спасской башни.

Передо мною к окошку стояла небольшая очередь из казаков в кителях с золотыми погонами и синих штанах с лампасами, некоторые даже в сапогах.

С пропуском я вошел в Кремль через проходную — ту, что справа от Спасской башни.

До этого я в Кремле, конечно, бывал, но исключительно в качестве туриста, а не через служебный вход.

Не буду скрывать и иронизировать: особую возвышенную приобщенность я ощущал.

Я прошел вдоль желтой стены четырнадцатого корпуса, построенного в 30-ые годы большевиками на месте снесенных ими же Чудова и Вознесенского монастырей, и оказался на углу с Соборной площадью, занятой обычной автостоянкой на фоне колокольни Ивана Великого, Царь-колокола и Царь-пушки.

Тут стоял очередной постовой.

Мне следовало свернуть направо, чтобы дойти уже до искомого Сенатского здания, но какое-то время у меня еще было, и я включил иногда помогающую мне наглость пофигизма: кивнув постовому, я пошел прямо, чуть забирая влево — как раз через то место, где был Каляевым убит Великий Князь Сергей Михайлович — к Тайницкому саду. Мне хотелось взглянуть на домики-клетки у подножия стены, где отдыхают от охранной работы кремлевские соколы, настоящие, состоящие на службе по отпугиванию от золотых соборных куполов ворон и галок, дабы те на них не гадили.

В Тайницком саду мне опять повезло — прямо навстречу мне вышел прапорщик в кожаной перчатке с сидящей на ней суровой птицей. Уж не знаю, за кого он меня принял, может, за новую важную персону, но встретил меня улыбкой, дал полюбоваться соколом и даже провел маленькую экскурсию по своему соколиному хозяйству. Поблагодарив, я вернулся к начальному пути, миновал здание четырнадцатого корпуса, свернул к стене и уже вдоль нее отправился к служебному входу в Сенатское здание.

И со мной тут же случился казус.

Лейтенант взял мой пропуск и паспорт — заграничный, обычного у меня почему-то тогда не было. Он довольно долго и строго мой паспорт разглядывал, потом поднял на меня глаза и сказал:

— А у вас в паспорте вашей подписи нет.

— Правда? — он кивнул. — И что будем делать? — лейтенант пожал плечами.

— А ручка у вас есть? — невинно поинтересовался я. Он снова кивнул, и мы

вместе, гуськом, прошли сквозь рамку. Со стола или тумбочки, что-то вроде того, он взял обычную шариковую ручку и протянул мне. Я расписался в своем паспорте.

— Теперь — пожалуйста! — пропустил меня к ступеням, ведущим вверх, лейтенант.

Мой друг ждал меня в своем кабинете на втором этаже, окном выходящим на Красную площадь, правда, отгороженную от нас стеной — как все сами могут убедиться со стороны Красной площади, реальный вид на нее есть только с третьего, «президентского» этажа Сенатского здания. А мавзолей, на самом деле, еще правее, если смотреть из-за стены. Но мне очень хотелось, чтоб вид из нашего окна был именно на мавзолей, так я и решил для себя считать.

Кабинет был просторным, но по кремлевским меркам, видимо, из самых мелких, однокомнатных. Зато от нашей двери влево покрытая знаменитыми дубовыми панелями стена коридора тянулась нескончаемо — соседняя дверь в стене маячила где-то лишь в очень далекой перспективе. И возле той двери клубились телевизионщики с несколькими камерами и те самые казаки, встреченные мною в бюро пропусков.

Естественно, я поинтересовался, кто же такой наш столь популярный сосед. Оказалось, вице-президент Руцкой, уже тогда успевший навзрыд поссориться с Ельциным. Мне было поведано, что раньше этот кабинет принадлежал советскому премьеру А.Н.Косыгину (единственному мне симпатичному человеку из всех членов Политбюро ЦК КПСС), а прежде, еще за некоторое время до Алексея Николаевича, добавили едва ли не шепотом — Лаврентию Палычу. Морозец по коже меня на мгновение посетил, но я быстро передернул плечами и от морока избавился.

Сначала надо было сделать дело, и мы отправились куда-то туда, с окнами на Соборную площадь, где сидели спичрайтеры и прочие пиарщики с пресс-службой. Почему-то в огромном помещении со множеством рабочих столов практически никого не было, может, все обедать ушли или на поздний завтрак? Меня усадили за один из столов и дали распечатку будущей речи президента, не помню по какому поводу. Напечатано все было на листочках пятого формата крупным, не менее четырнадцати пунктов, кеглем — видимо, для сбережения зрения Б.Н., видевшего уже не очень хорошо, но в публичных пространствах носить очки категорически не желавшего. Я все внимательно прочитал и внес необходимую редакторскую правку ручкой на полях, кое-где точно текст улучшив. Потом мне пришлось еще несколько раз подобной правкой речей заниматься, что-то еще мы там придумывали и разрабатывали уже в «нашем» кабинете, но все это не так уж интересно.

Интересно то, что я застал Сенатское здание еще до «бородинского» евроремонта — именно в том виде, в каком мы все помним кремлевские коридоры по фильмам про Великую Отечественную: с теми самыми, уже упомянутыми, дубовыми панелями на стенах, высокими арочными белыми потолками и красными нескончаемыми ковровыми дорожками. Я побывал везде, куда можно было попасть без особого приглашения или спецпропуска, например, на третьем, президентском этаже. Между прочим, внутри рам окон с видом на Соборную площадь шелушилась краска. И в этом была абсолютная подлинность всего, притянутая из *тогда*.

Но прежде всего меня поразили туалеты. Даже не сами туалеты как таковые — ну, чисто, фаянс блестит, бумага есть, — а просторные курительные комнаты, являвшиеся своего рода их предбанниками. Циклопических размеров пепельницы стояли на мраморных столах, окруженных глубокими кожаными креслами, а высокие окна выходили снова на Соборную площадь. Все бы напоминало какой-нибудь изысканный английский клуб, если б... Вдоль двух стен тянулись ряды телефонных кабинок, что «английский клуб» мгновенно понижало до статуса обычного переговорного пункта, вроде того, что располагался тогда в здании церкви напротив Центрального телеграфа.

Тут было все по столь любимому большевиками ранжиру: вдоль одной стены на окнах кабинок значилось «АТС-1», вдоль другой — «АТС-2». Недосуг уже разбираться, какая АТС была «выше по рангу», но ведь даже в курительной комнате «табель о рангах» соблюдалась и позволяла посетителям продемонстрировать свою бо́льшую или меньшую причастность к сферам.

«Статус» одинаково высоких и широких дубовых дверей в кабинеты иногда обозначался табличкой с должностью и фамилией хозяина, некоторые же двери оставались совершенно немы — видимо, с расчетом на особо посвященных. За одной такой дверью без опознавательных знаков, распахнутой передо мной, оказался буфет, но более высокого ранга, нежели общие буфеты и столовые в сенатском подвале. Цены, правда, и там, и тут сильно отличались от уже взбесившихся за пределами Кремля: они по номиналу оставались еще совершенно советскими, да и по-советски были ниже самой низкой планки. А уж учитывая инфляцию и наличие бутербродов с икрой, оказывались и вовсе символическими.

По коридорам иногда с безмолвным шелестом величия шествовали тогдашние «высокие особы», сопровождаемые свитой, не утруждая себя взглядами на всяких встречных-поперечных. Теперь уж и фамилий этих особ никто не вспомнит, а ведь им казалось...

Мой «кремлевский период» оказался, впрочем, еще короче.

Четырнадцатый корпус не так давно снесли, и теперь с Ильинки прямо за зубчатой стеной правее Спасский башни открывается чудный вид на Ивана Великого и купола Успенского собора.

Поговаривают, что собираются восстанавливать Чудов и Вознесенский монастыри.

Не знаю, что из этого выйдет, но сдается мне — я еще доживу до того дня, когда Кремль, наконец, превратится в музей.

Весь, без исключения.

А вот соколов там надо сохранить. Они-то уж точно пользу приносят.

Памяти Герцена

Хоронили Джимбинова.

Все, кто помнит, никогда не забудут, как Станислав Бемович легкой летящей походкой стремительно мчался по коридорам Литературного института на свои наши лекции — буквально за минуту до начала, но никогда, кажется, не опаздывал. Заканчивал он лекции обычно на полуслове — уж слишком много ему надо было сказать — и каждую следующую начинал с того самого мгновения, на котором остановился. Про Джойса и Кафку он рассказывал с такими подробностями, будто являлся их личным поверенным в сочинительских и прочих делах, может, так оно и было. И, тому свидетелей много, знал он, наверное, о литературе все, в том числе такое, о чем вообще никто на свете до него не знал.

На его лекции ходили все, даже больные и с похмелья.

В больших больницах найти место, где уже не лечат, а прощаются, обычно не так-то легко. И я всегда, если тут в первый раз, пытаясь найти то, что мне, к сожалению, надо, испытываю нелегкий приступ паники, все же пытаясь сохранять спокойствие, хотя бы внешнее, но никогда никого ни о чем не спрашиваю. И тут я, конечно, тоже все нашел.

Часто боясь опоздать, я обычно прихожу вовремя.

Немного знакомые женщины раздавали цветы.

Я окинул взглядом пришедших раньше. Ко мне сделал два быстрых шага высокий

крепкий человек в темных очках и протянул руку, я кивнул и руку пожал, все еще оглядываясь вокруг. Увидел Серёжу Федякина с кафедры новейшей русской литературы, подошел к нему и почему-то сразу спросил:

— А В.П. будет?

— Да ты же только что с ним поздоровался.

И лишь тут я понял, что внутреннее спокойствие все же мне изменило, уж если я таинственным образом не узнал Владимира Павловича Смирнова.

Еще один феномен похорон — какие-то фрагменты начисто из памяти выпадают, тогда как многие детали остаются уже навсегда.

Совершенно не помню первого прощания здесь, в больнице, только то, что один человек, может быть, родственник Станислава Бемовича, прочитал недлинную буддийскую молитву, не помню, как мы ехали до Хованского крематория — я там просто оказался.

Помню, что курил в стороне от этого красного здания, вместе со всеми и совсем отдельно ожидая, когда подойдет «наша» очередь — там всегда и все происходит очень неторопливо и с опозданием, уж я-то знаю: здесь прощались с Таней.

Помню молчание в сумрачном траурном зале, потом слова Владимира Павловича, не по смыслу, а лишь по интонации.

Зато все, что происходило потом, помню даже с излишними, хотя и важными подробностями.

Назад мы ехали на машине проректора, вместе с Владимиром Павловичем, он меня сам позвал. В.П. сидел впереди, я, один, сзади.

Ленинский проспект для меня светлое место, особенно от угла с улицей Обручева до Первой градской: по этому маршруту я отвозил в роддом беременную Таню, а обратно ее же уже с нашей дочерью.

Сейчас мы иногда говорили, иногда молчали. И когда в очередной раз замолчали, я почему-то подумал: а Владимир Павлович, интересно, помнит, как меня зовут? И тут он как раз обернулся:

— Игорь... — и что-то спросил. Я понял, что зря беспокоился.

Проректор, с которой мы только в ее машине и познакомились, — велик русский язык, а как по-человечески назвать красивую женщину, занимающую такую должность? — тоже иногда вступала в разговор, когда мы говорили о чем-то общем, современном литинститутском. А когда о прошлом, — просто уверенно и спокойно вела машину.

Тема утрат все же не отпускала, хотя о только что случившейся мы все слова, не сговариваясь, оставили на чуть потом — для того и существуют поминки.

В.П. спрашивал, а я рассказывал, как раз подъезжали к Первой градской, как прощались здесь с Игорем Меламедом, а отпевал его Костя Кравцов, тоже из когда-то студентов Владимира Павловича. Игорь похоронен как раз там, откуда мы только что, — на Хованском кладбище. И еще я вспоминал, как мы бесконечно долго везли на какой-то дальний, не московский погост Толю Богатых.

Наконец, мы добрались до Литинститута и въехали во двор, куда прежде я попадал только пешком. Здесь нас встретил Алексей Николаевич Варламов, недавно ставший новым ректором Литинститута, давний мой друг и товарищ, но не по Литинституту, а по жизни и литературе, ибо он окончил филфак МГУ. После того, как он стал «нашим ректором», мы еще не виделись. Безо всякой корпоративной ревности, а потому что мне на самом деле есть до этого дело, я его тихо спросил:

— Лёша, а ты уже чувствуешь это место для себя родным?

— Да-да, потихоньку... — ответил он.

Я пошел проводить В.П. на кафедру. И уже на пороге сказал, вдруг вспомнив, как мне это важно:

— Владимир Павлович, а я ведь написал про Таню и про нашу чудесную встречу в Венеции.

В.П. обернулся и посмотрел на меня со своей волшебной улыбкой:

— Я читал...

Поминальный стол был накрыт в большой аудитории на втором этаже, которую я лучше всего помню именно по лекциям Владимира Павловича. Станислав Бемович свои чаще читал в точно такой же, только на первом, ровно под этой, да какая уж суть разница? — все равно провожали мы Джимбинова в доме, который был для него, думаю, тоже очень родным.

Помянули Станислава Бемовича, еще выпили, закусили, немного отпустило. Зная, что курить теперь можно только за воротами, я спросил: а что мне сказать на проходной, чтобы меня обратно пустили? Мне разрешили курить во дворе.

Памятник Герцену не стал меньше, он и всегда-то был маленьким, но кусты прежде точно были выше и гуще, а просторные длинные лавочки, такие же, как и тогда на Тверском бульваре, из этого правильно разбитого во дворе сквера как-то нечаянно исчезли, хотя это я и так давно помнил.

Откуда В.П. знал, что мы не предатели? Когда на семинаре по «текучке», то есть современной советской литературе, говорил с нами, первокурсниками восемьдесят второго года о Георгии Иванове, Гумилёве и Солженицыне? Позже он признавался, что, бывало, и постукивали, и докладные писали в ректорат или еще куда, но в Литинституте все это как-то с рук сходило и преподавателям, и даже студентам.

На самом деле важнее то, что Владимир Павлович учил нас видеть в литературе настоящее, независимо от того, когда и где это написано. Все мы, или большинство, а уж я так точно, пришли в Литинститут с довольно глубоким презрением к той самой «современной советской литературе», за некоторыми важными исключениями, конечно. А благодаря В.П. оказалось, что кроме Астафьева, Белова, Битова, Искандера, Казакова и еще нескольких «признанных» имен есть Константин Воробьёв, Виктор Курочкин, ранние вещи Василя Быкова, не говоря уж о стихах. О том же Александре Ерёменко я узнал впервые от В.П., когда он на семинаре прочитал нам «В густых металлургических лесах...».

Да о чем мы на наших семинарах только ни говорили. Например, о рыбе. Сам тверской, волжский, Владимир Павлович явно к рыбе был неравнодушен. Еще одним ее большим любителем был Михаил Павлович Ерёмин, читавший нам литературу девятнадцатого века и спецкурс по Пушкину. А два главных магазина «Рыба» тогда имели место быть неподалеку от Литинститута: один в торце Петровского бульвара, куда теперь смотрит памятник Высоцкому, второй — на улице Горького, чуть ниже нашего Тверского бульвара. И в этот второй однажды вошли на удачу Владимир Павлович и Михаил Павлович. Удачи поначалу не случилось — ну не было тогда в огромном магазине изобилия. Дело по тем временам привычное. Но Михаила Павловича в тот раз ситуация сия возмутила, и он стал довольно громко, а голос у него хороший, преподавательский, с виртуозными интонациями возмущаться положением вещей. Видимо, как предположил В.П., Ерёмина приняли за какого-нибудь сумасшедшего академика, имеющего право. Откуда-то выскочил в зал то ли директор «Рыбы», то ли еще какой-то ответственный рыбный товарищ, Михаила Павловича с Владимиром Павловичем провели в подсобку, где рыба водилась в изобилии, как холодного, так и горячего копчения, даже благородных осетровых кровей. Официально все тогда стоило неправдоподобно дешево, так что взяли, кажется, столько, сколько смогли унести.

Еще В.П. позволял себе иногда выпивать в общаге со студентами. Мне случалось при этом присутствовать чаще всего в комнате у Валеры Клячина. Однако совместное распитие студентов с любимым преподавателем, точнее, долгие русские разговоры о жизни и литературе «под рюмочку», ни в коем случае не предполагало будущих поблажек: на экзамен к В.П. ты шел лишь с особым трепетом и ответственностью. Мне, помнится, на экзамене по русской литературе начала XX века достался вопрос по Бунину. И вот сидим мы в аудитории и беседуем об Иване Алексеевиче. И вдруг я вижу, как взгляд В.П. скользит над моим левым плечом, непривычно стекленея.

— Извините, — сказал он, поднимаясь. И грозными шагами проследовал вглубь аудитории.

Я обернулся. Мой однокурсник, усердно строчивший что-то на бумаге, испуганно поднял глаза.

— Будьте добры, — и В.П. протянул к нему руку. Тот сразу все понял и выудил из-под парты толстую книгу, с которой списывал. Взяв ее, В.П. глянул на раскрытые страницы, а потом на обложку.

Точных слов и деталей дальнейшего действа не помню, а придумывать не буду. Но в таком гневе Владимира Павловича я больше никогда не видел. Выгнал он с экзамена этого студента, а вопрос у того был по Ахматовой, думаю, не столько даже за то, что тот списывал, сколько за то, что в качестве шпаргалки он использовал чудовищный партийно-правильный учебник, кажется, Артамонова, не суть. Мы же вернулись к Бунину.

Идеальным студентом я тоже, конечно, не являлся: читал и учил лишь то, что мне было интересно, остальное же по остаточному принципу, а всякие истории КПСС и прочие марксистско-ленинские философии нещадно пропускал, за что и поплатился.

По окончании второго курса, вполне, кстати, успешного, с пятерками и без троек, я предстал перед очередной аттестационной комиссией, строгой по составу и намерениям: проректор, несколько преподавателей и зав.учебной частью, имевшей тут едва ли не главный голос, так как шла тотальная борьба за посещаемость.

Пропусков занятий у меня оказалось столь много, что после обсуждения пошла речь о моем исключении.

Но так как вуз у нас все же специфический, то на заседание суровой комиссии приглашали и руководителя семинара. Анатолий Андреевич Ким сидел не за столом президиума, а в стороне, возле окна. Наконец на него обратили внимание и спросили, что он думает по поводу моей исключительной судьбы.

Ким не стал меня хвалить и защищать, он просто сказал:

— Тогда я тоже уйду.

Вопрос был снят, хотя стипендии меня на ближайшие полгода все же лишили.

Уже после окончания мы с однокурсником Ваней Бессоновым как-то зашли в Литинститут и встретили В.П. Он торопился на лекцию, и мы его проводили на второй этаж, до самых дверей аудитории.

— Владимир Павлович, а можно тихо поприсутствовать? — спросил я.

— Не надо. Я же повторяюсь, — развел руками В.П. Мы поняли и не обиделись.

А уж совсем много лет спустя, практически недавно, на Новой Пушкинской премии имени Битова — Андрей Георгиевич еще был жив — мы встретились и поздоровались с Евгением Юрьевичем Сидоровым, в мои студенческие времена бывшим литинститутским проректором. И он мне вдруг сказал:

— А мы вчера с Владимиром Павловичем о вас говорили.

И мне почему-то стало очень хорошо.

А Герцена, друзья, надо читать.

Александр Иванович хорошо написал «Былое и думы».

А можно?..

В пушкинской квартире на Мойке мне разрешили подержать его трость. По знакомству, конечно. Их там три, на самом деле, с замысловатыми набалдашниками: один — аметистовый, во второй вделана пуговица от мундира Петра Первого, на третьем, слоновой кости, вырезано «А.Пушкинъ». Какую именно из них я держал в руках — напрочь не помню, кажется, ту, что с пуговицей. Но они точно деревянные, а вовсе не чугунные, как мне представлялось с детства по рассказам о дуэли, точнее, временах, ей предшествовавших, — будто Пушкин для тренировки носил пудовую трость, да еще ею и жонглировал, подбрасывая вверх, дабы рука в нужный момент не дрогнула. Говорят, та, что в Михайловском хранится прислоненной к камину в кабинете, точно железная, но мне в руки она пока не попадала. По некоторым свидетельствам весит она ровно как дуэльный пистолет, но точно не знаю, а врать с уверенностью не буду.

В Ясной Поляне по главному дому нас как-то вел Владимир Толстой, тогда недавно ставший директором усадьбы. На втором этаже в кабинете, где репродукция «Сикстинской мадонны», Брокгауз с Эфроном и зеленый диван, на котором Лев Николаевич родился, я кивнул на книжный шкаф:

— А можно?

— Можно, — легко согласился Володя. — Только на место поставь.

Я достал какую-то книгу, хорошо запомнив, откуда ее взял, раскрыл, вежливо полистал: на полях буквально каждой страницы очень знакомым почерком сделаны были карандашные пометки, чаще короткие, а иногда и пространные. Не без трепета я книгу закрыл и вернул на место. Но тактильное мое любопытство оказалось заразным.

К креслу, не тому все-таки, что у стола, а которое в углу (оба они, кстати, неглубоки и невелики — не был Толстой великаном), взглядом уже примеривался писатель Отрошенко:

— Можно?

— Да пожалуйста.

Во мне ласково, но язвительно засвербело.

И когда мы вышли из дома, я вроде как между прочим, глядя то в пространство, то под ноги, и даже будто немного стесняясь и сам пугаясь своих слов, сказал:

— Ну ты, Владик, попал, уж извини...

— Что? Что такое? — заволновался он.

— Ты разве не знаешь, что в этом кресле нельзя сидеть?

— Не знал... — повисла долгая пауза. — А почему?

— В нем Тургенев сиживал, Гончаров, Чехов...

Влад задумался и немного приободрился:

— Ну так не худшая же компания?

— Оно-то да, но...

— Но что?

— Ты же знаешь, что все они умерли?

А надо сказать, что Владик при всем своем высоком росте человек тонкий и даже отчасти мнительный. Одно то, что он, кажется, единственный из друзей, кого можно разыграть на первое апреля хоть в десятый раз, таковое желание невзначай и с легкостью провоцирует. И если подбавить в интонацию хотя бы одну таинственно-мистическую ноту, как у любимого нами всеми Гоголя, то уж — пиши пропало.

Меня, конечно, тянуло в игру эту поиграть подольше, но, зная чувствительное душевное устройство моего друга и наблюдая серьезность, омрачившую его лицо, надолго меня не хватило:

— Да пошутил я, Владик!

— Как пошутил?

— Не сидели в нем Тургенев, Гончаров и Чехов.

— А почему?

— Не посмели...

Кажется, он на меня даже немного обиделся. Но потом — отлегло.

Из той же Ясной Поляны мы однажды ехали в Поленово. Тоже в хорошей компании.

Маканину и Киму, как мэтрам, выделили персональный автомобиль. Ну и меня они с собой взяли. Я, естественно, занял срединное, не самое удобное место. Справа — Владимир Семёнович, слева — Анатолий Андреевич.

Ехать там не так чтобы очень далеко, но около часа, наверное. Говорили о чем-то: Ким эмоционально, Маканин, как всегда, сдержанно, чуть посмеиваясь в бороду. Я особо не встревал, переводя взгляд с одного на другого.

И где-то на полдороге они вдруг стали «мериться» литературными наградами и премиями. Вроде в шутку. У меня... А у меня... Склонялось к ничьей, хотя Маканин и хороший шахматист. И тут Ким вспомнил, что у него есть еще орден «Знак Почёта». Не было уже ни СССР, ни Союза писателей его имени. И дело-то было давнее...

— Неправильно, Толя, тебя наградили, — горько вздохнул Маканин.

— Это почему, Володя? — удивился Ким.

— Потому что ты кореец и пишешь по-русски. Тебе «Дружбу народов» надо было давать. Он и по статуту выше, а там уж и до «Трудового Красного Знамени» близко.

— Ну ладно, какой дали, такой и дали. У тебя и такого, поди, нет.

— Почему же? Есть.

— И какой?

— Не поверишь... — сделал правильную паузу Владимир Семёнович. — «Знак Почёта». Нас к нему скопом, видимо, представили, по писательскому списку и рангу. Что заслужили.

— Да? — невесело ответил почему-то серьезно изумленный Анатолий Андреевич.

— Вот так-то, Толя! А ты говоришь «дружба народов», — подначил его Маканин.

— Ничего я не говорю, — чуть раздраженно сказал Ким и отвернулся к окну. Маканин — к своему.

И тут смешок, который я долго скрывал, все ж вырвался наружу.

Классики оба строго посмотрели на меня и... нет, не расхохотались, но дружественно заулыбались. Мир был восстановлен. Ну прямо как дети.

В Поленово нас встречал Фёдор Дмитриевич Поленов, внук. Как раз подъехал и автобус с остальными нашими.

Я был здесь не в первый раз, но, конечно, пошел со всеми и в главный дом, и в мастерскую, и куда-то еще — приятно, когда водит тебя по усадьбе не экскурсовод, а потомственный хозяин, каковым себя Фёдор Дмитриевич явно ощущал, при том что формально уже даже официальным директором не был.

Познавательная часть не затянулась, тем более что время уже приближалось к обеденному, и некоторые даже переглядывались: когда же кормить будут, как в русских домах, а тем более усадьбах, издавна принято.

Потянулись ближе к Оке, где чуть на отшибе стоит лодочный сарай с якорем возле крыльца, он же Адмиралтейство, как называл его сам Василий Дмитриевич, художник.

Двери нам радушно открылись. Запах стоял просто невозможный свежесваренной в эмалированных ведрах картошки, посыпанной крупно нарезанным укропом!

Почему-то именно про эту картошку с укропом и селедкой я потом рассказывал жене и дочери, которых в тот раз с нами не было.

Зато обедали вместе, случалось, в директорском доме, опять же в Ясной Поляне, но не в усадьбе, а в деревне, у Кати и Володи.

Илья Владимирович Толстой тоже в тот раз был. И мы с ним курили, выходя на заднее крыльцо с видом на расцветающий сад и дровяной сарай.

Кто курит или даже благополучно бросил, тот меня поймет — за компанию курить всегда приятнее.

Доставая очередную сигарету, я оглянулся вокруг и не увидел Илью Владимировича. На крыльцо пришлось идти одному.

Выхожу и вижу: возле дровяного сарая на чурбачках сидят Илья Владимирович с окладистой седой бородой и дочь моя Мария Игоревна с косичкой. Одному — за шестьдесят, второй чуть больше десяти. И они разговаривают, причем оживленно так, жестикулируя и на окружающее ни малейшего внимания не обращая.

Им было так интересно друг с другом, что я не посмел помешать, убрал сигарету и тихо затворил за собой дверь в дом.

Когда же мы купались в большом усадебном пруду с Ильёй Ильичом, возле баньки, я молчать не хотел, так как японские туристы плотно к берегу подошли и на нас смотрели.

— Вот скажу им сейчас, — не без подвоха заявил я, — что здесь граф Толстой купается!

— Тогда я тебя утоплю, — ласково и спокойно, но очень уверенно ответил Илья.

Каюсь, проверять серьезность его намерений я не стал. Да тут и Наталья Олеговна Толстая подплыла:

— Вы тут о чем так серьезно?

Мы не признались.

Японцы уходили.

Так и не приобщившись.

Бедные-бедные.

А ведь было бы что детям и внукам рассказывать!

Остров Сахалин, Столбы на Реке и Колымская трасса

На Сахалине я был трижды. Даже из Якутска туда летал, с пересадкой во Владивостоке.

Каждый раз я сидел у окна и видел, как обрывается материк, под крылом близко, но медленно движутся корабли по глади Татарского пролива, оставляя длинные расходящиеся следы на воде, и набегают зеленые сопки острова, так и оставшегося для меня таинственным.

Общее место: советская власть испортила не только нравы, но кое-где и ландшафты. Последнее особо справедливо, если говорить, например, о Владивостоке, родившемся в одном из самых красивых мест на земле — на разновеликих сопках по берегам Амурского и Уссурийского заливов, а по центру еще и взрезанному Золотым Рогом. И когда с высоты смотровой площадки глядишь на это великолепие, обремененное унылыми панельными пятиэтажками, советскую власть и впрямь начинаешь любить еще меньше.

Южно-Сахалинска все это коснулось не столь значительно. Не в том смысле, что здесь нет панельного уныния, а в том, что портить тут было особо и нечего. Город лежит в глубокой плоской котловине, окруженной не слишком грандиозными возвышенностями, играющими роль естественных преград для ветреных непогод. Селение Владимировка возникло тут ближе к концу XIX века как место для обустройства жизни ссыльнокаторжных и ссыльнопоселенцев, ибо вольных людей никакими посулами тогда ни загнать, ни заманить не удавалось. Обычное такое русское селение образовалось, и с довольно крепкими хозяйствами, бревенчатыми торговыми лавками, почтой, школой и несколькими казенными домами.

Японцы, получившие южную часть Сахалина по грустным для нас итогам русско-японской войны и владевшие ею до 1945-го, переименовали территорию в губернаторство Карафуто, а Владимировку в Тоёхару, назначенную столицей.

Столицу свою японцы разбили чуть в стороне от Владимировки, довольно скоро стершейся с лица земли, по американско-чикагской модели с долгими, под прямым углом пересекающимися улицами — такую же планировку отчасти сохранил и нынешний Южно-Сахалинск, что хорошо видно с горы Большевик, при японцах носившей имя Асахигаока, что значит «Холм восходящего солнца».

Улицы Тоёхары застроили легкими жилыми домиками, в каких могут жить только сами японцы, — после сорок пятого все это было быстро снесено, как непригодное даже для советского человека. Заодно, отчасти в отместку, наверное, разрушили и все храмы, и даже большинство административных зданий. Кое-что все же сохранилось, но изменившись почти до неузнаваемости, разве что мой любимый краеведческий музей никто не тронул. От синтоистских храмов остались лишь кое-где фундаменты на городских задворках да несколько ворот-торий, но и то не в самом городе.

Так что Южно-Сахалинск являет собой типично советский послевоенный город, возведенный практически на пустом, разве что распланированном месте, чем и интересен. И если в Москве, например, отвернувшись от Кремля и двигаясь по Якиманке, Ленинскому и дальше через короткий проспект 60-летия Октября по Профсоюзной, можно проследить архитектурные нюансы каждой последующей эпохи, то в столице Сахалина все архитектурные стили перемешаны, как в хорошем винегрете, хотя панельные пятиэтажки в центре, кажется, и преобладают, иногда спрятавшись по главным улицам за спинами новых бетонно-зеркальных строений. В хорошую погоду вокруг видны туманные вершины сопок, что не может не радовать. Да и до моря совсем недалеко, Охотского, что всего лишь условность — ибо и Охотское море, и ближайший к городу залив Анива на самом деле есть уже Тихий океан, ну ладно, пусть — его окраины.

Когда давно и в первый раз я выбрался на океан, то по пути видел домики, обитые рубероидом, по бедности уступающие самым неказистым сельским строениям отнюдь не богатой центральной России, выброшенные на берег ржавеющие сейнеры, белокопытник вдоль дорог, похожий на лопухи, — в молодости съедобный в умелых руках, а в возрасте на влажно-солнечных склонах вырастающий до размеров хорошего мужского зонтика, под которым можно спрятаться аж вдвоем, медвежьи дудки высотой в три человеческих роста, холодные на вид океанские волны и низкое, пасмурное над ними небо.

И ничего обманчивого в этом не было — все честно, запущенно и волшебно, именно так — сразу, будто человек пришел сюда временно, ненадолго и не зная, что с доставшимся ему чудом делать. Пока его хватило только на то, чтобы брать-брать-брать и очень мало давать взамен.

Мы остановились и вышли из машины. Наш водитель достал огромный сачок, будто для ловли тропических бабочек. Мы поднялись по склону вдоль небольшой

громкой речки и вскоре оказались возле круглого бочажка, возникшего перед бетонным кольцом, сужающим водный поток. Бочажок жил собственной бурно-серебристой жизнью, словно кипел изнутри. Опущенный в него сачок вернулся полным крупных рыбин, тут же вытряхнутых на берег. Их было штук семь, но мы взяли только три, остальных вернув речке: все-таки они тут по делу, на нерест идут куда-то далеко и высоко по реке.

Позже, уже на привале, мы зашли в мелкое море с тем же сачком и провели им раз-другой по волнисто колышущейся под водой траве: каждый раз сачок приносил нам крупных креветок, по-местному чилимов, и крабов размером с пол-ладони. Мы их варили в котелке над огнем, а я даже рискнул одного чилима, макая в соевый соус, съесть сырым, и мне он понравился.

Гастрономические ноты — одни из главных в ощущении нового места, а уж если их невзначай, а то и нарочито соединить, вроде как совсем не звучащие вместе, то бывают вдруг странные, но уж точно неповторимые сближенья.

Мы долго ехали от Якутска, но оказалось, что проделали пока лишь треть пути, — дальше нас ждала Лена. На быстрых лодках до чаемых Ленских столбов оставалось еще часа два-три пути.

— Это как пойдет, — сказал мой капитан, натягивая глубже фуражку с якорем и выруливая на середину Реки.

Столбы, впрочем, начались где-то через час-полтора, ибо тянутся, сурово и таинственно вздымаясь вдоль берега, на несколько десятков километров, но выйти на берег и взобраться к их вершинам без специальных навыков и снаряжения можно лишь в специально отведенном месте, куда мы и стремились в конце концов попасть.

Среди нас оказались завзятые рыбаки с заготовленными спиннингами. Мы остановились. А пока рыбаки со своих лодок промышляли нам на обед, я достал из рюкзака полголовки эдамского сыра, привезенного недавно из Амстердама и захваченного с собой в командировку, дабы не пропал, а порадовал кого-нибудь еще. Мы угостились настоящим голландским сыром посреди великой российской реки, и нам стало хорошо.

Вскоре с соседней лодки нам стали подавать знаки пристать к берегу. Все три наших катера причалили, рыбаки тоже причастились сыром, а сами похвастались своим вполне приличным уловом — была там даже зубастая щука, солидная, я раньше таких живьем не видел.

Капитан нашего катера, видно, главный в команде судоводителей, достал специальную коптильную посудину, оказавшуюся бывшим баком для бензина, распиленным пополам, выложил дно его прибрежной осокой, устроил в нем поудобнее рыбин и посыпал все солью и диким луком, собранным нами тут же вокруг, в радиусе двух-трех шагов от разведенного костра. Покормив сначала духов воды, мы и сами подкрепились свежезакопченной рыбой и, рассекая водную гладь под сытый гул моторов, двинулись дальше.

Через час мы вновь высадились на берег, обошли якутское капище и долго-долго забирались вверх по извилистой тропе-лестнице. Сердце иногда ёкало, но было ради чего.

Лена, шириной здесь километров в восемь, а то и десять, с песчаным продолговатым островом посредине, текла себе с юга на север — и в каждую сторону, хоть до истоков, хоть до Ледовитого океана, по человеческим меркам ощущалась бесконечной.

В город мы вернулись уже в темноте.

Якутск вроде как формально стоит на берегу Лены, но это в реальности не совсем так. На самом деле — несколько в стороне, и никаких ленских набережных здесь нет.

Центральная часть города, лежащая в долине Туймаада, отделена от реки пойменным Зелёным лугом, в половодье затопляемым, речной порт расположен на одном из протоков Лены, тоже на отшибе. Но воды все равно много — по всему городу разбросано множество озер и стариц, частью облагороженных, частью — запущенных.

И хотя я знал, что Якутск стоит на вечной мерзлоте, я не сразу сообразил, почему тут все так неудобно — чтобы элементарно войти в магазин или ресторан, надо преодолеть уйму ступенек. Всё, однако, просто — дома стоят на сваях, посему первые этажи и столь непривычно высоки.

А самые резкие контрасты тут на каждом шагу. С одной стороны, много новых пафосно-стеклянных зданий, построенных на алмазные и нефтяные деньги, с другой — полно бараков, деревянная обшивка которых местами посинела от старости, немало и панельных пятиэтажек, порой с уникальными «изысками»: особо предприимчивые жильцы индивидуально утепляют свои квартиры извне кто чем горазд, — то сайдингом, то шлакоблоками, а то и вовсе замазывая межпанельные швы некой отвратительного цвета субстанцией. Но понять по-человечески их можно — зимой тут -50° обычное дело, доходит и до 60-ти.

Я жил тут летом, но и летом свои напасти. Во-первых, +30° здесь совсем не то, что в какой-нибудь Москве. Солнце такое открыто-жгучее, что уши начинает щипать, как при крещенском морозе. А еще пыль, но не обычная, а как мне объяснили знающие люди, дисперсная — летом вечная мерзлота на поверхности земли немного оттаивает, не глубже, чем на метр, отчего сия невидимая и всепроникающая субстанция и образуется. Пыль покрывает лицо, губы, уши, от нее слезятся глаза и чешется в носу.

Да, еще про контрасты. Ежели свернуть даже с улицы в какой-нибудь обычный вроде бы двор, то там может оказаться сразу пара или тройка ювелирно-алмазных магазинов, а по центру двора тут же обнаружится самая настоящая, глубокая, прямо-таки гоголевская лужа.

Зато еда здесь есть как раз на мой любопытный вкус. Строганину или индигирку можно при желании и в Москве попробовать, хоть в той же «Экспедиции», но тут, на родине ее, оно как-то «слаще». Про строганину все знают, а вот индигирка — это нечто близкое, но иное. Делается она тоже из сырой свежемороженой рыбы вроде чира, нельмы или омуля, но чуть более замысловато. Главное, по-моему, чтоб рыба порезана была правильными аккуратными кубиками. Добавляется лук, все посыпается большим количеством черного перца и солью, быстро перемешивается и тут же употребляется. Можно даже без водки, и так пробивает до испарины вдоль позвоночника и под лопатками, откуда крылья растут.

Если внимательно побродить по городским закоулкам, то кое-где еще можно встретить старые дома с резными наличниками и воротами, но если в центре они еще как-то дышат, то на окраинах, особенно там, где город враз обрывается перед бескрайностью Зелёного луга, доживают, похоже, последние дни. Новодельный же «Старый город» рядом с Преображенским собором — плохая замена овсу.

Про дисперсную пыль я уже говорил, но она напрочь въедается даже в память и невидимой взвесью отравляет воздух и, наверное, легкие. И вроде привыкнуть к ней невозможно, но привыкаешь. Но как всерьез мой бедный организм от нее устал, я ощутил, лишь прилетев из Якутска во Владивосток. Я вышел из аэропорта ранним сумрачным утром и с изумлением начал дышать сначала часто, потом редко и все глубже — вкус океанского воздуха был ласков и свеж, как холодное молоко с похмелья.

Кстати, вернувшись после Владивостока, Сахалина и снова Владивостока в Якутск, я почувствовал, что мой организм вполне перезарядился и готов к любым новым испытаниям. И я продолжил странное для якутян освоение города — тут все обычно передвигаются на леворульных джипах или в крайнем случае пользуются

общественным транспортом, я же предпочитал гулять пешком и обошел уже весь город, став отчасти локальной достопримечательностью для местных коллег: по утрам в офисе, где мы работали, они делились со мной и между собой, кто и в каком конце города меня вчера видел.

Решил я, наконец, дойти и до речного порта, куда до меня в здравом уме из центра города никто пешком явно не добирался.

И — да, там стоял кораблик, как раз вскоре собиравшийся отбыть на ту сторону Лены.

Маленькая справка — моста через Лену в Якутске нет, как нет тут и железной дороги, даже до левого берега, не говоря уж про правый, откуда начинается Колымская трасса. То есть формально она начинается в Якутске у Главпочтамта, но это скорее фигура речи: зимой по замерзшей реке налажена ледовая дорога, летом автомобили пересекают Лену на пароме. Для пеших же, вроде меня, и ходят по редкому расписанию кораблики вроде московских прогулочных.

Путь оказался неблизким, потому как сначала долго, пыхтя, выруливали из затона, потом наискосок пересекали Лену, а она тут шириной в несколько километров.

Никаких причалов не наблюдалось, так что наше вполне толковое плавательное средство носом почти ткнулось в песчаный берег, и пассажиров выпустили по сброшенному трапу. Кого-то ждали на машинах, остальных, как и меня, забрал рейсовый «пазик». Через несколько километров в горку мы выехали к поселку Нижний Бестях, на настоящую трассу, ту самую, Колымскую. Тут я вышел.

Из достопримечательностей обнаружились школа, сквер с детской площадкой, много-много строительных магазинов и столовка для дальнобойщиков. Пройдя поселок взад-вперед, у столовой я и остановился.

Еда оказалась обычной, люди тоже. Определить на взгляд, кто из них сейчас, плотно перекусив, отправится в путь до самого Магадана, я не смог, а лезть с разговорами ни к кому не хотелось.

Выйдя из столовой, я долго вдоль трассы смотрел в сторону Колымы.

До Магадана оставалось чуть больше двух тысяч километров.

Примерно, как от Москвы до Амстердама.

Однажды…

Шостакович позвонил Ростроповичу:

— Слава, можете приехать?

— Конечно, Дмитрий Дмитриевич, — и подумал-помечтал: может, что-то новое для виолончели написал, показать хочет?

Приехал. Шостакович попросил его присесть рядом, пододвигая стул:

— Давайте, Слава, помолчим.

Помолчали, где-то с полчаса.

Нарушив наконец тишину, Дмитрий Дмитриевич сказал:

— Спасибо, Слава, что пришли. Вы мне очень помогли.

Потом, конечно, выпили.

У «Анны Карениной» случился юбилей. Я работал в «Литгазете». И нам нужны были слова известных людей, к «Анне Карениной» имеющих отношение.

— Плисецкая! Она же ее танцевала! — сказал я.

— Было бы хорошо, — сказали мне с некоторым сомнением, что такое возможно.

Я пошел в отдел театральной критики.

— Да вот тебе телефон. Она как раз сейчас в Москве.

Позвонил, подошла не она. Представился.

— А можно с Майей Михайловной?..

И я услышал ее волшебный голос. Объяснил, что надо.

— Да, конечно, Игорь. Перезвоните мне, пожалуйста, через полчаса.

Перезвонил все с тем же волнением, и даже большим.

— Написала, — сказала она и продиктовала.

— Замечательно, Майя Михайловна!

— Подойдет?

— Более чем, — сказал я.

— Ну и хорошо, — ответила она.

— Спасибо вам, Майя Михайловна!

— Вам спасибо.

Джордж Харрисон уже умирал в Швейцарии.

Ходить не мог — только лежал.

К нему приехал Ринго Старр — подержать за ручку. А потом ему надо было лететь в Бостон — там, у его дочери — рак мозга.

И Харрисон ему сказал:

— Хочешь, я поеду с тобой?

Манджушри и монгольские сказки

Мы жили в гостинице «Чингисхан» на берегу реки Сэлбэ и много работали.

В Улан-Баторе тогда было весело. Приближались президентские выборы, и сторонники одного из кандидатов жгли костры и колотили по пустым бочкам на площади Сухэ-Батора, главной в монгольской столице. Ходили слухи, что руководила этим безобразием американская «послиха».

Нашим кандидатом в президенты был Намбарын Энхбаяр, бывший министр культуры, премьер, а на тот момент спикер парламента. И как вскоре выяснилось, еще и выпускник Литинститута, то есть для меня чуть ли не родственник, да к тому же переводчик Пушкина. Институт он окончил за два года до моего поступления, но уйму общих знакомых мы, конечно, мгновенно обнаружили.

Противник же наш основной, тот самый, с кострами и бочками, владел крупным кашемировым бизнесом, якобы с палкой гонялся за своими провинившимися сотрудниками, а то, что он носился по улицам Улан-Батора на малиновом «хаммере», я и сам видел.

Монголию я полюбил сразу и навсегда.

Самые красивые здесь дети и старики, особенно в национальных костюмах, которые для приехавших из аймаков вещь вполне обыденная, а вовсе не маскарадная, хотя и парадная в случае посещения города: яркие халаты-дели, разноцветные сапоги-гуталы с загнутыми носами, остроконечные шапки-малгай. Хороши здесь и девушки, особенно смешанных кровей, когда одна половинка монгольская, а вторая европейская. Тут я уверенный свидетель, потому как был в одном полуподпольном стриптиз-баре, где танцевали именно такие монгольские красавицы, абсолютно голенькие и чрезвычайно милые. Это бесспорно и еще раз, для непонятливых, подтверждает то, в чем лично я давно уверен — чем больше смешиваются расы и народы, тем мирозданию приятней.

Поначалу на улицах города ощущаешь себя отчасти неуютно: встречный поток людей не расступается, а обтекает тебя, задевая плечами, иногда даже возникает ощущение, что идущие навстречу могут пройти прямо сквозь тебя. Но ты быстро

убеждаешься, что тут нет ни малейшей агрессии, просто вольные степные люди, за много поколений привыкшие к необъятности просторов, и в городе ведут себя так, будто идут по бескрайней степи, где ничто и никак не может им помешать.

А вот улицы тут лучше было переходить с местной толпой, ибо сигналы светофоров, по крайней мере не на центральных перекрестках, здесь скорее выполняли роль необязательной цветомузыки или дополнительного освещения, нежели служили организации движения автомобилистов и пешеходов: посему надо было подождать, пока возле перехода образуется плотная группа, и стать ее частью. В непредсказуемо загадочный, понятный лишь местным горожанам момент толпа начинала двигаться или поперек, или наискосок дороги, беспрекословно останавливая поток машин. Главное, конечно, было не забывать еще и постоянно смотреть под ноги, потому как большинство крышек на канализационных и прочих люках на тот момент напрочь отсутствовали, будучи невосстановимо сданными в металлолом.

Еще, конечно, забавно обстояло тогда дело с телефонами. Мобильными было обеспечено далеко не все население, посему расцвел особый коммуникационный бизнес по-монгольски: предприимчивые обладатели реальной связи стояли на улицах с плакатиками, предлагавшими за умеренную цену сделать звонок, особо же продвинутые даже сооружали фанерные будки с крышей и прилавком, на котором стоял старомодный телефонный аппарат, неким сложно-техническим образом связанный с мобильным, который вовсе не обязательно было давать желающим непосредственно в руки. В чем-то, впрочем, технический прогресс тут опережал тогдашнюю Россию: в Москве тогда еще выходило немало черно-белых газет, в Улан-Баторе же всё уже на тот момент печаталось исключительно полноцветным.

Улан-Батор лежит в долине реки Туул с ее протоками и притоками, словно внутри глубокой чаши. На севере покатые склоны усыпаны юртами, на юге возвышается настоящая горная цепь со священной горой монголов Богд-Хан-Уул. Из города г*о*ры не кажутся слишком высокими, потому что ты и так уже на немалой высоте — самая низкая точка здесь выше тысячи метров над уровнем моря.

Юрточные районы на склонах и прочих окраинах постепенно образовались после нескольких особо суровых зим, когда массово погибал скот, а люди, потеряв смысл и источник существования, ради выживания стали перебираться из степей в город прямо со своими жилищами, явочным порядком «застраивая» тогда еще свободные территории.

Впрочем, юрты встречались и в центре города, рядом с многоэтажками. Скорее всего, это было еще менее законно, зато статусно. И я быстро разучился удивляться, видя возле вроде бы бедной одинокой юрты, обнесенной ненадежным, немного условным забором, явно принадлежащий хозяину юрты припаркованный мерседес, пусть и не новый, но представительского класса.

Юрта чаще всего будет и во дворе солидного особняка, уже как признак реального статусного богатства — именно в ней принимают особо важных гостей. Есть своя белая юрта и в посольстве Монголии в Москве. А в Зимнем дворце Богдо-гэгэна VIII юрта, покрытая леопардовыми шкурами, возведена прямо внутри здания, на первом этаже.

От Урги, как прежде называли Улан-Батор, знакомой мне еще по первому изданию «Самодержца пустыни» Леонида Юзефовича, заметного осталось немного.

На южной окраине сохранилась центральная часть резиденции Богдо-гэгена с очень скромным двухэтажным Зимним дворцом, построенным русскими архитекторами, дворцом Летним в китайском стиле, скорее комплексом храмов, и Триумфальными воротами, раскрытыми в сторону священной горы Богд-Хан-Уул.

Монастырь Гандан с золоченой статуей бодхисаттвы Авалокитешвары, зримого

воплощения бесконечного сострадания всех будд, внутри специально построенного для нее храма, буддийским университетом и стихийно-деревянным, с мелкими лавочками вокруг, где в одной я, помнится, купил тибетскую вязаную сумку, живую до сих пор, расположен на северо-западе.

В центре, в районе Баянгол, при советской власти именовавшемся Октябрьским, есть небольшой дацан Бадма-Ёга с буддийским училищем, своего рода филиал Гандана, а немного южнее площади Сухэ-Батора — храм-музей Чойджин-ламы с мумифицированным телом ламы Балданчоймбола, учителя Богдо-гэгэна VIII, и молитвенным домиком в виде юрты с каменным порталом входа, окнами и под железной крышей, — туда я заходил чаще всего, благо, он совсем недалеко от моего «Чингисхана».

Видел я кое-что и еще, более современное, но уж совсем недоступное для обычного наблюдателя. То место, куда нас с психологом позвали на встречу с Энхбаяром, до сих пор на карте Гугла обозначено лишь зеленым продолговатым пятном и единственным каплей-значком с надписью «Государственное учреждение», в спутниковом варианте можно разглядеть несколько крыш, разбросанных по обширному пространству меж каменных безжизненных холмов. В реальности все гораздо интереснее.

Нас сразу предупредили, что туда нельзя попасть на обычной машине, только с правительственными номерами, и что за нами заедут.

В холле «Чингисхана» мы встретились с вежливым человеком лет сорока, который и сообщил, что будет нас сопровождать.

Ехали мы через весь город, так что времени пообщаться оказалось вдоволь.

Я сходу признался, как мне все здесь нравится. Он спорить не стал, но его, похоже, устраивало не всё, а многое и вовсе, он считал, надо поправить и поменять. Что именно и как, сопровождающий объяснял очень толково и дружелюбно.

Наконец я осмелел и спросил:

— А вы сами чем, если не секрет, занимаетесь?

— Я министр иностранных дел, — улыбнулся он.

У подножия Богд-Хан-Уул мы свернули налево и вскоре оказались перед ущельем, уходящим вверх, по всей ширине перегороженным металлической высокой оградой: сюда-то, в правительственную резиденцию, нам и было надо.

Ворота открылись, и солдатик с автоматом взял на караул.

Слева возвышалось довольно помпезное, в бело-голубых тонах здание, как оказалось, дворец маршала Чолбайсана, но мы еще поднялись по асфальтированной извилистой дороге, в стороне от которой виднелись вдалеке, частью скрытые лесом, еще несколько вполне грандиозных, но все же приземистых строений с плоскими крышами. В подобном же стиле был выстроен и особняк самый дальний, где жил спикер парламента Энхбаяр, символически, как выходило, выше всех остальных глав властных ветвей, по совместительству его соседей по правительственному ущелью.

Я с ним и поделился сим забавным наблюдением, когда мы через громадный холл прошли вглубь дома, в гостиную с глубокими кожаными диванами, где Энхбаяр нас встретил.

— Под вами вс*е* внизу как на ладони, — добавил я.

— Но пока не на ладони, — уточнил он, приняв мою шутку с чингисхановской усмешкой.

Еще раз я побывал в резиденции уже со всей нашей русской командой, когда Энхбаяр пригласил нас на обед. На закуску, но не очень настойчиво, нам предложили монгольской еды, после чего все перешли исключительно к блюдам японским, то есть, привычным роллам и суши, изобильно заказанным из хорошего ресторана.

Мы с Энхбаяром сидели друг напротив друга и частенько выпадали из общих разговоров, вспоминая Литинститут и общих знакомых по русской и монгольской литературе.

Так и не осиленную до конца японскую еду нам упаковали с собой.

В какой-то момент мы, жившие и работавшие в «Чингисхане» и гулявшие исключительно по ближним окрестностям, сильно устали как от рутинного, так и от экзотического однообразия: надо было срочно перезагрузить мозги. Это я объяснил, насколько мог доходчиво, недавно прилетевшему из Москвы и рьяно включившемуся в рабочий процесс Игорю, хозяину пиаровской структуры, от которой мы здесь и оказались. Скрепя сердце он выделил нам выходной.

Следующим утром у входа в «Чингисхан» ждал заказанный автомобиль с водителем в белых перчатках. Нас было четверо: кроме меня, чудесные мои коллеги Вера с Катей и наша переводчица Цая. Маршрут и место назначения заранее выбрала Катя, а мы не споря согласились — нам надо было хоть куда-нибудь.

Дорога на окраине города начала стремиться вверх, обтекая справа Богд-Хан-Уул. Вскоре мы оказались на холмистом просторе и попросили водителя сменить невнятную интернациональную музыку на родную монгольскую.

За окном вдалеке скакал одинокий всадник, а в небе кружил орел.

Мы вышли из машины и впервые за долгий срок ощутили степной запах свободы.

Еще через полчаса окончательно остановились на пороге горной долины, уходившей, сужаясь, вверх, в сторону вершины священной горы Богд-Хан-Уул.

Ныне тут музей под открытым небом с юрточной турбазой, а прежде был монастырь Манджушри, где жило порядка трехсот монахов, служивших в двух десятках храмов. В тридцатые годы прошлого века, не без русского, точнее, советского участия все разрушили, а оставшихся на тот момент монахов во главе с настоятелем, шестым перерождением бодхисаттвы Манджушри, расстреляли. От монастыря остались лишь фрагменты храмовых стен, фундаменты и воздух. Только один храм, самый верхний, уже был восстановлен, но и он скорее служил музеем буддийского искусства, нежели использовался по прямому назначению, разве что в большие буддийские праздники.

Все тут было мило и, как ни странно, обычно, в том смысле, что и впрямь воспринималось как симпатичное туристическое пространство с разбросанными по территории артефактами, вроде изваяний-мегалитов, омытых дождями до белизны черепов крупных животных, каменных стел с древнемонгольскими письменами или циклопических размеров бронзового котла, в котором из десятка баранов можно приготовить пищу для тысячи лам, но напрочь лишенное всякой сакральности.

И лишь когда, отдав визит вежливости хранителям музея, семейной паре, жившей в юрте рядом с восстановленным храмом, мы с Верой и Катей забрались вверх по склону, к святилищу, оно и случилось.

С треугольного плоского камня высотой в два человеческих роста на нас взирал бородатый дед, похожий на нашего Николая Угодника, — Хранитель Горы, как я про себя его сразу и назвал, хотя по идее тут должно было быть более или менее классическое изображение бодхисаттвы. У подножия камня лежали обычные буддийские подношения вроде мелких монеток, сигарет, щепоток зерна и кусочков цветных тканей, придавленных мелкими камнями.

Когда же мы развернулись в сторону широкой долины, то не смогли удержаться на ногах и все трое присели на камни, причем максимально далеко друг от друга, наверное, чтоб почувствовать себя наедине с тем, что тут открылось.

Здесь земля соединялась с небом.

Буквально.

Реально.

И мы долго-долго там сидели и не могли уйти.

Я спустился вниз первым, а ждавшая нас Цая сообщила, что заказанный обед уже давно готов.

Обед в виде бараньих ребер, сваренных с камнями, нам подали в туристической юрте. Про камни, обычные вроде булыжники, вынутые из котла, нам сказали: если у кого болят почки, их можно приложить к телу, очень помогает. Почки у нас ни у кого не болели, но выпить мне под такую закуску захотелось. На разлив тут не было, и мне пришлось купить огромную бутылку «Чингисхана», из которой мы отпили самую чуть.

На обратном пути к городу раздался звонок от Игоря: он очень хотел меня видеть сразу по приезде.

В нашем гостиничном офисе он объяснил, что от меня требуется, на всякий случай, если я вскоре уеду.

Монгольское избирательное законодательство устроено было таким необычайным образом, что во втором туре президентских выборов, ежели он вдруг случится, в любых рекламных материалах запрещено упоминать имена кандидатов.

Вот мне и предстояло сочинить нечто такое, из чего безо всяких имен было бы ясно, кто есть кто, и что наш — все равно лучше всех.

Я поднялся в свой номер, включил компьютер, налил себе «Чингисхана» и задумался.

Часа за два я написал три сказки, где в некоем волшебно-реальном мире действовали наш кандидат и его соперник, безымянные, но наделенные вполне узнаваемыми чертами.

Я спустился в офис и отдал распечатанные сказки Игорю. Он молча прочитал и передал их нашей второй переводчице Баярме.

Наконец она подняла взгляд.

— Всем будет понятно, о ком идет речь? — спросил Игорь.

— Конечно.

— А если мы это переведем на монгольский и опубликуем, можно будет догадаться, что это писал не монгол?

— Это писал монгол, — без тени сомнения ответила Баярма.

В практическом смысле мои сказки оказались невостребованными — Энхбаяр стал третьим президентом Монголии безо всякого второго тура.

Когда много позже, недавно, я дописывал эту главу, то просмотрел множество фотографий монастыря Манджушри в поисках нашего «Николая Угодника». Ничего похожего. Только немногочисленные будды и бодхисаттвы, исключительно гладко выбритые.

Но мы же его точно видели. Там, где небо соединяется с землей.

И только на каком-то сто первом фото он проявился.

Точно он, тот самый, бородатый.

Николай Угодник.

В позе лотоса.

Как я стал хорошим

У меня была чудесная теща, Любовь Борисовна. Она нас всех тихо и заботливо любила, особенно свою внучку Машу.

Мехмат МГУ, Снежинск, ядерная бомба, Институт прикладной математики — кто знает, тот понимает.

Иногда мы с ней на кухне говорили как раз о математике — и я что-то понял, как мне кажется.

Однажды утром я ей сказал, мы были одни, и снова на кухне:

— Любовь Борисовна! Как же вам повезло с младшей дочерью!

Она задумалась лишь на мгновение:

— Игорь, вам же тоже!

На самом деле на хороших людей мне в жизни везет. Конечно, встречались и какие-то изумительные мерзавцы, но так, по касательной, и, будучи совсем не интересными, быстро исчезали. Посему мне очень странно слушать рассказы тех редких знакомых, преимущественно женщин, у кого совсем не удалось, например, детство — по причине окружавшей их тотальной нелюбви, прежде всего родительской, точнее, материнской, так как матери воспитывали их одни, в стесненных бытовых и материальных условиях, с мордобоями и наказаниями в углу на коленях. Парадоксальным вроде бы образом сами эти, уже ставшие взрослыми, женщины оказались людьми хорошими и добрыми и, не забывая детских основательных обид, к своим провинившимся матерям относятся нежно, а уж к собственным детям и подавно. Так что первопричины и последствия зла и добра все равно остаются для меня загадкой. Хотя лучше, конечно, обойтись без лишних испытаний судьбы, но уж тут как кому заповедано.

Мне никаких суровых испытаний в детстве не выпало, скорее уж маме со мной.

Она родила меня в одиночестве, что по тем временам считалось отчасти неприличным. Дабы я не испытывал всяких комплексов, хотя я все равно от них не мог долго избавиться, был сочинен семейный миф, что папа в горах разбился на лошади. Миф имел горестный, но определенно романтический привкус, и совсем не грешил против обстоятельств времени и места, — мама работала геологом в Киргизии и ходила в конные маршруты, и я до сих пор хорошо помню, как встречал ее на подходе к нашему палаточному лагерю и довольно ловко по ноге лошади взбирался к ней в седло. Лишь много позже, уже повзрослевшему, мама призналась, что отец благополучно жив и работает в каком-то геологическом учреждении Киева. Только после маминой смерти я со своей тогдашней подругой туда съездил и предпринял не слишком упорные попытки полумифического отца разыскать: его фамилию-имя-отчество я знал, как и возраст примерный. Обстоятельств поиска я особо не помню — видимо, они меня не очень увлекли, и озабоченность моя тайной собственного происхождения и желание зачем-то отца обрести совсем и уже навсегда исчезли.

Чудесного в моей жизни хватало и с мамой.

В месяц я помирал на окраине города Фрунзе, температура за сорок, а «скорая» не ехала. Соседка на неостром конце иглы предложила дать мне опия. Мама согласилась. «Скорая» так и не приехала, а я выжил.

Мама терпела все мои юношеские выкрутасы, ждала из армии, всем читала, что я написал. Успела порадоваться, что я и во ВГИКе, и в Литинституте прошел конкурс, — и ушла.

На самом деле именно она первая научила любить, любя меня, хотя я, дурак, эти ее уроки усвоил с большим опозданием.

На летние каникулы из Литинститута, до того, как встретил Таню и насовсем перебрался в Москву, я возвращался в Иваново, в свою квартиру. Тем летом, когда меня за пропуски занятий лишили на полгода стипендии, мне поначалу, пока я не нашел работу в цирке, было очень голодно, даже во сне.

Просыпаюсь, а там под окном — мама.

Но я же знаю, что она умерла.

Встаю и спускаюсь — со своего третьего этажа — на угол, где она меня ждет.

Она стоит и протягивает мне пакет в синей бумаге.

Беру, разворачиваю — это котлеты.

Просто котлеты.

Горячие.

Ем. И что-то начинаю понимать...

Дите обдуманно и планомерно мы никогда не воспитывали. Просто жили и дружили, заботились друг о друге. Если в холодильнике оставался последний шоколадный пудинг, любимый исключительно мной и Машей, я отдавал его ей. Но она всегда оставляла мне половину.

И только, кажется, однажды я позволил себе что-то объяснить ей буквально.

Мы сидели в ее комнате да диване. Ей было лет тринадцать.

— Маша, жизнь штука чудесная и сложная...

Слушает.

— В ней есть место иногда и для конформизма. Только...

Слушает.

— Только клониться можно слишком немного, — показываю рукой. — Дальше нельзя. Ситуация невозврата. Дальше надо посылать...

— Знаю, папа.

Конечно, не всё и не всегда было так уж благостно.

Маша с детства отличалась строгостью и самостоятельностью в мыслях и поступках, и могла исподлобья глянуть так, что начнешь чувствовать собственные уши.

Иногда я экзистенционально злился на мироздание. В такие моменты, а случались они часто, мироздание мне виделось исключительно с изнанки, и свое отношение к нему я выражал недовольным бормотанием по любому поводу, капризничал, то есть всячески тиранил домашних. Таня тут же уходила в себя, больше ей некуда было деться, брала карандаш или кисточку и рисовала, дочь скрывалась в своей комнате, мудрый лабрадор Бонд шоколадной мордой терся о мои коленки, стараясь побыстрее выманить на улицу, дабы остудить мою злость.

Ко всему прочему я никогда не мыл после себя посуду, оправдываясь тем, что «перемыл» ее в армии. Да еще и бурчал, когда в раковине она скапливалась. Посуду безропотно мыли теща или Таня, лишь спиной выражая свое изумленное презрение.

Не скажу что сразу, но эти уроки все же пошли на пользу, и я со временем научился хотя бы молчать.

Окончательно все во мне сложилось к лучшему, когда до меня дошло то, что много раньше меня уже знала Таня, написав потом про это в своей повести «За августом следует август»[1]:

«ЧТОБЫ ТЫ ПОНЯЛА. И я поняла.

Наверное, это смешно, но мне было не до смеха, я поняла простейшую вещь, которую знала так давно, что казалась она — неправдой, нет, не то чтобы так впрямую — неправдой, но какой-то фальшивой, неестественной и оттого ненужной правдой. То есть — это было до того просто и к тому же проговорено столько раз и на всякие лады, что для того, чтобы понять, и в самом деле потребовалось: ПОНЯТЬ. Я поняла, в чем смысл жизни. Смысл жизни — в любви, вот что я поняла. Это было и вправду — не смешно. Всё, что угодно, но — не смешно. И еще я поняла — человек одинок. Его может окружать семья хоть в сто сорок пять голов, любовь обволакивать по самую маковку в неисчислимое количество наипуховейших перин нежности и

[1] *Татьяна Морозова*. За августом следует август. Повесть (ДН, 2012, № 8).

заботы, но все равно человек — каждый, каждый — один на один остается на поле брани между жизнью и смертью».

Во всяком случае, отвратительно злым я уже никогда не бываю, а если нет возможности не злиться в связи с очередной внешней гадостью, то не выхожу за рамки своего внутреннего пространства.

У всего, впрочем, есть и оборотная сторона.

Одна красивая и очень уверенная в себе женщина за завтраком у меня дома как-то сказала, хотя я вроде бы никакого повода и не давал:

— А ты не очень-то гордись тем, что такой хороший!

Я и не горжусь.

Просто стараюсь.

И посуду теперь всегда мою сразу.

Над Финским заливом

Немного безбашенная питерская подруга позвала меня на свой день рождения. Так как она тоже Таня, то я буду ее называть здесь Т., чтоб не возникло путаницы.

— Ты только ботинки поудобнее надень, — предупредила она.

— В смысле?

— Со шнурками. Чтобы не спадали.

— Поясни?

— Сюрприз. Но ты, если что, сможешь отказаться. Приезжай пораньше, лучше на «Красной стреле», и сразу ко мне. Как раз все спокойно успеем, от меня тут недалеко. Это и будет твой подарок, другого не надо, — «спокойно» в ее устах прозвучало настораживающе.

Жила она на юго-западе, между Финским заливом и Петергофским шоссе, неподалеку от Матисова канала, с которым у меня были связаны ознобные воспоминания.

Тогда меня занесло в Петербург зимой, то ли перед Новым годом, то ли сразу после, и мы поехали с ней кататься на велосипедах.

Покатались по скользким улицам, пронизанным злющим ветром, вокруг нарядной елки, глотнули из фляжки коньяка. И она умчалась на своем скоростном велике. Мне-то достался старый, гостевой, с маленькими колесами, и шанса ее догнать у меня не было, тем более что она бывшая спортсменка-велосипедистка. Оставалось лишь ждать, катаясь туда-сюда по берегу, бодро накручивая педали, чтоб окончательно не замерзнуть.

Наконец, я увидел, что она возвращается, но не по берегу, а по льду канала.

Когда она притормозила напротив меня, я еще успел подумать: как же я оттуда буду ее доставать? Склон был достаточно крут.

Но дальше мне соображать пришлось гораздо быстрее.

Лед вокруг нее беззвучно затрещал, и на моих глазах она вместе с велосипедом провалилась в воду по самую шею.

Благо, все случилось недалеко от берега и она смогла к нему чуть подгрести.

Я скатился по склону, сам чудом не свалившись к ней, и протянул руку.

Схватившись за руку, она сделала отчаянную попытку, нет, не вылезти на берег, а затащить и меня в свою ледяную купель. Так что сопротивляться мне пришлось не только скользкому склону, упираясь подошвами практически о воздух, но и ее русалочьему коварству.

Все-таки я вытащил и ее, и даже велосипед, который она не отпустила на дно, а

держала за руль другой рукой. Окончательно обледенеть он не успел, и мы понеслись к дому с единственной мыслью о горячей ванне.

Теперь хотя бы был июль.

Едва я переступил порог, Т. бросила взгляд на мои ботинки:

— Пойдет. Хотя я для тебя на всякий случай берцы одолжила.

— И?

— Мы будем прыгать с парашютами. Давно хотела. Но одной страшно. Ты не против? Ведь у меня день рождения! — кокетничать она особо не умела.

— Куда же я денусь?

— Мы только подругу с сыном заберем по дороге.

— Они тоже будут прыгать?

Т. посмотрела на меня как на идиота.

Из города мы выехали по Петергофскому шоссе. Т., как обычно, гнала.

Аэродром оказался маленьким, с офисом в железном вагончике. Там нас быстренько осмотрел и послушал врач, измерил давление, мы расписались, что не имеем претензий по поводу возможных последствий, и я заплатил по тарифу. Мне выдали квитанцию об уплате:

— Пройдете инструктаж, и вперед!

Лицо Т. немножко побелело, и она уже не выглядела столь решительной, как пятью минутами раньше.

Профессиональные парашютисты как раз загружались в Ан-2.

Нас, «перворазников», человек пятнадцать, рассадили на п-образной лавочке.

— Спортсмены прыгают с трех тысяч и сами, — пояснил наш инструктор, крепкий мужик в камуфляжных штанах и зеленой майке-алкоголичке. — А вы с восьмисот метров и принудительно. Это в том смысле, — опередил он возможные вопросы, — что ваш парашют, пристегнутый фалом к тросу в самолете, когда вы прыгнете, раскроется автоматически. Но все — по порядку.

Инструктаж занял примерно тридцать три минуты, но изложу короче, только самую суть.

После каждого смыслового пассажа инструктор делал паузу и оглядывал присутствующих на предмет уразумения.

— Вы прыгаете с парашютом дэ-один-пять-у, что означает: десантный — первая модель — пятая — управляемая. Разработан после войны, самый надежный на просторах России и СНГ. На всякий случай есть еще и запасной, столь же надежный. Но он вам вряд ли понадобится.

— Основной парашют находится в заплечном ранце, запасной у вас на животе. Где найти кольцо для его раскрытия, покажу, когда облачитесь.

— Прыгаете, повторяю, с высоты восемьсот метров. Выпускающий откроет дверь, и по его команде вы по порядку совершите прыжок. Пауза между предыдущим и последующим — не более двух-трех секунд. Прыгаете по ходу движения самолета. Руки держите скрещенными на груди, коленки вместе.

— Когда прыгнете, почувствуете динамический удар. Это правильно, значит, все в порядке и парашют раскрылся.

— Парашют у нас управляемый, но не очень. Управление осуществляется при помощи специальных строп, к которым прикреплены красные ручки-клеванты или бобышки. Найдете их чуть выше ваших ушей. За них как раз будете держаться. Если потянуть за правую, то парашют начнет поворачиваться вправо, за левую — соответственно влево. Можете немного поуправлять и осмотреться по сторонам. Если же вдруг окажетесь над лесом, то только при помощи ручек управления и сможете избежать падения на верхушки елок. Но такое вряд ли произойдет — лес у нас довольно

далеко, — честно говоря, зеленая лесная стена видна была невооруженным взглядом. — Но если все же придется садиться на лес, то надо сгруппироваться и постараться проскочить между вершинами. Главное, не сесть... В общем, сами понимаете.

— Направление ветра определяется по колдуну, то есть ветроуказателю, — инструктор ткнул пальцем в полосатый мешок, развевающийся высоко на мачте. — По нему еще можно примерно узнать скорость ветра, но это вам пока не обязательно.

— Ваша скорость снижения — около пяти метров в секунду. Перед приземлением обязательно разворачиваетесь против ветра, тем самым снижаете скорость. Ноги держать согнутыми, сомкнутыми в коленях, напряженными, ступни — параллельно земле.

— Коснувшись земли, стараетесь упасть лицом к куполу, и тут же гасите его, подбирая к себе нижние стропы.

— Вопросы есть?

Все промолчали, но один вертлявый парнишка все же бойко поинтересовался:

— А стропорез дадите?

Инструктор кашлянул в кулак.

— Стропорез не дадим. Если ваш парашют не отделится от самолета, то последовательность действий будет такова. Мы возьмем курс на Финский залив, над водой сбросим скорость до восьмидесяти километров и опустимся на минимальную высоту. А там вас, — инструктор просверлил взглядом вертлявого, — аккуратно отрежем. Специально вызванный катер вас подберет. Все ясно?

Все с ненавистью посмотрели на умника.

— Инструктаж закончен. Взлёт, одеваться! — скомандовал инструктор.

Стало ясно, что шутки кончились.

Нас облачили в парашютные ранцы и шлемы, все нужное застегнули и, построив по ранжиру, то есть примерно по весу, от более тяжелого к менее, каждую застежку проверили еще раз. Т. оказалась рядом со мной.

— В том же порядке, как сейчас стоите, взойдете на борт, в том же порядке его и покинете!

Жалобно заглянув мне в глаза, Т. опустилась на землю. Лицо ее оставляло желать лучшего. Я помог ей подняться, потому что самостоятельно тут не справиться: вместе с запаской амуниция весит килограммов под тридцать.

Как раз и команда подоспела:

— Налево! В самолет шагом марш! — инструктор, оглядывая шагающую колонну, ласково добавил: — Обратного билета у нас не выдают. Сел в самолет — прыгай! Помни, за твоей спиной — следующий!

Взлетели.

Дверь распахнулась гораздо раньше, чем я предполагал. Т. смотрела в противоположную от выхода строну.

В нужный момент выпускающий коснулся рукой ближайшего товарища нашего, сидящего первым напротив нас. И дал команду всему ряду встать.

Все выпрыгнули без видимых заминок, будто для них это оказалось плевым делом.

Последовала очередь и нашей скамейки. Ни секунды хотя бы оглянуться на Т. уже не оставалось.

Перед разверстой дверью я оказался третьим, сделав три шага по дрожащему и уходящему из-под ног полу и балансируя разведенными руками, на пороге оглох от вибрирующего треска двигателя, долю отчаянной секунды еще помедлил, коснувшись ладонью дверной тонкой кромки, и прыгнул с открытыми глазами.

Падал я недолго, а не какую-то фигуральную вечность.

Над головой раздался хлопок, широкие лямки плотно обхватили тело, и наступила тишина.

Как учили, я посмотрел на запаску и вверх: купол надо мной был огромен, но все равно не загораживал неба. Поднятые руки обнаружили клеванты и схватились за них.

Внизу желтели поля, на их краю обозначились вагончики аэродрома с развевающимся над ними колдуном, далеко сбоку зеленела зазубренная стена леса, а еще дальше за ней быстро и серебристо блеснуло — я догадался, что это гладь Финского залива.

Хотелось сказать: ах!

И стало ясно, что во сне мы летаем именно так, как на самом деле.

Я попробовал порулить, и меня послушно, хотя и медленно развернуло вправо. Мне даже удалось сделать полный круг вокруг своей оси. И, натягивая вниз то правый, то левый клевант, я стал смещаться в небе подальше от леса и поближе к аэродрому.

Все же люди иногда летают как птицы!

Земля надвигалась нестрашно, лишь понемногу приближаясь, но вдруг понеслась на меня стремительно и неотвратимо.

Я сжал и подогнул колени, очень четко, словно сквозь окуляры бинокля видя под собой борозды поля с пожухшим желтым жнивьем.

Удар о подошвы опрокинул меня лицом вниз, а раздувшийся парус парашюта потащил за собой. Мое тело поднимало пыль.

Но сознание сработало — я вполне умело и быстро начал подбирать на себя нижние стропы. Купол схлопнулся и опал.

Я поднялся, посмотрел вокруг и, собрав в охапку тяжеленный парашют, направился к вагончикам аэродрома. Сел я, между прочим, всего лишь метрах в двухстах от них, то есть практически идеально.

Сдав парашют и шлем, я обнаружил сидящих за пластмассовым синим столом подругу Т. с ее сыном, мальчиком лет тринадцати. Снова оглянулся и опять Т. не увидел.

— Пойдем ее искать, — сказал я мальчику.

Мы встретили Т. на самом дальнем краю поля, совсем не далеко от леса. Она уже шла навстречу нам со скомканным телом парашюта на руках. У меня не было сил ей помочь. Но мальчик догадался, забрал нелегкий груз и пошел с нею рядом плечом к плечу. Кажется, он уже решил, что когда-нибудь тоже прыгнет.

На обратном пути мы еще посетили открытую для простых смертных часть Константиновского дворца, дошли вдоль канала до самого залива, в кафе на другой стороне Петергофского шоссе я поднял тост за Т.

Мы встретились с ней взглядами и вместе посмотрели на небо.

Я протянул ей руку.

Она ее крепко пожала.

Со спины я похож на турка

Мне на очередной день рождения дети подарили билеты в Стамбул.

Снижаясь, самолет пролетел вдоль Босфора над всем желто-оранжевым городом: с деталями мое зрение не справилось, но Золотой Рог все же не пропустило.

Тогда я еще не знал, что стамбульское метро, куда можно спуститься прямо в аэропорту, под землей прячется совсем недолго, скоро выскакивая на поверхность, где можно пересесть на не менее стремительный трамвай, и решил ехать на автобусе, чтобы как можно раньше все увидеть вблизи, хотя бы за окном.

Распорядителем, помогавшим пассажирам выбрать подходящий маршрут и загрузить вещи, оказался не совсем молодой человек. Улыбчивый, толковый и услужливый безо всякого халдейски-презрительного подобострастия, он неторопливо и быстро заполнил наш автобус и дал команду к отправлению. Водитель тоже был не стар, но солиден.

И я сразу почувствовал, что Стамбул — не Анталия. Там живут временно и суетливо, здесь с достоинством и в вечности. Вскоре я окончательно убедился, что тут отношение к своему месту в мироздании определяется не статусом, а отношением к делу. Та же работа официантом, да хоть кем, не есть выбор сиюминутный, временный, по молодости до лучших времен, как, например, у нас, а уже на всю жизнь и даже, зачастую, наследственный.

В том, что Стамбул город интуитивно безопасный и крайне доброжелательный, я убеждался снова, снова и снова.

Стоит зайти в кафе второй раз, заказать еду и пиво, как тут же покажется хозяин и присядет к тебе поболтать, а едва допьешь свою кружку, как наполнит ее за свой счет. Конечно, коммерческий здравый умысел тоже никто не отменял, но тут все это делается так легко и с таким удовольствием, что оно выходит чистой монетой, без подвоха.

Ранним утром возле Цистерны стоило мне угостить молодого человека сигаретой, как он зазвал меня в свой магазин ковров и напоил чаем. И хотя я ему доходчиво объяснил, что ковер покупать не буду ни сейчас, ни перед отъездом, и даже с доставкой в Москву, на протяжение всех дней, когда я проходил мимо коврового магазина, Али меня успевал заметить и зазвать на стаканчик чая. Общались мы на смеси русского и английского, и даже говорили о литературе: по-турецки он читал что-то из Достоевского и «Мать» Горького, знал про Пушкина, но назвал его Владимиром, я поправлять не стал.

Когда, посмотрев византийские мозаики в церкви Марии на Хоре, я шел вниз вдоль Золотого Рога по узкой улице без единого туриста, то сбегающей ступенчатыми побегами к заливу, то взбирающейся боковыми ступеньками вверх, к византийским стенам, я проскочил мимо парикмахерской, замедлил шаги и решил вернуться. Парикмахерских в Стамбуле традиционно полно, особенно в туристических районах. Но там они большие, пафосные и, думаю, дорогие. Эта же была местная, маленькая, в одно окно и на два кресла. Попятившись, я замер у входа. Меня поманили внутрь.

В маленьком помещении оказалось целых три человека. Двое пожилых, прервавших беседу, видимо, хозяин — высокий, седой — и его знакомый, то ли освободившийся клиент, то ли просто зашедший по соседству, и молодой, модно постриженный парень, наемный работник или, возможно, сын. Поманил меня внутрь именно седой.

Оно, конечно, ясно, что человек, зашедший в парикмахерскую, не воды попросить пришел, но как-то все ж надо было объясниться. Английский тут не понимали, пришлось общаться «по-турецки», жестами. Как мог, руками и пальцами я изобразил: сверху — подлиннее оставить, с боков и сзади — покороче. Парень смотрел то на меня, то на седого хозяина. Тот, кивая, очень спокойно и подробно перевел ему то, что я хотел, и меня пригласили занять кресло.

Парень священнодействовал надо мной минут сорок, ласково, трогательно и с удовольствием. Подстриг он меня именно так, как я хотел и даже лучше, коснулся ножницами усов и бороды, и без того у меня коротких, убрав невидимые миру торчащие волоски, накинул мне на голову чистейшее и в меру горячее вафельное полотенце и сделал массаж головы, отчего ей стало приятно, а на душе умилительно. За все про все с меня взяли совсем смешные по московским меркам деньги. И хотя

я пытался дать сверху, решительно отказались. Все были довольны, улыбался даже так и не ушедший гость, подняв вверх палец. Со всеми тремя мы попрощались рукопожатием, и мне дали понять, что я могу заходить в любое время — мне всегда будут рады.

Я отправился дальше вниз в поисках зиндана, стамбульской средневековой тюрьмы для должников, подземной и страшной. При помощи наития, путеводителя и встреченных голландцев тюрьму я обнаружил, но она оказалась закрытой на ремонт. Отсюда был виден залив и Галатский мост. Я стал спускаться к Золотому Рогу.

И наконец попался в лапы очередного чистильщика обуви, от чьих навязчивых услуг и простодушных уловок, как мне казалось, уже научился отвязываться, хотя они, с закинутыми за спину ящиками-скамеечками в поисках случайной жертвы бродят по всему городу. Самый распространенный их прием прост и, рассчитанный на обыкновенную участливую вежливость, нередко безотказен, особенно в людных местах. Идет он себе, никого не трогая и ни к кому не приставая, весь в отрешенных мыслях, и вдруг роняет одну из своих обувных щеток и, не замечая, путь продолжает. Нередко находится наивный доброхот, кто щетку поднимет, догонит и вернет. Чистильщик рассыплется в поклонах и прочих восклицаниях-жестах и обязательно, исключительно благодарности ради, предложит почистить тому ботинки. Если доброхот согласится, то все равно потом с какой-то необременительной для себя денежкой расстанется, потому как это же все не просто так, а хорошо выстроенная и по-своему честная маркетинговая стратегия. Один чистильщик на площади перед Голубой мечетью, где я сидел на скамейке и курил, примитивно стрельнул у меня сигарету, и опять же, лишь в качестве ответного вежливого жеста порывался привести в порядок мои ботинки. Когда же я отказался, он принялся мне, непонятливому, обиженно объяснять, что моя сигарета — это «gift», за который он обязан меня отблагодарить. Пришлось спасаться бегством. Еще один веселый чистильщик попался возле ступенек с улицы Диван на площадь Султанахмет. Ко мне он не приставал, я лишь сидел неподалеку и наблюдал. Чистильщик выхватил из толпы высокую семейную пару с белобрысым мальчиком-подростком, вскочил и бросился их охмурять. Те не сразу поняли, что к чему, а когда сообразили, то хором опустили глаза: глава семейства оказался в белых кроссовках, мальчишка — в красных кедах, а жена так и вовсе в босоножках. И всем нам стало так весело, что папаша достал из кармана горсть монет и ссыпал их в тут же подставленную ладонь то ли особо ушлого, то ли и вправду попавшего впросак уличного предпринимателя, хотя в последнее верится с трудом.

Этот же, встреченный неподалеку от тюрьмы, оказался обремененным парой малолетних детей, мальчиком и девочкой. Я вообще вроде как был ни при чем, всего лишь на пустынной улице помахал им приветственно рукой. Он тут же бросился ко мне и на вполне сносном английском принялся вещать нечто в смысле «мы люди не местные», приехали из глубинки, их мама, кивок в сторону вполне ухоженных детей, умерла, дом сгорел, прежде он сам преподавал в школе географию, но теперь вот вынужден... Я смирился.

Усадив меня на свою скамеечку, он закатал мои джинсы повыше и принялся за дело, любовно и неторопливо. Для начала он сухой щеткой избавил мои поседевшие за время стамбульских блужданий коричневые мокасины от пыли, пройдясь по каждой их складке и выемке. Красной бархоткой нанес на поверхность ботинок бесцветную пропитку из первой жестянки. Совершив над ними несколько магических пассов ладонями, отчего они мгновенно высохли, достал следующий крем, оказавшийся белым, а на поверку глубоко подчеркнувшим естественно-изначальный цвет моей обуви. И лишь после выудил из ящика несколько жестянок с кремом цветным, не открывая, выбрал необходимый коричневый оттенок, наверное, по памяти. Крем он

нанес не красной, а другой, темно-синей бархоткой с зазубринами по краям. Мои ботинки приобрели идеальный, но пока еще матовый цвет. Удовлетворившись предварительным результатом, он кивнул и двумя щетками, ни единой щетинкой не задев мои полосатые носки, довел процесс до идеала. Такими красивыми мои мокасины с рантом и кожаными шнурками не выглядели даже в фирменном магазине при покупке.

Только тут я вспомнил, что у меня в бумажнике совсем нет лир, а из мелких купюр лишь две по десять евро. Распахнув бумажник, я достал одну из них и протянул ему. Он сначала расплылся в благодарной улыбке, но, увидев еще одну в глубине, стал причитать, что маловатого. Но уж тут я знал, что заплатил ему и так раз в пять больше обычной цены и остался тверд. Поняв, что на большее меня не разведешь, он больше ни секунды не протестовал, и все трое проводили меня как лучшего друга.

Между прочим, с ботинками моими он совершил некое волшебство: еще несколько дней они оставались таинственно идеальными — к ним не смогла пристать ни одна пылинка, и даже в Москве еще какое-то время достаточно было лишь напомнить им щеткой с бесцветным кремом их звездный час, как они вновь обретали блеск и особое достоинство.

Ноги мои сами выбирали, куда идти — под уклон, и вскоре вывели меня по безлюдной извилистой улочке к Золотому Рогу, где уши привычно наполнились городскими автомобильными звуками — турки любят ездить, сигналя по любому поводу, а нос почуял дымный запах жареной макрели от пристани Эминёню, откуда курсируют обзорные кораблики по Босфору и деловитые работяги-паромы на азиатскую сторону и Принцевы острова. На площади перед причалом с тележек торгуют маринадом в стаканчиках, а с качающихся декоративных лодок — той самой макрелью в булках. Но я-то знал, что хочу не туда.

Обойдя автобусную стоянку, я нашел узкий проход меж сетчато-металлических оград, ведущий к маленькому каботажному причалу, куда примерно раз в час подходит пассажирский катер, подробно, как рейсовый автобус, со всеми остановками обходящий против часовой стрелки берега Золотого Рога, но свернул не к нему, а направо, в маленький закуток у воды. Здесь той же макрелью кормили не туристов, а местных, хотя жарили ее тоже на лодке, но не с узорчатым балдахином, а под обычным парусиновым тентом, продавцы были без фесок, в бейсболках, а соль и лимонный сок стояли даже не на столах, а на маленьких пластмассовых табуретках, и цены отличались в самую лучшую сторону от тех, что в сотне метров отсюда, да еще с очередью и в толпе, и порции были несравненно щедрее. Кроме того, тут ты ощущал себя сразу своим, а не случайным прохожим, польстившимся на аромат и цирковые уловки устроителей туристического аттракциона.

Это только в первый свой стамбульский вечер я польстился на жареную барабульку в одном из ресторанов нижнего яруса Галатского моста — с видом на Босфор, огни проходящих кораблей и под пение муэдзинов со всех четырех сторон света, потом выбирал места более приближенные к реальности внутренней, а не внешней. Рыбный рынок слева от моста на галатском берегу я, впрочем, тоже не миновал, и он меня совсем не разочаровал, хотя и считается обязательной стамбульской достопримечательностью: там все оказалось клеёнчато-примитивно-пластмассово и вкусно до восторженного треска за ушами, услаждаемыми многоязыкой речью.

Айя-Софию я увидел, конечно же, еще в день приезда, от нее тут и при желании не спрячешься, а потом еще много и много раз, со всех сторон, особенно трепетно с Босфора, как ее впервые видело большинство прежних русских от первых паломников до Ивана Бунина. С воды, окруженная минаретами, она все равно сразу узнаваема, несмотря на соседние с ней купола мечетей, созданных по ее образу и подобию.

С площади Султанахмет между нею и Голубой мечетью она открывается целиком и отдельно от всего. Я долго, с мучительной и радостной необходимостью искал про себя образ ее неземного величия, монолитной цельности, громадности, и вместе с тем соразмерности сразу и человеку, и всему мирозданию: она похожа на драгоценную отливку в форму, созданную первоначально в небе, и залитую в эту форму со стороны земли за один раз, а вовсе не построенной по частям, в обычной последовательности, как все остальное, от фундамента до купола.

Внутри, особенно с хоров, ты реально ощущаешь, что купол парит и поднимается медленно в небо — на глазах прослойки между окнами исчезают несмотря на то, что турки зачем-то четыре окна заложили. На перилах правых хоров древними северными стражниками выцарапаны руны, видимо, от скуки и маловерия: ведь и здесь тебя настигает неотрывный взгляд Господа с дальней противоположной стены, глаза в глаза, взгляд строгий и благожелательный одновременно, прощающий. Посему, наверное, руны ныне покрыты прозрачным пластиком, дабы новых любителей о себе оставлять царапающую память в соблазн не вводить.

Поднимаешься на хоры и спускаешься с них по наклонному пандусу внутри стены с настолько низкими сводами, что на всяком очередном повороте хочется пригнуть голову. Еще сложнее было носильщикам императорского паланкина — им, похоже, приходилось передвигаться едва ли не на карачках, держа ручки паланкина у самой земли, чтобы невзначай не стукнуть византийского императора головой или хотя бы короной о потолок.

Внизу в одной из колонн есть глубокая дырка, куда по обычаю надо засунуть большой палец и повернуть его на все триста шестьдесят градусов: кому удастся, того что-то ждет. Я палец в колонну совать не стал, но возле императорских дверей в углублении мраморного пола, вытоптанном за века стражниками, все же постоял.

Изнутри София ощущается самым просторным и лучезарным храмом на свете — и тут я умолкаю, ибо слов описать это чувство у меня нет, даже пытаться не буду: пока ни у кого не получилось.

Снаружи со всех сторон Айя-Софию окружили султанские мраморные мавзолеи, отличные по размеру, но очень одинаковые по форме. Потолки там резные, стены в изразцах, полы ковровые, так что ходить следует босиком, как в мечети, а саркофаги, покрытые зеленой тканью вроде фетра, и после смерти наглядно подчеркивают статус упокоенного: самый большой у султана, поменьше у жен-братьев-сестер, еще меньше у сыновей и дочерей. Возле некоторых могил правоверные молятся.

В стамбульские мечети пускают, в отличие от того же Марокко, даже неверных — кажется, только в Голубую через особый, непарадный вход. Достаточно не лезть слишком вглубь, где люди молятся, да не забыть снять обувь, и на тебя даже не обратят внимания. А в маленьких мечетях ты легко можешь оказаться и вовсе в одиночестве и полном покое, после долгих блужданий по городу опустившись на мягкий пол и вытянув усталые ноги.

Главные же мечети — Голубая, Сулеймание — все равно, как бы там ни был высок купол, сколько бы света ни проливалось сквозь витражные окна, внутри напоминают Софию, взятую за непререкаемый вечный образец. Да и зачем иначе, когда и так хорошо, лучше некуда?

У подножия Софии и вход в старый султанский дворец Топкапы. В нем три двора, в разной степени запретных: первый — для гостей и казней, во втором — Диван и гарем, в третий чужих вовсе не пускали.

Диван — место совещаний султана с министрами — больше похож на просторную кальянную, по периметру окруженную глубокими мягкими диванами. Еще более

располагают ко сну и кайфу диваны в отдельно стоящем здании библиотеки в третьем дворе — читать тут можно исключительно лежа.

В гарем, расположенный в глубине двора за Диваном, ведет вымощенная дорожка, предназначенная исключительно для действующего султана. Парадные комнаты с очагами-каминами в углах изразцово-холодны, несмотря на ковры, а женские жилые покои, что на втором этаже, с окнами, выходящими во двор и забранными деревянными решетками, и сейчас закрыты для посторонних. Совсем иначе — в новом дворце Долмабахчи, где все открыто для посетителей. Только там до меня дошло воочию, что гарем не просто место жительства султанских жен и наложниц, но единственное дворцовое пространство, приспособленное для повседневной, то есть обычной человеческой жизни. Не зря же Ататюрк, под конец жизни перебравшись в Долмабахчи, поселился именно в бывшем гареме, где занял всего две или три комнаты, обставленные весьма скромно, но удобно.

Сам же дворец, пародийно напоминающий Версаль или наш Зимний, спасает лишь расположение — главным фасадом вдоль Босфора. Тут все дико парадно и смешно богато: от хрустальных балясин лестниц до бездарно расписанных «по-европейски» потолков. Парадные залы случайностью обстановки напоминают бесконечный антикварный магазин — эффект усиливается от множества, я насчитал около десятка, морских полотен Айвазовского, — несмотря на армянское происхождение, любимого художника султана.

Зал приемов под куполом с нарисованными окнами окружен бесполезной галереей, ибо никто не имеет права даже стоять, даже на цыпочках, выше султана, трон, воздвигнутый на возвышении, похож на диванчик из дамского алькова — при желании на нем можно и прилечь, — зато весь распахнут на Босфор и наполнен морским воздухом.

Прочие положенные вольному приезжему достопримечательности я тоже посетил. И Цистерну с ячеистыми каменными сводами, подпираемыми колоннами, будто собранными сюда из древних греческих храмов и с римских форумов, рыбами, плавающими в неглубокой мерцающей воде, острыми холодными каплями, падающими за шиворот. И константинопольский ипподром с египетским обелиском и дворцом главного визиря, где музей исламского искусства. И прочие музеи, рынки, кофейни, дворцы, кальянные, кладбища — по самому грандиозному, Караджа-Ахмет на азиатской стороне, с миллионом могил и горстью закопанной или рассыпанной пригоршней земли из Медины, я бродил в одиночестве несколько часов. Не миновала меня и Галатская башня с видом на весь Стамбул, и даже подземный трехкомнатный, английской работы, сейф Оттоманского банка, где прежде хранился золотой запас империи. И...

Наконец меня приняли за своего.

Едва я выпутался из переулков вокруг Гранд Базара и оказался на одной из центральных улиц, ниже по течению называвшейся Диваном, напротив остановки трамвая, у светофора, раздумывая, перейти здесь и дальше спускаться к морю или свернуть налево и зайти сначала в знакомую кофейню с турецкими сладостями, как моего плеча коснулась рука в черном.

Я обернулся: немолодая женщина в закрытом длинном платье и с яркой сумочкой через плечо, явная провинциалка, по-турецки спрашивала меня как куда-то пройти. Сначала я развел руками и замотал головой, давая ей понять, что ничего не понимаю, но она продолжала настаивать, будто я был единственным ее спасением в этой городской пустыне. Я повернулся к ней окончательно, лопоча что-то по-английски, она, наконец, удостоверилась, что я не тот, кто ей сейчас так нужен, и растерянно улыбнулась, оглядываясь по сторонам. Но и до меня уже дошло, куда

ей — ведь она несколько раз и в разных сочетаниях повторила «Сулейман». Она искала мечеть Сулеймание, где похоронен Сулейман Великолепный. И я русскими словами, ибо английских она все равно не понимала, и жестами, ткнув сомкнутой ладонью в сторону башни Баязит, указал ей самый простой и верный путь. Она послушно повторила мои указательные жесты, я подтвердил, что она все правильно поняла, заулыбалась и благодарно закивала. Будь она мужчиной, она бы, наверное, сейчас же пригласила меня выпить или хотя бы угостила кофе. Но мы тут же расстались, и я проводил ее коротким взглядом.

Может, со спины я уже похож на турка?

Мысль мне понравилась, а до кофейни было всего-то шагов триста.

Место Евгения Павловича и Нонна Викторовна

Мы с Таней писали сценарий для Владимира Мирзоева. То есть еще не совсем сценарий, а заготовки к нему. Чтобы их обсудить, мы и договорились встретиться на служебном входе «Ленкома», где Мирзоев тогда ставил новый спектакль. Предыдущий, «Месяц в деревне» Тургенева, мы уже видели.

На самом деле и с Таней, и потом без нее я был почти на всех его спектаклях в самых разных театрах. «Хлестакова» с Максимом Сухановым и дыней видел раз пять. О «Принцессе Ивонне» ему сказал:

— Это же про Таню!

— Да, и про нее, — согласился он.

На служебном входе «Ленкома» мы ждали его задолго до «Принцессы», и он все не подходил — репетиция не кончилась.

Охранник оказался, естественно, Таниными однокурсником по Литинституту. Тут еще и Збруев неслышно приблизился — видимо, тоже кого-то ждал. Мы вежливо раскланялись. Продолжать отдельный разговор стало неловко.

Пауза затягивалась. Тогда я спросил у Збруева первое, что пришло в голову:

— Простите, а вы не знаете случайно, Владимир Владимирович скоро?

— Сейчас подойдет, — ответил он очень уверенно.

Появился, наконец, Мирзоев и повел нас куда-то в глубины театра.

Мы зашли в лифт и поднялись. Я подумал, что у Володи, как у приглашенного режиссера, здесь есть кабинет, где мы и поговорим. Но — нет. Мы вышли на сцену, пересекли ее и скрылись в левой кулисе. Спустились вниз на другом лифте и оказались в подвале, где артистический буфет, куда, на самом деле, как я понял позже, можно было попасть и сразу от служебного входа. Но Володя зачем-то нам устроил этот спектакль, может, просто хотел показать сцену с актерской стороны.

В полупустом буфете мы заняли столик за колонной, я устроился как раз к ней спиной — меня никому видно не было, и я видел только соседей по своему столу.

Володя принес кофе, и мы достали свои сценарные заготовки.

Их, заранее отправленные на почту, Володя уже читал, так что мы обсуждали детали.

Незадолго до того мы написали сценарий восьмисерийного фильма по нашей книге, уже почти принятый к производству на первом канале, и считали себя опытными авторами, особенно я.

Опыт вкрадчиво подсказывал, что в полнометражном сценарии должно быть от пятидесяти до семидесяти эпизодов, о чем я и сказал, надеясь на подтверждение.

— Нет, — сказал Володя. — Достаточно двадцати пяти.

— Как же так? — изумился я. — У нас же полный метр, минимум часа на полтора?

— А это уже моя задача, — ответил Володя. — С вас — история и диалоги.

Как ни странно, мы всё поняли — режиссер Мирзоев при всей своей доброжелательности умеет быть очень убедительным.

Завершив деловую часть, мы перешли к необязательной и приятной беседе обо всем.

И тут меня осенило:

— Володя! А где здесь обычно Евгений Павлович сидел?

Ответил он с очевидным, хотя и едва заметным лукавством во взгляде:

— Да вот где ты сейчас сидишь, он всегда и сидел.

Правду он сказал или нет, до сих пор не знаю, но поверил я в это навсегда.

Ведь вживую Леонова я видел только раз, на сцене, в «Тевье-молочнике», зато на его месте посидел.

С Нонной Викторовной Мордюковой мне повезло еще больше.

В редакцию «Октября» по некоему юбилейному поводу созвали гостей. И я попал в их число, будучи тогда обозревателем «Литературной газеты». На официальную часть как раз по служебным причинам я опоздал и уже застал в разгаре многолюдный фуршет.

Были тут и всякие лица из тогдашнего телевизора, и много приятных знакомых, так что с кем выпить и закусить сразу бы нашлось.

Но вижу: возле окна стоит одинокая Нонна Викторовна, она в «Октябре» как раз в тот год свою мемуарную повесть опубликовала.

Что со мной случилось, ума не приложу — вообще-то с людьми незнакомыми, тем более известными, я скорее застенчивый, нежели наглый.

Подхожу к ней с придыханием:

— Нонна Викторовна! Я вас люблю!

Посмотрела, кивнула:

— Мальчик, принеси мне что-нибудь...

Принес.

И мы с ней даже выпили.

Омуль, хариус, Саяны и «золотишко»

На Байкале суровы не столько мужчины, сколько женщины.

Мы работали на БЦБК — Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате, а жили в гостинице возле детского парка — в нижней части Байкальска. В гостиничном буфете, маленьком, на два столика, нас кормили завтраками и ужинами, а в выходные и обедами. Крупного телосложения буфетчица с очень добрым лицом и мягким южным говором кормление наше старалась максимально разнообразить. Но слабосоленый омуль присутствовал даже за завтраком, миф о необыкновенной этой рыбе развенчав, казалось, навсегда: похоже на обыкновенную селедку, атлантическая даже и получше будет.

— А другой рыбы в Байкале не водится? — исключительно из любопытства поинтересовался в конце концов кто-то из нас.

— Поймаем, — ответила хозяйка буфета. — Мужа пошлю.

На следующий день случился как раз выходной, довольно неприятный снаружи, с мелким дождиком.

Во время завтрака в дверь боком протиснулся мокрый мужичок с тяжелым полиэтиленовым пакетом.

— Поймал? — строго поинтересовалась буфетчица.

Мужичок кивнул, в доказательство поднимая перед собой пакет.

— Сколько?

— Семь, — пролепетал тот, впрочем, не без гордости.

— Ладно. Иди домой. Уроки не забудь у детей проверить!

Глядя на закрывшуюся дверь, пояснила:

— Мой... — и добавила чрезвычайно ласково: — ...Охломон. Четвертинку ему сегодня на ужин поставлю. Заслужил.

На обед у нас была божественная уха из хариуса.

В остальном «сибирский характер» нашей кормилицы как-то особо не проявлялся, тем более по отношению к нам, хотя и был здесь с*а*мой распространенной фигурой речи, в смысле — мы тут такие-эдакие, не чета вам, залетным московским. На первой встрече с директором комбината в его кабинете он это выражение употребил раз пять.

Мы там оказались после перелета и долгого пути из Иркутска. Посему и выглядели расслабленными и сонными, даже поклевывали носами, когда он демонстрировал, похоже, свой излюбленный фокус — поджигал спичкой специальную нитку, изготовленную на комбинате. Нитка и вправду практически не горела, будучи стратегической: ею в несколько слоев покрывали изнутри сопла ракетных двигателей, чего ради и соорудили на берегу великого прозрачного озера псевдобумагоделательный БЦБК, на местном жаргоне «вонючку». Еще директор хвастался, будто пил прямо из резервуара на очистных, откуда отработанная вода возвращается в Байкал, но при нас потом пить ее не стал, хотя я и протянул ему пластиковый стаканчик, предусмотрительно заготовленный отчасти в отместку за поднадоевший «сибирский характер».

Байкальск делится на нижнюю, плоскую предбайкальскую часть и верхнюю, взбирающуюся по склонам сопок, а разделены они Транссибом и федеральной автомобильной трассой. И если железная дорога — колея туда, колея сюда — внушает уважение, ибо проложена в начале прошлого века, еще до революции, и воочию связывает в твоем воображении Москву с Владивостоком, то дорога автомобильная приводит в недоумение: неужто вот это двухполосное недоразумение с плохим асфальтом и есть та единственная наша автомагистраль с запада на восток, на строительство которой положены годы советской власти со всеми ее ресурсами и человеческими жертвами? Ты все равно в сей факт долго поверить не можешь, пока не постоишь на обочине хотя бы с полчаса и не увидишь с десяток медленно плетущихся дальнобойных фур с тягачами лучших мировых производителей, к такой езде от рождения не приученных. Но выбора у них нет, так как никакой скоростной альтернативы не существует и даже в будущем пока не предусмотрено.

Глобальные изменения всероссийского масштаба в наши планы не входили, но концепцию развития территории, включающей, помимо Байкальска, Слюдянку, Култук и прочую округу, мы сочинили, и я придумал для нее жизнеутверждающий слоган — «Великий Сибирский путь продолжается!»

Феерическая маниловщина с причалами для гидропланов и горнолыжным курортом мирового класса сочеталась у нас со вполне реалистическими, хотя и дерзкими идеями вроде возведения на байкальском берегу небольшого клубничного заводика. Ничего безумного в клубничном проекте не было, так как в здешних местах, в горной долине ближе к Усолью, произрастает лучшая ягода-виктория всей Сибири, и едва ли не каждый житель Байкальска имел там делянку, где в обязательном порядке выращивал картошку и ту самую роскошную клубнику. И если картошку складировали по подвалам и балконам и ели потом с крепко соленым омулем всю зиму, то с роскошной ягодой не знали, что делать. В иной год ее рождалось столько, что сходу, свежую и ароматную, съесть было не под силу, а торговать не имело смысла, потому как у всех и каждого был собственный переизбыток. Варенье, конечно, варили и

компоты в банки кустарно закатывали, но урожай в полной мере это не спасало. Ввод в строй нашего клубничного заводика поставил бы процесс на промышленные рельсы, плюс предлагалось скупать у населения сезонные дикоросы — чернику, голубику, морошку и жимолость, а если еще свои фирменные настойки алкогольные по фирменному рецепту запустить...

Никакого клубнично-промышленного бума не случилось, а вот горнолыжный курорт в Байкальске, при нас представлявший собой одну кривую просеку с самодельным подъемником, в последние годы расцвел и попал в путеводители. Может, ради лыжников и федеральную трассу от Иркутска и до Улан-Удэ сделали поприличней. А вот клубнику туда, поди, из Турции доставляют.

С легендарным омулем мы, кстати, накануне отъезда все же разобрались. Нам привезли целый ящик его, горячего копчения. Волшебней рыбы в своей жизни я не ел, а транспортировке она, между прочим, не подлежит, даже самолетом к самому барскому столу по причине нечеловеческой нежности и ранимой изысканности.

Рассказывал я про этого омуля и оказавшемуся большим рыбным гурманом представителю Президента в Верховном суде, с которым мы летели из Москвы в Туву, еще не ставшую Тывой. Прямых рейсов в Кызыл тогда не было по причине укороченной взлетно-посадочной полосы, и нам предстояла пересадка в Красноярске.

Красноярск не принимал. Мы кружили над ним минут сорок по совершенно голубому небу. И только сам город накрывало гигантское серо-бурое облачное пятно, местами малиново озарявшееся глубинными всполохами молний. Садиться решили в Абакане.

В абаканском аэропорту по громкой связи объявили, что моего попутчика — упомянули не только его имя-отчество-фамилию, но и должность, — приглашают в зал официальных делегаций. Как я ни отнекивался, он и меня захватил с собой.

Нас встретил тувинец в костюме и галстуке, с депутатским значком на лацкане и в ковбойской черной шляпе. Он гордо представился совершенно непроизносимым длинным сочетанием слов, откуда я смог вычленить только «Алексеевич», и добавил после запятой — депутат Государственной Думы, последние два слова именно так — с прописной буквы.

Нам подали кофе и коньяк.

Решив проявить осведомленность и сделать приятное нашему радушному ковбою, я в какой-то связи и очень уважительно упомянул главного российского тувинца, но встретил лишь бурное непонимание, сменившееся сочувственным изумлением, будто я допустил возмутительную бестактность, которую можно простить разве что за счет моей крайней дремучести. Оказалось, я неверно произнес отчество тогда еще вечного министра по чрезвычайным ситуациям. Поправив меня, депутат-ковбой протянул мне собственную визитную карточку. Сознавая непростительную ошибку, я, пригубив коньяка, выпал из общего разговора и принялся ее читать и перечитывать, пока не выучил наизусть. И до сих пор, разбуди меня хоть ночью, произнесу на одном дыхании: Кадыроолалексеевичбильчедей!

Представитель президента, между тем, взглянув на часы, выразил легкую обеспокоенность по поводу того, что мы так можем и опоздать к нашему стыковочному рейсу.

— Ничего, — успокоил его депутат, — подождут! Я уже позвонил. — И, сдвинув на затылок шляпу, потребовал еще коньяка.

Слова его не остались брошенными на ветер. Когда мы сели в Красноярске и наш громоздкий «боинг» подрулил к аэропорту, неподалеку нас терпеливо ждал миниатюрный «Як-40», давно, по расписанию, обязанный улететь. Без официальных формальностей мы в него сразу и пересели, багаж наш тоже вскоре доставили. Особой

ненависти в глазах заждавшихся пассажиров я не заметил: возможно, тут подобное в порядке вещей и воспринимается как обычное и неотвратимое стихийное бедствие.

Изнутри наш самолет напоминал рейсовый «пазик» с сиденьями на двоих. Моей мольбе пустить меня к окошку представитель президента благодушно внял. Так что всю дорогу с высоты всего пять тысяч метров, испытывая молчаливое наслаждение, я рассматривал Саяны, прежде мне знакомые исключительно по этикетке газированного напитка из детства.

В Кызыле, уже вечереющем, прямо с лётного поля меня завезли в гостиницу на улице Инессы Арманд, где жили мои коллеги, сами же депутат с представителем скрылись где-то в высших местных сферах: ни того, ни другого я больше никогда в жизни не видел. А вот нечаянно обретенный орфоэпический навык усердного и вежливого проговаривания про себя иноязычных имен, отчеств и фамилий до того, как произнесешь их вслух, мне в жизни еще не раз потом пригодился.

Мои коллеги, по случайности муж и жена, ждали меня с бутылкой водки и банкой рыбных консервов.

— А может, тут можно что-нибудь горячее в номер заказать? — бодро поинтересовался я. — Или в ресторан сходим?

— Мы живем напротив ФСБ, ресторана в гостинице нет, буфет давно закрыт, да и вообще тут проблема с тем, где поесть, — обреченно пояснили мне.

Как ФСБ связана с отсутствием человеческой еды, я не понял, но есть хотелось, и попыток спасти безнадежную ситуацию я не оставил:

— А на ресепшене спросить?

— Попробуй. Нас тут определенно не любят.

Когда не для себя или хотя бы не только для себя, — я умею сквозь стены проходить.

На ресепшене, как тут, видимо, привыкли, помочь мне беспрекословно отказались, даже просто подумать не согласились. Но вежливо. И это вселяло хоть какую-то надежду.

Я достал из бумажника визитку ковбоя и произнес несколько раз «Кадыроолалексеевичбильчедей». Одними губами, самому себе. Заклинание не помогло — администраторшу мое присутствие, кажется, уже начинало раздражать. Но я тоже не готов был сдаться.

— А как от вас, — я ткнул большим пальцем за спину, в сторону входа, — дежурному ФСБ позвонить?

— А вам зачем? — зябко вжав голову в плечи, поинтересовалась администраторша и посмотрела на меня умоляющим взглядом.

Зачем, я и сам не знал, но уже понял, что рыбка попалась.

— Да понимаете ли... — потянул я паузу, соображая. — Мне генерал-полковник Довлатов, с Лубянки, Сергей Донатович, знаете, в Москве? — она кивнула, и я спрятал визитку в бумажник. — Так он мне сказал — будут проблемы, ты, если что, к нашим ребятам обращайся, запросто. Сошлись на меня, помогут.

Вся эта ахинея с фальшивым генералом расцвела в моей голове исключительно от отчаяния.

— Кажется, — залепетала администраторша, — в буфете куриные ноги оставались. Их только разогреть. В микроволновке. С рисом.

— Прекрасно, — кто бы на моем месте стал спорить? — Нам на три персоны. А горчица-кетчуп-перец найдутся? — она подтвердила. — Будьте любезны!

В штаб мы прибыли ровно в девять утра. И тут же выяснилось, что надо срочно написать статью от имени афганцев.

— Как срочно?

— В двенадцать газета уходит в печать.

Наш кандидат на довыборах все в ту же Госдуму был местным силовиком, и, ясное дело, без моральной поддержки ветеранов Афганистана нам было никак не обойтись.

— Хорошо. Давайте мне афганца.

По-армейски четко, ровно через пятнадцать минут прибыл тувинский афганец Юра.

Мы с ним поговорили-покурили в штабном коридоре.

Я сел за компьютер и уставился в клавиатуру. Сбоку на меня, не скрывая недоверчивого любопытства, смотрели две тувинские секретарши.

Иногда так бывает, когда очень надо: сознание словно отключается и руки печатают будто сами.

Без двадцати двенадцать я отправил статью в редакцию. Секретарши переглянулись и удостоили меня восхищенными взглядами.

Тем же вечером нас пригласили на небольшой обильный банкет. Заправлял тут Юра-афганец, оказавшийся хозяином заведения. Не в порядке жалобы, а для поддержания разговора, мы у него поинтересовались, где здесь, в Кызыле, обычно столуются приезжие?

Выяснилось, что в городе с этим довольно туго, так что нам лучше рассчитывать на его радушное гостеприимство.

В гостиницу нас тоже отвез Юра на своем джипе «Чероки» с московскими номерами. Оказалось, это такое тут модное поветрие среди продвинутых новых тувинцев: машины покупают именно в Москве, там же регистрируют и переправляют военным бортом из Чкаловского, поголовно предпочитая именно «чероки». Диким или хотя бы диковинным подобный каприз мне не показался, скорее вполне соответствовал местному пониманию масштабов мироздания. Кызыл — город небольшой, по размерам и народонаселению равный средней руки районному центру, но столичный, посему тут каждый чиновник, возглавляющий любой государственный орган, вовсе не начальник управления или департамента, а полноценный министр. К тому же здесь целых два Енисея, Большой и Малый, а настоящий, всем привычный Енисей тут именуется всего лишь Верхним.

Министром был и наш кандидат, которого за две недели пребывания я так ни разу и не видел. Нам сообщили, что своему штабу в целом и нам, московским специалистам, в частности, он всецело доверяет. Доверие к нам, впрочем, не помешало ему на всякий случай сходить и к шаману.

После первого банкета в заведении у Юры мы поужинали там еще пару раз, но потом от его вкусных щедрот пришлось отказаться, так как денег с нас брать отказывались, и мы подобную ситуацию сочли неловкой, довольствуясь позже разогретой буфетной едой, зато за свой счет.

В единственный выпавший на мою долю выходной начальник штаба устроил нам выездной пикник. Мы долго ехали по старому Абаканскому шоссе, пустынно змеившемуся среди голых сопок, пока не случилось волшебного превращения, будто сказочный герой бросил свой гребешок — перед нами мгновенной сплошной стеной выросла тайга. Шоссе уходило в ее дебри по краю ущелья с невидимым сверху, поросшим ельником темным дном. Тут мы и остановились, на краю обрыва.

Из уазика-«буханки» выгрузили все необходимое, в том числе ящик водки, хотя было нас вместе с водителем и одной из секретарш, взятой на подмогу, человек шесть или семь.

За несколько часов мимо нас не проехало ни одной машины — ни в Абакан, ни в Кызыл. Сделав вид, что рассматриваю глубины ущелья, я достал телефон — связи не

было даже на одну черточку. Закравшейся мыслью, вроде как из чистого любопытства и совсем не про нас, я все же поделился с организатором пикника:

— А если вдруг у кого-то здесь машина сломается?

— Да, зимой — плохо, — кивнул начальник штаба. — А сейчас уж совсем не пропадем, — и он глянул на ящик водки, откуда мы распили пока лишь первую бутылку. Почувствовав, что ответ его не всех удовлетворил, он добавил, посмотрев на часы: — Если к полуночи мы домой не вернемся, нас будут искать, — и достал из ящика вторую бутылку.

Я нашел чуть более пологий склон, спустился в чащу и собрал охапку сушняка для костра.

Но «буханка» не подвела, хотя, кажется, все уже были не против какого-нибудь мелкого приключения.

Накануне моего отъезда — конкуренты нашего генерал-министра уже сдулись, да и шаман заручился поддержкой духов, так что я с чистой совестью мог возвращаться в Москву — Юра устроил прощальный банкет.

На сей раз накрыто было на втором этаже, в алькове, отделенном занавеской от просторного танцевального зала со столиками по периметру. Играла живая музыка.

Наш стол был щедро уставлен закусками и напитками, но мне захотелось изысков:

— Юра, а есть у нас в меню что-нибудь особо тувинское?

— Сейчас приготовят, — и Юра дал распоряжение склонившейся к нему ухом официантке.

Вскоре пышная русская женщина в белом — шеф-повар — с добрейшей улыбкой принесла фирменный салат из овощей и копченой конины.

Оказалось вкусно.

Заиграла медленная музыка, я выглянул в зал.

— А почему никто не танцует?

— Наверное, еще мало выпили, — уверенно пояснил Юра.

— Может, мы пойдем? Позволите? — я встал и протянул руку своей коллеге, посмотрел на ее мужа и вернулся взглядом к ней — оба были не против.

Мы вышли в самый центр пустынного зала, показавшегося отсюда огромным и пугающим, тем более что все взоры от столиков тут же сосредоточились на нас. Музыка словно замерла на мгновение, но продолжилась увереннее и громче.

Не то чтобы я очень хорошо танцую, но партнерша оказалась послушной и умелой.

К нам так никто и не присоединился, но когда музыка кончилась, все, честное слово, встали и нам аплодировали, пока мы, смущенные, уходили в свой альков.

За нашим столом аплодисменты тоже поддержали, смутив нас окончательно. Хотелось срочно выпить и перевести все в шутку.

Выпив, я наклонился к Юре:

— А золотишко-то как, моем? — до меня и впрямь долетали слухи, что многие тут промышляют нелегальным старательством.

— Моем, моем, — без тени юмора подтвердил Юра. — А пойдем-ка прогуляемся.

Когда мы спустились на один лестничный пролет, Юра остановился и повернулся, загородив дорогу. Мне даже показалось, что он хотел меня взять за пуговицу рубашки, но в последний момент руку отдернул. Почему-то стало немного страшно.

Юра посмотрел мне в глаза и после затянувшейся паузы, во время которой он думал какую-то свою глубинную мысль, спросил:

— А как это у тебя все так получается?

— Что именно? — не очень понял я.

— Вот мы с тобой тогда, знаешь, минут пятнадцать поговорили, и ты статью эту, про нас, афганцев написал. И как-то у тебя получилось так...

— По-человечески?

— Да, по-человечески. Меня прямо тронуло. И моих ребят-афганцев тоже. Как это у тебя получается? — повторил он.

Я тоже задумался.

— Наверное, так... Когда я пишу эту, уж извини, предвыборную фигню... Я все равно какую-то часть души вкладываю. Хотя бы процентов двадцать. И получается — живое, — Юра понимающе кивнул. — Если же я пишу что-то более настоящее, то сто процентов души вкладываю... А когда уж совсем чудесное, то сто двадцать. И даже больше. Понимаешь?

Юра, кажется, понимал.

На первом этаже шла молодежная дискотека со светомузыкой. Мы прошли краем танцующей толпы и поднялись по другой лестнице снова на второй этаж, видимо, в его офисную часть с закрытыми дверями без табличек.

Юра распахнул одну из дверей. Оттуда дымно пахнуло крепкой анашой.

— Хочешь? — спросил Юра.

— Нет, не хочу.

Он прикрыл дверь и через несколько шагов приоткрыл другую. Там, справа и слева, с ладонями на голых коленках сидели две милые молоденькие тувинки.

— Хочешь?

— Не хочу, — помотал я головой.

Прямым тайным ходом мы вернулись сразу в наш пиршественный альков.

На следующий день я улетел домой.

А ту семейную пару моих коллег через несколько лет, то ли в Иркутске, то ли в Братске, убили, потому что с собой в сумке они несли сто тысяч казенных долларов.

Рогатый лаваш с базиликом

Кончались деньги. Не в первый, может, и не в последний раз. Хотелось чего-нибудь вкусного.

В такое время лучше всего ходить, особенно если небо голубое, а солнце ласковое и щадящее, несмотря на разгар лета.

Поправив указательным пальцем темные очки, я вошел в пекарню довольно далеко от дома, если пешком, на Севастопольском проспекте.

Лаваш тут пекли в форме громадного хачапури с овальной серединкой и двумя острыми поджаренными рогами.

Отщипывая понемногу лаваш из бумажного пакета, я шел еще долго по Севастопольскому, потом по Загородному шоссе вдоль трамвайной линии. Следуя ей, я оказался у входа на Даниловское кладбище, вспомнил про Женю Лапутина и закурил.

Когда я работал в «Литгазете», во второй половине девяностых, мы там много всего забавного коллективным разумом придумывали и весело осуществляли. К очередному первому апреля разыграли архивную сенсацию на целую полосу по поводу Набокова, к попытке вернуть которого в СССР приложено в свое время было немало сил. Протокол заседания правления союза писателей по этому поводу сочинил Паша Басинский, донесения и прочие агентурные шифровки — Влад Отрошенко, холодно-изумленное письмо самого Набокова сестре, где он делился с ней деталями визита сотрудника НКВД, писал, естественно, Женя Лапутин. Тогда он уже давно избавился от иллюзий конца восьмидесятых жить исключительно литературой и

вернулся к пластической хирургии, две эти ипостаси свои стараясь никак не смешивать: едва ли его гламурные пациентки смогли бы осилить хоть пару страниц из его сложно задуманных и виртуозно воплощенных романов, их же многочисленные истории, по его собственному признанию, у него и мысли не возникало облечь в законченную письменную форму, хотя всякие смешные, а иногда и страшноватые «анекдоты» из той, другой своей жизни, он рассказывал с удовольствием и хирургической точностью в деталях. Погиб Женя, став знаменитым благодаря реалити-шоу на первом, кажется, канале, где он обаятельно, завоевывая миллионы поклонниц и, возможно, недругов, проводил пластические операции едва ли не в прямом эфире. Подспудные обстоятельства его смерти так и остались неясными.

В первый раз после похорон придя на Даниловское кладбище, я очень долго, едва ли не впадая в отчаяние, искал место, хотя у меня хорошее свойство физически помнить верные направления там, где я хотя бы раз побывал: перед церковью надо взять левее и идти вниз. Но там, внизу, тогда все очень изменилось. Теперь было проще, и я мог выбрать любую из дорожек между могилами. Та, что легла под ноги, привела меня сначала еще к одним знакомым — Григорию Померанцу и Зое Миркиной, а раньше я и не знал, что они тоже здесь. Постояв у них, я спустился к Жене, к его большому мраморному кресту в тени деревьев, и постоял возле. Лаваш в пакете я держал под мышкой.

Уже дома я взял с полки Женину книгу «Памятник обманщику», где к своему портрету он пририсовал символические мушкетерские усы-бороду и написал: «Когда-нибудь останется от меня лишь бородка и усы и, кто знает, может быть, это и было самым лучшим во мне. P.S. Дорогим Тане и Игорю, понимающим, в чем истинная суть. Ночь, июль, автор». Как бы ни хотелось, но дополнительных смыслов этим словам я придумывать задним числом не буду.

Женя совсем не пил, во всяком случае на публике, но дружеские компании любил и к чужому пьянству относился снисходительно. Так что чаще всего мы встречались в нижнем буфете или пестром зале ЦДЛ, хотя иногда и друг у друга в гостях, тогда это еще было в порядке вещей. Жене нравились Танины картины, и она ему несколько подарила. А как-то он приехал к нам с французским бульдогом и купил большую Танину работу в подарок коллеге-доктору, только что въехавшему в новый дом. Женя стремительно богател, менял машины, переехал на Тверскую, потом на Остоженку, встречались все реже — ничто нас не развело, просто всем стало не до дружеских посиделок. Литература же, нас так объединявшая еще недавно, перешла в разряд важного, но уже исключительно личного дела. Кто-то нашел себя в коммерции, сочинительство вовсе забросив, другие, как и мы одно время, принялись писать что-то развлекательное для заработка, третьи держались мечтами о переводах на мировые языки и прочих лучших временах.

Немного раньше гонорары по привычке еще казались большими. На самом деле, оставаясь самым приятным заработком, они становились все смешнее.

Осенью девяносто второго у меня в журнале «Смена» тиражом 244 400 экземпляров и с иллюстрацией на разворот вышел рассказ. Мы с Таней получили гонорар и отправились отметить событие в ЦДЛ, в Дубовый зал.

— Это цена за порцию? — поинтересовался я у официанта по поводу форели, так как с ценниками тогда творилась форменная чехарда.

— Да-да, — подтвердил он, не моргнув.

Форель оказалась замечательно ароматной, с золотистой поджаренной корочкой, лимоном и петрушкой внутри, но все-таки, как продемонстрировал принесенный счет, равнявшийся почти всему моему гонорару, оцененной не порционно, а по весу, исходя из каждой сотни граммов, цена за которые в меню на самом деле и значилась.

Видимо, было это тогда вполне обычной ресторанной уловкой, но ссылаться на свою неосведомленность, точнее, на прямой официантский обман, показалось мне делом совсем неблагодарным и даже противным. Однако будучи по сути человеком добрым, официанту я все же отомстил. Гонорар, значительный в цифровом выражении, мне выдали многочисленными пачками пятерок, трешниц и отчасти даже рублевок. Примерно прикинув нужную сумму, я и высыпал на угол стола уйму денежных пачек, аккуратно перехваченных банковскими резинками.

Официант, уныло, но уверенно предполагая, что в каждой упаковке должна быть сотня купюр, принял их оптом, не вскрывая.

— А я их не пересчитывал, — вернул я его на землю.

— В смысле? — рискнул поднять на меня взгляд официант.

— Вдруг меня случайно обманули? Вы уж, будьте добры, пересчитайте каждую пачку.

Спорить он не решился. А мы тот гонорар и форель запомнили навсегда.

Еще я давно замечал четкую закономерность: чем меньше у тебя денег, тем о более изысканной еде мечтается.

Мы с дочерью, тогда совсем юной, но вполне рассудительной, пошли в супермаркет. Денег у нас было только на хлеб, молоко, еще что-то базовое. От всего остального мы оба отводили глаза.

Через пару недель мы оказались там же, но богатыми.

— Маша, а может, икры? Даже черная есть. Или, смотри, омар, такой красивый?!

— Нет, папа, что-то не хочется.

Когда вышли из магазина, ни в чем себе не отказав, но без смешных излишеств, я ее спросил:

— А как все-таки лучше: когда всего хочется, а купить не можешь, или когда можешь купить любое, но не хочешь?

Она задумалась. И ответила разумно, хотя и не без сомнения:

— Так все-таки лучше....

Принеся остатки лаваша домой, я поймал себя на мысли, что просто так, всухомятку или даже с чаем есть его уже не хочу. Тут же меня посетило итальянское воспоминание о монастыре в Южном Тироле, где мы угощались пастушеским хлебом и тончайшей ветчиной, завернутой в прозрачный пергамент. Взгляд мой сам собой упал на кухонную полку — там стояла маленькая зеленая бутылка с остатками оливкового масла, приправленного базиликом. Я налил масла в пиалу и, макая в него куски лаваша, доел его весь, без остатка. Было не менее вкусно, чем тогда, в Тироле.

А потом, потом, когда я снова мог позволить себе хоть настоящей пармской ветчины, я опять купил рогатый лаваш, налил оливкового масла с базиликом и стал в него макать маленькие куски лаваша.

Вышло еще вкуснее, чем в прошлый раз.

Вот и пойми тут что-нибудь.

Хотя бы в самом себе.

Кити и Катя

На моем дне рождения речь зашла об «Анне Карениной».

— А я не читала. И не буду! — с вызовом заявила моя одноклассница.

— Да никто тебя и не заставляет, — успокоил я ее.

И еще одна вполне начитанная знакомая заявила, что не любит Толстого. Ее я тоже переубеждать не стал. В конце концов, любить или не любить Толстого или даже

Пушкина — всего лишь факт личного вкуса, давно уже не вызывающий общественного воздаяния или порицания, сегодня копий тут никто ломать не будет, может, к сожалению, но уж как есть.

Я Толстого люблю. «Анну Каренину» — особенно. И считаю ее лучшим романом на свете. А несколько страниц романа, где Левин и Кити приезжают в губернский город к умирающему Николаю, брату Левина, перечитываю всякий раз со слезами не только по причине излишней сентиментальности, к чему, признаюсь, иногда склонен, а еще и от восторга: как же у Толстого все просто, точно и невозможно написано. Заинтересованного читателя отсылаю к главам XVI—XIX пятой части романа, сам же расскажу о другом чуде, на этих страницах происходящем.

Кити Щербацкая, недавно ставшая женой Константина Левина, убеждает мужа, что ехать ей с ним к его брату совершенно необходимо. Его сначала раздражает, что Кити, как ему кажется, хочет с ним, потому что ей будет одной скучно, потом смущает, что «ехать бог знает куда, по каким дорогам, гостиницам», что там «эта женщина», бывшая любовница брата, из проституток, с которой, по его словам, Кити не может сближаться, — но сколько Левин, внешне и внутренне, ни сопротивляется, ему приходится смириться перед несгибаемостью решения Кити.

И оказывается, что это именно Левин, а вовсе не Кити не готов к встрече с умирающим, и без нее он бы вовсе не знал, что и как ему делать. Кити же, эта изнеженная девочка-аристократка, а на самом деле женщина, знающая твердо, «что такое была смерть» и «как надо действовать с умирающими» и не боящаяся их, все берет в свои руки и приводит в порядок: «Сам больной, вымытый и причесанный, лежал на чистых простынях, на высоко поднятых подушках, в чистой рубашке с белым воротником около неестественно тонкой шеи и с новым выражением надежды, не спуская глаз, смотрел на Кити».

И чуть дальше происходит одно из самых удивительных для меня превращений во всей мировой литературе: «Когда доктор уехал, больной что-то сказал брату; но Левин расслышал только последние слова: “твоя Катя”, по взгляду же, с которым он посмотрел на нее, Левин понял, что он хвалил ее. Он подозвал и Катю, как он звал ее».

В это мгновение Кити становится Катей для Николая и себя сначала, а потом и для изумленного, задумавшегося и что-то пытающегося понять в жизни и смерти мужа она тоже стала Катей, «как ее называл брат Николай и как теперь Левину было особенно приятно называть ее».

Торопливо пробегая по странице глазами, на это превращение можно внимания и не обратить, хотя Толстой требует прочтения внимательного, строчка за строчкой, нередко, возвращения к предыдущему абзацу или выше. У него нет ни одной случайной или хотя бы неважной детали.

На самом деле здесь, в романе, превращение Кити в Катю волшебным образом изменяет всех — и Николая, и ее саму, и Константина Левина, и читателя, загадку и смысл бытия при этом не разгадывая и не раскрывая в окончательной ясности.

Это я к тому, что можно и не любить Толстого, а читать все же стоит:

«Вид брата и близость смерти возобновили в душе Левина то чувство ужаса перед неразгаданностью и вместе близостью и неизбежностью смерти, которое охватило его в тот осенний вечер, когда приехал к нему брат. Чувство это теперь было еще сильнее, чем прежде; еще менее чем прежде, он чувствовал себя способным понять смысл смерти, и еще ужаснее представлялась ему ее неизбежность; но теперь, благодаря близости жены, чувство это не приводило его в отчаяние: он, несмотря на смерть, чувствовал необходимость жить и любить. Он чувствовал, что любовь спасала его от отчаяния и что любовь эта под угрозой отчаяния становилась еще сильнее и чище.

Не успела на его глазах совершиться одна тайна смерти, оставшаяся неразгаданной, как возникла другая, столь же неразгаданная, вызывавшая к любви и жизни.

Доктор подтвердил свои предположения насчет Кити. Нездоровье ее была беременность».

И здесь, и потом, и даже на последней странице романа Толстой ее, уже родившую сына, словно забывшись, продолжает называть Кити.

Но я-то и без него знаю, что она уже давно, на самом деле и навсегда, Катя.

Друг мой Петя

Петя — первый человек в моей жизни, кого я держал на руках двенадцати часов от роду.

Даже дочь мне досталась весомо и зримо лишь на седьмой день, да и то поначалу в виде пакета, выданного в родильном отделении Первой Градской.

Петя появился на свет неподалеку, в роддоме двадцать пять на Крупской, зато там, где когда-то родилась Таня, еще и символически подтвердив и так неопровержимый факт, что в мироздании все близко.

Маша, теперь сама мама, передала мне Петю, и руки привычно вспомнили, как надо держать новорожденного.

Теперь Пете два с половиной года — он вошел уже в тот чудный возраст, когда недавний милый младенец превращается в совсем настоящего человека.

Его маме было всего на год больше, когда мы с ней вдвоем отправились из Москвы в Гурзуф, в первое наше большое путешествие, с моей стороны безумное, о чем изначально я наивно не догадывался.

У меня с собой была уйма денег, а самоуверенности и того больше.

Долетели мы, не считая мелких эксцессов при посадке, совершенной нами в туалете, куда ребенку, конечно, именно тогда понадобилось, вполне благополучно.

Из назойливых аэропортовских таксистов мы выбрали самого спокойного. По извилистой дороге, весело обгоняя троллейбусы, памятные мне из собственного детства, под музыку и волшебные южные ароматы за окном он лихо довез нас до Аю-Дага, свернул с трассы и высадил на маленькой площади возле автостанции. Мне, опытному советскому человеку, изначально было ясно, что в гостиницах, пансионатах, а тем более в военном санатории ловить нечего, и все же я надеялся, несмотря на вечер, что нас будут встречать хотя бы желающие приютить, зазывая и торгуясь между собой. Ожидания мои оказались напрасными — кроме нескольких пьяниц в майках-алкоголичках живых душ более не наблюдалось. Вздохнув и оставив нас возле машины, на поиски отправился наш водитель. Вскоре он привел невеселую, хотя и навеселе, всклокоченную тетку-домохозяйку. Критически оглядев нас безо всякого умиления, хотя дочь моя выглядела сущим ангелом, беленьким и голубоглазым, она строго сообщила, что у нее есть комната только на троих. Я согласился считать нас троицей с соответствующей оплатой за койко-место.

Комната напоминала больничную палату с одинаковыми узкими кроватями и тумбочками цвета запылившейся слоновой кости. Окно с занавеской выходило не на море и даже не во двор, а на веранду, по некоторым признакам тоже обитаемую.

Кипятку нам дали, и мы поужинали тем, что предусмотрительно, благодаря жене, захватили с собой из Москвы.

Только уложив Машу спать, я смог выйти наружу, где за общим столом отмечали очередной звездный вечер жизнерадостные соседи по частному домохозяйству. Уточнив, что я и вправду тут с ребенком один, мне посочувствовали, в ответ на что я лишь пожал

плечами и вернулся в комнату. За стеной хозяйка бранилась с мужем, а потом отчитывала на веранде за нашим окном поздно вернувшуюся домой дочь, там и обитавшую. Едва мамаша оставила ее в покое, как она завела музыку, впрочем, негромко — да мне уже было все равно: хотелось только спать.

На пляже мы едва нашли место, чтобы расстелить полотенце.

Море в нескольких шагах ласково накатывало на берег, шурша галькой. Но поплавать мне так ни разу и не удалось, потому как с ребенком на руках не очень-то по волнам разгуляешься, а оставить ее на берегу одну хоть на секунду мне и в голову не приходило. Так что купались мы только вдвоем, по большей части барахтаясь на зыбкой пенной границе волн и берега.

С едой тоже вышло не ахти: блины оказались толстыми и невкусными, мясных же столовских деликатесов даже я отведать не решился, фрукты продавались только на рынке, куда еще надо было дойти.

В киоске на набережной, торговавшем авиабилетами, невидимый голос сквозь микроскопическое окошко ошарашил:

— Москвы нет! — и чтоб окончательно развеять наши сомнения вкупе с надеждой, добавил: — И не предвидится!

По пути на рынок еще и порвался ремешок Машиного сандалика. Но его тут же починил пиратского вида сапожник-армянин, даже от денег отказавшись и лишь ласково, едва касаясь, потрепав большой ладонью Машу по пушистому затылку.

Мы с ней все время о чем-то разговаривали, но я впервые понял, что на двадцать четыре часа в сутки, исключая недолгий тревожный сон, мой словарный запас не рассчитан. Культурная программа, наивно сложившаяся в моей голове еще в Москве, вроде посещения дачи Коровина, домика Чехова и даже, может быть, осмотра Ласточкиного гнезда и прочих достопримечательностей Южного Берега Крыма, ограничилась променадами по набережной и походами на рынок. Правда, Аю-Даг был виден даже с нашего двора.

Процесс морского лечения диатеза, чего ради мы, собственно, самонадеянно с моей стороны сюда и отправились, тоже пошел развиваться по собственному нетерпеливому плану: море сначала болячки только больше разъедало, обещая залечить их только в будущем, времени на которое у нас, как оказалось, не было, — Маша сначала неуверенно, а потом все с большим энтузиазмом стала требовать маму. Но мама была в Москве, на работе, с которой ее не хотели отпускать ни под каким предлогом. В телефонном разговоре возникла мысль срочно десантировать к нам бабушку, но мне уже ясно было, что и ее самоотверженное согласие лететь к нам ситуацию не спасет.

Дня два мы еще как-то выдержали, на третий пришлось принимать суровое, но все равно неотвратимое решение об эвакуации.

Обратно в Симферополь, исключительно развлечения ради, мы поехали на троллейбусе.

Возле касс в аэропорту стояли бессмысленные очереди — билетов все равно не было.

Самые бойкие пытались пробиться к окошку начальника аэровокзала. Я закинул сумку за спину, взял Машу на руки и сквозь толчею и гам до начальника добрался, но безо всякой очевидной пользы: в положение он войти соглашался, но помочь ничем не мог, разве что предложил нам передохнуть в комнате матери и ребенка.

Мы отправились в город, к железнодорожным кассам. Тут тоже было многолюдно и душно, но билет я все-таки купил, одно плацкартное место в самом долгом и неудобном поезде, на завтрашний вечер.

Когда мы вышли, уже смеркалось, а цикады орали громче дневных птиц.

Холл ближайшей огромной гостиницы был ощутимо пропитан смиренным отчаянием людей с детьми и чемоданами, заполнившими мраморные полы вокруг пальмы в кадке, оба дивана и все широкие подоконники. Администраторшу со своими пустяками никто уже не доставал. Я вложил в паспорт двадцатипятирублевую купюру и с Машей наперевес рискнул все же попытать счастья.

Усталую женщину мой щедрый паспорт не разжалобил, но на Машу она смотрела чуть дольше, чем предполагалось мгновенным любопытством и дежурным сочувствием.

Она что-то быстро написала и протянула мне листок с адресом:

— Это недалеко. Как выйдете — налево, два квартала, и снова налево. Скажите — от Ольги Сергеевны...

Не попросившись на руки, а у меня не было сил ей предложить, дочь мужественно прошла весь путь.

Хозяйка, поохав и попричитав, провела нас вглубь двора и, отперев дверь, впустила в комнату, на три четверти занятую даже на вид очень мягкой кроватью. Между ней и окошком втиснулся столик, завершали обстановку венский стул и ковер на стене.

Мы отразились в хромированном кроватном шарике. Наши искаженные физиономии Машу порадовали.

И тут в окошко постучали.

Уже чувствуя себя здесь хозяином, дверь я открыл с некоторым недовольством.

А это хозяйка принесла нам домашней жареной картошки с котлетами и две чашки чая. И мы впервые за несколько дней поели совсем по-человечески.

Утром обнаружилось непоправимое: и простыня, и пододеяльник оказались заляпаны пятнами сукровицы от Машиных диатезных болячек. Зато сами болячки подсохли, что я отметил с холодным удовлетворением.

Когда я продемонстрировал наши художества хозяйке, она впала в ступор, перешедший в заунывное отчаяние, и обреченно отмахнулась от моих уверений, что я все компенсирую:

— Где ж я теперь новым бельем-то разживусь? — и обиженно удалилась.

Но вскоре принесла нам молока, чаю и сырников со сметаной и вареньем.

Когда я заплатил ей раз в пять больше, чем требовалось по здешней таксе, она совсем оттаяла и проводила нас до самой улицы.

День мы провели в детском парке.

Комната кривых зеркал веселила нас примерно полчаса. Качели и карусели развлекали тоже недолго. Наконец, открылся электрический автодром. Мы сели в машинку и аккуратно стали нарезать круги, стараясь ни с кем не сталкиваться. Раз на пятый я уже стал доверять Маше руль, к пятнадцатому заезду почти перестал вмешиваться в процесс управления, а к двадцать пятому спасительный аттракцион возненавидел, но как раз на этом этапе он благополучно сломался.

Ближе к поезду мы поехали на рынок. Никакой детской еды там не оказалось. Купили фруктов и корейских салатов.

Площадь перед вокзалом была оцеплена милицией.

Оказалось, на главной платформе какой-то идиот уронил и разбил склянку с ртутью.

К поезду всех отправляли обходным, по вокзальным задворкам, путем. Перед входом в вагон лежала тряпка, пропитанная дезинфицирующим составом — о нее следовало вытереть ноги.

Место наше то ли сразу было нижним, то ли нам его уступили. Ресторана в дополнительном поезде, конечно же, не оказалось. Но кормить Машу готов был,

кажется, весь вагон во главе с проводницами. Моя ответная корейская еда энтузиазма не вызвала, но меня радовала.

Маша бойко общалась с попутчиками, и я мог хоть немного помолчать.

И тут мне нестерпимо захотелось курить.

Я попросил соседей присмотреть за ребенком, а детке сказал:

— Мне очень быстро, буквально на несколько минут.

Маша согласно кивнула и вцепилась в мою руку:

— Я с тобой.

Когда мы вошли с ней в прокуренный тамбур, трое куривших там мужиков мгновенно исчезли. Кажется, это была самая быстрая сигарета в моей жизни.

Теперь я держал на руках Петю, а уставшая дочь даже улыбалась через силу.

— Очень больно было? — тихо спросил я.

— Очень, — ответила она еще тише.

Когда родилась она, я радостно сообщил об этом Киму.

Ответно порадовавшись и поздравив, он мне сказал, немного загадочно глядя мимо моего плеча:

— А вот когда у тебя родятся внуки...

И ведь сколько раз я убеждался уже, что самое главное понимается не сразу, а только потом, к счастью, и часто именно когда надо, к тому же исключительно на собственном опыте.

Есть тут и обычная, бытовая сторона: от внуков тебе достается самое сладкое — радость общения безо всякой круглосуточной ответственности. Но важнее — обыкновенное ощущение вечности, тебе подаренное круглым животом дочери, эсэмэской «3450, 51 см)» и невесомостью реальности в мгновенно окрепших руках.

Насколько оно на самом деле сложно быть с маленьким человеком один на один хотя бы подряд несколько часов, обычный рабочий день, например, когда не на кого переложить обязанности даже на долю секунды, полезно убеждаться, тем не менее. И я благодарен и за такой непростой опыт.

Так, мне пришлось как-то несколько дней на протяжение пары недель поработать с Петей в полноценном режиме няни.

Согласился я смело и с интересом, да и куда было деваться?

Но это тебе — не сходить на пару часов в парк или лес со спящим в коляске младенцем, это посерьезнее будет. И страшновато поначалу.

Я приезжал к девяти, чтобы отпустить Петиных родителей по делам. Предстоящий день был более или менее расписан по часам, инструкции получены, внутренне ты ко всему готов, уже убедив себя, что перед тобой, с тобой обычный человек, только пока очень маленький, немного беспомощный и от этого чрезвычайно требовательный к твоей заботе, неосознанно, но неотвратимо.

Неудачная попытка Толстого описать один свой день во всех подробностях в нашем с Петей случае становится понятной по своей сути: вроде бы значимых событий не так уж и много, но значимое и якобы незначимое до невозможности сложно отделить одно от другого.

Хоть тот же подгузник поменять — простейшее, вроде, дело, а целый процесс.

Сначала надо догадаться, что пора проверить, это легко — поймать, посмотреть и потрогать.

Потом надо уговорить, потому как человеку не до того, других дел много.

— Петя, а давай-ка мы с тобой... — уже умчался катать огромный красный чемодан.

— А кто мне принесет... — выглядывает из окошка домашнего вигвама. Кажется, можно отлучиться в другую комнату.

— Так, друг мой, нехорошо мокрым ходить! — да он и не спорит, но сначала хочет на подоконник.

— Петя, а смотри, какой трактор, а вон и трамвай, небо голубое, не трогай цветочек, он живой, ему больно будет, трогай, можно, только ласково. Давай поменяем! — не согласен, но мы уже переместились на диван.

— Мурашки заведутся. И будут за попу кусать! — морщится недоверчиво, но соглашается.

Всё это занимает минуты две-три, но стоит учитывать, что подробностей я упустил еще целый миллион.

Одеваемся тоже с прибаутками, но послушно — как-никак танцевать идем.

— Ба-бах! — говорю я, спуская подпрыгнувшую коляску по неуклюжему трапу.

— Ба-бах! — радостно повторяет Петя наше с ним любимое заклинание.

Теперь все попроще и попривычнее — уж в коляске-то мы с ним вместе находили километры.

— Кар-кар!

— Ага, — отвечаю. — А вон и гав-гав побежала, — выглядывает: точно гав-гав.

Путь наш неблизкий: до метро, спуститься по неудобному пандусу в длиннейший подземный переход, подняться наверх, оно попроще, а тут до «Ключика» уж и рукой подать.

На пороге перед нашей коляской придерживает дверь жизнерадостная старушка:

— Уже, так рано? — я смотрю на часы, вроде как раз вовремя. Только позже до меня дошел смысл ее вопроса — совсем не время она имела в виду, а сомнительный возраст пассажира коляски, сама же была вовсе не сотрудницей центра и даже не чьей-то бабушкой, а участницей своего кружка ритмики, для пенсионеров.

Чрезвычайно трогательно и весело наблюдать, как полдюжины едва переваливших двухлетний рубеж человеков на расстеленных разноцветных ковриках повторяют за спортивной своей руководительницей простенькие упражнения, серьезно, неуклюже и старательно. Старания, впрочем, им ненадолго хватает. Мы с Петей, например, последнюю треть занятия обычно проводили в директорском кабинете — благо, туда всегда была распахнута дверь и нас там привечали.

На обратном пути Петя, сначала получив банан или тубу со сладким фруктовым пюре, обычно засыпал, как по расписанию, и я мог на пару часов расслабиться в парке «Дубки» или Тимирязевском лесу.

Вернувшись домой, мы обедали, читали книжки, запускали по длинному туннелю тубуса от складного вигвама машинки, строили башни из кубиков, катались на велосипеде, то на одном, то на другом, прыгали на резиновом зайце, бесились на родительской кровати, зарываясь в складки покрывала, бодались, требовали от колонки-Алисы сыграть нам в десятый раз одну и ту же песенку из «Бременских музыкантов» или про трактор, тот, что по полям, снова влезали на подоконник, прятались уже вместе в вигваме, стучали по ксилофону и барабану, меняли подгузники, высыпали посреди комнаты еще не задействованные игрушки, собирали пазлы... дальше по непоследовательному кругу.

Окончательно моя фантазия истощалась, когда до прихода родителей оставалось часа полтора. Зато при их появлении наступал миг всеобщего счастья, но я еще не сразу понимал, что снова принадлежу самому себе.

Это я вовсе не жалуюсь, если вдруг кто-то так подумал.

Маленькие люди, между прочим, довольно хитро устроены, с природной мудростью, кстати. На первых порах, как раз лет до двух и, может, еще чуть дольше, они, дабы не вносить раздор в ряды родственников, ревниво ищущих черты родовых и личных сходств, чудесным образом все время меняются, отдавая дань всем по

очереди в смысле похожести то на одного, то на другого, то на третьего или четвертого, а то и на всех сразу. По науке как раз и называется — период сходств. Петя, конечно, не исключение из этого закона, но самое забавное ведь свое.

И еще в нем есть невероятная созидательная сила.

Он как-то запросто, без усилий создал семью, объединив нас вокруг себя, и все вдруг стали друг для друга гораздо значимее и родней.

— Петь, ты бы поспал. И всем будет хорошо.

Смотрит, улыбается, засыпает.

Коляску стараюсь катить поаккуратнее, охраняя его сон.

Просыпается, улыбается. Так, улыбаясь друг другу, и возвращаемся домой.

Это недавно.

Теперь говорит без умолку, волшебно осваивая дар слова в монологах и диалогах.

— Я позвоню трактору! Трактор, алло, привет! Ты на работе? Я на работе, Петька! Тогда пока, давай попрощаемся!

— Мама, ты поработала — и уже набралась сил! Пойдем!

— Петь, будешь котлету?

— Нет, я отказываюсь!

— Я устал. Дайте мне чуть-чуть отдохнуть!

Пора писать для него сказки.

Змея под бабушкиной кроватью у нас уже поселилась, Петя ей рассказал. Она даже испугалась, но змея у нас — добрая.

Так их и назову, проще простого — «Сказки для Пети».

Последний император, зеркало из Венеции и Щель грешников

Туда я очень хотел, в Молоковку. Там, в советском плену, несколько лет содержался Пу И, император китайского государства Цин, а потом Маньчжуо-Го, тот самый, о ком эпически грандиозный и тончайше красивый в деталях фильм Бертолуччи «Последний император». Накануне я его как раз пересмотрел.

К тому моменту я месяца два провел в Чите, никуда из нее не выбираясь. И хотя сама Чита стоит на сопках и внутри сопок, настоящего Забайкалья я еще не видел.

Забайкалье началось через полчаса, и я попросил остановиться.

Земля тут обрывалась далеко в глубину, заросшую тайгой, и вновь вздымалась вдоль горизонта бескрайними зелено-голубыми сопками. Воздух безмолвно и серебристо звенел.

Въезд в военный санаторий охраняли автоматчики в полной экипировке, даже с гранатами на поясах.

Но нас тут ждали и провели через проходную, выяснилось — всего лишь учения.

В одноэтажном амбулаторном доме, отделанном скучным свежим сайдингом, шел ремонт.

Никто толком ничего не знал, но мне достаточно было и примерного. Комната, где одно время жил Пу И, была то ли эта, то ли та. Окна обеих выходили к самому краю небольшого продолговатого озера, а в одной прижималось к стенам еще не распакованное до конца медицинское оборудование. Для императора я выбрал другую — узкую и пустую. На несколько минут меня оставили одного. Мне уже сказали, что здесь он пристрастился к русской водке, и это почему-то лучше помогло мне представить хозяина и пленника Запретного города из фильма Бертолуччи, практически недавнего бога, сидящего теперь в одиночестве за круглым столом в круглых же очках, сжимая тонкими длинными пальцами граненую рюмку.

Его со свитой в конце августа сорок пятого захватил советский десант в Мукдене, тогда же, срочно, его переправили сюда, под Читу, на тогдашний «Объект 30», и прожил он тут до первой половины октября, в целом около полутора месяцев. У меня было как раз начало сентября — с разницей в каких-то семьдесят лет. Меня позвали.

Напротив сайдинговой амбулатории, на холме, указали проплешину, окруженную не очень старыми соснами: там когда-то стоял деревянный санаторный корпус, куда Пу И перевели позже. Но мне это было уже не слишком важно — рюмку в его руке я запомнил там, где запомнил.

Каждый день, совершенно безобидный, потому и без охраны, он гулял по территории, вроде бы даже по одному и тому же маршруту, и мы пошли вокруг озера. Дальний его берег весь, лишь оставляя свободной извилистую, выложенную камнем дорожку, от самой воды зарос пурпурно-фиолетово цветущим даурским багульником. В ответ на мое изумление объяснили, что да, такой это забайкальским феномен — багульник здешний, точнее, рододендрон из семейства вересковых, имеет свойство вторичного цветения, и это происходит именно где-то с конца августа до начала октября. Но случается не каждый год.

— Интересно, а в сорок пятом он цвел? — подумал я вслух.

— Можем у знакомых ботаников в Чите поинтересоваться, у них есть какие-то фенологические дневники, — ответили мне. — Если тебе очень надо...

— Да не обязательно, — отмахнулся я, решив для себя, что точно цвел, непременно.

Обойдя озеро, мы последовали по дорожке в дальнюю, хозяйственную часть санатория у подножия поросшей мелколесьем сопки, и вышли к могучему, выше человеческого роста, острым треугольником торчащему из земли серо-розовому камню.

Я подошел к камню вплотную и прислонился к нему спиной.

— Говорят, он тоже тут всегда останавливался. И подолгу стоял.

Отсюда, из относительной вольности, бывшего китайского императора отправили в Хабаровск, где более строго, по слухам, содержали еще пять лет на «Спецобъекте № 45». Там ему не разрешили жениться на русской женщине, а в пятидесятом, несмотря на его просьбы остаться, выдали Мао Цзе Дуну. О том, что и как было потом, есть у Бертолуччи.

В Нерчинск, где в окрестностях отбывала каторгу часть декабристов, а до них и вслед за ними на рудниках, винокуренных и соляных заводах больше двух веков сурово трудились прочие каторжные и ссыльные, мы поехали спустя несколько дней. В деревянной Михайлово-Архангельской церкви, затерявшейся среди читинских пятиэтажек, где венчались Иван Анненков с Жанеттой-Полиной Гёбль и Дмитрий Завалишин с Аполлинарией Смольяниновой, а рядом похоронена дочь Марии и Сергея Волконских, я уже был.

Ехали мы от Читы до Нерчинска несколько часов, и пейзажи по дороге преображались несколько раз, будто последовательно, но напрочь отменяя друг друга: сумрачная тайга, голая степь, лесистые сопки, предгорья, бледно поросшие кедровым стлаником.

В Нерчинске, между прочим, был подписан первый русско-китайский договор, определивший границы между Россией и империей Цин, а сам он оказался более чем приличным городом с немалой исторической застройкой: краснокирпичными казенными зданиями, деревянными, выкрашенными в розовый, голубой и лазоревый, с коваными решетками на башнях, домами жилыми, пастельно-желтым Общественным собранием и неоклассическим, хотя и заброшенно-запущенным Гостиным двором.

До меня тут по дороге на Сахалин бывал Чехов, останавливался в гостинице

«Даурия» и мимоходом заметил в письме родным: «Городок не ахти, но жить можно». С тех пор тут кое-что изменилось, хотя, по сути, экзистенциально, думаю, и не слишком.

Неподалеку от гостиницы с четырехколонным портиком, мезонином, балконом и верандой, на той же улице, обрезая ее угол, широко раскинулся столичного масштаба дворец, построенный золотопромышленником Михаилом Бутиным, смесь классики и готики с всплесками-брызгами мавританского.

Войдя во дворец, я сразу понял, зачем на самом деле сюда приехал — чтоб отразиться в громадном, в три-четыре человеческих роста, способном вместить в свои просторы пару-тройку дюжин меня венецианском зеркале. Вопроса, зачем его Бутин притащил в захолустный Нерчинск со Всемирной Парижской выставки, за тысячи километров, по проселочным дорогам, морям и океанам, Амуру, Шилке и Нерче, у меня не возникало — не престижа и выпендрежа только, хотя и не без этого, а все же небывалой здесь рукотворной красоты ради и собственного изумления для: могу!

Я тоже хотел совершить свой личный подвиг.

О Щели грешников на Алханае рано или поздно вспоминали все местные, даже те, кто сам там никогда не был: сквозь себя она, если захочет, пропускает самого тучного и неловкого, субтильный же и заранее уверенный в себе может в ней запросто застрять. Как она на самом деле выглядит, толком никто объяснить не мог. По рассказам я представлял ее чем-то вроде вертикальной каменной трещины, зияющей узким просветом и обладающей собственной магической волей. Через нее-то ты и протискиваешься или, соответственно, не протискиваешься, ежели не дано. Действительность с буддийской улыбкой и подтвердила, и опровергла мои наивные фантазии.

Ехать туда надо было с ночевкой.

На полпути к Монголии тут стремится к небу священная бурятская гора, окруженная лесистыми соседними вершинами и голыми останцами, глубокими отвесными разломами и едва проходимыми осыпями ржаво-бурых камней, минеральными источниками, журчащими ручьями и реками с уступами водопадов. Природные храмы Ворот, Хозяина горы, его супруги Алмазной Царицы, Великого блага лишь чуть освящены рукотворно небольшими, соразмерными человеку ступами, молельнями и высеченными на каменной стеле тибетскими мантрами.

Среди нас не было ни одного урожденного буддиста: русская семейная пара, татарская девушка и я.

Проводник пришел за нами с рассветом, а увязавшаяся по дороге беспородная псина сопровождала нас на всем крутом пути вверх.

У Щели грешников, спускаясь по извилине циклопического камнепада от Храма Ворот, точнее, сползая с камня на камень и рискуя с каждым шагом оступиться и покатиться вниз, мы оказались через несколько часов, прежде успев и отчаяться, и помолиться, и насмотреться, задыхаясь от простора и усталости, на пропасти под ногами, и порадоваться пробившемуся сквозь марь солнцу, и проклясть себя, кто вслух, кто молча за то, что каждый из нас имел глупость согласиться или уговорить других на подобную авантюру, ведь никто силой не заставлял. Собака наша исчезла чуть раньше.

Собственно, Щель, или промежуточный мир Загуурди, представляла собой извилистую дыру меж нагромождения камней, по видимости находящихся в состоянии неустойчивого равновесия, со входом и возможным выходом на разных уровнях. Проходя, то есть, проползая через нее, человек очищается от грехов и освобождается от накопившегося в нем зла. Нависающий сверху, по виду самый ненадежный камень должен свалиться на голову того, кто окажется самым грешным.

И никакой это не зияющий просвет, тут от входа выхода не видно, скорее, каменная западня длиной около двух метров.

Выдохнув, я полез вверх по каменным уступочкам, заглянул внутрь, света не увидел, но все же, уже горизонтально, вполз вглубь.

И, конечно, застрял, как мне показалось, — под ногами исчезла хоть какая-то точка опоры, чтобы худо-бедно оттолкнуться. Зажатый со всех сторон, я завис в каменном мешке, безо всякой надежды освободиться и со священным ледяным ужасом в глубине поджатого живота. Перегрешил, не выпустят!

Мгновение продолжалось долго — капля пота успела доползти от верхушки лба до кончика носа. И непоколебимо ясно было: не проползешь сам, никто тебя даже за ноги не вытащит, нет тут такой возможности, раньше надо было думать.

Наконец, пятка, а потом и вся подошва почувствовали, что им все же есть, во что упереться: паника сменилась последней надеждой. И я, дернувшись всем телом, едва не порвав кожаный брючный ремень и помогая себе локтями, оттуда выполз, будто заново родившись.

Я выбрался окончательно, встал на ноги и, отойдя на несколько шагов, обернулся. Внутренний холодок посетил вновь: отсюда здравый смысл подсказывал взгляду, что пройти сквозь *это* нельзя. Но ведь нас, всех четверых, она пропустила — стало быть, мы не зря оказались здесь вместе.

У подножия камнепада нас встретила мудрая псина, сложный участок рельефа обежавшая кругом, по удобной тропинке, и заглянула каждому в глаза.

На обратном пути из Алханая в Читу мы заехали в Агинский дацан, в тот час совсем пустой, и покрутили молитвенные барабаны.

Вечерело. Очень хотелось есть.

Второй том, или Куда отставший?

В середине нулевых мы с Таней снимали однокомнатную квартиру неподалеку от милицейской академии и по заказу питерского издательства, до того выпускавшего едва ли не исключительно фантастику, писали большой роман-сериал про компанию молодых умников, лишь немного, по необходимости, жуликов, ставших олигархами.

Опыт сочинения жанровых книжек у нас уже имелся. Все началось еще во времена моей работы в «Литгазете», приносившей много радостей, но мало денег. Сначала возникло предложение, от которого следовало, конечно, отказаться, но мы лишь взяли паузу, чтобы подумать. Смущало вовсе не то, что требовалось изменить высокому искусству, а моральная сомнительность нашего участия в преднамеренном жульничестве: серия триллеров, написанных разными авторами, должна была выходить под именем одного известного детективщика. Но гонорар, хотя и разовый, без роялти, предлагался очень приличный. Псевдоавтор, надо отдать ему должное, разработал с дюжину подробных синопсисов будущих романов. Несколько дней поразмышляв, мы решили отнестись к ситуации с циничным юмором и получили долларовый аванс. Объем работы был немал, сроки предполагались жесткие, и текст мы сдавали по частям, сами привозя его в издательство на дискете. Заодно познакомились и с несколькими «молочными братьями», как их называла Таня, нашими тайными соавторами. Присутствовала и дополнительная морковка — после одобрения каждой части выплачивался очередной кусок денег в обмен на следующий кусок текста. Когда в этом процессе случился сбой со стороны издательства, мы дискету им не отдали и

уехали домой. Тут же нам позвонил главный редактор и, разбавляя угрозы извинениями, обещал к завтрашнему дню все исправить. Исправил.

По его же словам наша книжка оказалась лучшей в проекте, и он готов был заключить с нами договор еще на несколько из списка. Мы отказались, не соблазнившись даже повышенным сходу гонораром.

— Уж коли заниматься такой фигней, — откинувшись в кресле, заявил я, — то лучше своей.

— Есть идея симпатичной мелодрамы, — ласково улыбнулась Таня.

— Да никто вас под вашими именами печатать не будет! — обиженно огрызнулся редактор.

— А мы под псевдонимом.

В ответ он лишь безнадежно махнул рукой.

А через пару недель позвонил:

— Пишите синопсис.

Книга вышла несколькими тиражами. По ней мы написали сценарий сериала. И хотя у наших продюсеров с телевидением тогда так окончательно и не срослось, деньги мы по большей части получили. Когда Таню принимали в союз писателей, она к своим статьям из «Литгазеты» и толстых журналов почти шутки ради приложила и эту книгу: между прочим, статьи честно вернули, а мелодраму заиграли. Потом, уже без меня и для другого издательства, Таня написала еще пару веселых женских романов, и все три книги вышли под ее именем.

А после первой совместной мелодрамы мы перешли на собственные триллеры, изваяв их аж четыре. Параллельно, делом подтверждая квалификацию литературного работника, прописанную в литинститутском дипломе, я составил несколько изданий Гончарова с предисловиями и комментариями, написал и биографию Ивана Александровича, короткую, не для ЖЗЛ, напечатанную, впрочем, несколько раз. За четыре тома Гончарова в стотомнике русской классики одно время я даже получал регулярные роялти, исчислявшиеся не от объема моих собственных текстов, а в совокупности с гончаровскими романами.

Много я писал и критики с эссеистикой, изредка выходили и рассказы.

Наши триллеры переиздали уже в другом месте, но продолжать писать их больше не хотелось. И гонорары резко снизились после очередного кризиса, и ясно, наконец, нам стало: жанровая литература в качестве подработки, может, конечно, подкармливать, но не более, — чтобы стать автором первого ряда, надо посвятить ей жизнь. А это в наши планы никак не входило.

И еще я понял, что все время что-то «настоящее» пишу, но ничего не дописываю. Мне стало грустно. Таня тоже мало своего сочиняла, но ее спасало то, что она всегда и бесконечно рисовала.

Мы много ездили по стране, то вместе, то порознь, прилично зарабатывая на многочисленных выборах, тогда еще не привязанных к единой дате и имевших хоть какой-то реальный смысл.

В промежутках тоже надо было что-то делать, поэтому мы и соглашались на всякие не слишком обременительные издательские проекты. Тогда как раз прогремела «Бригада», и дружественное издательство хотело выжать из ее успеха все соки. Первым делом мне предложили вместе с фотографом, работавшим на фильме, сделать альбом о том, как это кино снималось. Потом мы с Таней перевели выделенную нам часть сериала в книжный формат, вслед на основе эскизных синопсисов режиссера Сидорова написали пару приквелов. Книжная «Бригада», видимо, пошла хорошо, и издатели, много раньше киношников, затеяли продолжение, — в нем мы участвовать отказались.

Тут и вышли на нас питерские фантасты, жаждавшие, как и многие тогда, вскочить на подножку уже промчавшегося мимо поезда.

Они хотели свой вариант «Бригады».

Мы понимали, что любая попытка повторения, самая брутальная или изящная, обречена на провал, да и скучно было себе даже представить, что мы пишем про бандитов. Но предложение со многих сторон выглядело заманчивым. На каждую из четырех книг отводилось три месяца, стало быть, нас обеспечивали хорошо оплачиваемой работой минимум на год. Мы, естественно, строили планы уже сразу дальше: книга — сценарий — фильм — успех — переиздания — линейка сувенирной продукции — финансовая независимость — возвращение к чистому, незамутненному вынужденной меркантильностью искусству.

Мы придумали компанию веселых персонажей. Пятеро друзей, три мальчика и две девочки, с хорошим образованием и неизбывным чувством юмора свой путь в большой бизнес начали у нас с торговли меховыми шапками на рынке в Лужниках. Вместе со страной им предстояло пройти через все сциллы и харибды взлетов и падений, работать без выходных и отпусков, утрачивать иллюзии и обретать опыт, не раз проскальзывать по касательной смертельные опасности, умом и хитростью, а не грубой силой преодолевать непреодолимые препятствия.

Под этот «проект», слово уже было в ходу, мы и сняли пустую квартиру минутах в пятнадцати неспешной ходьбы от дома. Пахнущие настоящим деревом письменный стол с книжными полками, удобное кресло на колесиках и красный диван мы купили в Икее, серые стены заполнили Таниными картинами, а в дверном проеме повесили бамбуковые занавески, первое время шуршанием пугавшие вскоре переселившегося к нам лабрадора Бонда. Дочь оставалась дома со стремительно стареющей, а потом болевшей бабушкой, к нам лишь приходя в гости.

Промежуточные, между томами, гонорары нам привозили питерские фантасты — то директор, то главный редактор. Иногда я сам ездил к ним в Питер, на Фонтанку. Кажется, уже после третьей книги, ранней осенью, я получил от них целый рюкзак денег мелкими купюрами, полученными издательством от розницы. С главным редактором мы отправились их менять на Сенную. Обменник был совмещен с самой затрапезной рюмочной. Чтобы набраться наглости, мы сначала выпили, после чего и вступили в переговоры с кассиршей обменного пункта, втиснутого возле входа. Она отнеслась к нам по-питерски благосклонно, не стала мучать просовыванием денежных пачек сквозь узкую щель, а открыла дверь и впустила внутрь. Наличных долларов у нее хватило только на половину моего рюкзака, но и за это мы были ей благодарны. В конце концов, сто — и даже пятидесятирублевые купюры, когда их много пачек, тоже деньги. Кассирша, впрочем, выразила готовность, если мы подождем, позвонить в свой банк, чтобы ей привезли еще долларовой налички:

— Мне же все равно надо с чем-то дальше работать? — пояснила она вполне резонно.

Но мы не стали больше испытывать судьбу, потому как наши затянувшиеся обменные операции уже привлекли алчные взгляды самых мрачных посетителей рюмочной. Было ощущение, что до самого метро «Сенная площадь» нас преследовали их смутные тени. Редактор-фантаст благородно проводил меня до самого поезда.

То есть все складывалось в целом хорошо, не считая того, что как-то на прогулке с Бондом в соседнем яблоневом саду меня посетила паническая мысль, что я больше никогда ничего не напишу, чего ради, собственно, и затеяно все остальное, лишь сопутствующее: во всяком случае так про себя я всегда раньше считал. Проще говоря, с самой юности я был уверен, что литература, настоящая, конечно, а не ремесленная, —

самое главное в моей жизни, а за несколько последних лет не только путного, но хотя бы законченного у меня не случилось.

Примерно в это время, может, чуть раньше или позже, мы почему-то ночью, еще по городскому телефону, долго говорили с Кимом. Я не жаловался на то, что мне не пишется, заранее зная, как он примерно скажет: «Значит, тебе это сейчас не нужно», а тем более не мог признаться, стыдно было, в окончательном впадении в презренный развлекательно-коммерческий жанр, пусть мы к этому делу и относились с профессиональной ответственностью.

Из того разговора я помню лишь небольшой фрагмент.

— Жизнь — всегда неудача, — сказал Ким, продолжая уже утерянную мною теперь мысль.

— Как же так, Анатолий Андреевич? — возражал с тайной ревностью я. — Вы же написали столько книг, вас перевели на уйму языков...

— Игорёк, когда-нибудь ты поймешь...

Он, как я понял позже, говорил вовсе не о литературе, а о другом, все-таки более важном, но я-то тогда думал о своем.

Изящного парадокса ради я мог бы сейчас придумать, что именно после этого разговора совсем не о литературе, освободившись от юношеских иллюзий, я как раз и понял, что вовсе оно никуда не потеряно, не исчезло — то, что дадено, и все еще впереди. Но это было бы слишком красиво и в плохом смысле литературно.

На самом деле я не знаю, почему когда-то в юности пафосно решил посвятить жизнь литературе, потом что-то пристойное написал, бросил писать и снова начал. Может быть, для возвращения и надо было сделать глубокую паузу, вдохнуть и выдохнуть, обнять жену, поцеловать в височек детку, потрепать Бонда между шоколадными ушами, отказаться от сверлящей мысли, что ты должен, должен, должен, и согласиться с тем, что сколько ни старайся впустую, напишешь ты ровно столько, сколько тебе положено. А это уж точно сочинишь, если лениться не будешь. Обязан.

И я написал несколько рассказов и повестей — часть из них еще успела прочитать Таня.

Наконец, я понял на кончиках пальцев, моя задача — просто рассказывать истории, как, например, Лукиан из Самосаты, а все остальное, самое важное, возникает не в сложных словесных периодах, многослойных метафорах и тончайших сравнениях всего со всем, а между строк, тот самый метафизический сквознячок.

Волшебная действительность все и подтвердила.

Я два года писал рассказ про рождение. Конечно, про два года — фигура речи. Рассказ был практически готов, а два года я не мог его завершить — всего-то не хватало чуда. Вот его-то, чуда, я и ждал, проигрывая в голове разные его варианты: не сраслось.

Я проснулся и, главное, пошевелился. Бонда не обманешь — он тут же вскочил с подстилки, процокал по коридору и ткнулся мокрым носом мне в щеку: хватит притворяться, вставай, пойдем гулять!

— Подожди, Бонд, у меня есть одно небольшое дело.

Пес ревниво проследил ореховыми глазками, как я быстрыми шагами помчался в другую комнату и включил компьютер. Бонд на пороге вздохнул и вернулся на место.

Да, мне что-то пришло на границе сна и яви, и это надо было обязательно записать.

Написал я три абзаца, про цыганок и черепах, в середине рассказа, и одну фразу в конце.

Чудо случилось, больше рассказу от меня ничего не требовалось.

Я вышел в коридор. Бонд лежал на подстилке и недоверчиво взглянул на меня.

— Спасибо, Бонд, что не мешал. Теперь можем идти.

И только тут я посмотрел на часы — три абзаца и еще несколько слов я писал пять часов.

Когда я сочинил трудную повесть про остров прокаженных, где роль одного из персонажей сыграл мой армейский друг Володя, я ему ее отправил — почитать.

Володя позвонил через пару дней:

— Здорово ты написал про наш остров! Особенно как мы на медведя ходили.

Я выдержал ошеломленную паузу.

— Вова, я же все это придумал!

Теперь пауза повисла с той стороны.

— Что придумал?

— Про медведя. Никакого медведя не было.

Володя строго, но снисходительно хмыкнул.

— Да будешь ты мне говорить!

— Не было медведя.

— Был, — Володя, кажется, начинал раздражаться.

Больше спорить я не стал.

Если собрать все настоящее, что я написал, то выйдет один том, думаю, довольно толстый, с «Анну Каренину» объемом. Правда, некоторые мои друзья написали по дюжине книг, а кое-кто даже выпустил собрания сочинений. Я за них радуюсь, но сам так не умею. Мне бы хоть второй том написать.

И да, я теперь точно знаю, как писать не надо, а как надо, все равно не знаю, тем более посоветовать не могу — сам всякий раз учусь заново. Как минимум, мне самому должно быть очень интересно. По большому счету я просто хорошо рассказываю чудесные истории, как мой любимый Лукиан.

За советом отправлю всех к более смелому Чехову, да и его совет каждый волен воспринимать по-своему, тем более что и не совет тут вовсе, а размышления «на полях» Гиляровского, изложенные в письме Плещееву:

«Радуюсь за Гиляровского. Это человечина хороший и не без таланта, но литературно необразованный. Ужасно падок до общих мест, жалких слов и трескучих описаний, веруя, что без этих орнаментов не обойдется дело. Он чует красоту в чужих произведениях, знает, что первая и главная прелесть рассказа — это простота и искренность, но быть искренним и простым в своих рассказах он не может: не хватает мужества».

Сам же для себя я написал от руки и повесил на книжной полке: «Когда становится просто — усложняй!» Тут вовсе не антитеза чеховской «простоте», с которой я более чем согласен. Здесь вот о чем и для себя: усложняй, когда тебе становится слишком легко писать дальше, лучше остановись, отложи на завтра и еще подумай.

Но уж когда подумал, написал, закончил, а тем более отпустил от себя, помни, что ты в ответе за каждое написанное слово, потому что оно — живое и ранимое. А если ты и в самом деле написал что-то стоящее, то мир от этого становится хоть на каплю, а лучше.

В одном вышедшем рассказе без моего ведома заменили слово: у меня был синий ветер, у них стал сильный. Никто, кроме меня, наверное, ничего не заметил, но я-то знаю, что ветер там именно синий и никакой, никакой другой.

Как английский рожок.

Рождественский репетировал с оркестром новый концерт Шостаковича.

Тот был в зале.

Сыграли. Рождественский спустился к Шостаковичу:

— Ну как, Дмитрий Дмитриевич?

— Да все хорошо.

Но по интонации Рождественский слышит — что-то не так.

— Дмитрий Дмитриевич?

— Там у нас, в третьей части, — дирижируя пальцами, напел Шостакович, — должен быть английский рожок, помните?

— Да-да. Но мы его заменили флейтой.

Шостакович покивал и посмотрел на Рождественского:

— Пусть все же будет английский рожок.

Свобода и элементарная порядочность.

Таня была самым свободным и независимым человеком из всех, кого я знаю в этой жизни.

Всё, к чему она прикасалась, обретало волшебные свойства, и возникали всяческие чудеса: небывалая, но отчаянно убедительная трехглазая зеленая собака с прорастающим хвостом на кирпичном фоне, стулья, приподнимающиеся на пуантах, летающая дочь, клоуны, сохраняющие от окончательной яркой разрухи заплатанное небо. Таким она видела мир, так его рисовала и дарила тем, кто способен ее миру посочувствовать.

В больших сибирских проектах, где с ее мнением считались, она умудрялась строить даже вороватых отставных полковников и действующих эмчеэсовских генералов, и те ей беспрекословно подчинялись. Она бы и танк остановила, потому что он сошел бы с ума, пытаясь наехать: понял бы, что не только бессмысленно, но и чревато для него необратимыми последствиями.

Она и сама не могла бы объяснить, откуда в ней это, как и не знала, откуда приходят к ней сюжеты картин и легкость в отношениях с людьми. Людям рядом с ней точно становилось лучше и дышать легче. Но уж если ее по дремучей глупости, а не просто невзначай задеть, то те самые необратимые последствия возникнут мгновенно и неотвратимо.

Я, например, когда думаю, хожу туда-сюда по комнате, лишь время от времени бросая взгляд на компьютер, а когда к нему наконец присаживаюсь, то мысль или даже фраза уже созрели. Таня же думать предпочитала, играя на компе в примитивные на взгляд многих, и мой в том числе, игры вроде тетриса или цветных шариков, в определенной конфигурации рядами самоуничтожающихся, принося игроку очки, а в особо удачных случаях щедрые бонусы на будущее. Смеяться-то я посмеивался над ее слабостью, а у самого-то ничего не получалось — у меня все подобные игры позорно завершались не в мою пользу не позднее простенького третьего-четвертого уровня.

Как-то мы с Таней работали в городе Липецке и сидели за компьютерами в одной офисной комнате: я в глубине, лицом к двери, она сбоку, к выходу спиной.

Таня как раз находилась в процессе думания и сосредоточенно выстраивала на экране косые линии и зигзаги из шариков, когда в нашу комнату вошел Палыч, очередной отставной полковник, административно-хозяйственный руководитель нашего проекта, отвечавший, правда, остатками карьеры перед высшими инстанциями, которые платили деньги и ждали от нас результата. Перед инстанциями Палыч трепетал, в остальном ощущал себя главным, а нас, тех, кто с мозгами, считал яйцеголовыми, смешивая в своем внутреннем эмоциональном коктейле примерно в равных пропорциях открытое честное восхищение и глубочайшее тайное презрение к умникам-штафиркам.

Зайдя к нам в кабинет, Палыч бросил в пространство свой орлиный взор, как командир на поле боя оглядев важную диспозицию. И угораздило же его ляпнуть, в шутку, конечно, из-за Таниной спины:

— Опять в шарики играешь?

Дурак он — спасаться ему нужно было еще тогда, когда только напряглась ее спина. Но он упустил момент, и Таня обернулась.

Я внутренне ликовал, наблюдая за разворачивающимся действом, но через долю секунды мне стало Палыча жалко: он на глазах уменьшался в росте, втягивая понурую голову в плечи и тая, как злая волшебница Бастинда, — в следующие два месяца, до самого конца нашей общей работы он больше ни разу в нашу комнату даже заглянуть не посмел. Но иногда звонил Тане и просил, если у нее, конечно, найдется время, зайти к нему в начальственный кабинет — хотел посоветоваться.

Тонкие вещи бывают, с учетом обстоятельств времени и места, и более жесткого свойства.

В одном Колымском лагере, на излете сороковых или в самом начале пятидесятых, местные авторитетные воры послали своего коллегу в соседний лагерь передать большую сумму денег. А тот, почуяв, видимо, условную волю, с ней в себе справиться не смог — загулял и все пропил.

Воры решили поставить его на ножи.

Один давний сиделец, из интеллигентов, политический, ворами уважаемый, развел руками:

— Как же на ножи? Человек все-таки?! — на что ему, задумавшись сначала, ответил главный вор:

— Знаешь, он нарушил не только наш воровской закон, но даже вашу элементарную порядочность.

А я вот ненавижу так называемые «мужские» разговоры — кто с кем и как — сразу встаю из-за стола и ухожу.

Если же меня спрашивают вдруг совсем сдуру про общую знакомую или даже вовсе незнакомую, из чистого любопытства, что называется:

— А ты с ней спал? — я уже не спасаюсь вежливым бегством и отвечаю честно и откровенно, выдержав небольшую паузу, чтобы не сорваться в бесповоротную грубость:

— А какое твое собачье дело?

Впрочем, на подобные вопросы женщин, даже во мне заинтересованных и алкающих предельно интимной откровенности, я отвечаю более ласково, но не менее однозначно.

Про любовь

На мой юбилей ничего сказочного не придумалось — дети накануне Нового года, когда случается мое очередное рождение, все скопом заболели, и празднование ограничилось чудесными вечеринками с друзьями у меня дома, правда, дважды, с промежутком в несколько дней. Семейно отметили первого января.

И всякий раз нам всем, мнится мне, было хорошо. Да, иногда меня очень любят. Хочется верить, что есть за что.

А круглая солидная дата всего лишь условность, правда, безусловно приближающая к смерти. Смерть же штука тоже интересная, любопытная и пока неизведанная. Но к ней я точно не стремлюсь и тем более не тороплюсь.

Задолго до юбилея, давно, мне позвонил друг-художник из города детства. Он не столько рисовал, сколько непостижимо для меня создавал своими волшебными руками кресты напрестольные для храмовых алтарей и наперсные для православных батюшек. На мне тоже его работы нательный серебряный крестик.

Звонил он редко, тогда чуть ли не во второй или третий раз в жизни.

— Я тут пистолет купил, — бодро сообщил он.

— Зачем?

Он немного помялся и ответил не слишком уверенно:

— Чтоб был.

— Серёжа! Пойди, пожалуйста, прямо сейчас, — он был совершенно трезв, — и выброси его на помойку.

— Хорошо.

Про дурацкий пистолет за обычной житейской суетой и не восприняв все слишком всерьез я благополучно забыл. А через месяц или два, или три, точно уже не помню, Серёжа, наверное, развязав с чего-то и выпив, обстоятельств я не уточнял за ненадобностью, выстрелил из него себе в висок. Застрелился он не сразу окончательно, а еще полгода примерно, прежде чем отойти в мир иной, мучился сам и мучил близких.

В Бога он, конечно, верил и знал, что так нельзя. Но не я ему судья — у него теперь вечность времени с этим разбираться: и ответить, и спросить.

Откуда я знаю?

Однажды в Великом Новгороде мимо единственной действующей тогда маленькой и не самой древней церкви шли начальник археологической экспедиции, академик, и его заместитель, доктор исторических наук и профессор МГУ, в сопровождении свиты.

На ступенях храма после только что окончившейся вечерни стоял батюшка в окружении старушек.

Профессор-заместитель походя и громко, поверх невысокой ограды хорошо поставленным лекционным голосом прокричал:

— Святой отец, а бога-то нет!

Старушки посмотрели на него испуганно и заполошно, а потом перевели взгляды на батюшку, без сомнений, но и с интересом: что ответит басурманину?

— Сын мой, — сказал батюшка, разведя руки во всю ширь мироздания, — как же Бога нет, когда все сущее создано им?

Таня говорила, уже умирая:

— Спасибо вам, я с вами прожила такую чудесную жизнь.

— Да, Мурз.

— Ты женись, только про детку не забывай.

Я не забываю.

Детка про меня тоже.

Петя растет.

А я еще что-нибудь хорошее напишу, ЕБЖ.

Весна 2020-го

Сергей Попов

Божий карандаш

* * *

С треногами, мольбертами, листами
над крышею художественной школы
крылатые создания летали,
и числа забывая, и глаголы.

В цветное небо лезли вон из кожи —
там голубой, и палевый, и рыжий...
На мальчиков и девочек похожи
с непоправимо съехавшею крышей.

Но сходство и поверхностно, и мнимо.
И мало кто цветами озабочен —
и на земле проскакивают мимо,
и от земли торопятся не очень.

А эти отрывались до упада,
выделывали в небе пируэты
и улыбались, будто так и надо,
секретным знаньем исподволь согреты.

Пылало окаянное веселье,
кромешным светом хмарь одолевая
осоловелой местности весенней,
где пандемия зрела огневая.

И выдавали ангельские лица,
что числа и глаголы ни на йоту
не стоят права вдребезги разбиться,
доверясь несусветному полёту.

Попов Сергей Викторович — поэт, прозаик, драматург. Родился в 1962 году. Окончил Литературный институт им. А.М.Горького. Автор многих книг стихов и прозы, в том числе «Отдел теней и лавров» (Тамбов, 2017) и «Азбука буки» (М., 2017). Лауреат многих литературных премий. Живет в Воронеже.

* * *

До плеши промок
берет над походной палитрой.
Тулится блажной ветерок
в посадке нехитрой.

Морочится. Да
докуда ещё дождевая.
О господи, стоит труда
давиться, чубук продувая?

Вгоняя в разбег кистевой
сквозные пропорции яви,
уравнивать умысел свой
с творцовой задумкою вправе,

копирует выцветший лес
кургузый маратель-расстрига,
верстая мирской интерес
и вышнее иго.

Стоически штрих за штрихом
рукой окаянной и косной
всё, что кругом,
он к жизни двойной и несносной

никак не устанет клонить,
дышать на ладони —
стволов волглоруких финифть
на выпуклом склоне,

подрамниково ребро,
зрачковая жадная нега —
на вдох и на выдох добро
всего-то до первого снега

* * *

Аперитив, подвядшее желе
дрожат в потёках робкого восхода,
как чёрный ангел Шиле над шале
под Веной восемнадцатого года.

В могиле Климт. Беременна жена.
Победной спесью дышит Мировая...
Но, как на грех, важнее тишина,
чтоб любоваться, глаз не отрывая.

Порнограф, уголовный фигурант,
безумья покаянный привереда,
по межсезонью сам себе не рад,
хоть и казалось, — вот она, победа.

Он первый, он единственный теперь.
Наследный принц, последняя оторва.
И сколько ни указывай на дверь, —
слаба любая здешняя контора.

Но воздух гнилью намертво пропах.
Дунай несёт имперскую отраву.
Аперитива привкус на губах.
И где десерт, положенный по праву?

И почему здоровье горожан —
такая увлекательная тема?
Вовек не выбирал и не решал,
а бредил нескончаемостью тела...

И отчего боятся как огня
везде обыкновенной лихорадки?
Крут карандаш, а прочее — фигня,
покуда всё с бумагою в порядке.

Война, война. Кафешек огоньки.
Худых натурщиц острые коленки.
Такая мерзость в воздухе с реки,
что сыростью коробятся нетленки.

И выпадает верить наобум,
что всё решится нынешним накатом...
О чём печаль? К чему весь этот шум?
Зачем привязка к выставкам и датам?

Когда уйдёт испанка в никуда,
родится сын, смирятся доброхоты,
искусство завоюет города,
глухие и надёжные до рвоты.

И что за осень ляжет над водой!
И что за грифель грянет в одночасье!
И ангел слёз, до дрожи молодой,
расскажет всё про призрачное счастье.

* * *

Пока послерождественскую дрёму
превозмогает населённый пункт,
по сонному окраинному дому
неутомимо движется паук.

Он смотрит в угловую паутину,
где клочья снов, серчания простуд,
осевшие на высохшую глину,
хранят его порожносетный труд.

В ячеях брезжат пятна и потёки,
и трещин ускользающая вязь.
И времени холодные потоки
гуляют, пустотою становясь.

И лапами игольчатыми тыча
в кромешную невидимую твердь,
он узнаёт, что вся его добыча —
сквозная жизнь и будничная смерть.

Не посылает редких легкокрылых
суровый бог на нитчатый предел.
И потому отечество не в силах
ничем помочь ловцу летучих тел.

И для судьбы желателю успений
отведена терпения тщета,
как будто невостребованый гений
слепого зла не стоит ни черта.

И нет ему надежды на подсветку
и зрения спасительный метраж,
пока линует пагубную сетку
поверх рожденья божий карандаш.

Алексей Устименко

Барса-Кельмес

Повесть

I

Аральское море находится к Востоку от Каспийского. ...Большое количество островов послужило поводом к названию — Арал Денгиз, употребляемому киргизами. ...Островов много. Во-первых, близ восточного берега: Кос-Арал перед устьем Сыр-Дарьи. Во-вторых, близ западного берега: Куг-Арал, Барса-Кильмез[1].

Энциклопедия Брокгауза и Ефрона, 1890—1907 гг.

Алюминиевая кружка звенела цепью, как собака, прикованная к своей конуре. Иногда мелкие звенья будто бы даже тихо рычали. Это когда кто-нибудь, зачерпнув воды из мутно-серого алюминиевого же бачка, к которому кружку некогда приковали, тянул ее на себя, чтобы выпить.

Прихромавший с улицы Борис тоже опустил кружку в воду и, не отерев и не отстранясь от падающих на рубаху капель, стал медленно пить.

На табурете сидящий вахтер Иногамов с уважением посмотрел на двигающийся кадык Бориса. Он охранял бачок и рассортировывал по нужным комнатам приходящих в редакцию посетителей.

Козья ножка, сверченная из обрывков первого корректорского оттиска вчерашней газеты, тонко посвистывала, когда Иногамов, затягиваясь, всасывал воздух. Звук

Устименко Алексей Петрович — писатель, редактор. Родился в 1948 году в Новосибирске. Окончил Ташкентский государственный университет. Работал собственным корреспондентом по Средней Азии ряда московских изданий, главным редактором журнала «Звезда Востока» и духовного литературно-исторического альманаха «Восток Свыше». Автор многочисленных журнальных публикаций и нескольких книг прозы, в том числе «Владимир — митрополит Среднеазиатский» (Т., 2011), «Китайские маски Черубины де Габриак» (Т., 2012), «Странствующие в золотом мираже» (М., 2018) и др. Постоянный автор журнала «Дружба народов». Живет в Ташкенте.

Журнальный вариант.

[1] Барса-Кильмез (Кельмемс) — бывший остров в Аральском море (*с казах.*: «Пойдёшь — не вернёшься»).

оказывался слышнее, чем все иные, перепутанно долетавшие снаружи. Оттуда, где узкая Зерабулакская улица с торопливой оглядкой, чтобы ее случайно не сбил одиноко тренькающий красно-желтый вагон трамвая, перебегала через Махрамский проспект. Именно здесь, в скрещении двух тополиных улиц, невдалеке друг от друга прижились две газетные редакции — «Красной звезды» и «Туркестанской правды», бывшей прежде «Известиями ТуркЦИКа».

— Дрянь вода, — сказал Борис, не вытирая губ. — Теплая, как Каспий.

— Какая уж ни на есть, — ответствовал Иногамов, посипев самокруткой.

Цепочка чуть-чуть порычала, но быстро затихла. Кружка стукнулась о крышку бачка: невидимый пес убрел в конуру.

— Дрянь вода, — повторил Борис. — И как ее люди пьют? Барса-Кельмес — пойдешь, не вернешься...

— Кельмес, Кельмес, — покивал Иногамов. Окончательно дососав, выплюнул козью ножку на пол, растер коричневым сапогом в черно-желтое мокрое месиво и отшвырнул под бачок с перегретой водой.

— Ты бы, гражданин Иногамов, такого лучше не делал. Люди приходят. Какое у них от этого останется уважение?

— Кельмес, Кельмес, — продолжил прежнюю мысль Иногамов. — Откуда же ей холодной быть? Колонка не близко... Замучаешься, если туда-сюда много ходить. Да и пока дотащишь, уже нагреется. Иначе, какой же это тогда Ташкент?

— Может, бачок какой-нибудь тряпкой укутать... чтоб не так грелась.

— Можно и тряпкой. А только пока ты, Борис Андреевич, здесь пустяки придумываешь, тебя в кабинете второй час девка дожидается. Одна сидит. То есть с этим, который...

— Какая девка?

— Аллах ее знает! В красном платке, а титек нету. Застегивай пуговицы на гимнастерке, расстегивай пуговицы на гимнастерке — все будет зазря. Ничего не увидишь, ничего не торчит.

Нельзя сказать, что Борис сильно радовался постоянным таким разговорам. Но и пробежать мимо них не получалось.

Он всегда машинально приостанавливался перед самой лестницей, пил воду, — бывало, что и не в жару: готовился взбежать. Да так оно и было, что — готовился.

Нога, перебитая в пальцах в момент, когда, поторопясь, попытались взять банду атамана Зелёного у разъезда Карапыши еще на Украине, хотя и приспособилась к себе самой, других препятствий необъяснимо остерегалась — притормаживала. Пальцы требовали пригасить огонь, тем жарче тлеющий, чем больше приходилось ходить.

Остановка все же заглушала пожар в сапоге.

Борис останавливался, пил воду, что-нибудь говорил. И только потом взбегал по крутой лестнице.

Иногамов оценивал это по-своему:

— Тебя, Андреевич, всегда слушаю. И всегда для тебя исполняю, сам нагадил, сам и затру. Гаеп мулла кызында да була...[1] Вот, вчера, ты тоже сказал, я и сподмел даже. Ты ведь не тот, который...

Он запнулся и замолчал. Потом удрученно добавил:

— А титек, все одно — нет...

---

[1] «Грехи даже у дочери муллы бывают...» (*матар.*).

II

«Очки ...были со странными, квадратными стеклами и квадратное было лицо. Стекла поблескивали мертвым металлическим отсветом, и от этого человек сам казался выверенной машиной, точной и неумолимой».

«Тот, который...» невозмутимо сидел за столом и смотрел в окно. Именно — в окно, а не сквозь него. Несомненно, он даже и не видел шумящего и многолюдного Махрамского проспекта. Не видел, а следовательно, не пугался, что сквозь пыль повисало над разогретыми солнцем булыжниками: беспредельно затягивающей глубины океанского неба, покачивающегося от струящейся кверху жары, готовой растопить в раскаленной кисельной голубизне случайные облачка, схожие с узконосыми каюками — лодками туркмен и киргизов, плавающими по Амударье и заглядывающими сквозь тугаи[1] и в Арал-денгиз, и — за гористым переволоком — еще дальше... В самый Каспий.

Каждая — под косым выцветшим парусом, одиноким, как отстреленное крыло раненой птицы.

Да и сами те лодки готова жара и растопить, и расплавить в струящейся магме воздуха, от соприкосновения с которым даже тонуть будет нечему, — все обратится в распластанное над землей негустое желе.

«Тот, который...» — сидел и старался слушать.

Мелкая девица в наглухо застегнутой гимнастерке, с темно-серыми мокрыми кругами под мышками, бегала по кабинету — от окна к двери и обратно — и читала прокуренным голосом слова, похожие на стихи:

Мы должны показать всему миру,
Что мы впереди всех стран идём!
Мы вычистим и отмоем всю земную квартиру,
И сделаем из неё общий социальный дом.

«Тот, который...» смотрел в окно и старался слушать, не слушая. Делал терпеливый вид, как всегда пряча свою сущность. Внутренне — под внимательным невниманием. Внешне — под медленным натягиванием ласково поглаживаемых черных сатиновых нарукавников и подправляемых указательным пальцем тяжелых роговых очков.

Сущность Николая Константиновича Бек-Богдановича, понятно, из-за одной только лишь фамилии, была привычно непролетарской. Поэтому во всем остальном несомненно требовала не очень сложных изучающе-политических раскопок, какие постоянно грозился произвести редактор «Красной звезды». Но сам же этого не делал. И другим, до времени, не позволял, боясь, что истинные законы истинной пролетарской справедливости лишат Николая Константиновича Бек-Богдановича непролетарской жизни, а газету — ее гордости: лучшего в Туркестане буквоеда-корректора.

Красная косынка зигзагами встревоженной птицы летала по солнечной комнате в ритме вскрикиваемых, будто ножом наструганных строк.

---

[1] Тугаи (*тюрк.*) — пойменные леса в Средней Азии.

Борис еще не решался войти, когда вдруг тот, который смотрел в окно, оборвал девчонку, не оборачивая головы:

— Ему будет интереснее. Он — замредактора, и дальше ему решать про ваши стихи. Знакомьтесь — Борис Сергеев.

Девчонка запнулась, как ударенная, на мгновение перестав понимать, — зачем ее остановили? Покраснев, оглянулась...

Борис сначала увидел себя в зазеркалившемся стекле, покачивающегося вместе с темно-зеленой листвой чинар и карагачей, давно доросших до второго этажа. А потом и ее, прерванную.

Косынка туго обнимала выцветшим сатином сухие волосы над гладким лицом, круглым и коричневым, как каштановый орех.

— А я тебя знаю, товарищ Сергеев. Ты на Первомай по крышам лазил. Очень хвалю... Сказали б, и я бы с тобой полезла. Хотя высоты боюсь. Там, где служила, все плоско. Только ветер пески гоняет. Там нигде ничего не торчит.

Второй раз услышав недавнее слово, Борис машинально взглянул на ее грудь.

Она заметила и засмеялась:

— Мужик ты, мужик и есть. А я думала, что художники и поэты одних себя разглядывают, что у них глаза вовнутрь вывернуты. Оттого обо все углы бьются, ничего не видя. Ни революции, ни лужи под башмаком. А ты — вроде бы видишь... Потому и с высоты не свалился. Опасаешься ее... А те картины, что вешал над улицами, кто рисовал?

— Я и рисовал, — достав из кармана тоненькие очки, медленно и строго, чтобы успела остудиться кровь собственных покрасневших ушей, сказал Борис.

А действительно, куда это сгинула ее грудь? Молода ведь совсем... Впрочем, может, как раз поэтому и не взошла еще толком...

От новых ненужных мыслей уши вовсе стали горячими, стыдно затяжелели.

Бек-Богданович подтянул нарукавники почти до самых локтей. Пошевелил бумагами:

— Пишут: в Москве появились паштетные. Работают синема. Перед каждой фильмой в буфете продают белую рыбу с пивом.

Девчонка зло посмотрела на Бек-Богдановича, короткими пальцами вцепилась в рукав сергеевской гимнастерки, притягивая ее к своей, употевшей, и шепнула, чтоб было слышно:

— Да, полезла бы. Ты правильный. Не то, что этот... Сыч белогвардейский... Давай отсюда уйдем. Я тебе их там прочитаю, в коридоре.

III

«...Резкий голос плескался ударами в стены, подымался к облупившемуся потолку и оттуда падал на головы тяжелыми кусками, как будто бросали сверху горстями круглые свинцовые пули».

Доски коридорного пола от общего хождения по ним еще не скрипели. Протертые мокрой утренней шваброй, напитанные серой влагой, они отдыхающе высыхали, дыша с облегченностью испытанного вожделения. Но всего с десяток минут, и — по ним снова пойдут, шаркая и стуча, торопливые ноги истаптывающих посетителей, набивающих кривые зазоры и длинные щели вспрыгивающей пылью, вместе с наползающей жарой заполняя все сухостью и — вновь, постепенно — дневным скрипом.

— Сыч, это, допустим, — понятно. Умная птица. Почти сова. Но отчего же — «белый»?

— А вы, товарищ Сергеев...

— Борис...

— ...видели эти, как там, его нарукавники? Да и галстук?..

— У меня у самого такой есть. Ношу временами.

— Это ж какими такими временами? — по-охотничьи прищурив глаз, отпуская рукав и отодвигаясь, спросила девчонка.

— Когда в рубашке хожу...

Борис не обманывал, защищаясь от ненужного спора. Он действительно это делал: выходя из «Красной звезды» и сворачивая за угол, чтобы войти в «Туркестанскую правду», где тоже подслуживал руководителем отдела литературы, он, если успевал, обязательно переодевался.

Жаркую гимнастерку «Красной звезды», трудно стянув через голову, вешал на гвоздик внутри неостекленной дверцы редакционного шкапа. Сам же аккуратно вползал в прохладную сатиновую рубаху, снятую с этого же гвоздя. И штатские пуговички тотчас упрятывались под широкий темно-синий галстук с негустой россыпью красного горошка.

«Хамелеонствовал», — как сказал об этом корректор Бек-Богданович.

Она читала, а он разглядывал дощатые бочонки, расставленные по углам коридора на шатких тонконогих приступочках. Из сухой земли торчали непыльные фикусы. Их, конечно же, поливали, а все одно: большие и плоские листья давно растеряли мелкорубчатый глянец и тяжело свисали с крепеньких веток желтизной неостановимого умирания.

Девчонка, отпустившая его рукав, уже не бегала в разные стороны, как только что по кабинету. Но вышагивала строчки мелким и праздничным, почти первомайским, маршем. Он слушал, а она по нескольку раз, туда и обратно, маршировала мимо него через весь коридор, благо — коридор был короток.

Тоненькая тетрадка сиреневым шелестящим флажком то взлетала, то опускалась в ее руке.

Слова сухо обозначались звуками забиваемых гвоздей. Или будто выстукивались ударами по круглым клавишам пишущей машинки, где паузы между словами — вздох ее горла, глоток нового воздуха — походили на железный звук от передергивания справа налево дребезжащей каретки.

Белая бумага, кое-как, для красоты, обертывающая бочонки с фикусами, шелестела от близкого к ним марширования. Рыжие пятна в тех местах, где — поливая цветок, — водой попадали мимо, ржавели контурами мировых континентов, за границами которых накапливались будущие революции.

Темные пятна из подмышек стекли ниже — к задыхающимся бокам.

Невозмутимые фикусы осеняли громкое чтение качанием желто-зеленых листьев, подвядшим видом напоминающих старогородские лепешки, подсиненные легкой, еще не многодневною плесенью.

«Сволочи!» — Борис неожиданно понял, от чего засыхали цветы.

Земля, которую регулярно поливали под фикусами, не в силах была вынести окурки и раздавленные самокрутки. Ежедневно выгребаемые уборщицей, они успевали отравить перегоревшим высосанным табаком короткие корни, которым и без того дышать было нечем.

В «Красной звезде» привыкли к поэтам.

Всякая обретенная грамотность неостановимо стремится обнаружить себя, еще не обретя никаких знаний. Умение заарестовать и отобразить мысль приходило раньше умения мыслить. Этим всегда славились всякие революции. Теперь вот и недавняя большевистская.

Поверх всякой жизни случайной пылью насыпанные знания торопились реализовать себя. Но не потому, что могли не обнаружиться и исчезнуть сдутые ветром какой ни на есть вечной истины. А потому, что боялись забыть то, чему вскользь научились раньше. Раньше, чем появилась возможность высказаться. Тем более сейчас, когда новые владетели грамотности и поверхностной мысли вполне могли насовсем исчезнуть в какой-либо случайной смерти, еще наотмашь рубясь усталыми шашками и обыденно расстреливая из парабеллумов и револьверов других, себе же подобных.

Законченная Гражданская война не бывает остановленной навсегда. Ни от холода, ни от жары ей не сгинуть. Сдачей оружия, подкрепленной подписанными бумажками, не защититься ни от ножа из-за угла, ни от огня, слизывающего оранжевым языком все насильно обобществлённое.

Размышляя об этом, он вдруг заметил, что девчонка, перестав читать, стоит совсем перед ним.

— Ну, вот, — сказала она. — Это не последние. У меня их много, этих стихов.

Светло-желтые пуговицы ее гимнастерки то приближались к нему, то отступали, — девчонка все-таки запыхалась, даже задохнулась чуть-чуть.

Борис помолчал. Длинный как будто бы сон о наплеванных окурках — еще не прошел.

Свернув тетрадь трубочкой, она ловко сунула ее за ремень его гимнастерки:

— Возьми! Отберешь, которые нужно. Только читай без того — в нарукавниках. Отдашь, когда возвернусь.

— Лучше всего, через две... нет... через три шестидневки.

— Сказала: когда возвернусь. Я ж не знаю... Сначала пойдем до Аральского, потом до Бухары, потом обратно. Еще и возле Самарканда постоим, власть наведем. Да и Фергана против всех затаилась. Дехкане уже к басмачам уходят. Надо бы посчитаться... Из наших — слышал? — Тангри Берды изменил. К курбаши Джабарбеку на коленях приполз, — защити! Сейчас у Энвер-паши[1] почти что правая рука. Надо бы отрубить... Ну, этот ладно: бедный дурак, на баев батрачил. Разве он слышал о мировой революции? А Илюшка Деливеров? Красноармеец... Я ведь с ним... Э-э-х...

Освобожденная от тетрадки рука в мгновенной привычке дернулась вниз и к боку. Туда, где, возможно, вчера или даже сегодня поутру, прижимаясь к тяжелой юбке, тяжело отвисала застегнутая кобура.

И у Бориса в приступе классовой ненависти тоже так бывало. Пальцы сами собой бросались отстегивать кожаную петлю. Сдергивать со страхующей пуговки... Выхватывать за рубчатую рукоять чью-то смерть, оказывающуюся снаружи.

Теперь и ее вот движение...

Ах, какое у нее крепкое бедро. Даже на вид... Несчастье красноармейцев: не ущипнуть. Коричневая гладость все того же каштанового ореха.

Счастлив или беден красноармеец Илюшка, тоже, конечно, тянувший сюда

---

[1] *Энвер-паша* (1881—1922) — генерал турецкой армии, возглавлял басмаческие отряды, захватившие Душанбе и большую часть Восточной Бухары.

красноармейские руки? Только погладить. Только кончиками пальцев плотное тепло ощутить.

Собственное лунное отражение, однако, успел ли хоть раз разглядеть?

Неужели все то, что в ней некогда было, теперь вдруг поисчезало? Неужели те искренние, хотя и неграмотные ее слова, это совсем не она, не вершинное и ничуть не каштановое отражение жизни? Не та высота, до которой она почти докарабкалась, обломав на Гражданской обкусанные ногти, но сохранив себя? Чтобы кончиками пальцев к ней можно было бы еще прикоснуться...

В литературном военном романе, который вот уже целый год разворачивал перед собой Сергеев, такого предательского эпизода, понятно, не было и не могло быть. Люди в нем оказывались какими-то бело-черными. Борис и сам понимал это, но другие герои в книжное действие им пока не допускались. Неужели они тоже могли там быть? Наверное... Но только не здесь, не сейчас. Не на этой же бело-красной войне, где враг внешностью хоть и одинаков с тобой, а — пристрелит тебя, если ты сам не пристрелишь его.

Именно потому, что он еще и писал так же, как сейчас чувствовал, роман не получался: события громоздились шевелящейся мертвой горой, люди крутились друг перед другом, сталкиваясь, но внутренне не соприкасаясь.

Дочь белогвардейца и сестра белогвардейского офицера могла стать любовницей мелкого красного командира. А другая сестра этого красного командира могла быть спасена тем же белогвардейским офицером.

Борис Сергеев подкладывал человеческие истории одну под другую. Иногда морщась от явной искусственности, от ощутимого сопротивления слов, с помощью которых он вдавливал одно событие внутрь другого. Редко, но случалось, что, убегая от сюжетного разлада, он почти профессионально начинал сводничать с историческими и житейскими событиями: устало прижмурившись, как покуривающий в сторонку тоненько подбритый сутенер, он вываливал все известные истории будто бы в общую гостеприимную кровать. Хотя прекрасно понимал всю несуразность сочиненного. Должен побеждать детерминизм, а он не побеждал ни в литературе, ни в политической жизни.

В конце концов, даже детерминизм — дело случайное. И вся история состоит из слившихся совпадений. Как две близкие лужи после дождя сливаются в одну крупную, так мелкие происшествия и слухи разбухают до размеров события уже исторического. Мгновенно прилепляясь к нравоучительным страницам обязательно читаемых учебников.

Каждый вечер и каждую ночь порожденные Сергеевым герои корчили перед ним неугаданные, невыписанные свои рожи. Вроде бы даже убедительно любящие, ненавидящие, убивающие и прощающие... Но не живущие в реальности, хотя бы и книжной. Для реальности, пожалуй, им не хватало жизни самого совершенно измочалившегося при создании литературных лиц красноармейца писателя Сергеева. Он должен был появиться там, ну хотя бы честным введением в текст или одной из собственных историй. Например, истории незаживаемой раны, попущенной кем-то — не без цели ли? — и до сих пор заставляющей писателя Сергеева хромать при поднятии по лестнице и — что очень метафорически — при создании всякого собственного текста.

Не было бы раскаленной пули у разъезда Карапыши, взрезавшей живую кожу его ноги и оцарапавшей кость, не было бы, пожалуй, и подтвержденного этой пулей большевистского в нем мировоззрения...

Еще никем для себя не став, мечущийся по полям Гражданской войны юный

поручик-артиллерист Борис Сергеев тащил на плечах тяжелую шинель английского образца: такую давали всем, кто служил у белых. Когда же утек из Добровольческой, закинул шинель в кусты: тепло еще было.

Но точно такую выдали и у красных, словив его в одиночном шатании.

Дальше жизнь побежала стремительней, чем хотелось. Едва успевшего подогнуть рукава шинели, еще оглядывающегося по сторонам Сергеева — с теми ли он и за тех ли воюет? — по дороге на Киев, на станции Мироновка, углядел в толпе Наркомвоенмор Украины Николай Подвойский. И, толком не переговорив, забрал в свой полевой штаб начартом: очень уж был удивлен, что и в таком длинном виде шинель, оказывается, можно так строго носить.

Отлежавшись и меняя на полученной ране ошметки коричнево-грязных бинтов, Сергеев незаметно для себя, то есть совершенно безболезненно, но и неравнодушно, влез в новый хомут, на сей раз — в большевистский.

Веря в бесконечность мировой революционной борьбы, большевики торопились остановиться, чтобы — пока боями — закрепить себя на земле, почти до смерти избитой и изнасилованной.

В ненависти на неподдающийся текст Борис яростно отшвыривал деревянную ручку с пером, и вся стена перед его столом давным-давно выплясывала молчаливо-размашистый танец фиолетово-синих пятен. Ничуть не хуже, чем выплясывал дьявол перед столом самого Лютера.

Слава Богу, — весело думал Сергеев, — жизнь вывела меня на писательскую тропинку. И я не стал художником. Куда как дешевле обходятся при всяческой неудаче чернильные пятна на стене, нежели обошлись бы изрезанные, изорванные, изничтоженные холсты... Особенно при нынешнем государственном несуществовании достаточного числа простых материй для юбок, портков, рубах и прочего.

В такой осознаваемой экономии крылась согласная времени и текущему дню, сама во многом сотворившая нищий хаос вокруг максималистская большевистская правда.

Нарукавники Бек-Богдановича — нарукавники правильные. Хотя и из сатина.

Но было и счастье, когда на всхрапывающем от неостановимого бега литературном коне даже самую длинную ночь он проскакивал почти в одно мгновение.

— ...Гадом ни из-за чего сделался! Он теперь хуже человека. Он имени своему изменил. Ты когда-нибудь изменял своему имени, товарищ Сергеев? А он теперь какой-то Мусульманкул. Нет, — если и найдется тот, который на имя мое позарится, — приходи тогда посмотреть, что я с ним сделаю.

Ничего такого Борис прежде не слыхивал. О переметнувшихся. Если случилось и не один раз, значит, действительно, все серьезно в Туркестане. Потому и редактор отмалчивается.

Он хлопнул по вытянутой к нему прощающейся ладони, вот только что, вот сейчас ударявшей по затянутому в юбку бедру в привычной надежде открыть пересохшую кожаную кобуру, чтоб выудить наружу матово-черную тяжесть револьвера системы «наган».

— Так тому не давай, в нарукавниках!

— Отчего ж? — думая о случившемся в Бухаре, в Фергане и далеко-далеко на Арале, машинально ответил Борис. — Нарукавники — это так... Бережет одежу свою. Всем бы не помешало. Много ли ее...

— Так я сказала, товарищ Сергеев! — не оборачиваясь, уже докричала она, быстро, со ступеньки на ступеньку сносясь к первому этажу редакции.

IV

«...Вести были угрожающие, но в словах, в структуре фраз, даже в порченом шрифте была незримая, но входившая в сознание бодрость».

— Бог знает, что с ней делать?!

Шлепнувшись на черный дерматин стола, тонкая тетрадка распахнулась, как рубашка перед раздеванием.

— Что, — спросил Бек-Богданович, — я был прав? Стихи — дрянь?

— Не то слово... — вздохнул Борис, закрывая тетрадку. — И таких стихов — будто один кто писал! — полон ящик, слиплись уже. Еще теперь и она...

Взглянул на обложку:

— Анна Власова...

— Ты сказал «...с ней». Не со стихами? Ты не оговорился?

— Со стихами все ясно. Именно: если бы не она, только б в корзину!

— Тебя что-то смущает?

— Да нет... Стихи, действительно, дрянь. А надо печатать.

— Та-а-а-к... — Бек-Богданович безо всякой цели обмакнул перышко в зеленую стеклянную чернильницу, вытянул обратно, осушил и очистил бумажкой. — Никак не могу взять в толк, если она со своими стихами и тебе самому поперек горла...

— Нас мало. Мы должны здесь держаться друг за дружку. Охранять...

— Кого это «нас»?

— Да европейцев, черт возьми! Европейцев! — сорвался на крик Борис.

— Я думал, скажешь иначе: «...нас, красных...»

Борис остановил беготню по кабинету, похожую на недавнюю беготню Анны, и особо внимательно посмотрел на корректора. Тот прикрыл глаза и опять почем зря сунул перышко в мокрое горло зеленого стекла.

— Ну, и это, можно сказать, и тоже в самую пору. Она — именно что из наших, из «красных», как ты говоришь. Оттого и обидно, что ее малую грамотность на общий обзор приходится выставлять.

— Ну, так не печатайте...

— Снова за свое! Я ему про Фому, он мне про Ерёму!..

— Перестаньте, Борис... И я о том же... Будем считать: говорим о нашем здесь европейском представительстве. Оно есть. А потому через него, через представительство, такие публикации вообще делать не след. Совсем опозоримся.

— Да понимаю я...

Брошенная на черный дерматин тонкая тетрадка не раскрывалась от испуга.

— Да-да... Опозоримся! Как делали и делаем последние десятки лет. Хотите знать, каким образом? А собственными фантазиями... Поскольку «русской» истории здесь очень и очень немного — десятки лет против столетий, а то и тысячелетий! — то обхаживать эту малость, окучивать, взлелеивать, творить поверх нее новые мифы, понятно, мы не устанем. Вы — не устанете... О чем только что сами и сообщили... Постараетесь соответственно расцветить ее и смыслово обогатить. В основу возьмете всякие мелкие, к реальной большой истории не имеющие двигательного отношения, случайности. Любовные истории того же, например, сосланного сюда моего сугубого тезки Великого Князя Николая Константиновича Романова. То ли выколупывавшего драгоценные камни из иконы своей матушки, то ли нет... То ли прелюбодействовавшего

и даже венчавшегося не по одному разу, а то ли и нет... То ли принесшего благодеяние отсталому краю, то ли искусно пограбившему здешних мардикеров — несмышленых в подобных делах доверчивых сартов... Обязательно, обязательно начнете выбирать самое подходящее и соответствующее политическому моменту.

Бек-Богданович подергал себя за нарукавники, но оставил топорщиться на прежнем месте.

— ...Впрочем, то, о чем вы сейчас говорите, и ни за грош этой Анне не нужно. Свое будет строить в полном убеждении, что у нее получится. Ну, и дай Бог! Им всем... Которые не на своем месте. Всё лучше, нежели прежнее твое европейство, — Бек-Богданович неожиданно перешел на «ты», — нежели твоя прежде вносимая сюда цивилизация. Даже и новых дров не наломали, а все из старых, из своих собственных, костер попытались раздуть. Л*ю*бите новое из гнилого старья наворачивать. Один дым и получается. Тлен. Труха. Все уже давным-давно выгорело. Нет, не поняли. По-прежнему очень хочется русскому человеку, чтобы все по его, по старому умыслу было. Привычное не беспокоит.

Обрывистые слова тяжелого разговора метались по комнате, как мяч в лаун-теннисе. То быстро, то медленно перебрасывались от стены к стене, от окна к двери, чтобы ударить или спасти говорящего от неожиданного удара.

— Почему это — «моя цивилизация»? Я все-таки здесь, а не с той стороны, которая за царя там, за все прежнее. Я за новую...

— Здесь? — переспросил Бек-Богданович. — Ну так спросил бы однажды у здешних: эта моя новая немецкая цивилизация, это мое новое светлое социалистическое европейство неужто действительно вам нужны? А то, может, нет?

— Покажем. Увидят, — сами вслед побегут...

— А если — нет?

— Увидят. Головы повернем в нужную сторону.

— ...а не повернутся...

...«Посшибаем», — мог бы сказать Борис, напомнив себе, что как раз с такой целью шел он недавно громить банды атамана Зеленого, что за этим же, оставив в Ташкенте наивные свои стихи, унеслась в хорезмийские степи Анна Власова... Но осекся и промолчал. Все было вопреки тому, что он сейчас так шумно доказывал. Там, прежде, все было верно. Правильно и понятно. Кто с кем и против кого... Там, прежде, хотя бесспорными для него врагами оказывались «белые», движимые деловой волей капитала, волей банков и контор, не знающие пощады и промедления, а праведными людьми оказывались ее, Анны Власовой, «красные», все равно — они были как бы свои, а здесь...

Сказал вместо этого:

— Впрочем, завидую я вам, Николай Константинович. Вы умеете спокойно смотреть на все со стороны. А я, однако, никак не могу.

— Да-да, — осторожно стягивая измученные нарукавники, произнес Бек-Богданович. — Именно со стороны. Что и обидно. Хотите, подправлю? Нет, нет... Не смыслы. Хотя бы язык.

— Нельзя, — сказал Борис.

— Ну, да. Ну, да... — взглянул исподлобья Бек-Богданович. — Ее власть. И в литературе. Толстого теперь — в нужник. Про Бунина уж смолчу. Вы любите Бунина? Интересно, где он сейчас? Может, успел...

V

«...и город не удивился, когда заметил на увалистых подгорных улицах порыжевшую кожаную куртку, австрийские бутсы и перевязанный портфелик».

«Эти разговоры и из меня сделают “интеллигента”, комнатного корректора. Интеллигенты всегда многословно говорят, а неторопливые, немаячащие мастеровые рождают вместо них интеллигентскую продукцию. Впрочем, сейчас и они, почти все, ничего пока не рождают. Пролетарские вскрики газетных лозунгов заменили всякую мастеровитость», — налетевшее огорчение от этой мысли имело только одну благую сторону: копаясь во внутреннем огорчении, Борис Андреевич позабыл о больной ноге, на одном выдохе проскочив все пролеты лестницы, на этот раз — вниз. Послеполуденное солнце подсказывало: пришло время забежать в чайханэ, разжиться там касушкой постного плова или же, юркнув в полутайный дворик, с оглядкой получить две-три самсы, пропитанные полезной зеленью.

Иногамов сидел на прежнем табурете, ненужно положив обе руки на худые колени, скучно ожидая разговора хоть с кем-нибудь.

— Что? — обрадовался он, увидев Бориса. — Отговорили?

— От чего?

— Не от чего, а с кем... С ней, с маленькой.

— Видел же, что давно ушла.

— Насовсем?

— Повоюет чуть и вернется. Стихи оставила.

— Это где еще такие воюют?

— А везде. На Арале вот. У Барса-Кельмеса...

— Значит, накаркали мы с тобой, Андреевич, утром. Худое место.

— Назови лучшее... из тех, где стреляют.

— Может, и нет таких... — многозначительно усмехнулся Иногамов. — Да только люди не во всех обязательно пропадают.

— Хочешь сказать, что Джунаид-хан, как его ни разбивали, все одно: то из Персии, то из Афгана живым выползает?

— Змея, — согласно кивнул Иногамов.

— Она, — подтвердил Борис.

— Однажды не выползет...

— ...или обратно не доползет.

— Аллах с ним! Только я не об том.

Очень хотелось есть. Где-то неподалеку среди невидимых дымков тандыра сочная горячая зелень давно задыхалась от жара обхватывающей ее слоисто-коричневой корочки, а черные кунжутные зернышки обсыпали парующую самсу погасшими угольками.

— ...такое вот видел?

Иногамов вдруг указательным пальцем задрал кверху свою сухую губу и подсунул потное лицо чуть ли не под самый нос Борису.

— Погляди-ка...

Его ноготь темнел грязной желтизной и заметно шершавился мелкостью будто

нацарапанных полосок. Треугольный осколок темного зуба почти одиноко царствовал в мокром пространстве полупустого щербатого рта.

— Когда-то, еще в прошлое время, очень хотел я рыбки половить... — Иногамов, перестав смотреть на Бориса, плюнул себе под ноги и тщательно растер. Борис тоже отвел глаза: ругаться не хотелось, хотелось дослушать.

— ...и рыбки, и вообще, какого-нибудь счастья. Поехал на Каспий, но почему-то присел у другого, у Малого моря. На Арале. Не помню. Почему там? Осетр, что ли, причудился пожирнее...

Трамвай звонко протренькал на Махрамском проспекте, спугивая с рельсов неоглядывающихся прохожих.

Бренча разноцветными браслетами на босых ногах, волоча на загорелой спине желтый фанерный ящик с красками, промелькнул странный ташкентский художник по имени Волков. Он шел приплясывая.

— Поселился у одного старого киргиза. Рыбу-то я ловить не умел, а он как раз ничего другого, кроме этого, никогда не делал. Не вспомню, чему он меня учил... Только помню, что выйдет вслед за мной, сядет на ближнем обрыве, жует насвай, сплевывает и все на небо смотрит. Не на меня, то есть... А небо здесь скучное, без барашков. Сам знаешь.

Я же все в воде. Штаны закатаю и в нее, в воду. То удилищем повдоль вожу, то сети вокруг глиняных промоин закидываю.

А он все сидит, смотрит, плюется.

Так целый день может сидеть. Другие, все из аула, тоже следом придут. Рассядутся в полукруг, тоже плюют и смотрят. Всегда молча. Нет, вдруг, если поймаю осетра или сазана даже, неважно, обязательно по-своему погудят одобрительно. И головами покачают. Целый день могут сидеть. По нужде отбегут в саксаул, что поближе, за спинами, отдохнут, выскочат, руки песком обчистят и опять присаживаются головами кивать да гудеть... Но больше молча сидят.

Одинокая машина проклаксонила квакающей резиной.

Еще один трамвай железно скрежетнул, просыпав мелкие искры. Горляшки за окнами испуганно перестали гукать о птичьей любви.

— Я бы еще там пожил, пусть и на одной рыбе. Но постепенно понравился мне старый нож у моего киргиза. Ножны из полированного дерева да какие-то камушки на рукояти. Не знаю, может, и неважные камешки. Киргиз рассказывал, будто бы нож персидский, из Тегерана. Врал, пожалуй. И без нужды мне, да только понравился.

Я не собирался его красть до конца. Взял, чтобы просто понаслаждаться. Киргизу не сказал, чтобы не обеспокоить. Не его. Нет. Себя. Вдруг расскажет, как он этим ножом тухлого осетра с голоду потрошил, когда свежего не ловилось. А не ловилось часто. Когда ветер из пустыни. Всякий раз такой пыли надует, что для этой пыли уже и песков мало. В целый слой на воду ложится. Поверх волн раскинется, остудит их шевеление, придавит. Те и не плещут. Еле-еле покачиваются. Как в бочке у золотаря. Живи старым запасом. То, что не успел завялить, то и потроши. Нож потом не отмыть, так воняет.

Или еще того лучше. Вдруг вспомнит, как им горло жертвенного агнца в байрам перерезал. Я однажды слышал, как выхлещивалась из дергающегося барана черная кровь. Пучками отхаркивалась... Сердце ведь оставалось живое и качало себе, и качало. Равно одинаково: булькающая вода из опрокинутого кумгана. Только без шипящего свиста из пустоты, когда наконец последний воздух выходит.

Услышишь и затошнит.

Дурной мне попался киргиз. Спросил бы меня по-хорошему. Конечно б, вернул. Я не мазурик. Этот же к другим побежал. Кричит, руками размахивает. Пальцем в меня тычет. И они вслед за ним в меня стали тыкать. Потом кулаками...

Равнодушное солнце перестало скользить вдоль улицы и поползло влево, прилаживаясь отдохнуть на тяжело провисшей от пыли темной листве карагачей.

— Вот. Осталось. Ты когда-нибудь жевал без зубов?

— Я ножей не ворую, — сказал Борис.

— Они хорошо дерутся, когда их много. Очень согласно. Не мешают своему соседу, если тот хочет и пришло его время бить. Чтобы победить, их надо раскатывать поодиночке. У меня почти получилось. Но когда понял, что мои зубы сейчас совсем закончатся... — Иногамов хмыкнул и сплюнул себе под ноги белый комок слюны, тогда, по-видимому, это была липкая кровь. — ...я перестал драться и удрал на берег к пустым лодкам-каюкам.

Разгоряченные дракой подняли пыль погони. Но только до берега, до своих плоскодонок. Здесь, разом остановившись, принялись кричать уже друг на друга, не на меня. Я отплывал слишком быстро. Мог не услышать.

Наконец несколько человек, из самых мною побитых, растолкав всех, бросились к лодкам — плыть вдогонку. Здесь они уже не были дружны. Мстительность одинока. Толкались, рвали из рук шесты и весла, путали веревки, дергали кривой парус в разные стороны, раскачивали свои посудины так, что вода переливалась с борта на борт.

Только пять человек потекли следом, в сторону для меня, казалось, спасительного острова Барса-Кельмес.

Ветер дул правильный. Мой парус не полоскался, как бабье белье на веревке, но топорщился высоко и надуто, а вовсе не так, как у той... у твоей... под гимнастеркою...

Прокопошившись, киргизы утратили ветер, слишком долго дергая канаты у мачты каюка, бестолково толкаясь и мешая себе. Каюк был еще и тяжелей моего, и глубже осел: кромки бортов почти сравнялись с волной. Утопли бы от многих этих случаев, кто б удивился? Поняли бы, что это не я так с ними... Тем более что свидетелей на берегу сошлось, как на прежних рыбалках. Расселись и смотрят через солнечное отражение, через взблески воды. Разглядывают нас не моргая. Можно ведь и ослепнуть. Нет, все сидят... сидят... Должно, до конца, до самого острова нас всех видели.

— Послушай, Иногамов, на кой черт ты мне эти огороды городишь?

— А что б ты, Борис Андреевич, меньше за нее переживал, если там, где ты говоришь, куда она пошла, если там — на Барса-Кельмесе — она вдруг возьмет да и сгинет...

— Типун тебе на язык!

— Я это не к худу говорю, а к другому. Ты слушай...

Теперь уже он, Иногамов, позвенев темно-серой цепочкой, взялся за кружку. Чуть наполнил ее, побулькал немного, словно бы пополоскав, размашисто выплеснул воду под табурет, вновь подлил и взялся пить, неторопливо свистя через щербинку межзубья.

— Убегающий никогда не спасется, — заметил он, облизнувшись. — Ты это знал, Андреевич? Нет. Не спасется... Особенно в нынешнее время. А ты живи на виду и — останешься. Мы ведь все — рыба на крючке. Начнешь дергаться, извиваться, только еще глубже острие заглотнешь. Впору и подавиться. А ты лучше жабрами похлопай, пока чужие пальцы под них не залезли, продышись как следует и потихонечку, потихонечку пойди навстречу острой железке. Может-то и ослабнет, может и — сосклизнешь, ничего в себе не порвав. Это к тому, Андреевич, чтобы опять сказать:

убегая не спрячешься. Я ведь тогда своим убегом худое сделал: рассвирепил их. Но тогда же и понял, — обязательно догонят, если бежать. Вот и одумался.

Спрыгнул с каюка, продрался сквозь тугаи и полез наверх по береговой крутизне. В открытую полез: хотел, чтобы видели. Наверху же не во глубь Барса-Кельмеса пошел, но в сторону, вдоль. И через немногое время по скрытому от них уже месту опять на берег спустился. Затих и залег в тугаях. Не сообразят ведь, что я теперь у них за спиной. Вглубь побегут доискиваться.

И побежали...

А тугаи — дело страшное. Ты был в тугаях, Андреевич?

Иногамов вновь машинально дернул мокрую кружку, хотя, наверное, уже совсем не хотел пить.

— А я вот был. Вновь слетев вниз, к берегу, сам уж не помню с какою силою ворвался в кусты, хоронясь: даже если у киргизов еще не было большой на меня злости на том берегу, на этом — они наверняка озлобились от погони. Так ты был в тугаях, Андреевич?.. Знаю, что спрашивал. А все же?

Сергеев пожал плечами: может, был, может, и в тугаях... Азия — страна большая, а он не из здешних. Как узнаешь, где побывал? Или как определишь, что это они, те самые страшные тугаи? А узнав, как запомнишь?

— ...худшее, что я видел — это они, тугаи! Здешний царский сатрап — слышал про Великого Князя, он тут прежде нас жил, в сослании? — так он своего лекаря, своего табиба, что любовником его жены оказался...

Иногамов задумался, остановился и стал смотреть в пустое пространство:

— ...а может, и не жены... Ну да Аллах с ним! ...в тугаи за то самое повелел свести, по грудь в землю закопать и на ночь оставить.

Иногамова передернуло.

— Задохнулся, поди? — поддержав разговор, Борис зевнул: в общем-то ему не было никакого дела до воспоминаний Иногамова. Даже писательского интереса не было. На кой черт знать сплетни из великокняжеского прошлого? Отдурили Романовы. Теперь всем им конец. Новой литературе теперь уже быть навсегда.

— Какое там... Откопали. Только или его, или кого другого... Один Аллах ведает. Распух так, что не вышло узнать.

Князь все знал про тугаи. И я тогда узнал в том собственном одиночестве. Влезть-то в глубь я как-то влез. А там они меня насмерть скрутили. Главное, что и само божье дерево...

— Тамариск...

— Да, кажется... Именно, именно оно меня так обжало, что ни руки поднять, ни пошевельнуться. Дыхание сбивалось. Чтобы откашляться, нужно набрать воздуха и вздохнуть. Розовые волосы цветов не давали этого сделать. Лезли в самое горло, перехватывали его, втягивались в нос. И их лепестки застревали в ноздрях. Не отодвинуть, ни отодвинуться. Красно-коричневые лохматые ветки одуряли сладким розовым жаром.

Под ногами булькали пузыри потревоженного подземного воздуха. Гнилой запах все больше кружил сознание. Я барахтался точно так же, как если б тонул. И действительно уже захлебывался, до смерти и захлебнулся бы, но тут меня принялись терзать еще и растревоженные моим шевелением комары. В стае птиц можно разглядеть каждую. В поднявшемся комарином облаке — ни одного...

Иногамов потер шею и сплюнул в ведро, куда сливали недопитую воду.

— ...голова того великокняжеского лекаря тогда так распухла, что лица на ней никто не признал, и она могла лопнуть.

VI

«Вставало над ширококолонной степниной с зари меднокованое вязкое солнце, поливало красной лавой, ...сушило белые петли, пыльные узлы степных немереных дорог, размашистые лога, зеленошерстные травы. Прогревало плодообильное черногрудое логово земное, раскидавшее долы от гранитных порогов Угорских до пенной зелени разгульной Хвалыни».

Иногамов говорил невнятно, обрывисто. Называл предметы, но почти не видел хотя бы мало-мальски необходимой связи между ними.

Борис собирал слова, ухватывая их на лету. Не отбивал теперь, как шарик в том же лаун-теннисе, но ухватывал и бросал в невидимую ни для Иногамова, ни даже для самого себя корзину. Затем, во мгновение извлекая, переводил их из невидимого пространства — в видимое, работая внутри себя как торопливо записывающий писатель, редактирующий в подсознании будто и не написанный, но вдруг состоявшийся текст.

— ...даже одурев от испарений, от лиан, обползающих тебя колючими змеями, от вонючей липкой земли, вспучивающейся мокрыми пузырями, от розового жара, втягиваемого вовнутрь, и от распухшей головы, я все же смог бы спастись, через некоторое время устоявшись в нешевелении... Но от зудящего комариного облака, сделавшегося непроглядной заменой всего окружающего воздуха, спасения не было.

Розовый дурман опадает от замедленного дыхания. К запаху гнили привыкаешь, как к тревожащей вони дешевых духов. Но отнятый воздух взрывает твои легкие, удушая проникающей смертью.

Великий Князь знал толк в среднеазиатских, всегда шевелящихся тугаях, в зудящем обволакивающем не-воздухе: если не осмелишься приостановить дыхание, не убежишь, не спасешься.

Ну, и я ничуть не осмелился бы, если б все шло по-человечески. Но не-человеческий воздух, зудя и переливаясь из одного облака в другое, и в меня подналил некоей серой силы... Шайтан потом сильно, должно быть, повеселился, обнюхав на кустах клочки рубахи и лохмотья моей кожи на фиолетовых колючках божьего дерева.

Всей силой задыхающегося страха я осмелился вышвырнуть себя из тюрьмы тугаев, вынырнув из комариного облака в пространство без мерзко обвивающей тебя лиановой нежити.

Отдыхающее ночное море спало, нешумно вздыхая. Белые полосы торопившейся к берегу пены исчерчивали густо-черную воду почти прямыми линиями. В отдалении — ниточно тонкими, вблизи — вспученно-вздутыми, накатывавшими на глину берега и опадающими в свете луны, почти пузырящимися сугробами цвета конской мочи.

Ничего лучшего мной досель не видалось. Даже вопреки тому, что мне очень, очень хотелось пить. Как всякому вдруг ожившему человеку.

Ты знаешь, Андреевич, чего я больше всего боюсь после тех тугаев? Отойти от бачка с водой. Он ведь при входе стоял. А я его возле табуретки поставил.

На скользкий берег я вылетел с таким шумом, что меня можно было расслышать и в самой глубине Барса-Кельмеса, и в глубине Арала. А услышав, еще и увидеть: луна разогрелась до желтого каления и нависала, как золотой царский червонец.

И хорошее в этом было: пусть даже и побьют, но чтоб потом вместе возвращаться.

Да вот не поверишь, тогда я от них все-таки сгинул. И они ж от меня неслышно исчезли. И ветки громко лопались, и песок мокрый шуршал, и глина чавкала, зализывая следы. Еще и каюк плоским днищем царапал по песку, скрипел с пересвистом. Но — не увидели, не разглядели. Хотя не так уж и далеко отошли: туда-сюда ходи-не-ходи — места немного.

Лишь пьяным хохотом плакали невидимые шакалы.

Кой-как отпихнулся от берега, веслами по воде бестолково захлопал: руки дрожали от желания побыстрей отгрести. Не пошло... Видно, теперь уж не мне здесь решать, но тому сделаться, что сам Аллах попустит, или же юркий шайтан нашкодит. Тьфу, тьфу, тьфу...

Опухшая морда сама нашла деревянные ребра каюка. Ткнулась в них будто в худую женщину и разом уснула.

Когда комариное облако отстало от лодки, я понял, что меня отнесло от берега. Когда закачало, — что подо мною захолодела глубокая вода. А когда луна стала скакать по разным сторонам, — что поднялся и понес меня в ночь открытый ветер. Я все это видел, чувствовал, определял, а сам спал. На мокром, на деревянном... Ты не смог бы, Андреевич.

Борис Сергеев спорить не стал, хоть и говорил Иногамов длинно, и дослушивать — воленс-ноленс — все-таки приходилось. Это как с книгой: дочитал почти до конца, знаешь, чем кончится, но вдруг обнаруживаешь пустоту на месте выдранной последней страницы. Всего пары абзацев не хватает, а словно бы всю книгу не прочитал. Или как с каким-нибудь благочестивым: жизнь в христианской полноте прожил, а помер, не причастившись, вот и не пожил, вот и нету тебя.

Бывший красный боец Борис Сергеев, понятно, причащаться не собирался, но — к чему живет — о том раздумывал. Если б не желание, со многими общее — пригрести мировую революцию к себе и к России поближе, чтобы дать ей расцвесть, то и его революционно-газетная жизнь тоже бы скуксилась. И он, вместе со всеми, тоже бы словно и не пожил...

И Бек-Богданович ведь тоже. И Анна, ушедшая туда, где этот самый Барса-Кельмес. И пристроившийся на окончательном жизненном табурете курящий, плюющийся и болтающий Иногамов.

Хотя нет. Анну из такого приходного списка надо бы исключить. Единственная, кто из них делает нечто, чтобы себя сохранить и в себе сохраниться.

— ...я не моряк, за звезды держаться не умею, чтоб выгрести на нужное место. Зато восхождения солнца — слава Аллаху! — не проспал. От его восхода и оттолкнулся, чтоб обратно до аула доплыть. На Арале заблудишься и сгинешь, если только солнце голову припечатает, мороком прихватит. А я успел не сгореть. И к полудню ткнулся о нужный мне берег.

Перевалившись через борт покачивающегося каюка, я с головой ушел под воду и забился, выдергиваясь из нее, судорожно отплевываясь.

Если бы и окончательно тонул, — сидящие на берегу каракиргизы все так же не сдвинулись бы с места.

Кой-как я выкарабкался, отдышался и побрел мимо них.

Хотя бы кто отодвинулся... Некоторые лишь покачали головой, то ли по-прежнему осуждая меня за кражу, то ли за то, что возвратился. Или — что возвратился, но один, без других людей, где-то оставшихся. То есть не где-то, а все там же, там же... на Барса-Кельмесе.

А еще некоторые, наоборот, покивали орехово блестевшими головами. Но не мне, а между собою. Мол, они уже знали, что такое случится: что кто-то оттуда возвратится, а кому-то Всевышним предписано с возвращением погодить.

Я брел мимо них, оставаясь невидимым для взглядов, следящих за мной. Ожидали ведь тех, кто на острове, а не меня — случайного человека, стороной попавшего в здешнюю, им издавна известную, пугающую историю. Своим случаем лишь подтвердив, что эта вечно проживаемая история бывает снисходительна даже и к чужакам, в нее не верящим, которые лишь мешают ей быть. Особенно непониманием. И что это — лично им предназначенная история, их Барса-Кельмес, с которым они всегда договорятся, для чужаков едва ли не смертельна: «пойдешь-не-вернешься».

VII

«О двоих повесть. А может быть, и не о двоих, о многих, о всех. ...что прошли в полынные эти годы неезженными степными тропами, взяли от степи дары ее: ясную силу ума, меткость взора, полынный загар и медвяную горечь любви. О нас, обо всех, что возлюбили ширококрылый размах ковыльных полей, ярый лет конского бега, скрип колесный в черные полночи, звон оружия, громы степных очищающих гроз».

Ночью приснилась фраза: «...она пошла на него бабой». Фраза некрасивая и внешне непонятная. Но в какой-то своей глубине все-таки несла скрытые смыслы недавних разговоров.

Она приснилась в начале короткой ташкентской ночи, когда появлялась возможность по-настоящему дышать, не отрываясь от сна на неизбежное отирание обязательного пота. Когда уже можно было не ворочаться, скрипя железною койкой в поисках лучшего положения для влажного бока на влажной простыне. Наконец попытаться сделать сквозняк, распахнув окна и подсунув под окрашенные рамы книги, чтобы рамы не захлопнулись и осколки разбитых стекол не рассыпались по полу.

Наступило время самого спокойного засыпания, когда ленивый сквозняк отшелушивал старую краску и сухо складывал на подоконник ее чешую. И засыпание это почти произошло... Но приснившаяся вдруг фраза, требующая расшифровки, понимания и закрепленного на бумаге объяснения, взяла за горло, торопясь сдернуть с подушек.

Борис Сергеев, даже мучаясь зверским желанием отдохнуть, почти всегда перебарывал себя, ловя эту ли, другую ли — впромельк, вполусон — необъяснимо нагрянувшую фразу. И босиком, в длинных белых трусах (еще с английского склада), чертыхался, но все-таки шествовал к письменному столу, чтобы в полудреме записать и ее, и все другие подобные фразы. А то и отдельные слова или — совсем одинокое слово, зато неожиданно яркое... Но — записать!

Босые ноги почесывались друг о дружку. Длинные трусы делали Сергеева похожим на нераскрашенного клоуна, по-здешнему — масхарабоза. Но именно в такие редкие мгновения он радовался, понимая, что именно эти мгновения и есть — наисчастливейшие в проживаемой им — вот здесь, вот сейчас — жизни. Только они подталкивают и подсаживают на высшую, не всякому доступную духовную верхотуру,

которая, собственно, и есть настоящее писательство. Даже самую корявую, некрасивую и на первый взгляд бессмысленную фразу следовало закрепить на бумаге как можно скорее, чтобы не заспать ее, как чеховские няньки своих младенцев.

Сергеев знал: пусть и тысячу раз повторишь про себя неожиданно пришедшие фразы и слова, накрепко прибивая их к памяти, все равно, если не соизволишь вылезти из постели, придавленный ленью, нежеланием или вымороченным ташкентским сном, чтобы их застолбить, — пиши пропало! Все фразы, все слова утром напрочь исчезнут. Навсегда и бесповоротно.

Непривеченные гости имеют привычку не возвращаться.

Ожидаемая ночная работа приходила неожиданно: ни листов чистой бумаги, ни длинных газетных срывов под рукой не оказывалось. Благо деревянная ручка со стальными перышками-вставками никуда не исчезала. И пресс-папье с перепутанной синью строчек, наизнанку оттиснутых. И тяжелый квадрат стеклянной чернильницы с бронзовой крышечкой-колпачком: приподними за ушко, обмакни перо и — твори собственный мир всем на здоровье! А вместо белой бумаги — лист зеленого ватмана, прикнопленный к столешнице. Пиши не хочу! Его и исписывал, торопясь, писатель Сергеев.

Вот так, укладывая слова и фразы на подручный зеленый ватман, и взгромоздил он ночами почти весь текст своего неторопливого романа «Звезда-полынь».

Утром просыпался с законной радостью от хорошо и впрок сделанной работы. Но уже к обеду накапливал редакторскую злость. К ней же, к несерьезно произведенной работе. Писательство похуже царской водки мертвит подвластного автора изнутри.

Но сегодня пока еще между тихо спящими листьями просвечивало неразогретое утро...

Он мог бы писать и днем. Но день требовал что-то про настоящую жизненную правду. А она — от постоянных раздумий — оказывалась ненастоящей. Зато такой, какой ее сразу бы запривечали и в «Красной звезде», и в «Туркестанской правде». Когда в стычке двух разноокрашенных сторон, в драке белых и красных, лишь только одна сторона волокла на своих плечах необсуждаемое добро прогрессивного социализма, другая же — тоскливое зло вечной эксплуатации, проигрывавшее в классовой борьбе.

Проигрывавшее...

Следовательно, изгоняемое и со страниц книг, и со страниц заоконной жизни.

Уличная жизнь, которую описывали газеты, творила неправду. Обливала как будто живой водой одних, совершенно отметая других, отчего-то лишенных права на существование. Белые — красных. Красные — белых.

И гибли, и гибли, и гибли все эти отторгнутые...

О своих велеречиво скорбели. Чужих истирали из памяти. Героически воевали с бессловесными.

В жизни их расстреливали. Красные — белых. Белые — красных. Чтобы оставались какие-нибудь одни. С одной-единственной убежденной праведностью. Ею и побеждали.

Побеждали, казалось, окончательно: оставляя самих себя, выкидывая из истории жизни других, думающих иначе. Но — не иначе делающих.

Не принимающих друг друга людей было множество. И ожесточенно изливаемая, пузырящаяся кровь могла течь бесконечно. До скончания веков.

То те, то другие радовались попеременно, убеждая себя, что уж теперь-то, после невесть какой по счету победы, останутся они наконец наедине со своим добытым счастьем. Револьвер в кобуру и кожаной петелькой за кнопочку. Лезвие сабли обтерев сырым пучком травы — в исцарапанные ножны...

В разное время побеждающими оказывались то те, то другие. Одинаково верующие в установленную ими вечность нового праведного существования. Праведного для праведных. Это они называли справедливостью, отстоянной в боях.

И в этой самоуверенности жизнь была не права.

Борис Сергеев не мог не писать об исчезнувших и исчезающих. Побеждающих и побежденных. Это опустошало его книгу, его «Звезду-полынь».

И потому ночами Борис Сергеев шел поперек газетной велеречивости. Хоть и сближал взаимоисключающих людей, как это делали другие писатели, но затем — оставлял двух врагов как бы наедине. Разрешая им самим разбираться, что называется, вживую. Получалось, смерть приходила разом за всеми. В такой гражданской мясорубке не выжить никому.

Жизнь всегда сталкивала взаимоисключающих людей. Неужто для того, чтобы посмотреть насмешливо откуда-то сверху: что с ними произойдет? Редко-редко, но — все обходилось. Хотя чаще — наоборот. Один оттеснял другого; если не получалось, уничтожал...

Совсем не вопреки жизни, но точно и строго следуя за ней, писатель Сергеев в ночной духоте пытался писать иначе. Он по-прежнему сводил вместе взаимоисключающих людей, но хотел, чтобы в его книгах они поняли друг друга и выжили, не губя себя. Выстраивал сюжет и закручивал фабулу так, чтобы, погеройствовав, люди оставались бы если и не примиренными, то, по крайней мере, живыми. Или наоборот: пусть мертвыми — все-таки жизнь смертельное удовольствие! — но примиренными.

Сергеев постоянно оглядывался и ждал, что так и случится с помощью произнесенных вслух собственных слов или написанных строк. Иногда — чужих слов и строк. Не подпустил же он Бек-Богдановича к стихам Анны Власовой. Взорвались бы, столкнувшись, от одной искры оба. Искры ненависти друг к другу...

VIII

«И в ночи, в гулком хлопе бившегося на крыше железа, в капельном звоне дождя в стекла, в холодном сумраке советской комнаты, жглись углями встречавшиеся губы, пламенели касания рук, спутывались на прорванной подушке волосы, и комната казалась многоколонной, чудесной, светящейся и поющей».

Редакционное неудовольствие порождалось в редакциях.

Ни до одной из редакций сегодня утром Борис еще не дошагал. Но шел на службу радостно. Даже слегка опьяненно. И оттого, что великолепно и густо исчертил нынешней ночью все тот же зеленый ватман. И оттого, возможно, что просто не выспался.

Внутри бывшего Константиновского сквера веселых воробьев было так много, что, казалось, это не они, а листья карагачей и чинар, все до единого, исходили неистовым утренним чириканьем. И любовное урчание серо-сиреневых горляшек: ту-урр, ту-урр — добавлялось к чириканью воробьиной листвы. Подергивая головками, они гордо бродили по мелким лужицам, оставшимся после недавних поливов. И только чуть отбегали в сторону, когда на них падала тень вышагивающего Сергеева.

Лужицы ручейками тянулись в арыки. И птицы торопились потолкаться в мелкой воде, пока она не испарилась и не истекла.

Сергеев нежно любил арыки. Даже вопреки российскому представлению, что и пить из них можно, и через хрустальное журчание — насквозь — веселые камушки на дне видны, и если умыть лицо из арыка, как на Руси умываются розовощекие отроковицы сухим снегом, то и здоровьем обогатишься, и еще более зарумянишься.

Местные европейские люди, наскоком бывавшие в Москве или Петрограде, не испытав, наверное, всего того, про что рассказывали, до хрипоты поддерживали азиатскую эту веру. Сергеев давно заметил, что как только русские покидали Среднюю Азию и растворялись где-то в России, они сразу же становились надоедливыми знатоками азиатского края, его истории, обычаев, нравов, одежд и кухни. Всей той внешней азиатчины, которой они когда-то чуждались, не живя ею внутренне.

Сохранив лишь ощущение, но не понимание Азии, они тотчас присваивали себе право (право сбежавшего любовника) судить да рядить, выставляя себя глубинными ее знатоками. На поверку: поверхностного — лишь! — слоя.

«...А тут, — подумал Сергеев, — влезаешь, погружаешься, проваливаешься в тысячелетнюю или даже столетнюю глубину ее истории, культуры и — нет, никак не можешь нащупать твердого дна. Не дай Бог, если судьба вернет в Россию, стать таким же и к ним присоединиться».

Впрочем, и они извиняемы: чего нельзя полюбить изнутри, любят снаружи.

Как в горах, когда поднимаешься и поднимаешься к небесной красоте...

Такая там вроде бы необыкновенная, такая к себе призывающая цель, что сначала бежишь, потом идешь, а потом и ползешь к ней, себя вовсе не замечая. Руки в крови. Может, даже кусочки твоей кожи на каменных выступах скал, содранные, умирают. Но — не замечаешь. Все поднимаешься и поднимаешься, несмотря ни на что — так она тянет к себе, эта любовь-красота. Приманивает с джайляу[1] перламутровыми переливами, муаром живых облаков. Несомненно, облаков вполне достижимых, как о том рассказывают все, кто там побывал. Доползешь, потрогаешь их руками и вплывешь, как в райское молоко матери: и осядет оно на твоих губах, и станешь жить вечно.

Как отчетлива, как замечаема и достижима оказывается любовь, если она смотрит на тебя издалека.

Только пастухи-чопонлары замечают, что на некоторой любовной высоте появляется тонкий, попискивающий звук в ушах, предшественник убивающего головокружения. Поэтому дальше не идут, понимая: выше не найдут ни густого корма скоту, ни кустов в расщелинах, чтобы козам поглодать... Выше нет даже мокрого мха, переставшего быть мягко-зеленым и перешедшего в пену бело-голубого лишайника — под цвет слизью покрытых мокрых скал.

И облака там уже не те, пасущиеся внизу, под твоими перетруженными и истертыми ногами. Но — вытеснивший живительный воздух — раскаленно холодный густой туман, перехватывающий до удушья горло.

Любовь издалека куда безопасней ближней любви. Любви-соприкосновения. Не важно — к кому или к чему. К смуглой ли женщине, к идее, обещающей рай, ко всей Средней Азии или к коркам ржавых страниц засаленной древней книги под деревянной обложкой на защелке из медной петли.

Чтобы выжить — надо не существовать.

---

[1] Джайляу — летние пастбища в горах Средней Азии (*тюрк.*).

Писатель Сергеев когда-нибудь напишет об этом обо всем. Ведь, действительно, всюду учат: возлюбите друг друга. Но не учат: отторгайте любовь, поскольку она убивает. Разреженным ли воздухом на пике скалы. Набивающимся ли в задыхающийся распахнутый рот мокрым туманом. Вертящимися ли струями обхватывающих облаков. Разгоряченным одеялом, из-под которого не выбраться. Или камнепадом из мелких камней, свергнутых вниз твоим же неосторожным движением.

Отторгайте любовь, чтобы спасти себя. От себя — к другому: дарите бессчетно. Под чужую же не попадайтесь, спасая себя. По крайней мере сегодня, среди всколыхнутой Гражданской войной жизни. Издалека красиво смотрится даже самая грязная из грязнейших войн за справедливость. Красиво всякое чужое, внутри которого ты побывал, его не увидев. А теперь вот демонстративно любишь, будто тоскуя. Далеко сбежав, чтобы спастись от близкого.

Да, арыки писатель Сергеев искренне любил. Не то что ненавидимый желтый Салар.

Этот проросший из древней реки еще не старый канал, забыто обживающий ташкентскую землю, успел стать болотной свалкой, куда сволакивали всякое мелкое городское непотребство. Газетно-желтые листы размокшей бумаги. Раскуроченные колеса истаскавшихся арб — как редкие острова на ленивой воде. Шерстяные ошметки шкур от давным-давно, еще на позапрошлый байрам, закланных баранов.

Сколько раз прокапывали и расширяли Салар, гнули и выгибали? Бог весть. В последний раз, кажется, еще до революции, еще в 1913 году. Не оставили и нынче, продолжая копошиться, оживляя понемногу. Однако новые лозунги легко погребли энтузиазм прежней ташкентской ирригационной жизни. И канал зацвел первым при социализме зеленым болотом, заставился первыми при Советах тонкострунными камышами.

Арыки же любили за самое малое, — они всегда были живыми, извечно перевивающими водные косички. Сплетающими такое множество косичек, какое бывает лишь у смуглолицых старогородских девчонок, терпеливо сводящих в десятки вертящихся змеек неподатливые черные волосы.

В розово-бархатных, по щиколотку, иштончиках и в таких же по цвету камзурах, девчонки с любопытством выглядывали из-за арчовых дворовых дверей.

IX

«Ревут, катаются по морю моряны с ноября по февраль. А в остальное время изредка только налетают штормики, а летом стоит Арал недвижным — драгоценное зеркало. Скучное море Арал».

— Сначала я посидел у входа в тот прежний двор, где хозяина еще не было. Без него как-то остерегся войти. Но к ночи, когда уже не мог не спать, хотя и мнились обвивающие горло колючки, приполз покаянно сначала под незакрытые двери, а потом — вроде как этим безмысленным поползновением немного прощенный и про себя повинившийся — определил себе место в плетеной клетушке под коряво распластанными вялящимися рыбами. Запах рыбьего жира от сухих золотых шкур возвращал меня в мою прежнюю жизнь. Так и заснул.

Но ни к утру, ни к другому вечеру хозяин не возвратился.

Теперь уже и сам я сидел вместе со всеми, покачиваясь в молитве, утомляя глаза пустым пространством серебрящегося Арала.

Нет.

Ни-ко-го...

Если бы все сидящие люди знали, что эти их, к ним не являющиеся мужчины, утонули, были убиты или умерли собственной смертью, Аллах ведает отчего, они стонами оплакивания успокоили бы себя. Но они все смотрели, смотрели, смотрели... В очередной раз привыкая к неожидаемому.

И я вместе с ними.

Море шипело на нас, нападая тяжелыми брызгами. И почти сразу откатывалось, поскользнувшись на глине длинного берега. Оно вымачивало нас в холодной воде, отгоняя бестолковыми волнами, чтобы, наконец, смыть окончательно затянувшееся ожидание. Надоели мы ему крепко. Ведь дни пустого ожидания насчитывались уже десятками. Их становилось все больше. Смысла ожидать — все меньше.

Однажды море сделалось тихим. Заморосил дождь. Смысл сузился до бессмысленности. И когда одинокая маленькая киргизка со вздутым беременным животом, как осетр, набитый икрой, никого не видя, падая и скользя, встала, чтобы войти в воду, так ей захотелось пойти навстречу исчезнувшим то ли на острове, то ли в море аульным людям, за ней побежали все. Оттаскивая, негодуя и крича — она помешала им сидеть — ее радостно вытащили из воды и захлопотали вокруг. Новая тема жизни легко погребла старое ожидание.

Зимой шел непонятный снег. Если на него долго глядеть, то и не определишь: то ли с неба — сверху-вниз — нисходит серая мга, то ли соленое море, устав бесполезно стучаться в берег, распалось на миллиарды бело-соленых капель и восходит к небу — снизу-вверх.

Уже никто не сидел в этом взъерошенном холодном тумане. Отдав и свои души, и души не возвратившихся на волю Аллаха, люди на том и успокоились, продолжив жить в тихой покорности, подобающей истинным мусульманам.

Я вошел в дом хозяина и имел теперь, кроме понравившегося ножа, все остальное, что равнодушно обреталось среди саманных стен.

Еще во время тепла, ногами намесив шоколадной глины, я подправил стены, а в плетеной кошаре наготовил про запас круглых кизяков... И теперь принялся жить скучно, как всякий пастух во всяком ауле.

Меня не гнали, но как будто не видели, даже разговаривая со мной или проходя поблизости. Так сейчас ходит мимо меня твой Бек-Богданович, слышишь, Андреевич? Я и не обижаюсь. Даже пытаюсь его уважать. Иначе никак. Так ведут себя люди, занятые своим делом. Оно забивает нутро так густо, что — ни щелочки. И мы, которые остальные, никак в него не вмещаемся. Разве лишь в момент, когда выродит наконец он это свое дело и освободит себя. Тогда — коли успеем во внутрь его взлезть, — тогда вот и разглядит он нас, и оглянется не только вглубь себя, но и наружу.

Все в том ауле обреклись на терпеливое молчание. Хотя нет... Не все. Киргизка, даже и народив, даже забот себе этим прибавив, нет-нет да и выходила на берег, утопая в белой вертящейся мути, непроглядной, как пьянящий зеленеющий чал из молока понесшей верблюдицы. Там вскрикивала подолгу. Безбожно и пронзительно, а не как положено по обычаю, то есть — вовсе не исполняя того наставления, что пришло от Абдуллаха бин Масъуда, — да будет доволен им Аллах! — передавшего нам слова Посланника Аллаха, мир ему и благословение, Который сказал: «Не из нас тот, кто бьёт себя ладонями по щекам и разрывает на себе одежду...»

Произнеся это, Иногамов ткнул указательным пальцем в сторону туманного потолка, но тут же, сплюнув, продолжил:

— Ее уже никто не приходил спасать.

И потому, что всякая женщина только сама себе может приготовить небесный рай, поскольку сказано в хадисе: «Если женщина, громко оплакивающая умершего, не покается до смерти, она будет воскрешена в Судный день в одежде из дёгтя, в рубахе, от которой начинается чесотка». И потому, что в ауле знали — не оставит она кормления, разве только простудит себя, если долго простоит на ледяном мутном ветру, заползающем под камзур на горячую вспухшую грудь.

Зима протащилась сквозь старый аул незаметно и тихо. Настолько тихо, что сладкий дым кизяка не торопился подниматься к низкому небу, чтобы или утечь под ним внутрь пустыни, или качаться на мелких волнах парящего туманами моря.

Киргизы сонно толклись между плоских мазанок, время от времени одиноко выбредая в пески, чтобы выставить на холод желтые похудевшие задницы. Все до одного они пахли рыбой, ежедневно снимаемой для зимней еды с провисших веревок.

Никто никуда более не отлучался. Лишь еще осенью родившая маленькая киргизка незаметно перебралась в дом к младшему брату своего исчезнувшего мужа. И тот поддержал ее в трудном одиночестве, равнодушно приняв и наживая от нее теперь уже собственного ребенка.

Зато весной повизгивавший от внутреннего нетерпения ветер неожиданно взбесился. Он накручивал воронки из кызылкумского песка, перемешанного с грязным снегом. Длинными змеями вытягивал их под мокрые облака и, заставляя каждую змею плясать на извивающемся хвосте, гонял от горизонта до горизонта. Устав волочить вздернутый песок по земле, ветер затягивал его в море и коричневым облаком распускал над водой. Вода переставала дышать. Быть может, она вообще обмирала до собственной гибели. И ее из аула становилось не видно. На воде покачивалась только коричневая корка песка, почти потерявшая способность тонуть.

И хоть я в непрерывном старании обламывал ногти и сбивал кожу на пальцах, пытаясь завесить маленькое полукруглое окно теперь уже моего дома, снежную песчаную мокроту легко засвистывало вовнутрь даже сквозь плотную камышовую плетенку.

X

«Сквозь опаловую мглу продымленного воздуха сочились розовым сиянием электрические нити лампочек».

Ташкент просыпался. Остуженные плитки еще не затоптанного пола в вестибюле редакции газеты «Красная звезда» были мокры от проползшего по ним веника. И весь первый этаж — пустой до поры — расслабленно дышал влажным воздухом.

Крышка с бачка была снята и прислонена к стене рядом со стершимся веником. Все показывало, что Иногамов ушел на колонку за свежей водой.

Писатель Сергеев присел на иногамовскую табуретку, чтобы отдышаться. Он мог и прийти лишь к обеду, — сегодня был день корректора Бек-Богдановича: второй корректуры, сверки и самой последней правки. К семнадцати вечера плоскопечатная машина должна начать нашлепывать завтрашний тираж, и до следующего номера делать было нечего.

Табуретка Иногамова пригнездилась в лучшем месте вестибюля: двери — напротив, окна, светящиеся чистыми стеклами, справа и слева, лестница на второй этаж — за спиной. И бачок для воды под правой рукой. Весь очень важный для вахтера наружный мир — отовсюду перед глазами. Никто зазря не проскочит.

Однако распоряжением главного редактора «Красной звезды» пропускали всех. Всякий красный армеец мог отовсюду войти и обо всем высказаться.

Заходили многие. Обязательно перед тем, как подняться по лестнице, громко высмаркивались, вытирали пот рукавом гимнастерки и от самой лестницы начинали возмущенно кричать о чем-то солдатском, фуражирском и политическом.

Однако ж писали нечасто, попросту — не умея этого, а то и начиная бояться отцов-командиров. Почти по прежнему, по дореволюционному образцу налаживаемая в войсках дисциплина отнимала у неуполномоченных людей возможность обсуждать манифесты, приказы и задумываться об отдельной от войны жизни.

Нужные солдатские письма — на таком газетном безрыбье — сочинял писатель Сергеев. Он же и отвечал на задаваемые самому себе служилые вопросы. То есть — крепил слогом ту же армейскую дисциплину.

Не пользуясь тряпочной перочисткой, двумя пальцами снимал со стального перьевого разреза мягкие накатыши бумаги, одинокие волоски и тонкую фиолетовую корочку прежних чернил, чтобы потом вполне серьезно поразмышлять о «Фуражном обеспечении Красной Армии», о закупке кожи для седел и о международном опыте тачания сапогов.

Среди всего любовно им написанного барахла писатель Сергеев — отдельными прокладками, как промокательной бумагой, снятой с тяжелого пресс-папье, — просовывал на страницы газеты и литературные рассказы. Газета тотчас становилась ненужной для войск: изводить на самокрутки и на нужник «Генерала Соболевского», «Ишака Ширмамеда», «Двухголовую птицу» было себе дороже. А ну как есть в них нечто такое, за что возьмут да и прищелкнут у ближайшей саманной стенки? Или тот же, впавший в обиду, писатель Сергеев поспешит затиснуть тебя, погибшего, в газетные иллюстрации, что равносильно?

Отсюда, с невысокого табурета вахтера Иногамова, виделись еще и нечистые стены вестибюля. Нечистые из-за занавешенности — впритык, а то и с наползанием друг на друга — одноцветно тоскующими плакатами. Не бог весть когда, но недавно они еще ярились на посетителей и самодеятельных авторов революционно-яркими красками. Но скоро выцвели от революционного перенапряжения, удержав на себе лишь привычную, подыгрывавшую укрепляющейся власти, тройственность красок Гражданской войны: белой, черной и красной. С белой и красной все идеально понятно: даже на шершавых коробящихся листах они враждовали между собой, стремясь захватить — каждая! — поболее места. Черная же — жженая сиена — неразрывным, неразлучным штрихом соединяла их. За черной стояла непроглядная темень самоуничтожения.

Первоначально гуляли по отпечатанным наскоро плакатам всякие берлинские лазури, многочисленные коричневые оттенки умбры, то и дело перетягивавшие на свою сторону податливую индийскую желтизну, интуитивно отодвигавшие кадмий пурпурно-государственный с продающимся ему же кадмием оранжевым, приспосабливающимся... То есть еще были на листах естественные цвета садов и приглашавших в спасительный хадж песков пустыни.

Однако и такое короткое время, что перевернуло власть в центральной стране и на пришпиленных к ней окраинах, не подарило плакатам долговечности.

Они мгновенно повыцветали, догоняя обязательные во всякой смуте разрушения и выцветания. Приколоченные мелкими гвоздиками плакаты, на которых, как в жизни, властью не допускались полутона, оставили только два нужных цвета: красный и черный.

Шляпка каждого гвоздика прижимала к стене квадратный ноготь картонки. Под такими картонками бумагу труднее сорвать. Их не сорвали и потому, что Иногамов, терпеливо сидя напротив, весьма оберегал пригвождённую к общей стене публичную красоту от публичного же солдатского вандализма, к которому она же и призывала.

Плакаты неприятно напоминали Сергееву, что и сам он способен творить нечто, похоже-плакатное. И творил непомалу... Грешно, конечно, едва ли не точно такое же. И сам в иллюстративной своей работе делался весьма одноцветным. Состоящим всего лишь из двух цветов. Черного и красного. Вроде той красноармейской девчонки — Анны Власовой.

Ведь и без ожидания времени, чтобы сделанное им выцвело, став понятно кому ни попадя, то есть всем, кто взглядывал на нарисованные им картинки, и он, Сергеев, выслуживался перед политическою погодой.

Поплевав на черную конфектную плиточку сухой китайской туши, колонковой кисточкой вырисовывал на листе раскрученного ватмана то английского империалиста в фуражке и кителе с накладными карманами, — знал, как нарисовать, сам точно такой же носил, — то коршуна-басмача, нависавшего над испуганно выглядывающей из-под паранджи луноликой красавицей, то дехканина с кетменем, вздернутым под самое небо, чтобы не просто в сторону отогнать, но и до смерти поразить вскормленную Англией среднеазиатскую черную птицу.

Многочисленные иллюстративные картинки проходили для читателей почти незаметными. Эдакими человеками-невидимками. А то и вовсе — украшательскими пятнами на скучных газетных разворотах. Как подковки на сапогах. Как веревочные шнурки на тяжелых солдатских ботинках с обмотками. Они подкрепляли и поддерживали. Они подыгрывали читательскому вниманию, расталкивая сергеевскими заставками и рисунками навязываемую газетой тесноту строчек и слов.

Куда как страшнее вспоминались его прежние художественные труды. Содеянные — именно так, не иначе! — им, Сергеевым, в момент его двойного участия в художественной жизни Ташкента. Непоседливый ученик и, одновременно, требующий усидчивости учитель Туркестанской краевой художественной школы, с восторгом неофита, вдруг обретшего цель — советскую власть, — Сергеев ползал по полу мастерской, по складкам расстеленного холста и выписывал маслом главный для города заказ Политуправления Туркестанского фронта. Как правоверный мусульманин, исполнявший не просто ежедневную молитву, но творивший особый, не указанный ни в каких исламских назиданиях, установленный самим для себя сакральный раакат[1], не за страх, а за совесть создавал он самый большой агитационный плакат Ташкента для ноябрьских предтрибунных хождений 1920 года. Как ему казалось, на общее благо никакой иной, только одной-единственной, социально справедливой советской власти.

Что ни говори, а ведь выходило, что и он стоял у истоков пошлой местечковой азиатчины с ее луноликостью на обложках книг и журналов. С ее цветами, исходящими розовой невинностью лепестков. Со множеством птиц — парящих, сидящих, клюющих и едва ли не восседающих друг на друге под суматошное хлопанье не поэтически пыльных крыл.

---

[1] Раакат — количество повторений молитвы (намаза).

Впереди всех был его нарисованный пограничник. Еле вытащили из мастерской. Шестиметровой высоты пограничник топорщился над трибуной, передергиваясь мелкими волнами холста, и был, казалось, готов вывернуть свою винтовку встречь ползущим под многометровыми сапогами людским праздничным колоннам с криками «Ур-ра!», с криками успокаивающего узнавания, изображенного Сергеевым.

Именно узнавание — вместо удовлетворения авторского тщеславия — приносило Сергееву тошноту понимания: даже честность в принятии темы и желание художественно реализовать ее неминуемо выдает унылую халтуру.

Неважно, что его пограничник был прекрасен и убедителен. И выщербленные лавинами горные хребты на заднем плане холста будто взрезали молчаливое небо. И в долинах не потревоженные басмаческим наскоком мели спокойные бело-розовые метели из сорванных ветром лепестков.

Неважно...

Застава была честно исполнена усталым ползанием по расстеленному холсту. Но сделанное — оказывалось неважным.

Да, с этой стороны границы, так тщательно выписанной Сергеевым, все честно, красиво и правильно. Но честность эта честна лишь за спиной человека с винтовкой. Там, куда он всматривался с обреченной убежденностью, по ту сторону охраняемой государственной территории, не прячась, жила сама по себе другая правда. И не другая, и не вторая. Но вполне самозначимая, хотя и половинная, приобретающая полную самоценность только при воссоединении с первой.

А половинная правда, в чем время от времени убеждался Сергеев, просто-напросто — вранье, заговоренное идейными словами. Чем больше требуется вранья, тем больше слов необходимо насобирать. И тем изощреннее должна быть убеждающая красота собранных слов. Последнее, впрочем, никогда не осуществляется. Живая красота — подобное четко воображалось Сергеевым — упрямо растопыривала свои невидимые руки и ноги, изо всех сил сопротивляясь и никак не желая влезать в узкое горло социально реалистического небытия.

Но полуправда должна выглядеть убедительно. Оттого ее требовалось буквально за уши втягивать в пейзажи и интерьеры, прятать в убедительной узнаваемости.

Вот винтовка. Она точь-в-точь, как настоящая мосинка. Даже и со щербинками на деревянном прикладе. Вот арба. Ее колеса — как те, что стерли в пыль глиняные дороги возле Большого базара в Иски-Джува. Вот букеты зеленого лука, толстые пальцы желтой моркови, темно-красные горки коряво-сухого граната и жилистые холмы сладких дынь, известных как хорезмийский зеленый гурбек.

Или вот теперь рядом с ними — толстый бай с животом, выпирающим из халата. И дехканин-бедняк, конечно, поблизости. С тощим, впавшим животом. Понимай, — объеденный баем. Однако дехканин уже с революционным кетменем, вздернутым над головою... Куда опустить? Да только на землю, отнимаемую у толстого бая.

Где правда неполная, трудновато, но — все-таки вполне можно упрятать всякое политическое и человеческое вранье.

Узнавание — самое главное требование, предъявляемое низкой властью к собственноручно укрепляемому искусству. Впрочем, и не к искусству даже, а к какому-то новому изобразительному фокусу, технически перенятому у плоской типо-литографии.

Узнавание примитивно, но оно поднимает узнающего в собственных глазах: вот и мы не лаптями щи похлебываем. Не напрягаясь, входим в суждения об искусстве. Вроде как прежние баре...

Изнывающий от заданной ему лучезарной плоскости, пограничник, вдыхал и выдыхал самого себя, не в силах оторваться от вознесенного надо всеми холста.

Изнывающий от постоянных воспоминаний об искренности, с которой он совершил в 1920 году эту работу, писатель Сергеев не любил ходить мимо нее. Он отворачивался от нового советского иконостаса, сдергивал с носа тоненькие очки и — на ходу — начинал торопливо протирать их особой тряпочкой. Будто бы и он сейчас Бек-Богданович...

Крепко сколоченная трибуна, проплывающая сбоку, теряла твердые очертания, пыльно мутилась, увеличивалась в размерах, но все равно — и в пустом своем пребывании была никому не нужной.

Понятно, что и Сергееву.

Но зато, увеличиваясь, она перекрывала другие деревянные доски — его холщовой погранзаставы, пряча нарисованное далеко за собой.

Сама же трибуна все-таки не исчезала. Жила и старилась, отныне постоянно напоминая всем, и ему — Сергееву, что она теперь и здесь, и везде навсегда. И что раскрашенный Сергеевым холст, хлопающий над нею, — порука и гарант ее будто бы незаменимости.

Красноармейка Анна Власова тоже, конечно, вышагивала перед трибуной. И похоже, не единожды, если запомнила первый день явления пограничника народу. Когда его автор, Сергеев, взлезал на крышу и крепил, приколачивал, привязывал шаткую «политику», утверждаемую им на холсте, а не во Христе. Холстом, а не Христом на века теперь отстраняемым.

То, что Сергеев ей запомнился в таком пролетарском виде, было хорошо, даже приятно. Не отторгаемым оказался. Будто тоже был явлен и отличим ото всех... И сказала ведь ему, и припомнила радостно, как свой своего. И, слава богу, не расчихвостила за картину. Да и не смогла бы, даже схалтурь он намного больше. А все потому, что главное для этой умеющей убивать девчонки произошло: внутри нее возникла никем и ничем не замутненная успокоенность, дарованная все той же узнаваемостью... В чем испокон века крылся позор для художника, дышащего в искусстве собственными легкими, а не чужими, не заемными.

А вот ташкентский дервиш по имени Волков, хоть босиком, но пробует уйти на другую тропинку, где — по обочинам — вполне может пригнездиться и познавание.

Бродит по улицам, гремит браслетами на лодыжках. И скопом весь шум азиатский вместе с пылью, набившейся между пальцев ног, в свою мастерскую затаскивает.

Узбеки смотрят на него уважительно: русский дервиш! Как знать, если подойти к нему, не страшась, — не предскажет ли он судьбу получше, чем ту, которую предсказал такой же дервиш в залоснившемся кулохе[1], с кашкулем[2] и тяжелой палкой от шелудивых собак. Для всякой кожаной куртки вполне антисоциальный элемент.

Для Бориса иначе. Волков для него не удивителен. Пусть не за белых и не за красных. Пусть сам за себя. Но этим и приятен Борису Сергееву.

А браслеты? Да шут с ними! Борису и не такие люди привычны.

Подобные Волкову, пренебрежительные Бурлюки — Давид и Николай с возвышающимся над ними Володей Маяковским — еще в десятых годах ходили мимо

---

[1] Кулох — головной убор дервиша, колпак, обтянутый сукном и украшенный шерстяной бахромой.

[2] Кашкуль — емкость из тыквы для еды и воды.

Сергеева и в Москве, и в Питере, подчеркнуто кланяясь, как младшему из многочисленных окололитературных знакомцев. При этом Володя Маяковский не уставал приподнимать над длинноволосой головой черную разбойничью шляпу с необъятными полями колесной ширины. Давид в упор наводил на Сергеева буржуазный лорнет, медленно проводя мутными стеклышками по Борисову телу сверху вниз и — наоборот — снизу вверх, а Коленька Бурлюк тотчас бросался обнимать давнего одноклассника Борю.

В сущности — даже не разговаривали. Расходились нетронуто. Исчезали, как растворялись.

В памяти оставались — и до сих пор остаются — лишь знаки их мимолетного пребывания рядом с Сергеевым: лорнет с захватанными стеклышками, мокрое ощущение от Колиного поцелуя, карбонарское колесо шляпы. Да еще — особый плащ Маяковского. Черный. С золотыми застежками в виде львиных голов.

Володя уверял, что застежки по-настоящему золотые, а не прячут железо под купеческой азиатской позолотой. И ходил по Питеру, демонстрируя обыденность золота вместе со своим эго-футуристическим пренебрежением к нему.

Темные типы из подворотен высмаркивались вслед и не грабили, не веря, что так откровенно и открыто можно носить на себе куски золота. Отточенные ножи не вытаскивались из тайных подпиджачных мест, ожидая иных, привычно попадавших под ночной грабеж жертв.

Маяковский и его Бурлюки на людское неверие наверняка и рассчитывали. Чудеса и нечто настоящее — где-то там, за горизонтом. Здесь свое, привычное: промокшие ноги, холодная капля, висящая под носом, и дырки в карманах, в нагретую глубину которых нечему провалиться.

Золото Маяковского и Бурлюков блестело, смущая. Но ничему опасному не подвергалось. Тем более что действительно было ненастоящим.

Ненастоящими, продолжал думать Сергеев, оказывались и декларируемые ими бурлюкающие слова, и стихотворные, из них искусственно сопряженные, связки.

Очень похожий на этих давным-давно оставленных за спиной кубо- и эго-футуристических друзей, сейчас уже ничем для него не странный художник Волков, перейдя Махрамский проспект, исчез за солнечно-золотой рамой ташкентского окна.

«Ходи, ходи... — весело думал Сергеев. — Уступаю тебе твое художническое место...»

Такому уступить было можно. Волков существовал не для низкого узнавания. Он — для познавания.

Между этими двумя понятиями, которые выбирает художник, великая разница. Из тех разниц, что банально случаются от простой перестановки слов: девица — «кровь с молоком» перестает ею быть, исчезая в низменном — «молоко с кровью».

И Волков не для всякого. Правда Волкова одиночная. Его зрителями — неужто возрожденными? — вновь скоро явятся познавшие нечто баре... И многие станут им вновь возмущены.

На полупонятных картинах бурые верблюды топили лохматые ноги в черном песке, проходя через голубую пустыню. Железно-колесные трактора, казалось, переползавшие через рамы картин, поднимая землю, выворачивали наружу бело-желтые корневища диких трав. Отработавшие весеннюю норму дехкане, счастливо блестя зубами, сливались в общий хор чаевничавших, в единство разноцветных халатов с одинаковыми полосами. Черно-красные тона переполненных чайханэ

беспокоили зрителей подрагивающими отсветами, нет, не огня, но — истлевающих жаром сиренево-черных головешек пробужденного Востока. Острые осколки от прежнего, вдребезги разлетевшегося мира уничтожали всяческое умиротворение.

Познавание царапало бесчеловечной бытностью нового безбытийного жития.

Писатель Сергеев будет с такими же, с честными. Но непременно станет писать иначе: в прежние формы — хотели? так выкусите! — попробует, изловчась, вставить новое содержание.

В конце концов, — зло скрипнув иногамовским табуретом, продолжал думать Сергеев, — черт с ними, со зрителями, довольными и довольствующимися. С этими он со временем разберется. Но — узнаваемостью переполненные художники? Им-то самим как не противна их птичья-цветочная, передвижнически-назидательная похожесть? Их типо-литографии?

Плоское содержание идеологически работающего мозга рождает плоские формы отображения. Даже вздуй эту форму наружным объемом и всеми выпуклостями, какие есть в природе, — все-таки образуется двухцветная типо-литография. Литография плоской мысли.

Вот и его художничество оказалось среди советских штук, а потому — заживет не запоминаемо. Вот и его плакатная узнаваемость не остановит, чтобы задеть взыскующий взгляд, впромельк пронесясь перед самыми внимательными глазами.

И совершенно зря Иногамов охраняет плакаты на стенах. Они столь же не замечаемы, как и остальные плакаты в мире. Понятно, что этакое плакатное бездействие, не способное ни возвысить, ни уничижить зрителя, рано или поздно, но будет осознано их сочинителями, наивными подателями тем. Для них же, даже если и осознавать это, вовсе не значит отвергать. Поскольку отвергнуть плакаты, лозунги и публичные слова — значит отвергнуть самих себя. Согласных не обнаружится. И тотчас родится логически последующая мысль: чтобы заметили малое, нужно сделать его большим. Только и всего.

Сергеев даже привстал с табурета, даже и хохотнул вслух от вдруг пришедшего соображения. Вот к его холсту подшивают еще один холст. Вот по бокам добавляют второй, третий, четвертый...

Вот полгорода сгоняют в одно общее место, чтобы расстелить счетверенный, спятеренный, сшестеренный холст по земле. И люди ползут, ползут... И расстилают, и расстилают, отталкиваясь коленками от плоских неровностей пустоты.

Бек-Богданович с его экономящими материю нарукавниками явно был не от мира сего.

И каждый скульптор тоже, чтоб не выпасть наружу из окна государственной комнаты, заторопится отливать в бронзе собственного пограничника. А поскольку художники-скульпторы люди все-таки разнообразные, — тут уж ничего не поделаешь! — вскоре начнут выкаблучиваться, норовя пограничника по собственному отобразить.

Обязательно, строго говоря, разнобой и произойдет.

Тогда опять схватят за горло оставшуюся городскую половину, чтобы конфисковать еще имеющуюся индивидуальную бронзу. Понятно, что и бронзу у негосударственно художничавших людей, мелкотемьем отвлекающих от канонического образца. А попутно и серебро, и даже золото у сочувствующих.

У кого это там не хватало бронзы для великой статуи конного кондотьера? У Донателло? У Да Винчи? У Микеланджело?

И заскрипят резные дверцы старинных шкапов, потемневших тяжелых буфетов,

шатко позванивающих стеклянных горок. И повытаскивают обсиженные тараканами деревянные ящики кухонных столов. И отменится предрассудок — золотые обручальные кольца.

После чего — свезут в нужное место серое позвенькивающее столовое серебро. А к золотящейся бронзе отлитых неканонически скульптур добавят изъятые за ненужностью подсвечники: коммунизм — сплошь электричество! И из всего этого разнопородного металла отольют — уж теперь-то, наконец! — государственного пограничника по-государственному. С портретом правильно-праведным. С оттиском единственно предлагаемого лица. Уже на века. Чтобы стоял на фоне крепко склеенного холста — как страшный остров Барса-Кельмес на фоне золото-синего летнего Арала.

А что он, Сергеев? Видя всю глупость совершаемого, он, конечно, поспешно сбежит. Сбежит, несомненно сбежит от насильно предлагаемой новой государственной работы. Да так, чтоб не остановили, чтоб не схватили за шкирку, не ткнули носом в пустую холстину придуманной картины жизни... И — не заставили б изображать невычислимой длины пограничную линию (сиена жженая) поперек долинной травы (кадмий сине-зеленый, окись хрома). А также розово-красное цветение с одной стороны (кадмий пурпурный, тиоиндига розовая) и выгоревшую степь (стронциановая желтая) — с другой.

Сбежит, наконец, даже из Ташкента, укутанного большими и малыми, но все так же — двухцветными — красно-белыми холстами с обещаниями и лозунгами, из которых за тысячелетия, со времен Генисаретского озера, не сбылось ни одного слова.

Сбежит из города, где всякий пештак[1], сквозь пыль веков истекающий светом голубых изразцов, постоянно завешивается словно спускаемыми с небес холщовыми плакатами какого-нибудь художника. Однако — будто копия его, Сергеева — столь же похожими размалеванными плоскостями, какие делал и он.

Сбежит отсюда, где переплетающиеся в любви руки-ветви зеленых карагачей и чинар обрубают, чтобы своей живой любовью не застили протянутые между улицами сатиново-красные, с арабскою вязью лозунги.

Сбежит отсюда, где солнце мгновенно выжигает клейкую кровь белой краски и на головы бодро идущих совслужащих осыпается ее сухой мел. А вслед за ним — и разноначертанные буквы налепленных цитат.

Долго и неторопливо соскальзывают они и по другим клеенчатым водопадам, смывая на фасадах домов истинные узоры плотно уложенного темно-коричневого колониального кирпича.

До тошноты грустно смотреть ему, художнику Сергееву, как яркий Ташкент подобострастно перекрашивается в продиктованные газетами цвета, окунаясь во всеобщую бесцветность.

Сломя голову сбежит однажды художник Сергеев от такого искусства. Хоть в Петроград, хоть в Москву.

Конечно, там лозунгов больше. Да ведь и города неподатливее. Всегда какая-нибудь ростральная колонна, Беклемишевская башня или, на худой конец, Александрийский столп упрямо проткнут, продырявят призывные тряпки, закутывающие жизнь, улицы и дома удушающим саваном.

Сейчас эти древние башни и колонны еще только тужатся, кривятся и потрескивают полированным мрамором. Зло поплевывают на головы прохожих красной крошкой сухого кирпича. Напрягаются в бессильной пока одышке. Но — уже видно — живут,

[1] Пештак — арочный портал мечетей и медресе.

явно не принимая на себя, на вечные стены, насильно навязываемый немногоцветный временный мир. Их безмолвное напряжение обманывает, как подводный водоворот.

Тиха прозрачная водная гладь. Мягки раскачивания расчесанных, просвечивающих, равнодушных друг к другу водорослей. Тихо в миру, на миру и в поднебесном, по-азиатски придавленном ташкентском граде.

Тихо, все тихо...

Но ржавый звук двери так визглив, что можно быть уверенным — этот визг и заставил дверь распахнуться.

Плакатная агитация шевельнулась на стене. Дехканин взмахнул кетменем. Толстый бай, выдохнув, попытался запахнуть тяжелый халат на животе.

В приоткрытые редакционные двери вдвинулось сначала плечо вахтера Иногамова, затем его спина и, наконец, второе плечо. В напряженно отставленной руке тяжело покачивалось ведро, до краев наполненное водой. Осторожно пропустив себя внутрь вестибюля, Иногамов медленно-медленно, чтобы не пролить, развернулся возле пустого алюминиевого бачка и разом бухнул туда чистую воду, едва ли не четверть ведра выплеснув наружу.

— А-а-а... — произнес он неудивленно, глядя на обрызганного Сергеева. — Не дотерпел, Андреевич? Дослушать пришел? И правильно. Приподними ноги-то! Потом ведь тогда сбылось самое интересное.

Он поставил ведро и веником принялся разгонять лужу по всему полу.

Сергеев, сидя на табурете с поднятыми ногами, неопределенно крутнул головой.

Бежать... Конечно, бежать! Ведь решил уже однажды.

Но — не в Питер и не в Москву. Да, непременно распрямляться колоннам, башням и древним стенам. Вопрос: когда? Все-таки время, хотя и медленно, но неумолимо съедает всякого человека, равнодушно пережевывая его, как пыльный верблюд горькую траву емшан или жесткие колючки, оплетающие паутинный саксаул.

Есть лишь один остров в мире, спасительный для художника, имеющего смелость осознать себя, — этакий вечный Барса-Кельмес. Жаль, что с затасканным именем, как у проститутки с ташкентского Пьян-базара, — остров, именуемый Литература...

Он не двухцветен, как черно-белая графика типо-литографий. И не красно-белый, как плакат. В словах и фантазиях кроются многие разные смыслы. Не уничтожая себя соприкосновениями, они очищают картину мира от накипи и нагара, которую — мимоходом сотворив вселенную, — не успевает очищать и расцвечивать Господь Бог.

Там истинный Мефистофель от господина фон Гёте ничуть не олицетворение чистого зла. Там и Фауст, добродетель и несчастья которого не покрыть однозначным читательским сочувствием. Там до предела измученный лермонтовский Демон, чьи страдания понять легче, чем страдания царицы Тамары. Там незаметно существует погибель предельно скучного толстовского Левина, перекрываемая железным поездом, подмявшим под себя Анну Каренину.

Во всех многозначных смыслах давным-давно населенного острова можно спрятаться от других и от себя. Словами, нет, языком островных аборигенов, можно так объясниться в любви, что тот, кому ты объяснишься, сразу поймет, как ты его ненавидишь. А можно проклясть человека, и он побежит за тобой, уверенный, что наконец нашел свое счастье, и не отстанет от тебя, глядя влюбленно.

— Да ведь как же иначе? — соглашаясь с самим собой, произнес Иногамов. — Что? Разве нет? Не помогать ведь пришел. Слушать.

Уткнув веник в угол и взглянув куда-то мимо Сергеева, он завершил, подтверждая:

— Такая твоя работа.

XI

«Поднимаются на клекот с одиноких постелей головы, глядят в тьму бессонными очами, протягивают заломленные руки, припадают к ложу иссушенными сиротным томлением телами».

— Иные из песчаных змей были осторожны: извиваясь и мягко шурша, аккуратно обходя наплешины последнего снега, слегка поглаживая шершавые стены мазанок, покачивая натыканные из прутьев кривые ограды и с любопытством заглядывая в мелкие оконца, лениво вертели на одном месте сухие клубки степных колючек, полусгнившие лохмотья каких-то тряпиц, старые бумажки и пучки не скормленного за короткую зиму желтого сена.

Иные же, послушничая у ветра, ожесточенно метались по берегу, взметая себя под пепельные облака, где, откусив немалый кусок мокрого тумана, остатки его разбрасывали сгустками холодной мокроты.

Их песчаные хвосты непредсказуемо бросались из стороны в сторону, выхлестывая из глаз колючие слезы. Этих стоило остерегаться.

В некий момент одна из змей, выгнув желтую спину, уткнулась — нет, не змеиной головкой, но целой змеиной мордой — и в мое обглиняное оконце. Вдохом ее — камышиную плетенку сухим пузырем выпихнуло наружу. Выдохом — втолкнуло обратно в комнату.

Почти задохнувшись от пыли и песка, я попытался ее удержать, но плетенку отбросило вверх, под самый потолок.

С Барса-Кельмеса тревожно несло соленым ветром.

Мне и не нужно было протирать глаза, чтобы увидеть: несколько человек, крича что-то сквозь силу его завываний, вытягивали на берег длинный каюк со свернутым в серый рулон мокрым парусом.

Второй удар в распахнутое окно прокатился вдоль шелушащихся стен, вышвырнул из неглубоких ниш алюминиевую посуду, со звонким грохотом прокатил по полу, обсыпал холодным песком и пугающе засвистел во всех щелях дома.

Я вылетел, словно вытянутый, выплюнутый наружу завывающим сквозняком.

Бросив мокрый каюк на глинистом скользком берегу, люди обмерли, уставившись на меня. И вдруг, разглядев, бестолково закричали разом, не слыша и не разбирая самих себя.

Но понять было можно:

— Вот он! Вот...

— Пусти... Я ведь первый увидел...

— Да не толкайся ты, дай размахнуться... Сам его поучу.

— Остановитесь! Не бить... Не бить... Только пальцы отсечь вору!

Я стоял, не понимая, — зачем я им, собственно, нужен? То есть, — давным-давно, еще полгода назад, насовсем позабыв все опасное и про себя, и про них, здесь вдруг из смерти возникших.

Ветер притих, и теперь, как тяжелая собака-алабай, терся у топочущих ног: я привел вас к добыче, я загнал ее насмерть, вот она — перед вами... Вам теперь добивать, поторопитесь догрызть.

И они побежали навстречу мне, толкаясь от нетерпения.

Наверное, если бы я отшагнул, это сплотило бы их и не предотвратило моего растерзания. Но я — стоял.

Этим стоянием, мне показалось, я даже остановил ветер. Он исчез, обрекая змеящиеся смерчи почти на мгновенную смерть.

Первый вдруг посыпавшийся с неба снег был еще тяжел от желтой пыли.

Долетев до земли, снежные хлопья некоторое время вертелись в недоумении над раскисшей глиной, выбирая место отдыха похолоднее, чтобы долее сохраниться. Большая их часть осторожно распластывалась по слякотному берегу. Но самые глупые хлопья липли на летние ичиги и кавуши[1] вернувшихся людей. И, налетев на еще горячие ноги, мгновенно таяли, сливаясь в соскальзывавшие капли.

Загорелая кожа из распахнутых на груди белых летних рубах тоже исходила остывающим потным паром.

Не всякому повезет видеть вернувшихся с того света. И не всякий знает, как при этом пристойно себя вести.

Когда воскрешают мертвых, такое привычно: много наговорено, напробовано. А когда воскрешают живых, — бог весть что надо делать. Такое чудо еще никем не обдумано, до сих пор никто не решался взять на себя ответственность определения — к какому свету должны принадлежать из живых воскрешенные: к тому или к этому?

Если живой однажды умер, оставшись живым, то его, пожалуй, и невозможно до конца воскресить. Руки-ноги туда-сюда ходят, а внутри все одно — смерть бестревожно свернулась калачиком.

Холод пробираясь в штанины, обдувал медленные ноги все идущих, идущих и идущих на меня.

Напирая и пихаясь, они сначала все-таки торопились поодиночке. Но, мне почудилось, узкое пространство между нами загустело, приостановив их полубег-полушаг. А снежный воздух стал даже теснить их назад, сделавшись обжигающе ледяным. Он пугал неожиданной непохожестью на тот воздух, привычно полупрозрачный, остекленевший от расплавленной жары, который они оставили, как им казалось, день-два тому назад.

Первые уже остановились, когда отставшие с разбегу врезались в них. Все замерло. И они замерли тоже, опасливо оглядываясь, вертя разгоряченными головами в разные стороны. Стараясь понять, — что происходит? И — не понимая...

Похоже, пространство сдвигало их вместе. Или они без преждевременного согласия на то плотно сошлись в единый кулак. Вместе остерегаясь неизвестно чего. Спиной к спине. Как в драке, защищая себя и своих сподручников, когда сходятся кишлак на кишлак, аул на аул, отстаивая тоненькую струйку арычной воды, пересыхающую Аллах ведает отчего...

Умершие объединяются. Живые — тоже. Выходит: объединяются все. Неужели это действительно свойственно людям?

Ничуть!

Ведь есть еще виды других людей. Одиночки, сознающие себя одиночками. И еще одни — не сознающие себя никогда и никем, незаметно просирающие собственную жизнь... Иногда кажется, что человеческое большинство состоит именно из таких одиночек. У которых «ничего нет, не было и не будет».

Кто скажет, какие из них лучше?

В напрягшейся тишине слышалось шуршание отбившихся от стаи редких снежинок.

Но еще и другое. Постепенно — звучнее и звучнее — стал набирать силу узкий и истонченный, из одной воющей ноты состоящий, звук человеческих голосов.

---

[1] Ичиги и кавуши — легкие сапоги и калоши.

Он тосковал над аулом, заглушая недружное чавканье выдираемых из снежно-желтой глинистой грязи торопливых ног. В кавушах и без. В ичигах и верблюжьих только носках. А то и вовсе — все наскоро-наскоро! — босых... Аульцы опасливо выбирались на берег поглядеть на замерзших людей, приплывших с Барса-Кельмеса едва ли не голыми. Сейчас обмирающих перед ними в недоуменном страхе.

Они разглядывали их в ответном страхе и начинали по-шакальи плакать и выть, узнавая и не узнавая своих прежних. Люди ли там сгрудились со знакомой, ими обжитой плотью, с живой под кожей кровью? Или все-таки духи мертвых, зачем-то извергнутые из небытия? Дотронься и — сам пропадешь!

Одно спасение... Храни нас, Аллах! Объясни, открой нам для правды глаза, прежде опухшие от слез, но сейчас уже высохшие, уже покрытые невозмутимыми тонкими веками, под которыми они заново отражают существующую, не умерщвленную жизнь.

Так, осознав себя в Нем, а Его в себе, все сошедшиеся аульцы вразнобой, но с одинаковой беспомощностью надеясь на Него, — вдруг даст понять: что же такое происходит? — пали на колени, мокрыми лицами в сторону Мекки, спинами — к мертвому Аралу с его Барса-Кельмесом, поедающим время у проглоченных им людей и выплевывающим их, полакомившись скучными жизнями.

Я тут все считал, пересчитывал, — это я к слову, Андреевич, — а и не понял... Слышь меня? То, что для них, для возвратившихся, было отмерено одним лишь только днем, а для нас, которые на берегу, целым полугодом, чего ни они, ни мы сразу не заметили. Скажи, возвратившиеся прибавили эти полгода к своей жизни или Барса-Кельмес, наоборот, от их жизни отнял? Сам для себя.

Писатель Сергеев только пожал плечами. В схоластике он не был силен.

— Нечасто, свернув в рулон и засунув под мышку, мы носим нетяжкий для нас намазлык — коврик для моленья. Мы это делаем по определенным часам, благовоспитанно и благонамеренно. Мы раскатываем и расстилаем его в торжественных мечетях чаще всего по пятничным дням. Впрочем, иногда и в путешествиях останавливаем путь, чтобы напевно исполнить два-три рааката охраняющей молитвы, приложенной к делу путешествия. Не соприкасаясь с нечистой духовно землей. Праведные не поступают иначе...

Но случается и так, что несчастья выстегивают на наших неподготовленных к бедам спинах нестерпимые, как нам кажется, шрамы. Узорами боли истекают тогда наши души. И в такие моменты совсем не важно, — есть ли при нас искусно вытканный намазлык, чтоб утопить в нем наши колени, а в словах молитвы-дуа — наше горе, помноженное на боль.

Приспичит, вот как сейчас, и тогда без всякого намазлыка — коленками в плоские лужи, в недотаявший желто-навозный снежок, в грязную натоптанность прежних следов... Покрасневшими голыми пятками, вылезшими из влипших в землю кавуш, наружу.

Да разве бывает так, чтобы одну и ту же молитву и понимали одинаково, и одинаково же не понимали? Или просто: чтобы читали не в разнобой? Мертвые, и те молчат по-разному. А живым вообще никогда не договориться, и, без подрезания головы, не выстроиться.

Одну и ту же, известную всем молитву вдруг запричитали, запели, забубнили не в согласии... Невпопад даже и смыслам, которые выпячивались желаниями, страхами и бестолковым непониманием происходящего. У каждого по-своему.

Вымачивая колени в лужах, заборматывали себя и свой страх непонимания выползшие из кибиток аульцы. Их теплыми еще губами вымучивалось окончание молитвы:

« — О Всевышний, Господь семи небес и того, что покрыто ими;

Господь семи земель и того, что они несут на себе;

Господь шайтанов — Сатаны и помощников его из числа джиннов и людей — и тех, кого они сводят с истинного пути;

...Прошу защиты у тебя от зла этого места, от зла обитателей его и зла того, что в нем...»

Иные ее строки и смыслы — начальные смыслы благодарения — торопливо, чтоб вдруг ничего не изменилось, проговаривали вторые, спасшиеся с Барса-Кельмеса:

« — О Всевышний, Господь семи небес и того, что покрыто ими;

Господь семи земель и того, что они несут на себе;

Господь ветров и того, что ими рассеивается!

Прошу Тебя о благе моего места назначения, о благе обитателей его и благе того, что в нем...»

Женщины, сползшиеся в отдельный молитвенный клубок, стонами вымаливали Аллах ведает что.

Я тогда оказался с молящимися, с первыми. Хотя следовало бы сладиться и со вторыми.

Понятно, что встречающих скопилось на берегу весьма немало. Со мной и с моим — тоже — страхом их сделалось бы еще больше. Но я вдруг попятился от всего увиденного в обратную сторону. Сбежал, чтобы и в мелочи не столкнуться с тем же моим хозяином, который тоже, спиной прижавшись к спинам возвратившихся, заметно дрожал от неожиданно охватившего всех сырого холода.

Сначала я бежал до первого попутного каравана, потом до железки. Далее — до вашего до Ташкента. Даже не доглядел, как ту киргизку на двоих поделили. И нож не стал брать. Оказывается, из-за одной такой штуки может вся вселенная опрокинуться...

Айюбина таибуна ‘абидуна ли Рабина хамидун...[1]

Сергееву вдруг стало неудобно. Было как-то нехорошо: вот он сидит перед Иногамовым на табурете, а тот ходит перед ним, словно бы должен. Ни на минуту не присев. Да еще и ведро воды притащил. Нет, неудобно. И он произнес необязывающе:

— Был бы по-русски грамотен, взял бы тебя на работу в газету.

— Да я не пошел бы.

— Почему так?

— А врать не умею.

XII

«Одна кровь, человечья, и нет в ней различия, когда уходит она из широко растворенных ран».

Обычно, раскрывая дверь рабочего кабинета, писатель Сергеев непременно чертыхался, ведь ему сразу же под ноги сквозняком выдувались две-три страницы залежавшихся рукописей и вдобавок несколько плоских змей из раскрученных и пересушенных газетных гранок.

Нынче сквозняка не произошло.

Слегка удивленный Сергеев глянул на широкий стол, где эти многочисленные гранки целыми днями недовольно шелестели, потому что их бесконечно ворошил, внимательно выискивая ошибки, корректор Бек-Богданович.

[1] «Мы возвращаемся из путешествия просящими прощения, поклоняющимися Ему и восхваляющими Его».

Сегодня они лежали не шевелясь.

Похоже, окно никто еще не открывал.

Не оказалось, как ни странно, и самого Богдановича.

— Вахтер! — перевесившись через перила второго этажа, крикнул писатель Сергеев. — Товарищ Иногамов!..

— Ну? — задрав лицо, спросил Иногамов.

— Поднимись-ка сюда...

Иногамов не очень-то заспешил. Один раз даже и назад воротился, — показалось, что кто-то из ранних сочинителей прошелся по вестибюлю. Но никого не было. Только лишь бумажный дехканин-батрак все так же молча грозил со стены поднятым к небу железным кетменем. Да еще мимо стеклянных старых дверей промелькнул, пританцовывая, странный, откуда-то возвращавшийся художник по имени Волков.

Впрочем, только казалось, что Волков пританцовывал, когда шел через Азию. Просто босым ногам трудно ходить по раскаленной пыли. Обжигает. Что вовсе не странно.

— Ну? — тяжело дыша, спросил Иногамов, встав перед Сергеевым.

Борис молча повел рукой в сторону пустого стула возле стола.

— А-а-а... — ни на минуту не задумавшись, произнес Иногамов. — Все-таки утек... Я правильно знал.

— Знал?

— Ну. Он как утром со мной поздоровался, я сразу понял: что-то с ним сегодня не так. Ни разу ведь до того...

— То есть сегодня он был здесь?

— Как не быть? Работа есть работа. Пришел вовремя — значит всех уважил. Иначе — плохой человек.

— И все-таки ушел.

— Утек... — согласился Иногамов. — Взял вот и поздоровался. До этого — никогда. Я сразу понял: с чего бы вдруг? А то прежде ведь никак не случалось.

— Когда ж он ушел? И гранки не читаны, — Сергеев все-таки чертыхнулся. — Сейчас типография крик подымет.

— Аллах ведает... Я не увидел. Должно быть, он мимо прошел, когда я за водой отлучился.

Иногамов тяжело вздохнул, хотел сплюнуть, но передумал:

— Ишь ведь, утек. Ты, Андреевич, пошарил бы, что ли, в его столе. Может, он знак какой-нибудь некоторый оставил?

Выдвинули ящик стола: нет ли какой записки?

Да нет. Не оставлено. Не оказалось.

В деревянной пустоте ящика, где пахло выброшенными бумагами, рыбьим и казеиновым клеем, аккуратно вытянувшись, лежали усталые нарукавники с мелко радужными пятнами чернил.

— Нет, не мог он ничего не оставить, — машинально распахивая окно, как делалось от духоты всеми и каждое утро, не унимался Иногамов. — Поздоровался ведь... Как попрощался. Вежливый.

Вдохнув еще прохладного пока воздуха, сухие гранки облегченно вздрогнули, вздохнули и зашуршали.

— Ты поглубже, Андреевич, проскользни. Руку вовнутрь ящика-то засунь. Или, думаешь, он все на виду бы оставил? Видно же было, что не из таких. Себя для всех? Нет... Разве вот только для тебя? Поищи, поищи, не сомневайся!

Почти по локоть пришлось утопить руку в деревянной глубине, чтобы действительно нащупать конверт. Подцепив двумя пальцами, словно папиросу, Сергеев медленно вытянул его наружу.

Конверт был чист, как и непроштемпелеванная марка на нем: десятирублевый коричнево-черный атлет с равнодушием каменной скульптуры, затвердевшей в голой античности, стучал молотком по зубилу, вырубая на плоском белом камне новые революционные скрижали: «РСФСР. 1917—1922».

«Что молотом, что кетменем», — ни к чему не относя эту мысль, подумал Сергеев, вытаскивая из светло-желтого конверта два листа мелко исписанной бумаги.

Конверт не имел адресата, но было ясно: содержание касалось именно его — Бориса Сергеева. Читать эти две странички почему-то показалось опасным. Подержав их в руках, он подошел к окну, выглянул наружу.

Жара, наконец вылезшая из-за горизонта, поднялась к небу и струящимся бесцветным куполом из расплавленного стекла накрыла Ташкент. Мостовая пуста. Люди уже попрятались кто куда.

— Ну? — спросил Иногамов, сев на стул Бек-Богдановича, и покрыл широкой ладонью змеиную шелуху гранок, чтобы не разлетелись. — Что он там говорит?

— Стихи, — развернув первый лист, сказал Сергеев.

— Зачем татарину русские стихи? — пожал плечами Иногамов. — Когда будет надо, татарин сам напишет по-русски.

Он помолчал. Потом добавил:

— Чего не знаешь, то не будет мешать. А ведь и ты, может, тоже — лучше не знай.

— Читаю, — сказал Сергеев, отступив от окна.

Иногамов опять захотел пожать плечами, но, передумав, кивнул разрешающе. Как цензор из Политуправления.

В стихах не должно быть тайны, лично с ним, с Сергеевым, соотнесенной, потому он и начал с них. Но все-таки худшее разгляделось.

Солнце золотит погоны осени.
Листья лижут черноту сапог.
Паутина кружевною проседью
Вяжет травы вдоль уставших ног.

Бьёт приклад в ложбинку меж лопаток.
Чёрный ствол опущен дулом вниз.
И сегодня не раскрутим скаток.
Чья тут власть? Поди вот разберись.

Сквозь сгущенье веток золотистых
Дня уже совсем не разглядеть.
Сколько нас — для света ненавистных —
Лягут здесь нестыдно умереть?..

— Все-таки... — «погоны», — чуть не произнеся это слово вслух, подумал Сергеев.

— Это она совлекла. Она его с места турнула, — сказал Иногамов, каким-то чудом услышав его мысль. — Ты разве не видел, какие стихи кричала? Трамваи шарахались. Он и утек за ней следом. Стыдно сидеть показалось.

— А «погоны»?

— Что «погоны»? Не говорю, что к ней. А — за ней. Ясно ж, к которым. К красным уходят, а не бегут. Главное теперь, чтоб не встретились там.

— А то что?

— Да порубают друг друга. И пропадут, — сказал Иногамов. — Хэркемнен кулы узенэ таба кэкре.[1]

И все-таки сплюнул через дырку в зубах.

Писатель Сергеев не согласился.

— Не пропадут до конца. Рано или поздно, но обязательно выйдут наружу. Сам же говорил про чудеса, которые Барса-Кельмес вытворяет.

XIII

Из писем писателя Бориса Лавренёва (Сергеева) ташкентским литературоведам Якову Симкину и Борису Геронимусу:

«...В Ташкенте я прожил с января 20-го по декабрь 23-го года. В это время работал сначала в Политуправлении фронта секретарем, а позже заместителем редактора фронтовой газеты “Красная звезда” и одновременно заведующим литотделом газеты “Туркестанская правда” (с 1924 года переименована в “Правду Востока”).

В 1922 году я начал в Ташкенте писать огромную “эпопею” под названием “Звезда-полынь”, охватывавшую период с 1916 по 1920 год.

Вернувшись в Ленинград и перечитав на досуге этот литературный небоскреб, я понял, что безнадежно запутался в каше событий, нагромоздив в роман что нужно и что не нужно. Роман полетел в корзину, но из него выклеивались отдельные куски, из которых и родились две... повести (“Ветер” и “Сорок первый”).

...В образ Марютки целиком вошла девушка-доброволец одной из частей Туркфронта Аня Власова, часто бывавшая в редакции “Красной звезды” со своими необычайно трогательными, но нелепыми стихами, которые мной и цитированы без изменений в повести.

А Говоруха-Отрок такой же реальный поручик, захваченный одним из наших кавалерийских отрядов в приаральских песках. Я и свел этих персонажей вместе, придумав робинзонаду на острове Барса-Кельмес».

XIV

«Не вернутся возлюбленные, прошедшие горькими степными путями, больше жизни возлюбившие ширококрылый размах ковыльных полей, ярый лёт конского бега, скрип колесный в черные полночи, звон оружия, громы очищающих гроз, легшие в тугой пар пищей тучным стеблям, наземом жизнетворящим нивам. Разными дорогами прошли они по степным просторам, разно сожгли души свои и разметали тела, но одна в телах человечьих кровь-руда, одна ненависть и любовь»[2].

Немногое произошло, но многое разрушилось.

День разошелся. И ташкентское раскаленное пространство разморенно гудело и потрескивало, как огонь в печи, — не от щепок, но уже от полыхавших крепко поленьев.

---

[1] «У каждого руки в свою сторону гнутся» (*мат.*).

[2] Для эпиграфов глав повести взяты тексты из работ писателя Бориса Лавренёва (Сергеева) «Полынь-трава» («Трава Полынь»), «Сорок первый», «Срочный фрахт», «Автобиография», а также — из писем, опубликованных в журнале «Звезда Востока» (Ташкент).

— Ладно, — сказал Сергеев. — Иди скажи типографским, чтобы брали в машину что-то другое. Нам все равно с газетой не успеть. Прочитаю дома.

Положив на стол Бек-Богдановича мягкий брезентовый портфель и отстегнув потрескавшиеся застежки-ремешки, Сергеев принялся опускать в черную матерчатую утробу свернутые трубочками пересохшие гранки. Будто набивал новыми патронами параллельные гнезда давно отстрелявшейся пулеметной ленты.

«Я так и знал. Так и знал, — спускаясь вниз, некими обрывками мыслей думал вахтер Иногамов. — Слава Аллаху, что хоть замедлил меня. Что я не успел в ГПУ, не взял грех на душу».

Следом спустился и сам Сергеев. Кивнул, ничего не сказав. Вытек за дверь в городское пространство. Почти обжег Иногамова прорвавшимся в вестибюль красным пожаром дня.

Все в том же бывшем Константиновском сквере, передохнув и до полной внутренней успокоенности надышавшись мягкой тенью деревьев, Сергеев присел на корточки возле арыка. Проходящий мимо мальчишка вдруг остановился и присел по другую сторону переливающейся воды. На каштаново-ореховой обритой его головенке коричневело отраженное солнце.

Сергеев сначала подумал, что мальчишка остановился посмеяться над широким платком, которым, чтоб отереть потную шею, Сергеев болтал в извивающейся воде арыка, стараясь вымочить платок похолодней.

Может, так и было. Попервоначалу. Но вдруг мальчишка выкатил изумленные глаза и полураскрыл рот, вроде как от странно охватившего его страха. И смотрел уже не в сторону утомленного Сергеева, но за его спину, совсем-совсем мимо: кто-то чужой вышел из-за деревьев. Кто-то, кого мальчишка уже видел, а Сергеев — еще нет.

Оглядываться не захотелось. Даже сделалось немного страшно.

А он, мальчишка, — нет, ничего! — рассмотрел и опять засмеялся, пока этот некто, вышедший из-за деревьев, все подходил и подходил, все ближе и ближе...

«Должно быть кто-то один из них, — подумал, не поверив себе, Сергеев, — возвращается».

Но кто?

Оглядываться по-прежнему не хотелось. Наверное, чтоб не узнать: кого все-таки, приглядевшись, перестал бояться этот стоящий перед ним, весело дожидающийся счастья молодой Чингисхан с каштаново-ореховой обритой головой.

Налепив на горячую шею мокрый платок, писатель Сергеев достал из кармана второй, непрочитанный еще листок от Бек-Богдановича. Привычно уже не подписанный:

«Подумал, и теперь понял: чужие стихи править — вредоносно. Они — душа, выковырянная из чужого тела. Своей не заменить. Если только не хочешь убить человека буквами на бумаге. А потому — без опаски — оставляю для Вас свою душу. Будьте снисходительны. И отнеситесь к моим стихам так же, как к стихам вашей маленькой Анны, вздумавшей однажды поиграть маузером и словами».

Мокрый платок просох мгновенно.

«Вот и попрощались», — подумал Сергеев.

Не торопясь, сложил из листка белый бумажный кораблик и пустил его уплывать по арыку.

Микаел Абаджянц

Гвоздь

Рассказ

1

Дом был из темно-красного кирпича, большой и старый, а в окна заглядывал самый настоящий дремучий лес. Среди вековых елей встречались клейкие липы, широколапые клены и даже старые, плодоносящие по сей день яблони. Машеньке нужно было провести электричество в сад. Какие-то незнакомые люди рыли траншеи, устанавливали фонари. Приезжали большие грязные машины с черной плодородной землей, которую надо было разбросать по участку площадью ни много ни мало аж полгектара. Еще она собиралась поставить новую балюстраду у входа, заменить подгнивший серый деревянный забор на зеленый металлический и разобрать хлам в сарае, копившийся — страшно подумать! — с тридцать четвертого года. Делам не было видно конца, и я, напрягая мускулы, разбрасывал и тянул, перетаскивал и разбирал, рыл наравне с пришлыми работниками.

Иногда Машенька рассказывала об удивительных людях, которые здесь жили. О том, как на открытой террасе дымился самовар, растопленный на еловых шишках, как все пили чай с вкусным горьковатым вареньем. Среди гостей были известные писатели, знаменитые композиторы, успешные художники. В то время в саду стояли белые садовые скульптуры, олицетворявшие новый стиль жизни. Звенели протяжно стихи, вкрадчивым шипящим тенором звучали любимые всей страной песни, писались яркими, широкими мазками картины. В этом самом месте все было молодо, смело и полно надежд и веселых девушек, одетых по-летнему в крепдешиновые платья.

Но время утекло, пролилось сквозь череду поколений. Дом долгие годы сдавали внаем, а потому многое пришло в негодность, обветшало, стало неузнаваемым даже для хозяев. Скульптуры стояли с отбитыми носами, словно какие-нибудь сфинксы. В памяти остались только тускловатые, а порой и вовсе засвеченные, как старые фотографии, образы удивительных людей, словно они с самого начала жили только в семейных альбомах.

Абаджянц Микаел Фёдорович — прозаик и переводчик. Родился в Ереване в 1970 году. Окончил Ереванский зоотехническо-ветеринарный институт. Печатался в журналах «Новый мир» и «Дружба народов». Член Союза писателей Армении. Консультант проекта «Моссалит». Издавался в России и других странах. Имеет литературные награды.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2019, № 6.

Время бежало, оно не останавливалось и для меня. И проект будущего рассказа оставался только в моем воображении — неуклюжим, огромным, словно фундамент его не соответствовал архитектурному замыслу. Несколько электронных страниц было, правда, мучительно написано, но что делать дальше, я не знал. Было отчего-то стыдно за своего героя, который задумчиво стоял посреди всей этой дачной хаотической жизни, посреди стройки, затеянной Машенькой, и его судорожные размышления абсолютно не согласовывались с реальным положением дел и планами Марии Ивановны.

Мои попытки отстраниться и отрешиться приобретали все более отчаянный и упорный характер, хотя положить конец такому существованию я не мог, да и не собирался. Казалось, лето будет длинным, как сама жизнь, и все успеется: вот переделаю Машенькины дела — и напишу этот свой рассказ. В конце концов, нужно иногда и кости поразмять. Загородный дом требует много напряженного человеческого внимания и времени, дом жив, пока о нем заботятся. Я и сам в нем живу с Машенькой. *Да и хотелось изо всех сил ей угодить.* А вот когда мы завершим последнее дело, можно будет уйти в себя, забыться. Невозможно же на этом небесконечном в общем-то пространстве все время что-то делать. Кто-то должен выдохнуться.

Однако Мария Ивановна не выдыхалась, в ней словно какой-то атомный заряд сидел. Убирались сухие деревья и сучья, привозились из специальных питомников произраставшие ранее в других странах кусты и цветы. Ставились взамен старых новые садовые фигуры, олицетворяющие теперь вечность. Строилась дорога от дома до ворот. Все мостилось, красилось, вставлялось, перекраивалось. И во всем этом непременно участвовал и я. Мои не весть какие навыки в строительном деле тоже находили применение, но казалось, что чем чаще я пытался выхватить из плотного потока бытия немного времени для себя, для своего рассказа, тем более масштабными и всеобъемлющими становились Машины планы.

Короче говоря, работы не собирались прекращаться. И тогда я попытался изменить тактику, решил писать в паузах между делами. Это была неудачная идея: просто я стал существовать от окрика до окрика Марии Ивановны, которая снова и снова, словно солдата-дезертира, возвращала меня на передовую.

А в большом старом загородном доме ранней весной могло быть очень хорошо, светло и счастливо. Мокрый и прозрачный май ронял по утрам бесконечные капли с кленовых и липовых листьев. Из прохладного просвечивающего пространства накатывали волны самых разных весенних ароматов, пряных и душных. Я захлебывался ими, вбирая в легкие эти животворные струи.

Приходилось выбирать. Или подчиниться непоколебимой Машенькиной воле, забыв обо всем, что не относится к семейной жизни, и тем самым отказаться от навязчивой идеи написать рассказ. Тогда можно будет зажить счастливо, коротая за чашкой чая с сушками и горьковато-терпким вареньем долгие подмосковные вечера в конце наполненного суетой рабочего дня, строить удивительные планы — каким вскорости прекрасным местом станет этот дом для всех нас. И тогда аж до полуночи не будет гаснуть между черными стволами деревьев вечерняя заря. И снова звонко и многоголосо ночью будут петь птицы.

Или...

2

Я выбрал другое. Вышел за новые железные ворота и сразу оказался в узком влажном межзаборье. Пространство это было сколь узким, столь и длинным, и именовалось улицей. Писательский городок еще в прошлом веке лишился своих полупрозрачных штакетников. По обе стороны от путника высились разномастные и разновеликие стены, за которыми можно было разглядеть разве что крыши старинных писательских дач и темные вершины смешанного леса. Улица была хорошо освещена убегающими вдаль золотыми огоньками, гнездящимися в сплетеньях проводов на вершинах бетонных столбов. И дорога эта была прямая, тоже искрящаяся золотом, уводящая в таинственную черную даль. Что мне было нужно, я и сам толком не знал. Нужно было приключение, вдохновение, место окукливания. Место, где можно было бы придумать и написать. Не попрощавшись, ничего не сказав Машеньке, я стал перемещаться в мокром и опасном межзаборном пространстве.

Сначала я каждую минуту ожидал звонка от Машеньки, однако телефон мирно молчал.

Я подумал, что слишком плохо подготовился к такому путешествию: помимо маленького перочинного ножа, у меня в кармане ничего не было. Ну, тогда пусть это будет просто разведкой. Имитацией, что ли... нет, репетицией побега. Вернусь и подготовлюсь лучше.

Надо сказать, что с Машей мы по этим улицам довольно часто гуляли. Она охотно рассказывала об удивительном житье-бытье на этих писательских дачах. Известные на всю страну, на весь мир писатели, художники, композиторы, ученые жили в этих домах, не прячась за глухими заборами. Сидели в своих плетеных креслах, в своих застекленных мансардах, на террасах, которые наполнял мутный и дымный горячий солнечный свет. Вдохновение их было искренним, жарким, могучим и чистым, как та эпоха, в которую они строили свою новую страну. Их стихами и музыкой был пронизан мир моего детства. Я в свои тоскливые школьные годы заучивал наизусть искрящиеся силой стихи, грандиозные слова о дружбе, человечности и любви, написанные здесь.

Теперь же я шел в ночной темноте между высоких стен, построенных уже их наследниками; мне нужно было найти и свое место в этом тесном, наполненном невероятной энергией пространстве. Мое путешествие было похоже на спуск в темную подводную глубину. Чем дольше я шел, тем сильнее чувствовал, что зажат между многовесными равнодушными айсбергами. Огромное, все увеличивающееся давление, которое я испытывал, шло вразрез с моими надеждами найти местечко или просто уголок, где можно было бы разрешиться собственным произведением. Со стороны я, видимо, напоминал человека, который ищет и не находит укромного места, чтобы помочиться. Везде на пути вставали заборы, порой услужливо включался свет, загорались огоньки камер, с одинаковой бесстрастностью фиксируя и мышь, и беглеца, озабоченного своими творческими идеями.

Чем дальше дорога уходила вниз в темноту, тем шире становилась. Иногда по мою сторону забора попадались ничейные деревья, однако все равно пространство оставалось нарезанным на огромные, плохо просматривающиеся параллелепипеды, внутри которых были заключены и лес, и дома-айсберги. Почти все они принадлежали людям-эпохам. Казалось, вдохновение, как вино, уже до дна исчерпано в этом удивительном мире. Здесь, как на заброшенном прииске, уже нет алмазов. Мое присутствие было неуместно. Попытка найти какие-то слова, чтобы начать собственное

художественное повествование, сродни попытке не очень хорошего танцора начать танец в густой толпе. Куда ни обрати взгляд, обо всем давно написано. Каждый уголок связан с тем или иным известным именем. Люди эти были поистине знамениты, божественно талантливы, любимы всем человечеством, и я в ужасе подумал, какой мерзкий писк раздастся в этом частном лесу, когда я все-таки решусь сказать свое слово.

Дорога еще круче пошла вниз, однако вереница огней не прерывалась, желтыми объемными шарами свет *вбирал в себя* влажное зеленое пространство. Безукоризненным черным зеркалом прорвался из темноты большой пруд, заполненный *весенней водой до самых своих берегов.* Двойная цепочка золотых шаров вильнула, повторяя извив дороги, а затем, расставшись со своим отражением в мрачной воде, стала взбираться на гору мимо дома величайшего из известных мне поэтов того благословенного времени. Я свернул с тропы к самому берегу, чтобы полюбоваться прозрачностью темной ночи, и тут из-под моих ног с пугающим хлопаньем вылетела разбуженная утка, пронеслась через пруд и исчезла в зарослях на другом берегу. Я остановился в нерешительности, идти ли дальше. На другой берег мы с Машенькой ни разу не ходили. Не лучше ли повернуть назад и вернуться в сад с белыми скульптурами? Машенька, наверное, не спит еще. Можно проскользнуть в дом, сделать вид, что никуда не уходил, тихонечко выпить с Машенькой чаю с черным, как патока, вареньем, обсудить Машенькины планы на завтра, а потом так же тихонечко забраться под одеяло.

Однако путешествие мое только началось, я не мог вот так просто повернуть домой.

Я медленно огибал пруд, думая, что если бы тоже жил на берегу этого зеленого, сплошь поросшего старыми дубами, елями и кленами пруда, то писал бы удивительные по силе вещи, часами бы смотрел, как срываются с листьев стеклянные капли и как расходятся широкие круги по воде. Наверное, смог бы даже полюбить этот кусочек мироздания как свою родину; однако эта сиротливая мысль не угнездилась, не нашла пристанища в моей бесприютной душе, потому как душа моя была заполнена воспоминаниями о сухих и горячих камнях моей настоящей родины. Там был домик в ущелье, а внизу бурлил зеленый поток, низвергавшийся из далекого голубого озера. Однако мне и там не писалось, а беспокойная жажда странствий завела сюда.

3

А дальше шла прямая, как стрела, Некрасовская улица. Дачи теперь тянулись только по левую руку. Справа был самый настоящий дикий лес. Наверное, здесь тоже жили когда-то знаменитые писатели, однако в этой части поселка я никогда не бывал и ничего не знал о здешнем житье-бытье. Подивившись, что Машенька меня так долго не вспоминает и телефон до сих пор молчит, я двинулся дальше по неухоженной асфальтовой дороге. Ощущение бесконечного давления со стороны домов-айсбергов заметно ослабло. Я уже не чувствовал себя ничтожной литературной мышью, забежавшей на хозяйский стол в поисках крошек и крупиц вдохновения. Однако вместе с ослаблением чудовищного давления пришло неопределенное чувство опасности. Фонари здесь попадались все реже, расставлены они были неравномерно и горели каким-то невеселым светом, отливающим то серебром, то алюминием, то бронзой. Разноцветные заборы уже не угнетали своей высотой, а за ними серели темные крыши. Калитки в воротах открывались прямо в черноту леса. Довольно часто по уже порядком раздавшейся вширь дороге, слепя фарами, проносились автомобили. Заслышав

шум очередной наезжающей машины, я, сам не понимая зачем, сворачивал в лес, а потом снова выходил на дорогу и с глупым упорством продолжал путь.

Их было двое. Впереди, метрах в пятидесяти, шли мне навстречу взрослый мужчина и мальчик лет шести. Взрослый был облачен в камуфляжную форму и почти сливался с окружающей полутьмой. Он что-то попивал из жестяной банки и, обращаясь к мальчику, слегка сутулился. Мальчик время от времени разражался смехом и старался не отставать. Почти поравнявшись со мной, он отобрал у взрослого банку и, сделав по-мужски большой глоток, вернул ее сутулому. В алюминиевом блеске единственного фонаря я разглядел на рукаве у взрослого шеврон с косым крестом. В душе что-то екнуло, и по тому, как они стали замедлять шаги, я почувствовал, что они не дадут просто так пройти мимо, но уходить в лес уже было бессмысленно: лес этот наверняка они знали лучше. Причем беспокойство у меня вызывал не мужчина, а именно ребенок. Казалось, взрослый старается подобострастно отстраниться, а мальчик его преследует. Причем пиво ему нужно было в последнюю очередь. И тут я заметил, что в кулаке у него зажат большой гвоздь, которым он периодически пытался ткнуть своего спутника.

— А это кто? — еще не поравнявшись со мной, спросил мальчик у взрослого.

Прежде чем ответить, взрослый, не отводя от мальчика глаз, как-то боком стал загораживать мне дорогу. И я заметил, что бедро у взрослого все истыкано гвоздем и из ранок сквозь одежду сочится кровь. При всей жестокости этой игры они все равно казались друзьями.

— Тебя спрашивают, — взрослый наконец оторвал взгляд от мальчика и посмотрел на меня.

И в этот момент он получил сильный тычок гвоздем в живот. Сутулый от неожиданности и боли тяжело осел на асфальт. Мальчик радостно рассмеялся.

— Вы, наверное, в пансионате живете? — мальчик вежливо обратился ко мне, все так же держа в руке гвоздь.

И тут я понял, что это никакой не мальчик. Это был вполне себе взрослый господин. И одежда на нем, отметил я, очень дорогая. Мальчики такую одежду не носят в деревнях. Такую покупают только богатые дяди в престижных магазинах.

— Ты что, писатель, спрашиваю? — вдруг по-отечески заулыбался мне он.

Я не стал протестовать против того, чтобы «мальчик» так быстро перешел со мной на «ты», и активно закивал головой, мол, да... писатель.

— Врешь!

Некоторое время «мальчик» размышлял, не выпуская из кулака гвоздь.

— Этот тоже говорил, что он охранник, — «мальчик» посмотрел на скорчившегося на земле сутулого. — И за что я только деньги всем вам плачу!

Сутулый запротестовал было по поводу того, что он зря деньги получает, и попытался подняться.

— Настоящие писатели в собственных домах живут и по ночам не шляются, — задумчиво продолжил «мальчик» и добавил: — Не те теперь времена...

И тут, на мое счастье, сутулый все-таки смог подняться и захромал в нашу сторону, правда, намерения его явно были не самыми дружескими. «Мальчик» на мгновение отвлекся, но мне этого хватило, чтобы *повернуться и побежать что есть мочи.*

Какое-то время я слышал за спиной улюлюканье «мальчика» и хриплую брань сутулого. Но я не останавливался, все дальше убегая от дома в темно-серые сумерки, благодаря бога, что бросил курить, и полкилометра пробежал легко. И снова остался один.

4

Я медленно шел вперед, когда сзади появился свет фар. Машина быстро догоняла, я свернул в лес с намерением пропустить ее и сквозь зелень листвы смотрел, как мощный дорогой внедорожник плавно замедлил ход. Боковое стекло было опущено. Загорелся огонек спички, и я со страхом увидел, что за рулем сидит все тот же «мальчик», причем в правой руке он все так же держал гвоздь.

— Говорю тебе, я видел его на дороге. Только что. Он в лес ушел. Пойди, поищи его...

Дверца открылась, и из машины нехотя вывалился сутулый. Я старался не всколыхнуть мокрую листву. Накатила слабость, я стоял на ватных ногах и думал, что так взаправду не бывает. Сидеть бы сейчас с Машенькой и попивать чаек с сушками. А сутулый подошел к обочине и стал делано вглядываться в темноту.

— Там он, говорю тебе...

И тут у меня в кармане оглушительно зазвенело. Звук был такой, словно звонил старый электрический телефон в кабинете какого-нибудь министра из позапрошлого века. Я смотрел на *вибрирующий, мигающий разноцветными огнями экран мобильника*, который будто решил подтвердить мою догадку о том, что все это происходит не по-настоящему. Захотелось бросить его, наступить, вдавить в сырую землю или зашвырнуть подальше в лес. Но я не мог, как не мог в детстве ослушаться окрика матери, зовущей вечером домой со двора. Даже самые крутые мальчишки соглашались, что надо отложить все дела до завтра, раз мать зовет. Все, конечно, продолжится, но — завтра. Дворовый закон. И я, помедлив, ткнул пальцем в пестреющее значками светящееся окошко телефона. Оттуда донесся отчетливый Машенькин голос. Поразительно, насколько хорошо ее было слышно, точно она пряталась за соседним деревом.

— Да, Мария Ивановна?

— Ты где? Где тебя носит?.. — она не давала ответить. — Ты что, не помнишь, что мы должны были обсудить, сколько песка заказывать и куда его лучше высыпать... Забыл... Его же утром привезут... Одна я... Думаешь над рассказом? Ты что, всю ночь будешь думать? Прекрати... Ты просто безответственный... Пока...

Я так и не успел убедить Машеньку в том, что люблю ее больше жизни, что все у нас будет хорошо. Разговор оборвался неожиданно, как, впрочем, и начался.

А для сутулого не существовало дворовых законов.

— Вот он, — счастливо крикнул он «мальчику», — по телефону разговаривает.

— А почему в лесу?.. Ладно, тащи его сюда.

Воздух уже начал сереть, теперь даже в гуще леса можно было все отчетливо рассмотреть. Сутулый шел ко мне осторожно, словно к сбежавшей из дома собаке.

— Как, говоришь, тебя зовут? Да ты не бойся, сразу не убьем...

Сутулому понравилась собственная шутка, и он от души рассмеялся. Я попятился.

— Да постой же ты. Вот он тоже писатель. Поговорить с тобой хочет...

И тут за спиной у меня предательски треснуло. Мир опрокинулся. Серое небо оказалось прямо перед глазами, а на нем зачернели стрелы елей и сосен. Не успев толком осознать свое новое положение в пространстве, я почувствовал, как на грудь навалился сутулый и, обдав гадким запахом табака из черной разинутой пасти, восторженно заорал:

— Я поймал его, Акакий Пантелеймонович...

Под сутулым я лежал неподвижно, не оказывая сопротивления. И на это у меня

было две причины. Во-первых, я собирался встать из неудачного положения без боя, не тратя сил понапрасну, понимая, что они мне еще понадобятся. Произошло так, как я и рассчитывал: подошел Акакий Пантелеймонович, и сутулый поднапрягся и привел меня в вертикальное положение. А во-вторых, я был заинтригован: что за писатель так настойчиво желает со мной побеседовать?

Акакий Пантелеймонович приблизился и, не раздумывая, ткнул меня гвоздем в ногу. Я дернулся от неожиданности, а он рассмеялся и примирительным тоном произнес:

— Рассказывай, о чем ты пишешь и для кого пишешь.

Я помолчал, соображая, к чему эти вопросы.

— Разве можно об этом в двух словах сказать? — искреннее удивился я. — О любви, о жизни пишу, обо всем на свете.

— Обо мне не пиши никогда. И о Васе не пиши.

Сутулый, Вася, закивал головой, продолжая заламывать мне руку и обдавая вонью.

— А что вам все-таки нужно?

И Акакий Пантелеймонович в общих чертах поведал мне странную теорию о том, что вдохновения на свете мало. Что оно родится, как грибочки или ягодки. Вот идут дачники, начинают срезать и срывать грибы-ягоды, и что в итоге после них остается? А ничего нам не остается. Вот и поэт какой-нибудь, а Акакий Пантелеймонович был поэтом, пройдет по здешним местам, соберет все вдохновение, а другим что? (На этом месте он, широко размахивая руками, стал показывать, как нужно правильно собирать вдохновение.) А другим ничего не остается. Совсем ничего. А места здесь хоть и обильны этим самым вдохновением, да все это вдохновение в частном владении находится. По словам Акакия Пантелеймоновича, потому здесь писательский городок и вырос, что вдохновение прямо из сырой земли, словно пар, сочится. А ему самому много этого вдохновения надо, потому что он большую поэму пишет. Великий роман. О чем? О гвозде. О том, что гвоздь — всему голова и начало. О том, как в стародавние времена гвоздями людей к столбам прибивали. Неплохо было бы возродить и в наше время эту традицию, убежденно завершил Акакий Пантелеймонович.

— Потому-то я и плачу ему, — «мальчик» ткнул гвоздем в сторону Василия. — У него нюх имеется на придурков вроде тебя.

Я не стал спрашивать у Акакия Пантелеймоновича, за что в его романе людей гвоздями к столбам приколачивали. Какое-то время я все-таки продолжал слушать его бред, а сам стал думать, как избавиться от этой навязчивой парочки. Потихоньку запустил руку в карман и раскрыл свой перочинный ножик, а потом, в момент, когда Вася наиболее активно кивал головой в подтверждение слов Акакия Пантелеймоновича, вытащил руку и с силой воткнул ножик ему в ногу. Нога была та самая, истыканная гвоздем. Однако, вопреки ожиданию, на Васю удар мой не произвел должного впечатления. Он только еще сильнее заломил мне руку и прошипел в ухо:

— А по стигматам бить не советую...

«Мальчик» подошел ко мне вплотную и изо всех сил кулаком нанес удар в живот. В моем теле, как в большом мешке, подпрыгнули внутренности. Я с ужасом подумал о том, что в какой-то момент он пустит в ход и свой гвоздь, который по-прежнему крепко сжимал в кулаке.

— А вы ничего не поняли, гражданин писатель, — Акакий Пантелеймонович произнес эти слова с неожиданной злостью. — Весь вопрос лишь в том, чем вы готовы поступиться, чтобы писать свои рассказы.

Люди эти оказались даже опаснее, чем я мог предполагать.

5

Я все-таки ухитрился опять убежать от них. Но прежде чем это удалось, наслушался злословия в свой адрес. Сначала они препирались по поводу того, к какому дереву в лесу лучше меня прибить, к ели или березе, затем последовали злорадные рассуждения, как у меня отобрать незаконно нахапанное в здешних местах вдохновение. Потом был спор, куда лучше забить гвоздь в моем теле. Василий предлагал прибить за ногу, но Акакий Пантелеймонович думал иначе. По его мнению, надо было оттянуть на загривке кожу и за нее приколотить меня к березе, да, лучше к березе. Чтобы и другим бомжам неповадно было. Но для начала надо было меня связать. Пока Вася бегал за веревкой, мне удалось убежать. Я увидел, как проехал по дороге внедорожник Акакия Пантелеймоновича, мелькнули в боковом стекле перекошенные от злобы и досады лица, и снова стало тихо. Только соловьи заливались в серых пустых сумерках.

Одинокий, я снова шел по дороге и думал о том, что вряд ли они исполнили бы свои намерения. Однако удручало обстоятельство, что я до конца не улавливал сути их претензий. Хотя зло и может рядиться в самые разные одежды, порой оно вовсе не требует никакого обоснования своим действиям. Я был один и был слабее — этим все сказано. Часто людьми движут простые инстинкты: инстинкт охоты, инстинкт защиты имущества. Некоторые, особенно если они с головой не в ладу, начинают этим инстинктам следовать, не согласовываясь с законом и общепринятой моралью. Я же тоже не могу толком объяснить себе, почему мне нужно идти вперед, какой инстинкт меня влечет дальше. Разумнее ведь повернуть домой, назад.

Я дошел до развилки. Лес здесь стоял сплошным тридцатиметровым черно-зеленым частоколом. Налево дорога упиралась в старые решетчатые ворота, где было белым по синему написано: «Дом творчества писателей “Внуково”». В глубине были видны двухэтажные, бледно-розового кирпича коттеджи. Направо же, судя по табличке, прикрепленной к ржавому штырю, располагался последний дом по Некрасовской улице, под номером 30. На самом деле я и раньше слышал о здешнем пансионате, который построили в середине семидесятых, и все равно был ошарашен, обнаружив его. Мне очень было надо попасть в этот пансионат, узнать, как и кто там сегодня живет, но прежде следовало непременно пойти осмотреть последний дом на Некрасовской.

Справа и слева поднимался глухой, облитый золотым фонарным светом кирпичный забор, вдоль которого в человеческий рост поднималась гречиха. Удивительной красоты решетка загораживала улицу. И золотой свет, оставляя путника, убегал дальше, в таинственную глубину большого квадратного туннеля, в который мне, смертному, было не войти. По сути, вся улица Некрасовская была огромным длинным тупиком, и на этом месте она обрывалась. Я подошел к самой решетке. Зажглись огоньки камер наблюдения, одновременно что-то зажужжало, запищало. На кирпичных стенах, видимо, для непрошеных гостей, вроде меня, висели разъяснения, что участок этот охраняется таким-то охранным агентством и злыми собаками. И тут я понял, что сделал большую глупость. Несколько долгих мгновений я заворожённо смотрел в хорошо освещенную глубину, а по длинному золотому туннелю приближался в черной форме охранника Вася. На поводке у него бодро рысил черный с рыжими подпалинами доберман-пинчер. Я поразился, что Вася совершенно не хромал. Чуть позади шел очень хорошо одетый, маленького росточка господин. Они сначала никак не отреагировали на мое присутствие, видимо, меня засекли еще раньше, по камерам.

Решетка, повинуясь нажатию какой-то невидимой кнопки, вдруг стала открываться створками внутрь. Я чуть не провалился в эту золотую глубину. Она засасывала и манила. И я понял, что это вовсе не было приглашением войти. Я снова угодил в ловушку по собственной неосмотрительности. Вася нагнулся к собаке, пытаясь отщелкнуть карабин от ошейника, но почему-то замешкался, что-то там у него не сразу отомкнулось. Акакий Пантелеймонович вдруг отчаянно закричал пронзительным, не своим голосом:

— Рузвельт, фас! Держи вора!

Я сообразил, что опять надо бежать, и побежал, понимая, что бежать между заборами придется долго. Оторваться от пса шансов мало, рассчитывать на то, что собака сглупит или струсит и не тронет, не приходилось. Рузвельт, сорвавшийся с поводка, мчался резво, а я уже немолод. Оставалось только в критический момент развернуться и самому вцепиться руками и зубами в этого пса. Однако за нами хрипло дышал и громко топал Вася, который все равно догонит, должен догнать.

Что есть духу я бежал вдоль забора и не оглядывался, чтобы не тратить драгоценные мгновения. Рузвельт был уже близко, я хорошо слышал, как он повизгивает у меня за спиной в азарте погони. И все-таки мне первому удалось выскочить из пространства между заборами. Не раздумывая, я забежал на территорию писательского пансионата, бросился к ближайшему двухэтажному коттеджу и забарабанил в дверь. И тут большой черный мускулистый ком сбил меня с ног с такой неимоверной силой, что хрустнуло в коленях. Отвратный пес сомкнул челюсти на моей лодыжке, и мне ничего не оставалось, как большим гвоздем изо всех сил ткнуть псу прямо в пасть. Откуда у меня взялся гвоздь? Отобрал у Акакия Пантелеймоновича, когда в последний раз убегал от него. Рузвельт зарычал, но ногу выпустил. И тут дверь распахнулась, и я почувствовал, как чьи-то крепкие руки втаскивают меня внутрь. В последнее мгновение успел заметить возникшего на пороге сутулого Васю, но дверь перед ним с силой захлопнулась, прищемив лапу Рузвельту, издавшему истошный визг. В дверь ломились, кричали и угрожали полицией, но я знал, что уже спасен.

6

Я лежал, крепко зажмурившись, на старой железной кровати — не думал, что такие еще где-то сохранились. Перед тем как закрыть глаза, я все же успел разглядеть в комнате стол из прессованной фанеры у зарешеченного окна. На столе стояла трехлитровая банка с водой и две пол-литровые банки: одна с вареньем, другая, кажется, с соленьем, и еще на столе белело что-то накрытое марлей. Это все, что я запомнил. Да, и человека запомнил — невысокого, седого, не очень молодого. Похоже, я знал его раньше. Когда он начал водкой обрабатывать раны на лодыжке, я не переставал жмуриться.

— Хватит прикидываться спящим, открой глаза!

Я медленно размежил веки. Да, это был Ваан Тамарян. Он был таким, каким я его видел в последний раз в редакции, где мы работали, а ведь тогда он мне казался почти стариком. Сколько ему было в ту пору, сорок три? Теперь я его старше на целых семь лет. Захотелось опять зажмуриться и поразмышлять, как такое возможно.

— Вставай, я уже наполнил шкалики.

Я сел на кровати, всматриваясь в его лицо. Оно казалось отдохнувшим, морщинки разгладились. Видимо, местный влажный воздух ему шел на пользу.

— И что ты тут делаешь? — спросил я.

— Пишу роман. Ты же помнишь, что я был членом Союза писателей СССР. А это значит, что я имею право жить и отдыхать повсюду в этой стране.

Он поднял маленький граненый шкалик и просто выпил за встречу. Я тоже выпил. И Ваан Тамарян посмотрел на меня ласково, точно я все еще был молодым парнем. Он отбросил белую марлю, и мы закусили армянским рассольным сыром. Я стал расспрашивать о его житье. Относились к нему здесь с уважением, но никто не наведывался слишком часто и особо не досаждал. Впрочем, он знал точно, что я когда-нибудь к нему сюда приду. Я смотрел на него и думал, почему из десятков замечательных писателей здесь и сейчас оказался именно он. Почему здесь оказался я?

— Наверное, потому что я всегда искренне желал тебе добра, — ответил он, словно прочитав мои мысли.

Ответ меня не удовлетворил, однако я кивнул. Потом мы долго разговаривали, вспоминали нашу жизнь, работу в редакции, говорили о родном городе. Уже под утро он достал пятитысячную купюру старого образца, с храмом Гарни, и протянул мне. Это был, как он сказал, должок. Я такого не помнил, но взял.

— А что этим людям от тебя нужно?

Я помялся и произнес:

— Да так, ничего. Ограбить пытались. Гвоздь хотели отобрать.

Он подумал и сказал, что знает точно, что мне еще только предстоит написать свою самую главную вещь. Я ничего не ответил, потом отворил дверь в яркий солнечный мир, где помимо соловьев заливались тысячи других пичуг, обернулся, но в темноте комнаты ничего не увидел.

Прямо у порога спал в обнимку с собакой сутулый Вася. Он даже не пошевелился, когда я через них перешагнул. Никаких травм ни на лапе, ни на вытянутой породистой морде собаки я не обнаружил. Пес подрагивал во сне лапами, наверное, ему снилась вчерашняя погоня. Тихонько, радуясь солнечному свету, я зашагал домой. Туда, где меня ждала Маша — Машенька, которую я любил даже больше этого солнечного света.

Я шел по писательскому городку, дивясь своим ночным страхам. В это утро было много солнечного света, не омраченного тенями от облаков. Писательские дома приветливо высились за своими разноцветными заборами; дачи утопали в воздушном кружеве листвы и хвои самых разных оттенков зелени. Некрасовскую я прошел за полчаса, свернул вниз по Лебедева-Кумача к большому пруду с утками. Над всей этой красотой высился дом Александра Твардовского. Я пожалел, что со многими писателями, жившими здесь, разминулся во времени. Почему-то я неизъяснимо тосковал по ним, хотя никого из них не знал лично. Потом я свернул на нашу улицу Виктора Гусева и еще издали увидел въезжавший на Машенькин участок громадный самосвал.

Маша, маленькая, беленькая и хрупкая, стояла посреди участка и, по обыкновению, командовала огромными мужчинами. Она обернулась, заметив меня, помедлила и спросила:

— Что у тебя с телефоном?

— Потерял, — похлопав по карманам, ответил я.

— А это что, гвоздь? Давай сюда, пригодится.

Маша пристально посмотрела на меня, поняла, как мне показалось, больше, чем я ей хотел рассказать, вытащила совковую лопату из большой кучи свежей бурой земли и без лишних слов сунула ее мне прямо в руки.

Роман Смирнов

Может быть, мэй би, мабуть

* * *

Всё, что сеял под камни ты,
в ритуальной тоске,
вырастает из памяти,
как стихи на листке:
голоса или профили,
или запахи лишь,
затемнёнными лёгкими
вечерами продлишь,
и вплетёшь в эту тусклую
полосу от окна,
словно ленточку узкую,
где твои имена.

* * *

гвоздь рассвета по шляпину вогнан
молоток брошен в пол где-то там
что вы смотрите окнами в окна
маргинальные в доску дома
здесь двужильны то стёкла то рамы
человеки сжигают озон
и предчувствия русской дорамы
словно спойлер спасают сезон
говорящая рыба на правде
жигулёвский хрусталь под столом
так чего же скажите мне ради
пресловутый искать окоём
всё как встарь по всему документу
кровь на блюдце и жир на руках
потому что прошедшего нету
да и рай не начнётся никак

Смирнов Роман Николаевич — поэт. Родился в 1979 году в подмосковном городе Электросталь. Учился в ЭПИ МИСиС. Предприниматель. Публикации в «Homo Legens», «formasloff», «Textura», и др. Живет в Электростали. В «Дружба народов» публикуется впервые.

* * *

Крути педали, отпускник.
Свобода, заданная на дом.
А в рюкзаке не надо книг.
Да ничего вообще не надо.

Тебя встречает белый день,
трава, поросшая обрывами,
и справа лес, и слева тень,
река, беременная рыбами,

аутентичность алычи,
цвета, избегнувшие серого,
поля ничейные — а, чьи? —
и в центре высохшее дерево.

Ещё не всё ты повстречал.
Крути, крути, крути педали.
Открытым господу плечам,
движенья золото придали.

Излишний пафос, может быть.
Меня ты не пойми превратно.
Остановись, воды испить
колодезной, и в путь обратный.

* * *

Может быть, мэй би, мабуть,
доживём, продолжим путь,
Заживём душой и телом,
говоря: не в этом суть.
А душа и ни при чём,
что-то с чем-то за плечом —
нам бы выйти, встретить друга
и обняться горячо,
долго за руку держа.
Есть границы, нет держав.
Рассказать ему об этом,
словно вдоволь жито сжать.
Много будет этих встреч,
где объятия, как речь?
Может быть, мабуть, наверно.
Столько, сколько хватит плеч.

Андрей Завтур

Записки таёжного лекаря

Отрывок из повести

Егорыч

Тонкая струйка дыма. Ворох картонных папок на столе. За ними молодой человек, замерший, будто восковая фигура. Все в нем казалось унылым, усталым. Жидкая прядь светло-рыжих волос, очки в толстой оправе и вытянутый по-птичьи нос. Протер воспаленные глаза, отложил очередной лист и вздохнул, услышав гулкие голоса, скрип половиц и придыхания продранного линолеума. В кабинет вошел пожилой низкорослый мужчина. Взъерошенная копна седых волос. Несуразно длинный халат с оттопыренными карманами.

— Приветствую, Павел!

— Добрый день, Анатолий Егорыч! — оживился молодой человек.

— Скучаешь, коллега? — дед бордо протянул руку.

Павел посмотрел на отекшее землистое лицо, отметил нездоровый блеск в маленьких глазах, дрожащие пальцы, запах перегара и вздохнул с особой печалью.

— Оно не мудрено в таких казематах безвылазно сидеть! — суетился Егорыч. — Скучна теория, мой друг, а древо жизни пышно увядает... Всё архивы изучаешь, вот папки натаскал. Тебя за ними не сразу и разглядишь.

— О-хо-хо...

— Никакого парадокса, Павел, все стандартно, — старик раскрыл верхнюю папку. — Скучно?

— А на мне это написано, скука эта?

— Оно, Павлуша, в умных глазах всегда все написано! — Егорыч рыскал глазами по кабинету. — А давай-ка ты время не трать на эту макулатень, скатаемся в одну деревню. А?

— О-хо-хо...

— Да не охай ты! Тут недалеко.

— Да что не охай?

— И случай интересный. Там заночуем! — говорил Егорыч, будто о решенном деле. — Свежий воздух не помешает. За два дня и вернемся.

Завтур Андрей Васильевич родился в 1981 году в городе Дубоссары МССР. Окончил Российский государственный профессионально-педагогический университет. Работает инженером. Первая публикация автора. Живет в городе Советский, ХМАО.

— За два?

— За два, — старик закрыл папку и глянул в окно.

— Сколько лет прошло, а вид все тот же, стена из кирпича, курилка и синяя скамейка, — покачал он головой. — Эх, сколько лет я просидел в этом кабинете! Даже тот же стул, все тот же. Ничего не меняется.

— Так это ваш кабинет был? — удивленно протянул Павел.

— Пять лет просидел, как ты, как книжный червь, так же.

— О-хо-хо.

— Насчет руководства я уже договорился, выездную тебе оформили, — словно бы вспомнил Егорыч. — Командировочные в кассе получи. Плащ есть у тебя?

— Нет, плаща у меня нет.

— Не беда, у оперативников возьмем, народ этот запасливый. Через полчаса «санитарка» приедет, так что собирайся! — старик вышел, оставив за собой распахнутую дверь.

Проходящие сотрудники робко заглядывали в кабинет. Анатолий Егорыч слыл в коллективе человеком непредсказуемым, необщительным. А если встречался с кем и говорил, то, как правило, о бездарности коллег, за что и получил, в силу своей чудаковатости, незавидное прозвище «Леший». Начальство тоже сторонилось старика, изредка подсовывая безнадежные дела и закрывая глаза на частый нетрезвый вид.

Вышли уже в сумерках. Пространство холодно пыхало отсыревшей листвой. И чем ближе к пристани, тем острее и свежее запахи.

* * *

Вдали тонкой полоской растянулся рыхлый туман. Катер вяло рассекал стеклянную гладь. Брызги, ударяясь о прозрачный фонарь, собирались в долгие кляксы. В салоне было тепло и спокойно. Полицейские коротали время в пересказах забавных историй. Раскатом смеха заканчивалась одна история, затем следующая.

— Анатолий Егорыч, а вы чего такой серьезный, не смеетесь? — тихо спросил Павел.

— Я свое отсмеялся, Паша. Все эти истории еще при моей юности перелопачены донельзя, — он прикрыл глаза, будто бы успокаивая себя. — Все циклично, меняются люди, а ситуации повторяются. А вся нелепость, что они несут, и ею же восторгаются, она мне так скучна, как вот та картина, что за окном.

— Ну, так же тяжело, без юмора.

— Юмор бывает разный... Вы, Павел, развлекайтесь, у вас возраст такой, можно еще, — Анатолий Егорыч откинулся в кресле, повернул голову и закрыл глаза.

В стекло из бушующей тьмы ударяли белые вскипевшие капли. Словно бы наискосок скользили и струились огни. Из сумрака тесного салона появилась алюминиевая кружка, ее передавали из рук в руки, и отхлебывали каждый понемногу.

— Что там? — на всякий случай спросил Павел.

— Водка там. Выпей. Мы на трупный выезд всегда немного принимаем, иначе тяжело становится. Настроение портится потом на несколько дней.

— Нет, не буду, спасибо. Смотреть на них у меня профессия, тренировка присутствует.

— Ну, смотри, дело хозяйское. Работаю уже восемь лет, все привыкнуть не могу, — сам себе сказал пожилой полицейский. — Никакой тренировки не хватает — был человек, а теперь его нет. Тело есть, но не двигается. Спит, холодный, и не дышит. А вы — ребята привыкшие, получается. Дед-то твой, знаю, поддает иногда, разбуди его, может, он будет.

— Не трогайте, пусть отдыхает.

— Ну, смотри, не застрять бы там из-за него.

— Из-за него уж точно не застрянем.

Лодка замедлила ход и, кивнув корпусом, уткнулась в пристань. Открылся потолочный люк, по очереди потянулись люди. Сразу закуривали на палубе. Немного погодя стали принимать конфискованную рыбу, заполняя мешками ряд сидений. Старик безмятежно спал, убаюканный качкой. Павел подвинулся к нему.

— День прошел не зря, рыба есть, — похлопывая по мешку, улыбался молоденький полицейский. — Сейчас приедем, свежатины поедим. Сегодня изъяли, а девать куда? Мужики уже на рыбу смотреть не могут, а нам в охотку.

— Приедем, поделим, — укутываясь в шинель, проворчал усатый капитан.

Уставшие мужики быстро уснули. Лодочник, сидящий в отдельном коконе, спрятанном в начале катера, рулил, петляя по водной извилине. Холодало уже по-зимнему и казалось, что жизнь тоскливо замирает, сдавая обороты. Павел не заметил, как и сам погрузился в сонный морок, где мелькали листья, папки и полицейский прыгал на одной ножке и повторял: «Стой на месте, руки в тесте».

— ...вместе.

Катер вздрогнул и подался назад, туго забурлив под днищем.

— На месте, — констатировал кто-то из темноты.

— А ехать бы так и ехать, — отозвался другой.

Люди разминались, судорожно громко зевали и тянулись в звездный проем люка. Пристань наполнилась шлепками шагов. Павел и сонный Егорыч последними загрузились в переполненную машину. Потом долго прыгали на ухабах, а в немытых окнах качался мрак.

Новогодней елкой вспыхнули глазницы окон. Казалось, деревенские дома вкривь и вкось разбросаны во тьме.

Остановились на окраине. Изба, вросшая по окна в землю. Во дворе топтались угрюмые люди. Женщины, укутанные в платки, обнимали друг друга и натужно рыдали. Мужчины молча дымили папиросами. Пахло корвалолом.

Заскрипели двери, отворился свет в ночи. Круглолицый капитан, поправляя ремень, вышел во двор и встал напротив окруженной женщинами старушки. Он погладил усы, раскрыл планшетку и, не глядя в глаза старухе, скупым формальным языком начал проводить допрос.

— Чего? — не понимала и пугалась женщина.

— Ничего, проехали.

— Чего?

— Когда вы его видели в последний раз?

— Вчера вечером.

— В котором часу?

— Не знаю, для меня и время остановилось. Мил человек, не знаю.

— Хорошо, он был трезв, когда вы его видели в последний раз?

— Нет, милок, пьяный он был. Два дня как вернулся с города и уже не просыхал!

— А где мужчина, который его труп нашел?

Вдруг старуха взвыла и, расталкивая людей, кинулась бежать куда-то в темноту. Женщины пошли на плач. Круглолицый полицейский сердито захлопнул планшетку, оглядел оставшихся людей и направился к бане. Перед баней стояли двое: участковый и оперативник. Круглолицый, не обращая на них внимания, прошел в предбанник.

— Парни, пошли рыбу готовить, — белея лицом, вынырнул из тьмы белоусый капитан. — Участковый пусть останется с «трупниками». Сумка с водкой у меня! — важно скомандовал он и обратился к Павлу с Егорычем. — Ребята, как закончите, приходите, ждем. А изба у вас отдельная, отдохнете.

Появился еще один полицейский, невысокий, карлик по сравнению с белоусым.

— Участковый уполномоченный Шибаев прибыл на помощь трупн... извиняюсь, патологоанатомам.

— Это хорошо, что прибыл. Ты людей мертвых видел? — выкладывая инструменты из сумки, спросил Анатолий Егорыч.

— Это сейчас ко мне вопрос был? — начал заводиться Шибаев. — Да я в Чечне был!

— Тогда писать будешь, а я диктовать буду. Павел мне помогать.

Втроем пошли в баню. Сумрачное нутро ее еще хранило остатки тепла. Мокрый пол с бледно-зелеными листами березы успел остыть. На грубом деревянном полке лежал голый мужчина. Участковый встал в углу бани, опираясь на стену, стараясь не глядеть на труп. Анатолий Егорыч и Павел возились с электрическим кабелем, затем раздался металлический вой — патологоанатомы принялись за работу.

С хрустом прошел триангулярный разрез грудной клетки.

— Пиши! — Егорыч начал диктовать: — Мужчина тридцати пяти лет, плотного телосложения. Кожный покров без ссадин, порезов.

— Без чего? — переспросил участковый.

— Без ссадин и порезов, — с удовольствием повторил Егорыч. — Руки и ноги расправлены, отмечается закоченение конечностей. Имеются синие трупные пятна. Рот раскрыт, глаза закрыты.

Монолог Егорыча снова нарушил вой пилы, — Павел принялся разрезать черепную коробку.

— Паша, ты не спеши, мы все успеем.

— Анатолий Егорыч, я подготовлю. Хочется успеть пораньше.

С глухим звуком резиновой присоски отпала тяжелая скорлупка черепной коробки. Тут же растянувшаяся кожа головы накрыла лицо трупа. Из головы Павел отделил мозг.

— Тысяча четыреста пятьдесят грамм, Анатолий Егорыч.

— Хорошо, Паша, теперь сделай разрезы на предмет нарушений.

Тонкими дольками человеческий мозг, где, казалось бы, когда-то жили мысли, память человека, все его надежды и страхи, нарезался на кусочки, похожие в разрезе на белый гриб. Часть мозга отправилась в пластмассовое ведерко. Затем Павел принялся за сердечную мышцу.

— Сердце увеличенное, — продолжил Егорыч. — Второй желудочек гипертрофирован... Пишем. Участковый ты успеваешь?

На вопрос ответа не последовало.

— Шибаев?

В углу бани лежал бледный полицейский, около него валялась планшетка. Павел подошел, взглянул на текст.

— Анатолий Егорыч, он на мозге выключился.

— Оно и понятно. Не каждый вынесет увиденный голый мозг, хоть и на войне был, но тут у кого как.

Отяжелевшего участкового вынесли в предбанник, привели в чувство нашатырем. Откашливаясь, тот открыл глаза.

— Что случилось? — просипел Шибаев.

— Не выдержал ты, друг, маленько. Но ничего, не переживай. Попей воды и ступай домой.

Участковый покинул баню. Павел озабоченно посмотрел на его шатающийся силуэт.

Темной струйкой кровь с живота просочилась на пол.

— Паша, пиши, я все сделаю, — спокойным голосом произнес Егорыч. — Легкие имеют следы жидкости, гортань так же в жидкости. Это, Паша, асфиксия. Никакого криминала. Задохнулся он.

Пытливый Егорыч констатировал верный диагноз. Вечером этот Иван парился в бане, в надежде отойти от похмелья, привезенного из Ханты-Мансийска. Повод у него был «существенный» — он героически вытерпел муки мочекаменной болезни и обмывал победу со своими приятелями. Как закончились деньги, поехал домой. Вдоволь напарившись и выпив все запасы домашнего спиртного, отправился в магазин за добавкой. Юный лед, сковавший глубокую лужу, выдержавший шаг поскользнувшегося человека, под его тушей ослаб и продавился, в эту лунку Иван и нырнул лицом. Теперь его тело лежит в той самой бане, где день назад он пытался выдавить хмельную хворь.

Закончив с покойным пациентом, дождались прихода фельдшера Василия.

— Отчего он помер? Известно?

— От пьянки он помер.

— Это пациент мой, конкременты почечные были у него.

— Нет, брат, не твой случай.

— А досадно мне, что он помер, — вздохнул фельдшер.

— Я тебя здесь раньше не видел, — заметил Егорыч. — Ты тут, поди, новенький?

Ответа не последовало. Фельдшер в глубокой задумчивости смотрел на своего бывшего пациента.

* * *

Дым печных труб тянулся к небу и наполнялся серебром бледной луны. Ясное небо отражалось искрящимися звездами на зеркальной глади Иртыша. Ветер стих. Пар дыхания, танцуя, растворялся в промозглом воздухе. Пахло наступающей зимой. После позднего ужина Павел и Анатолий Егорыч расположились в одном из домов. Хозяин был приветлив и выделил отдельную комнату с добрыми кроватями, застеленными толстыми одеялами. Но сон не шел. Извертевшись, Павел повернулся к кровати коллеги.

— Ведь народ спивается, Анатолий Егорыч!

— Спивается и кончает с собой в лужах всяких! — охотно откликнулся тот. — Родился, жил и помер — за собой, кроме бед, ничего и не оставил.

— Как глупа смерть-то у этого человека.

— Смерть, Паша, уже и так устала собирать плоды нашей глупости, поверь мне. Я наркологом начинал.

— Как наркологом?

— Лечил людей от пьянки и наркоты. Думал, что у меня все получается. Любил свою работу. А у самого... Сын у меня... от героина. Не уберег. Перестал в себя верить. Зачем лечить людей, если они сами хотят умирать. Пошел в «трупники», — голос у Егорыча тихий, безэмоциональный, но Павлу казалось, что старик сейчас закричит. — Долго пытался забыться в вине, но не смог самого себя убить. Опыт наркологии тоже пригодился. Пару методик разработал. Но интереса к реализации не испытываю. Пусть мои приемники методы испытывают. А мне людей хоронить уже тоже надоело.

— И что вы дальше будете делать?

— Пчел заведу. На природе жить буду. Природа — она вечна. А человек нет.

— Вы сегодня ведь не пили, а мне все говорят, что вы пьете.

— Я пил — что труд мой никому не нужен был. И не было умных глаз, чтоб меня заменили.

— А сегодня чего не пили?

— Уже той тоски нет. Уже все хорошо.

— То есть, вы нашли те самые глаза?

— Всё может быть, Паша, всё может быть. Понимаешь, наша работа очень простая: она заключается в том, чтобы считать и понимать, отчего стадо падает. А теперешняя медицина всех хилых овец готовит для нашего подсчета. Вот и вся логика.

— Но ведь так нельзя же. Должно же быть спасение!

— Всё может быть, Паша, всё может быть.

Тихий мрак ночи рассекла яркая вспышка. Вздрогнули на столе стаканы из-под выпитого чая. Подул ветер, забарабанил град по крыше. Анатолий Егорыч поднялся и открыл окно. Вскоре вспышки прекратились, все стихло, и темень снова съела дома.

— Поздней осенью — гром? Разве такое возможно, Анатолий Егорыч?

— Всё может быть, Паша, всё может быть. Воздух-то какой хороший, свежий. Хорошо-то как!

— А скажи, Егорыч...

— Спи, Паша, спи...

* * *

В дверь кабинета постучали.

— Войдите, — откликнулся Павел.

Вошел рабочий, которого Павел давно знал. Но теперь тот смотрел на него с некоторой робостью.

— Здравствуйте, Павел Николаевич. Вам велено передать бумаги. И табличку я уже прибил.

— Какую табличку?

— Вы потом посмотрите.

Рабочий подхватил стремянку и удалился. Павел взялся за принесенные бумаги — кипа, а сверху записка. «Ничто не имеет начала и конца, лишь продолжение! Твой друг Егорыч», — прочел Павел.

В стопке бумаг — химические формулы, методы дезинтоксикации и описание глубинных процессов по токсинам. Чем более Павел углублялся в чтение, тем более смятение овладевало им. Он вышел в коридор, но дверь кабинета Анатолия Егорыча была заперта, табличка снята. Павел стоял перед этой дверью и корил себя — закрутился, забыл, мог же хотя бы позвонить ему, узнать, что да как... Павел повернулся и с удивлением уставился на новую табличку, висящую на дверях его кабинета:

«Заведующий отделением токсикологии Андреев Павел Николаевич».

— Что ж ты за мудак, Павел Николаевич, — удивленно воскликнул Павел. — Егорыча забыл. А где он, что он сейчас?

Егорыч не брал трубку. На работе его не видели. Узнав в отделе кадров адрес, Павел отправился к коллеге. Дверь квартиры заперта, на звонок никто не отвечает. Павел отчаянно позвонил в другую соседскую дверь, никто не открыл. Затем позвонил этажом ниже. Дверь открылась, показался коренастый мужчина.

— Я вашего соседа ищу, Анатолия Егорыча.

— Это какой такой еще сосед?

— Из пятнадцатой квартиры.

— Увы, молодой человек, знать такого не знаю.

Отворилась соседская дверь. Вышла женщина с мусорным ведром.

— Мне бы Егорыча из пятнадцатой.

— По имени не знаю, кто такой. Но вчера уже уехали полицейские и труповозка. Выносили деда какого-то седого на носилках. Но неживой, точно неживой.

Ангелы

В фельдшерском пункте вяло трещали в печи дрова. Заканчивался тихий рабочий день. Василий откровенно бездельничал, читая прессу, потерявшую актуальность еще более недели назад. Заголовки газет клятвенно заверяли о скором благополучии и необходимости еще немножечко потерпеть. И вновь потерпеть. Глядя на статьи, фельдшер иронично улыбался. Медицина во все времена чувствительный показатель, по ее состоянию можно без особого труда понять текущее положение и верность прогнозов. Поступление препаратов было скудное, львиная доля запасов пополнялась в вылазках в окружную аптеку, да и то за свой счет. Из всех новинок, что заботливо прислало государство в забытую богом деревню, — кардиограф и санитарная машина, произведенная при Советах.

Тянулась пустопорожняя неделя. Инъекции плановых пациентов — вот и вся работа. Однако пьющий в праздники по семь-восемь дней народ всегда что-то преподносил.

За окном вспыхнули желтые огоньки. Слышно было, как то и дело животно взрёвывал какой-нибудь «бугай». Веселый народ! Сделали из большой консервной банки и куска бельевой веревки незатейливый инструмент и гундят по дорогам так, что и сюда доносится.

Раздался глухой стук в массивную дверь, обитую одеялом. Вбежал низкорослый щупленький мужчина, бедно, но тепло одетый. Тихон, послушник при местной церквушке.

— Тихон, что случилось? — вскочил из-за стола Василий.

Тихон, ища иконы, забегал глазами, а потом замычал тревожно и стал разводить руками. Он был немым с рождения.

— Эх, Тихон. Твое му-му я не пойму.

Мужичонка схватил фельдшера и потащил на улицу. Во дворе фыркала паром темная лошадь, позади нее в полумраке виднелись нехитрые сани, устланные сеном. На санях, охая, лежал мужчина. Василий узнал местного священника.

— Ох, ё-о... простите за выражение! Митрий Никитич, что у вас случилось?

— Вася, умираю я, грудь жжет, дышать не могу, воздуху не хватает, — хрипел священник.

Василий и Тихон поволокли попа в помещение.

Хрип Митрия Никитича все более усиливался, в глазах стоял страх. Тихон, мыча, вытирал ему слезы снятой шапкой, держал за руку. Взгляд Митрия обратился на лицо Тихона. Тихон поднял голову. Большая слеза потекла по щеке.

— Ну, всё, Тихон, похоже, моя земная жизнь кончается.

— М-м-мы, — протянул Тихон и тоже заплакал.

Стенания резанули фельдшера, как скальпелем.

— Митрий, мы еще за тебя поборемся! — оттолкнув Тихона, Василий принялся раздевать пациента. — Нет, твою мать! Не отдам я тебя! Все нормально будет, увидишь!

На побелевшее, покрытое от холода пупырышками тело прилепились присоски кардиографа, заскрипели по бумаге иголочки, рисуя линии. Взглянув на показания, Василий тихо цокнул языком.

— Беда, Митрий, миокард у тебя.

— Помру я, Василий?

— Не в мое дежурство, не в мое...

Отшагнув от пациента, Василий судорожно отыскал на полке три пузырька, жадно набрал в шприцы жидкость, не теряя минуты пронзил вену и ввел препараты.

— «Рибоксин» сердцу поможет, «Реланиум» тебя немного успокоит, а «Гепарин» тромбы рассосет. Не переживай, вытащу тебя. Это же классический случай!

Дыхание Митрия Никитича выровнялось, хрип стих, на лице постепенно проступала безмятежность. Тихон рухнул на колени и посреди комнаты начал мычать, протягивая к потолку сложенные ладони. Затем, судорожно оглядываясь по углам в поисках чего-то, достал нательный крестик и продолжил поклоны.

— Ну уж извините, икон у меня нет! — с досадой произнес фельдшер.

— Неважно, есть иконы в доме или нет, главное, чтобы бог был внутри человека. А икона — это лишь образ, — улыбаясь, шепотом произнес Митрий Никитич.

— Ну, если бы я в бога по-вашему верил, то уже махнул бы на тебя рукой. Мол, на всё воля божья, — Василий отошел в покосившийся тамбур и закрыл за собой дверь. Затем достал мобилу и, отерев пальцы, набрал номер.

— У меня тут инфаркт на фоне ИБС. Мужчина, шестьдесят два года. Синеет уже. Хрип, боль в груди... — Василий смотрел в ночное окно и прислушивался к телефонной бездне. — Уже! А молодцы, что оповестили. Скорее тогда! Какого? Садитесь на Иртыш. Повторяю — на Иртыш садитесь! Фонарем посвечу... говорю, фонарем. Занесло нас, буханка наша не проедет.

— В Рождество ворота в рай открыты, я уйду спокойно, — говорил Никитич, поглаживая место укола.

— Митрий, ты еще поживешь, вот посмотри свою кардиограмму, она же лучше прежней. И хрип ушел. Сил набирайся, сейчас на вертолете полетишь. А там, в центре, тебя подлатают, и будешь как новенький.

— На праздник объелся я, Василий. Оттого и тошно и тяжко стало. Вина не пил, только сытно ел. Не грешил, праведный образ жизни вел, а в праздник брюхо набил. Стало быть, грех чревоугодия, бес попутал, с благого пути сбить хотел, видать.

— Ну, тут, Митрий, и религия ваша, и наука заодно, — больному есть много нельзя, нагрузка на твое больное сердце, так можно и богу действительно душу отдать.

— А сердце у меня не больное, а полное печали за сумасбродство народа нашего, оно у меня за них болит, а не за себя.

— Ну, уж столь свят, то жить долго будешь, Митрий.

Разговор оборвал телефонный звонок.

— Тихон, готовь лошадь, сейчас поедем. «Санитарка» не пройдет, снегу много.

Ясное лунное небо, сверкая точками, освещало белизну покрова, настеленного на рождественскую землю. Вдалеке были слышны звуки праздника: подвыпившие голоса, салютная стрельба, музыка. Василий хлопал по незадачливому карманному фонарю, выключатель которого то и дело заедал.

— Ну вот, мои ангелы летят, чтоб меня забрать, Господи Христосе! — благостно прошептал Никитич.

— Митрий, погоди ты с ангелами, это вертолет летит. Сейчас посвечу, и сядет. Только фонарик барахлит: то ли батарейки, то ли выключатель. Гребаный Китай.

— Не сквернословь... А лучше молитву вознеси.

Фонарик вдруг вспыхнул, выхватывая светом куски пространства. Гул вертолетного двигателя приближался. Поднималась и слепила снежная взвесь. Усевшееся судно окутали клубы снежного тумана.

— Вот они, твои ангелы, Митрий. Теперь ты, как у Христа за пазухой. До скорого! Будь здоров!

Выбежали санитары в теплых белых одеждах, переложили пациента на носилки.

— Чего у вас тут?

— Инфаркт. Документы я приготовил, вот они.

— А больной кто?

— Поп местный.

— И они тоже болеют? Охренеть! Извините, батюшка, походу, бес попутал.

Рев вертолета усилился, и судно стало неловко подниматься, постепенно сливаясь с темнотой неба. На берегу Иртыша, подняв головы, стояли два человека и лошадь.

— Во, блин, снова потух фонарик, мать его в сику! — ругнулся Василий.

Тихон, мыча, указательным пальцем потряс около губ.

— Ладно, Тихон, не буду. Поехали по домам, поздно уже. Вернее, рано.

Спалось Василию тревожно.

* * *

А в церквушке горел свет. Тихон бил пол немыми молитвами. В эту ночь он не спал.

* * *

Взошло солнце, отогревая окоченевшую от мороза землю, переливаясь радугой в отраженных снежинках.

Разбитый, не проспавшийся фельдшер пришел на работу. Около двери топтался Тихон со свертком в руках.

— Что это?

Тихон бережно раскрыл полотенце и показал икону.

— Я понял, Тихон, спасибо.

* * *

А фонарик с новыми батарейками так и не заработал.

Человек-медведь

Лупил вечерний дождь. В салоне вездехода глухо тарабанил двигатель. Коротенький дворник скрипел по стеклу. Пахло соляркой, горчило маслом и потому пассажиры время от времени открывали двери — в них летели капли дождя и куски торфа.

— Дык чего ты там говорил про этого медведя? — крикнул Шибаев на ухо старому ханту.

Хант, убаюканный качкой, округлил глаза и, помолчав немного, ответил:

— Он еще не медведь, но уже не человек.

Участковый нахмурил лоб, уставился на ханта и толкнул фельдшера в бок.

— Слышь, Айболит, ветеринаром будешь?

— Да хоть гинекологом, только спать дайте! — огрызнулся тот сквозь дрему.

— Опять не спал всю ночь? — Шибаев продолжал подтрунивать.

Фельдшер поднялся, открыл сонные глаза, зевнул.

— Ну, типа того. Долго еще телепаться в этой коробке?

— Уже скоро, ага, — хант посмотрел в окно.

Болотоход вскарабкался на крутой лог, развернулся, громко рыкнул, испустив клубы дыма, и замолк. Шибаев спрыгнул, поправил фуражку, огляделся.

— Люки законопатить! Места глухие, не хочется из-за пропавшего аккумулятора пешком домой топать, — затягивая ремень с кобурой, добавил он. — Дед, сколько шел до нас-то?

Хант — мужичок низкого роста со скрученной спиной и обвисшей, будто моржовой, кожей на лице. Он упал на мокрую землю и замер. Мужики переглянулись

в недоумении. Шибаев подошел к старику, вытянул руку для толчка, но водитель ГАЗушки Ринат его остановил. Шибаев выпучил глаза. Водитель поднял палец и поднес его к губам:

— Не мешай, да, — ритуал у них такой, духов за нас всех просит, чтоб не остались здесь.

— Чего мне бояться, нас тут четверо, и оружие есть! Глупости все это, — скривился в усмешке Шибаев и махнул рукой: — Басни Крылова, да и только.

— Два дня и две ночи, — сказал вдруг хант, вставая с земли и отряхиваясь.

— Вот тебе делать нечего, дед, как по лягушкам топать?

Старик помолчал, встретился с участковым взглядом, ответил:

— В человека дух вселился, кто его убьет, в него этот дух и переселится. Беда!

Шибаев от ответа изменился в лице, пропала улыбка, забегали глаза, но через секунду вновь выправился.

— Бабке своей эти сказки загоняй!

Василий поднял мешок, взвесил его, оставил, а потом взял другой, что был поменьше.

— Вот, дед, держи, полегче вроде будет, — сказал он, протянув мешок ханту.

Старец окинул Василия доброй улыбкой.

— Спасибо тебе, добрый человек, только я не дед.

— Как не дед? — удивился фельдшер.

— По-вашему, я Арсений, мне тридцать две зимы, — хант, не переставая улыбаться, принял мешок.

Вместе они поднялись на пологую гору. Тяжело под дождем шумела тайга. Играл озорной ветер: с листвы падали капли, волновалась высокая болотная трава.

— Знак хороший, — сказал Арсений.

— Чего ж тут хорошего? — возмущался Шибаев. — Сапоги на половину в глине, еле шаг делаешь.

— Тайга вас приняла, помогать нам будет, — ободрил путников Хант. — Скоро на стоянку придем. Ночь спать будем.

Глина сменилась дерном, затем зеленой травой, идти стало легче. Пройдя очередной склон, они увидели хантыйскую стоянку: три юрты, два костра и пасущиеся олени. Навстречу вышел кривоногий и худой парень с длинным ножом на ремне. Осмотрев путников, он остановился взглядом на Шибаевском ПМе, улыбнулся и принял мешок у Арсения.

Ханты о чем-то бегло поговорили на своем языке, парень пальцем указал на ремень Шибаева и засмеялся, но старец покачал головой и показал на Василия. Парень вытянул лицо и замолк; постояв немного, побежал к юрте, приподнял шкуру и крикнул туда. Никто не вышел. Он посмотрел на старика, тот махнул, и парень отошел от юрты. Шибаев выпустил мешок, схватился за кобуру, но та не открывалась. Потянулся двумя руками — бесполезно. Тогда, быстрым движением снял кобуру с ремня, дернул замок и достал пистолет. Парень недоуменно посмотрел на Шибаева, что-то пролепетал по-своему старику и потянулся к ножу.

— Оружие убери, нет там человека-медведя, там охотник, — спокойно сказал Арсений.

Парень замешкался секунду, но, завидев знакомый жест старика, задвинул нож.

— Предупреждать надо, а-то духи, медведь... и еще бормочете по-своему, не разобрать, — ругнулся Шибаев, пытаясь запихнуть в непослушную кобуру ПМ, смахнул рукавом выступивший на лбу пот.

Хант развел руками.

Шибаев широко зашагал к юрте, постоял у нее немного, оглядел стоящих, хмыкнул и скрылся в тень. Спустя две минуты вышел на улицу и позвал фельдшера.

— Успокоительное у тебя есть? — спросил шепотом.

— Есть, сейчас дам, он совсем худой? — копошась в ящике, обеспокоился Василий.

— Мне сначала, потом этому чудику, — продолжил шепотом.

— А тебе зачем? — улыбнулся фельдшер.

Шибаев ничего не ответил, взял протянутую таблетку, сунул в рот, сглотнул несколько раз.

— Ну, чего встал? Иди, там псих тебя ждет, — скомандовал он.

Василий поднялся, посмотрел на Шибаева, затем на Рината, на пляшущие языки костра, вздохнул и вошел в юрту.

Там под тяжелыми шкурами трясся кто-то бородатый, длинноволосый. Он пытался пить молоко, но оно проливалось по краям рта. Это, конечно, был человек. На шее краснела повязка. Человек казался простуженным: его бил озноб. Маленькие черные прыгающие зрачки в больших белых глазницах. Он что-то ритмично, но слабо бормотал.

Василий спокойно подошел к охотнику, но все нутро его противилось. Такое было с ним впервые: тело мелко заколотило, спина взмокла от мгновенно прокатившегося страха. От напряжения он сглотнул подступающий к горлу ком и опустил медицинский ящик на землю.

Подойдя ближе, он смог расслышать слова: «адведь, едь, адведь...» Фельдшер схватил лицо охотника, не заметив реакции глаз, достал шприц, набрал ампулу, стравил воздух, воткнул в тело иглу. Тот от укола дернулся, но тут же замер. Василий убрал шприц, обнял голову пациента, как это делает мать с перепуганным ребенком, поглаживая волосы зашептал: «Ну, всё! Будет, сейчас отпустит».

Через некоторое время содержимое ампулы с бело-зеленой этикеткой «Эглонил» начало работу: охотник отходил от озноба, ритм фразы рвался, пульс выравнивался. Василий поглаживал его. Необъяснимым образом пациент в руках будто передал тяжесть страха своему спасителю и, сбросив тяжелую ношу, провалился в сон. К нему потянулись две прозрачные трубки капельниц.

— Ну всё, перекур! — сам себе сказал Василий.

Перед костром сидели Шибаев и Ринат, о чем-то громко шутили. Василий подошел к костру, сунул ветку и подкурил от нее.

— Ну, чего там этот человек-медведь? Совсем сбрендил? — у Шибаева кружка в руке.

Василий выпустил облако дыма. Ринат глянул на него и вопросительно шлепнул ребром ладони по горлу.

— Шибаев, вот ты дурень, — после успокоительного алкоголь! — ругнулся в сигарету Василий.

— А так даже лучше! — отмахнулся Шибаев. — А то от ваших сказок сам заговариваться стану!

Василий смотрел на пламя, оно танцевало, выхватывая лица из бледной темноты белой ночи.

— Вот что я вам скажу, человек этот с приступом испуга, истерия приключилась, — задумчиво сказал он.

— Как это?

— Ну, что-то его напугало до чертиков. Я такого раньше не видел. Но вот странное дело, кожей его страх понимаю. Боится он чего-то или кого-то, — растягиваясь на земле, заключил фельдшер.

Шибаев приподнялся.

— То есть, этот чудик не тот человек-медведь? — в его голосе забегали нотки страха. — А тогда где он?

Позади послышался едва уловимый хруст надвигающихся шагов. Все тут же замерли. Шибаев пощупал себя по боку, не найдя кобуры, подпрыгнул.

— Нет, это не человек-медведь, — сказал Арсений, протягивая Шибаеву черный треугольный предмет.

Шибаев робко протянул руку и принял кобуру. Проверил пистолет, наличие патронов — всё было на месте. Громко выругавшись, замолчал.

— Тебе мой сын Альвали не доверяет, говорит, ты человек хороший, но связался с сильными духами зла, — присаживаясь, объяснил старик.

Шибаев выдохнул, задвинул на лоб фуражку и, шипя, протянул: — Еще раз кто-нибудь табельное тронет, то я!..

— То что ты сделаешь? — спокойно спросил старик и, не дождавшись ответа, добавил: — Будь осторожен.

— Он проспит часа два, не больше, — кидая окурок в костер, сказал Василий. — Проснется, покрепче будет, тогда и узнаем, что случалось.

Арсений вынес вяленого мяса, Ринат приготовил чай. Перекусили. Из юрты послышался шорох. Все разом поднялись и настороженно направились к ней.

На шкурах сидел мужчина, он был слаб и худ. Арсений крикнул что-то и через миг Альвали принес миску оленьего молока. Мужчина жадно глотал содержимое миски, не проливая ни капли. Вытерся, откашлялся, протянул руку и хрипло пробасил: — Дима.

Дмитрий поведал свою историю. Приключилось все неделю назад. Собрались знакомые охотники отдохнуть в лесу. Все они были городские, из одной организации. Подали заявления на короткий отпуск. Не без труда, но их отпустили. Сыграло обещание привезти трофеев из леса. Один из охотников прихватил с собой сына двенадцати лет. Добрались с геологами, договорились, что через пять дней те вернутся. Поселились в избушке на высоком логу. Рыба шла, дичь били. Все было хорошо, но в один день случилось то, что навсегда изменило их.

Утром один из охотников заметил свежий лосиный след и предложил тропить добычу. Все вместе отправились в лес, оставив мальчишку на берегу — удить рыбу, знатно у парня это дело получалось. Долго они лося выслеживали, но его след потерялся. Досады не было предела, старший ругался, обвинял всех. И вдруг на шум вышел медвежонок и уселся перед охотниками, внимательно принялся их разглядывать. Но держался на расстоянии — охотники к нему, он от них, они отходили — медвежонок не отставал. И взял азарт верх над старшим из них, наставил ружье да нажал курок. Медвежонок проурчал, упал. В кустах захрустело, но вскоре стихло. Довольные охотники разделали добычу, рассовали мясо и шкурку в мешки. Потом пошли к избушке. Подтрунивали друг над другом. Особо весел был старший, звали его Вадимом. А сына его — Ярославом, стало быть, звали Яриком.

Как до избушки дошли, Вадим кричит сына, похвастаться трофеем. Сын поднялся с берега и бежит к отцу. Тут в кустах у берега поднялся шум — на берег большая черная медведица вмиг выпрыгнула, схватила пацана пастью за шею и уволокла вверх по течению.

Охотники бросились заряжать ружья. Отец кинулся догонять медведицу, даже не взяв ружья. Он бежал, кричал, тропил по следу, но тщетно — в траве след сошел. От горя отцу места не было, он вернулся в избушку, молча взял капканы, ружье, снарядил патронов и исчез в лесу. Охотники хотели остановить его, но горе добавило нечеловечьих сил — рыча почти по-медвежьи, он растолкал их и ушел.

Прошло двое суток: ни отца, ни мальчонки не было. Охотники ходили по лесу в поисках, но ничего не удавалось найти.

В один из дней, когда пошли вновь на поиски, они о чем-то говорили и не услышали, как из-за куста что-то ударило Дмитрия по голове, и он упал. Отходя от удара, услышал рык, а как зрение начало проясняться, увидел, что его друга едят. Страх быстро вернул ему силы, и он смог приглядеться — на четвереньках рвал зубами человеческую плоть, громко рыча, человек. И этим человеком был Вадим. Опешив от увиденного, Дмитрий из последних сил выдавил из себя имя друга, но тот, услышав шум, быстрым скачком с четверенек бросился на него, вцепился в горло. Все в глазах сделалось темным, силы ушли.

Пришел в себя Дмитрий в землянке, прикрытый кусками человеческой плоти. Покинув берлогу, он побежал что было мочи вниз по реке. Сердце бешено билось, голова отяжелела, страшно хотелось пить. Он упал от слабости на землю, подполз к берегу, принялся руками загребать воду, жадно ее пить, как из воды прямо перед его лицом что-то поднялось. Из-под коряги всплыло частично лишенное кожи вспухшее тело Ярика. От ужаса Дмитрий хотел было крикнуть, но вырвалось вдруг: «Адведь, едь, адведь».

— И сколько ты времени шел до Арсения, ну, досюда? — ошарашено спросил Шибаев.

— Не знаю, я даже не знаю, спал ли я, или же все это мне снится, — уставившись в невидимую пустоту, ответил Дмитрий.

— Ну, стало быть, это обычный людоед, а не медведь, — поднялся Шибаев и осмотрел всех вокруг. — Тогда будем брать, чего делать-то?

— Но с медвежьей силой этот человек, — сказал Арсений.

Услышав Арсения, Дмитрий замолчал и будто одеревенел.

— Ребята, психотравма у человека, идите на улицу, он еще слаб, — скомандовал фельдшер. — Давайте-ка, вон отсюда!

После укола Дмитрий уснул, во сне был безмятежен и, похоже, отдыхал в первый раз за время скитаний. Чтоб не нарушать покой больного, Василий, Ринат и Шибаев уселись на лежаках из шкур около юрты. Они молча смотрели на небо и каждый думал о чем-то своем. И каждый из них задавался вопросом о пределах нашего разума и как он может помутиться от горя. Стояла тишина, изредка пофыркивали олени, костер стих и готовился истлеть.

— Как ты думаешь, его можно будет вылечить, когда мы поймаем? — спросил Ринат Василия.

— Это вопросы к психиатрам, я-то обычный сельский фельдшер, но думаю, что нет, — не поворачиваясь, ответил фельдшер.

— Я вот боюсь, как бы башкир палить не начал. Если чего, просто не убил бы его, если поймаем, конечно, — сказал Ринат.

— А ты сам-то не башкир? — буркнул Шибаев.

— Нет, я татарин.

— Ну и спи тогда, татарин.

Ринат и Шибаев заснули: Ринат храпел, Шибаев дергался во сне. Василий не мог уснуть, он уже давно не мог спать ночью — то мысли, то пациенты.

Захрустела трава, послышались мягкие шаги. Олени замолчали. Тревожная тишина зазвучала в ушах. Василий вжался в шкуры.

— Не спишь, лекарь? — протянул Арсений.

— Ну тебя, напугал. Чего крадешься? — фыркнул Василий.

— Сон хрупок, не хотел будить, но я знал, что ты не спишь, — присаживаясь рядом, шепотом сказал Арсений.

— Я вот все думаю, откуда ты все знаешь, — и про этого человека в горе, и про этого Диму, и как ты два дня шел, — приподнялся фельдшер. — Откуда? Ответь мне!

— Знать необязательно, нужно слышать. Духи, природа... они разговаривают с нами, а мы не слышим, надо слушать. И всё. Они про тебя тоже много чего сказали. Они смотрят, они говорят, они помогают. Спи, хороший человек. Завтра у тебя будет тяжелый день.

— Погоди, я толь... — Василий огляделся, но никого не увидел.

Наутро, подкрепившись, все трое в сопровождении Альвали выступили к месту, указанному Дмитрием. К той самой берлоге.

Альвали искусно находил тропы, вел к ручьям, отгонял ядовитых змей. Идя вдоль опушки, он вдруг напрягся, пригнувшись, достал нож и, подойдя к высоким травяным зарослям, тихо поманил путников. В траве лежала большая черная медведица с глубоким порезом на груди. По оставленной крови на траве Василий предположил, что она мертва сутки как.

— Стало быть, достал он ее. И, значит, сам неподалеку, — передергивая затвор, шепотом сказал Шибаев.

Ринат побелел. Альвали передал Ринату палку с привязанным острым ножом.

Они крались вдоль чащи, шаг в шаг. Было так тихо, что можно было услышать дыхание впередиидущего. За деревьями показалась черная нора. Альвали ножом указал на нору. Все одновременно почувствовали напряжение. Шибаев стоял весь мокрый от пота, Ринат тряс в руках палку. Василий присел на корточки. Вперед пошли участковый и паренек.

Через дюжину метров на них выскочило нечто белое, быстрое: оглушило Альвали, Шибаев пальнул, но был откинут. Его пистолет отскочил в траву. Нечто на четвереньках прыгнуло в нору и там затаилось. Василий повернулся, но Рината не было, на земле лежала палка с торчащим ножом.

Он достал приготовленный шприц. Подойдя к лежащим, знаком показал не шуметь, и пошел к норе. Сзади послышалось: «Ты куда прешь, идиот!?»

Подойдя к норе, Василий остановился, прислушался. Оттуда исходил рык, временами срывающийся на плач. Отчего-то страха не было, и что его вело, он по сей день понять не может. Присел у входа в берлогу, достал сигарету, закурил, затянувшись пару раз, сказал:

— Вадим, я знаю, ты еще человек. Ты плачешь человеком, злишься зверем, но врага твоего уже нет, — со спокойной торжественностью уговаривал Виталий. — Ты его победил. Мести больше нет. Сын нашелся. Отпусти зло. Я доктор, это лечится, — Василий затянулся и как-то залихватски выпустил дым. — Останешься зверем, так знай, я тебя не боюсь.

Со стороны выглядело странным: врач перед логовом зверя сидит и спокойно беседует с одичалым людоедом. Кто из них был в этот момент разумнее?

Наверное, Шибаев, который направил на берлогу ПМ и разрядил наугад всю обойму. Пещерка была маленькой, раза три он точно попал. Все было кончено.

Потом на это место зачастили службы, поднялся шум, о случае прознали журналисты. Вышли желтые статьи, но ни в одной из них, конечно, не было ни слова правды.

Джасур Исхаков

Ночь жёлтой луны

Рассказ

Ну и денек сегодня выдался! Мама в записке попросила Тимура сделать базар, приложив список и деньги, сходить в кассу заплатить за квартплату, навестить в больнице брата мамы Ахмаджон-ака. Кроме этого Тимуру пришлось выстоять очередь в плановом отделе, съездить в институт, получить справку в деканате, взять нужные книги в библиотеке. Все это было в разных концах города. А день, как назло, выдался жарким и душным. Ахмаджон-ака, лежавший в кардиологическом отделении 17-ой горбольницы, никак не хотел отпускать племянника, хотя Тимур объяснял ему, что может опоздать на поезд. Он вышел из ворот больницы и единственным его желанием было поскорее залезть в вагон, подняться на верхнюю полку и крепко заснуть.

...Он доехал на троллейбусе до привокзальной площади и быстрым шагом направился в здание вокзала. Зашел в вестибюль, сбежал по ступенькам вниз, но подземный переход был наглухо заколочен досками, где красовалась надпись: «Ремонт». Тимур поднялся наверх, вошел в зал ожидания, прошел на перрон через ресторан. На первом пути стоял скорый московский поезд. Оживленные пассажиры и провожающие целовались, прощаясь, весело переговаривались, слышался смех. Скрипели тележки шустрых носильщиков, проводницы торопили пассажиров, приглашая их пройти в вагоны.

...Это не был фирменный поезд. Тот состоял из темно-бордовых вагонов с надписью: «УЗБЕКИСТАН». Тимур вдруг с легкой грустью вспомнил, как они пять лет назад ехали в фирменном поезде в Москву. Ковровые дорожки в коридоре и купе, шелковые занавески на окнах, янтарный чай в мельхиоровых подстаканниках с рельефным изображением несущегося тепловоза. Приветливый проводник, молодая пара — соседи по купе, — очередь в туалет по утрам с зубными щетками и полотенцами через плечо, приятная музыка из динамиков. Как же это было давно и вроде бы совсем недавно! Кто знал, что это будет их первая и последняя поездка с отцом? Отец ехал на съезд работников легкой промышленности и взял с собой Тимура. На второй день пути они пошли в вагон-ресторан. Отец заказал для него бутылку лимонада «Буратино», а для себя сто грамм водки. Официантка в белом маленьком накрахмаленном

Джасур Исхаков родился в 1947 году в Ташкенте. Драматург, кинорежиссер. Автор рассказов и стихов, по его сценариям снято более тридцати документальных фильмов, шесть мультипликационных картин, ряд сюжетов для сатирического киножурнала. Живет в Ташкенте.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2019, № 10.

кокошнике улыбнулась и сказала: «Приятного аппетита!» Они ели вкуснейший украинский борщ с чесночными пончиками и котлеты с рассыпчатым рисом...

...Искаженный многократным эхом голос диктора вернул его в сегодняшний день. «Продолжается посадка на поезд "Ташкент—Кунград". Пассажиров просим пройти на четвертый путь!» Чтобы попасть на четвертый путь, Тимуру нужно было пройти весь перрон и еще три вагона, и поэтому он, как и многие, полез под вагон московского поезда, стараясь не порвать рубашку на спине. Потом пойти по скрипучим мосткам. Этот маршрут ему был хорошо известен. Последние три месяца он работал курьером в строительном поезде, который находился в длительной командировке, в строящемся молодом городе Навои. На эту работу его устроил Ахмаджон-ака, который до пенсии работал начальником в Стройтресте. И Тимура под свою опеку взял новый начальник Стройтреста. По трудовой книжке он числился помощником отдела снабжения. Но по сути, он был курьером и раз в десять дней обязательно ездил в Ташкент, в головную контору, передавая отчеты и другую документацию. А назад забирал распоряжения, приказы и чертежи. В прошлом году ему не хватило двух баллов для поступления в Политехнический институт. И он перевел документы на вечерне-заочное отделение по специальности инженер холодильных установок и вентиляционных систем. Начальник Стройотряда Абдумаджит Усманович особенно не загружал его работой, и в свободное время Тимур занимался, читал книги по будущей специальности.

...Поезд «Ташкент—Кунград» был полным контрастом Московскому литерному. Старые плацкартные вагоны, давно исчерпавшие сроки использования: мутные стекла, замызганные туалеты с черными от старости унитазами и раковинами, обшарпанный линолеум полов, худые матрацы и подушки с подозрительными пятнами. Ко всем недостаткам именно этот поезд был самым медленным на Средне-азиатской железной дороге. Он стоял на всех разъездах, пропуская вперед не только пассажирские, но и товарные длинные составы. Но Тимуру приходилось ездить именно им. Дело в том, что только этот поезд делал двухминутную остановку на малюсенькой станции Кермене. Она была ближайшей к городу Навои. Город еще не имел ни аэропорта, ни собственного вокзала. Перрон четвертого пути еще только строился, и поезд стоял, словно голый. Чтобы подняться с щебенки на решетчатую ступеньку подножки вагона, надо было сначала ухватиться за поручень, подтянуться, преодолеть три ступеньки и потом войти в тамбур. Даже для здорового человека это представляло немалую трудность. Пассажиры, ругаясь, влезали в вагоны. «Хоть бы ящик поставили, что ли!» — раздраженно говорил кто-то. Пахло креозотом, выхлопами тепловоза, дымком маневрового паровозика.

Тимур увидел у четвертого вагона странную толпу. Около дюжины пожилых женщин беспомощно и растерянно переминались с ноги на ногу на щебеночной платформе, ожидая своей очереди. Молодая женщина в черном заношенном халате и с косынкой на лбу кричала высоким раздраженным голосом: — Ну что, старая телега, давай, двигайся! Ногу поднять не можешь? — она пыталась подсадить довольно полную женщину, чтобы та дотянулась до первой решетчатой ступеньки подножки вагона.

— Прости меня, Зоенька, сил нету, — кряхтя и плача верещала старуха. Наконец ей удалось влезть на первую ступеньку, а из тамбура ее за руку уже тянули проводницы и молоденькая девушка.

— Давайте, давайте, Ольга Степановна! Вот и хорошо!

Старуху втащили в тамбур. Та выдохнула, перекрестилась. «Слава Богу!» — и скрылась в темноте вагона. А женщина в черном халате, вытирая со лба пот, уже подсаживала другую старушку.

— Ну давай, мать, опоздаем, поезд уйдет!

Рядом виднелась горка старых потертых чемоданов, больших узлов, мешков и ручная швейная машинка «Подольск». Старые женщины были одинаково убого одеты. На некоторых одежда висела как на вешалке. На других — наоборот, была тесной, словно с чужого плеча. Тимур прошел мимо. В нос ударил тот специфический запах, который трудно выветрить, — запах старости и нищеты. А женщина продолжала кричать:

— Ираида Семёновна, ну помогите же мне! Держитесь крепче! Зуля, чо рот раззявила, тяни же ее!

Тимур подошел к проводнику третьего вагона. Тот стоял, равнодушно наблюдая за посадкой в четвертый вагон.

— Можно я в вашем вагоне поеду? — спросил Тимур. — Я доплачу.

— Не получится, парень, комиссия из ОБХСС по дороге рыскает. Советую свое место занять, как в билете у тебя написано.

— А кто эти? — кивнув головой в сторону четвертого вагона, спросил он проводника.

— Дом престарелых переезжает. Куда-то под Бухару... Несчастные люди... — Он высыпал на ладонь насвай, закинул под язык и, уже шепелявя, добавил: — Не дай Бог до такого дожить...

Тимур вернулся к своему вагону. Осталось только пять женщин.

— Зоенька, ласточка ты наша, что бы мы без тебя делали? — причитала очередная старушка.

— Достали вы меня все! — раздраженно кричала Зоенька, подсаживая старушку в вагон. — Ох уж и костлявая ты! Одни ребрышки!

Ожидая в сторонке, Тимур закурил. В это время раздался голос диктора: «Поезд “Ташкент—Кунград” отправляется с четвертого пути через пять минут! Провожающих просим покинуть вагоны!»

— Вот зараза! — истошно закричала Зоя. — Что ты как столб стоишь? Кляча старая!

Тимур не выдержал:

— Что вы на них орете как собака?

Женщина оглянулась на него.

— Не вмешивайся, барчук! — зло крикнула она. — Лучше бы помог! Или испачкаться боишься?

Уставшая проводница волновалась:

— Ой, девочки, давайте скорее, отстанем же мы!

Тревожный тепловозный гудок словно подтолкнул Тимура. Он подошел и с легкостью подсадил одну из старушек. Проводница и молоденькая девушка тут же приняли ее. Вдвоем дело пошло быстрее. Тимур и та, которую он назвал «собакой», уверенно затолкали в вагон остальных женщин. Снова пронзительно прокричал паровозный гудок. Молоденькая девушка крикнула:

— Теть Зой, вещи-то, вещи остались!

Женщина бросилась к вещам. Подняла тяжелый чемодан. Тимур выхватил его из рук и передал наверх в тамбур. Так же цепочкой они перекидали мешки и узлы.

— Вот барахла-то набрали! — облизывая пересохшие губы, говорила Зоя.

Поезд дернулся и начал медленное движение. Они успели закинуть последнюю сумку. Поезд набирал ход. Тимур схватил за талию Зою, подсадил ее на подножку.

— Машинку, машинку забыли! — истошно закричала Зуля.

Тимур подбежал к стоящей на щебенке машинке, схватил ее и стал догонять, набирающий скорость вагон. Передал «Подольск» в руки женщины, подтянулся и запрыгнул в тамбур.

— Уф! — выдохнула проводница. — У меня чуть сердце не выскочило! Упал бы, — меня премии лишили бы!

Тимур, тяжело дыша, присел на корточки спиной к стенке тамбура.

— Спасибо вам, — негромко произнесла Зоя. Тимур поднял на нее глаза. Она виновато улыбалась. Тимур промолчал.

...Поезд ехал по пригороду. Место Тимура оказалось на боковой полке, наверху. Он расстелил матрац, по старой привычке достал из сумки майку и натянул ее на подушку вместо наволочки. И не из-за того, что было жаль рубля, а потому что белье здесь всегда неприятно сырое, пахнет хлоркой и еще какой-то химией. Почти все верхние полки трех отделений были пусты, потому что старые женщины не смогли бы на них подняться. И они сидели на нижних, прижавшись друг к другу, словно воробушки в морозный день. Поезд уже набрал скорость, стучал на стыках, мягко покачиваясь. Тимур отвернулся и провалился в сон...

Он проснулся от странных звуков. Посмотрел вниз. Зоя преобразилась. Вначале он даже не узнал ее. На лице был легкий макияж. Она сняла свой дурацкий платок, застиранный халат, который уродовал фигуру. На ней была облегающая шелковая голубая с белыми горошинами блузка, синего цвета спортивные брючки. На ногах — изящные босоножки. Зоя перемешивала с характерным звуком в банках баклажанную икру, накладывала на куски белого железнодорожного хлеба. Зуля разносила кипяток в разнокалиберных кружках и чашках. Проводница принесла заварочный чайник и кулек с сахаром, на обертках которого красовался несущийся локомотив. Она разбавляла кипяток крепким чаем.

— Берите сахарочек, бабулечки, — сердобольно приговаривала она.

Старые женщины жевали беззубыми ртами мякиш, намазанный икрой. Разворачивали сахар, причмокивая, сосали, запивая светлым желтоватым чаем. Зоя словно почувствовала взгляд Тимура и посмотрела на него.

— Присоединяйтесь, — приветливо сказала она. — Ну, спускайтесь к нам.

Тимур хотел было отказаться, но вспомнил, что не ел с самого утра, и под ложечкой у него засосало. Белый, с большими порами, с коричневой корочкой «железнодорожный хлеб» издавал изумительный запах. Он спустился вниз. Зоя протянула ему хлеб с икрой. Проводница принесла ему чашку чая.

— Берите, не стесняйтесь!

Тимур с аппетитом ужинал стоя, покачиваясь вместе с вагоном. Он даже не подозревал, что эта простая еда может быть такой вкусной. Одна из старушек, подслеповато глядя на него, тихо спросила:

— Вы... ты... не Костик?

— Какой тебе Костик? — раздраженно сказала Зоя. — Это совершенно посторонний человек! Совсем у тебя крыша поехала, Дуся!

— Похож очень... — виновато сказала старушка и замкнулась...

...За окнами стемнело. Тимур лежал, подложив руки под голову, глядя в потолок. На очередном разъезде поезд остановился.

— Ну что, девушки! — услышал он голос Зои. — Вечерняя спевка?

— Давай, Зоенька, попоем, — обрадовалась одна из старушек. — *Вот кто-то с горочки спустился. Наверно, милый мой идёт...* — Разнесся по вагону звонкий правильный голос Зои. И хор нестройных женщинских голосов подхватил ее: — *На нём защитна гимнастёрка, она с ума меня сведёт...*

Тимур посмотрел вниз. В этом отделении собрались все старушки переезжавшего дома престарелых. Они старательно выводили:

На нём погоны золотые
И яркий орден на груди.
Зачем, зачем я повстречала
Его на жизненном пути?

Зоя, как заправский дирижер, задавала ритм песни и практически солировала. Было в этом действии что-то необыкновенно трогательное. Стали подтягиваться и другие пассажиры вагона. Потом песня сменилась:

Огней так много золотых
На улицах Саратова.
Парней так много холостых,
А я люблю женатого...

Странный концерт продолжался. Вдруг из толпы вылез небритый, взъерошенный, плюгавый человек в грязной майке, рваном трико с пузырями на коленях.

— Эй! Вы дадите человеку поспать? Заткнитесь, старые задницы! Распелись тут, суки! — прохрипел он, дыша перегаром.

Тимур хотел было спрыгнуть вниз, но его опередила Зоя. Она подошла к алкашу и произнесла, четко выговаривая каждое слово:

— Ты, чмо, сейчас же извинись! Скотина!

— Я? Перед тобой, шаболда?

Неожиданно Зоя хлестанула его по щеке.

— Да я тебя зарою, сука! — заорал он.

Вложив всю свою силу, Зоя врезала ему второй раз. Тот отлетел в сторону, ударился головой о перегородку, из носа потекла кровь. Он хотел что-то сказать, но Зоя схватила его за шиворот.

— Не закроешь свой поганый рот, я тебя из поезда выкину! Понял?

— Да пошла ты! — сказал он, вытирая кровь с носа, и как-то бочком-бочком ушел в другой конец вагона. Пассажиры молчали.

— Оренбургский пуховый платок, — хладнокровно сказала Зоя. Поезд медленно тронулся. И словно в ритм движению, зазвучала песня. Но спокойно ее старые женщины не могли уже петь. Особенно на третьем куплете:

...Чтобы ты в эту ночь не скорбела,
Прогоню от окошка пургу.
Сколько б я тебя, мать, ни жалела,
Всё равно пред тобой я в долгу...

Некоторые всхлипывали, кто-то сморкался, а кто-то вообще замолк. Проводница, прикрыв рот ладонями, не в силах скрыть рыдания, стояла в стороне. Поезд набрал скорость, и песня закончилась.

— А теперь, мои девоньки, вечерние процедуры... Располагайтесь, как можете, — сказала Зоя и завесила двумя простынями нижнюю полку. Зуля занесла круглую коробку стерилизатора из нержавейки.

— Прокипятила? — строго спросила Зоя.

— Ну конечно, Зояпа, еще там, дома.

— Какого дома? Нет у нас уже дома! — с горечью сказала она.

— Зоенька, сделай мне укол ты... У тебя рука легкая, — попросила Дуся.

Зоя со шприцем зашла за занавеску.

— Ну, оголяйся, Дуся.

Зуля в это время раскладывала таблетки и пакетики с лекарствами.

— Ну, подходите, бабульки.

Они послушно глотали таблетки, запивали водой и отходили в сторону.

— Вот же несправедливость! — послышался голос Зои из-за занавески. — Лицо — как яблоко запеченное, а попа — как у младенца!

Все рассмеялись. Проводница выключила основной свет. Тимур отвернулся к стене. В горле стоял ком.

...Он проснулся от прикосновения чей-то руки. Глянул вниз.

— Извините, у вас нет закурить? — шепотом сказала из темноты Зоя. — Мои в сумке. Не хочу будить своих девушек.

— Конечно-конечно! — торопливо сказал Тимур. — «Родопи» курите? — доставая из сумки сигареты со спичками, спросил он.

— Да хоть «Памир», — тихо засмеялась она.

Они пошли по проходу вагона. Отовсюду слышался храп, мычание, кто-то постанывал во сне. Они вышли в тамбур. Тимур распахнул дверь, щелкнул замком, откинул металлический полик.

— Вот газета, — сказала Зоя.

Они присели, опустив ноги на решетчатую ступеньку. Ночной воздух, напоенный травами, полынью, запахом навоза, тепловозным выхлопом проникал в тамбур. Тимур протянул ей сигарету, зажег огонь. Пламя осветило лицо девушки. Она затянулась, выдохнула.

— Как хорошо! А то в вагоне душно.

Поезд проезжал какой-то длинный высокий забор. И когда он закончился, на горизонте показалась огромная луна. Она была зловещего желтого цвета... Поезд неторопливо ехал в ночи. Мелькали деревья, кусты, какие-то строения, далекие огоньки, а желтая луна двигалась вместе с поездом.

— Какая страшная! — тревожно сказала Зоя.

— Что? — не понял Тимур.

— Я не видела никогда такой луны! Она такая огромная!

Колеса стучали на стыках, скрипели сцепки вагона.

— Просто полнолуние, — успокоил Тимур.

— А луна похожа на лицо женщины. Правда? Вот глаза, рот.

Желтая луна не отставая двигалась вместе с поездом. В тамбур вошла Зуля.

— Принесла? — спросила Зоя.

— Да.

Зуля вытащила из пакета бутылку вина, два граненых стакана и бутерброды.

— Можно я с вами посижу? Тут у вас так хорошо, воздух свежий.

— Нет! — отрезала Зоя. — Иди спать!

Обиженная Зуля ушла. Зоя открыла вино, разлила понемногу.

— Я даже не знаю, как вас зовут? — сказала она.

— Тимур.

— А меня — Зоя! Ну, за знакомство?

Они чокнулись и выпили.

— Вы на меня не обиделись?

— Нет.

Они молчали, глядя на бегущую за поездом луну.

— У вас тяжелая работа, — нарушил молчание Тимур. — Зачем вы такую выбрали?

— А вам-то какое дело? — неожиданно резко спросила она. Тимур ничего не ответил и поднялся. — Уходите? — негромко спросила Зоя. — Пожалуйста, не обижайтесь. Я сегодня так устала. Давайте еще выпьем!

Луна надолго скрылась за холмами.

— У вас красивый голос, — Тимур внимательно посмотрел на девушку.

— Спасибо, — улыбнулась Зоя.

Ночной поезд шел по степи...

— Меня так и звали — «Зойка-артистка»! — глядя в темноту ночи продолжала рассказывать она. — Когда собирались гости, меня ставили на табуретку, и я пела: «Маленькой елочке холодно зимой. Из лесу елочку взяли мы домой», — Помните?

— Конечно! — пожал плечами Тимур.

— А в седьмом классе я солировала в школьном хоре.

Тимур молча слушал ее.

— Саракташ городок маленький. И многие узнавали меня: «О, Зойка-артистка идет!» Я и поверила... Артистка, — она разлила вино. — Но все равно было хорошо! Давайте, за наше детство!

— Саракташ? А где это?

— Около Оренбурга.

Сквозь ветки перелеска снова показалась луна.

— После восьмого класса я решила ехать в Свердловск, поступать в театральное училище, — она вздохнула. — Конечно, я с треском провалилась! Позвонила домой и наврала, что поступила. Мы с одной девушкой из Красноуфимска сняли комнатку в доме на окраине. Долго искали работу, деньги закончились. Раз в неделю я звонила домой в Саракташ. Рассказывала, как идут занятия и как здесь интересно! На самом деле я работала в городской столовой, мыла посуду, перебирала гнилую картошку, а по вечерам ходила в Клуб троллейбусного парка в драмкружок.

...В темноте *и*здали прозвучал тепловозный гудок. Поезд остановился на разъезде, и мимо по соседней колее промчался длинный товарный эшелон. Отсветы станционных фонарей мелькали на лице Зои.

— Так наступила зима, — продолжала она. — Однажды руководитель нашего драмкружка, бывший актер Свердловского театра оперетты, познакомил меня с руководителем ансамбля ресторана при гостинице «Урал». Он играл на саксофоне и кларнете, называл себя «Арчи», «Арчибальд», — а на самом деле был Аликом. На следующий день я спела несколько песен вместе с музыкантами перед посетителями ресторана. И началась у меня другая жизнь. ...Мне сняли квартиру в центе города. Директор распорядился, чтобы сшили концертное бордовое платье с блестками, и он самолично вручил мне изящные туфельки на гвоздиках производства «Цебо». Арчи повел в салон красоты, где работали его друзья. Они очень постарались. Я не могла себя узнать в зеркале. ...Это были дни новогодних праздников. Ресторан каждый вечер заполнялся многочисленными гостями. Я забыла про свои романсы и пела самые крутые песни того времени, подражая Пьехе, Кристалинской и Бregвадзе. ...Десятки и пятерки так и сыпались на барабан. А в конце вечера, когда в зале оставалась публика определенного сорта, я пела блатняк. Репертуар выбирал мне Арчи. Я пыталась сопротивляться. Мне было неприятно петь это, но руководитель настоял на своем. Решающими были фиолетовые двадцатипятирублевки, которые щедро нам давали «братки». В опустевшем зале, уже в пальто и в ондатровой шапке, пьяный крутышка кричал: «Зоинька, сбацай мне “Мурку”!» — и совал в руки сторублевку. И я пела... «Все боялись Мурки в кожаной тужурке. Воровскую жизнь она вела...» Ресторан процветал. Да и я тоже, — она усмехнулась. — Уже в феврале я смогла полностью переодеться. Арчи называл меня Галатеей, а себя Пигмалионом. «Ой, Зойка, мы с тобой еще прорвемся! Я увезу тебя в Москву!» — Вот такая сказочка про Золушку! — горько усмехнулась она и замолчала, опустив голову. ...Поезд двигался через какой-то населенный пункт.

Часто незнакомые друг другу люди в дороге рассказывают то, о чем они никому не говорили. Короткое знакомство ни к чему не обязывает. Поговорили, разъехались и забыли. Вот и сейчас Зою словно прорвало. Она продолжала рассказывать о себе незнакомому попутчику, как будто читая книгу о чужой жизни.

— ...Домой я стала звонить все реже и реже. Наш маленький Саракташ как будто удалился от меня. Свердловск хоть и не Москва, но был совсем другим миром. Новые знакомства, ребята из «Уральского дикселенда», шумный ресторан, конечно, блатные — мои почитатели. — Шестого июля, я хорошо запомнила этот жаркий день, раздался международный звонок. Срывающимся голосом Николай кричал в трубку: «Зоя, мама пропала! Она последнее время все забывала. И мы боялись оставить ее одну», — можешь представить мое состояние? — Оказывается, они должны были ехать в Златоуст на юбилей родителей Ольги, жены Николая... До отхода поезда в Златоуст оставалось еще полтора часа. На вокзале в Оренбурге они оставили маму около чемодана в зале ожидания. А сами побежали в магазин за подарками. Когда вернулись — мамы нигде не было. Они бросились искать. Подняли на ноги милицию, обзвонили все больницы, морги. Но ее словно след простыл. Первым же поездом я поехала в Оренбург. Сама пыталась разыскать, но тщетно. Приехала в Саракташ. Не знала, как найти себе места в опустевшем доме.

Так прошел месяц, два... Николай с женой все-таки уехали в свой Златоуст. Я пыталась чем-то заняться, но все валилось из рук. В начале сентября в калитку постучали. Незнакомый милиционер стоял около милицейской машины. Я вышла, поздоровалась. Пригласила его в дом, но он отказался. — Вы Зоя Синеглазова? — Да, — ответила я. — Он открыл свою папку, вытащил из конверта фотографию. Это была мама. Она лежала на какой-то кровати, очень похудевшая, укрытая казенным одеялом. Я чуть не потеряла сознание. И уже утренним рейсом «Москва—Ташкент» я ехала в этот далекий, незнакомый город. Мне казалось, что поезд едет слишком медленно. Кончились наши леса и поплыла за окном степь, бескрайняя, пугающая. Я наизусть выучила адрес, куда надо было ехать: город Ташкент, улица Гульзамон, дом 27. «Дом престарелых № 2», С.Р. Хаитова. Я слышала, что в Ташкенте жарко, но чтобы так!

Луна куда-то ушла и на темном небе появились звезды.

— О, спутник пролетел! — сказала Зоя.

— Что было дальше? — спросил Тимур.

— Все, нашла я маму! Она лежала в большой палате, где было шесть человек. Директор Дома престарелых подвела меня к маме. Она лежала с закрытыми глазами. Я бросилась к ней. — Мама! — Она открыла глаза и равнодушно посмотрела на меня. — Мама, это я, Зоя! — мама отвернулась. Потом мы сидели у Саиды Рашидовны. — «У вашей мамы полная амнезия. Но, слава Богу, вы нашлись». — Спасибо вам за письмо! — сказала я этой доброй женщине, сказала и расплакалась. — «Не надо плакать! Главное, вы нашли ее. Она поступила к нам из больницы как неизвестное лицо. Ее нашли на вокзале. Она не помнила даже своего имени, — перелистывая паспорт мамы, говорила Саида Рашидовна. — Вот теперь можно будет составить документы. Значит, Евдокия Степановна Синеглазова. Красивая у вас фамилия... Вот эта сумочка была с вашей мамой. Благодаря этой сумочке мы вас нашли. — Она вытащила из сумочки вырезку из газеты "Саракташская правда". — Это ведь вы на фотографии? А вот и подпись. "Первое место в конкурсе художественной самодеятельности, посвященном 100-летию со дня рождения В.И.Ленина, завоевала ученица 7-го класса школы № 4 Зоя Синеглазова..." А вот эту надпись, наверное, сделала ваша мама? — На полях газеты было написано карандашом: "Зоенька, моя гордость!"»

Я сняла комнатку недалеко от дома престарелых. И каждое утро приходила к маме. Готовила для нее бульон из потрошков, картофельное пюре с молоком... Кормила с ложечки... Постепенно я познакомилась почти со всеми постояльцами этого дома. Иногда с утра бегала на базар, покупала какие-нибудь фрукты и раздавала на завтрак пожилым женщинам. Саида Рашидовна научила меня, как мыть маму, ставить судно, переворачивать ее, чтобы не было пролежней, делать подкожно и

внутримышечные уколы. Но мама так и не узнавала меня. Недели две спустя Саида Рашидовна предложила остаться и работать в доме престарелых. Она выделила мне коморку во дворе, кровать, тумбочку, зеркало — все самое необходимое. С утра я мыла полы, вытирала пыль, ходила в прачечную за бельем. Остальное свободное время проводила с мамой. Она улыбалась мне. Но на вопрос, узнает ли она меня, она качала головой. — Я вас не знаю... — виновато говорила она.

...Зоя разлила остатки вина по стаканам.

— Ну что, вздрогнем? — они выпили. — Арчи звонил несколько раз, писал открытки, просил вернуться, — задумчиво продолжала вспоминать Зоя. — Ну куда бы я поехала? Так мы и жили... Однажды Саида Рашидовна спросила: «Какую песню ты пела на том конкурсе?» — Я вспомнила: «Чайка крыльями машет, за собой нас зовёт! Пионеры друзья и товарищи наши собираются в дальний поход». — «Вы спойте эту песню маме...» — Эта женщина была хорошим психологом. В тот же день я зашла в палату. Мама лежала с закрытыми глазами. Но я знала, что она не спит. Я присела рядом, взяла ее за руку и вполголоса начала петь. Уже на второй строке мама резко оглянулась на меня, губы ее задрожали. «Зоя, это ты? — тихо спросила она. — Я мама, я, Зоя!» Слезы текли по щекам, она улыбалась. Трогала мое лицо худыми руками и повторяла: «Доченька, Зоенька... Где ты была? — Я здесь мама, рядом», — целуя ее, говорила я.

В начале декабря маме стало лучше. Она уже ходила в туалет, правда, с моей помощью. Я нарадоваться не могла, глядя на ее порозовевшие щеки... До Нового года оставалось дней десять. Утром я, как обычно, пришла, мама лежала тихо, закрыв глаза. Я взяла ее за руку и почувствовала, какая она холодная... Она умерла во сне. Саида Рашидовна подключила все свои знакомства. Мы получили разрешение похоронить маму на Домбр-абадском кладбище. Она организовала автобус-катафалк. Священник отпел маму, как это принято. А около свежей могилы Саида Рашидовна прочитала мусульманскую молитву. Я каждый день приезжала на кладбище. А в мастерской договорилась о будущем памятнике. Провели девять, а затем сороковину в нашей столовой. Николай так и не приехал. Сослался на то, что его Ольга в положении. ...Я уже хотела идти за билетом в кассу, а потом вдруг вспомнила прокуренный зал ресторана, пьяные выкрики, пошлые песенки. Я вернулась, чтобы проститься с женщинами, лежавшими рядом с пустой кроватью мамы. И вдруг защемило сердце, и во всех без исключения женщинах я увидела лицо мамы... А кто-то сказал: «Зоенька, как же мы теперь без тебя?» — И я неожиданно для самой себя сказала: «Я остаюсь с вами!» Вскоре освободилась вакансия музработника. Саида Рашидовна перевела меня на полставки санитарки и на полную ставку музыкального руководителя. Стала получать зарплату сто сорок рублей, и этого было мне достаточно. По вечерам в вестибюле мы разучивали песни. Однажды нас приехали снимать с телевидения. Саида Рашидовна радовалась вместе с нами. Так прошло два года... Кто-то уходил из этой жизни, а кто-то, брошенный и неприкаянный, занимал его место. А месяц назад вдруг пришел приказ об увольнении Саиды Рашидовны и, как обухом по голове, работник Собеса объявил, что наш дом переезжает куда-то под Бухару. Вот и едем... Куда, неизвестно. Ладно, Тимур, замучила я вас воспоминаниями... Давно пора уже спать. Тимур поднялся, протянул руку, чтобы помочь Зое. И в этот момент вагон резко дернуло. Сила инерции откинула их обоих в противоположный угол тамбура рядом с красным крючком «стоп-крана».

Время... Оно вдруг замедляется и короткое мгновение становится долгим. Вот и сейчас скрежетали сцепки, вагон выровнялся. Правая рука чувствовала мягкий переход от талии вниз... Через тонкую блузку — упругие груди. Тусклый свет лампы на потолке освещал ее лицо: лучистые голубые глаза, слегка вздернутый носик, полные губы. Тимур ощущал запах, смешанный из духов, губной помады и женского тепла. Слышался перестук колес, и в ритм им бились два сердца. Непреодолимая сила

потянула губы Тимура к губам Зои: «Не надо», — она мягко освободилась из объятий. Мгновение закончилось... Уже в следующую секунду она с хозяйственной деловитостью собирала в пакет стаканы, пустую бутылку и расстеленные газеты. В этот момент дверь тамбура распахнулась.

— Зояпа, там... У Альфии опять это! Я боюсь... — они бросились в вагон.

В проходе на полу, дергаясь в страшных конвульсиях, лежала старая женщина по имени Альфия. И без того не очень красивое лицо обезображивала дьявольская гримаса. Глаза, казалось, вот-вот вылезут из орбит. Из-за сжатых зубов текла пена, смешанная с кровью. Она мычала, стонала. Зоя растолкала толпу. Бросилась перед женщиной на колени. Крикнула:

— Да разойдитесь же вы! Ей воздух нужен! — толпа отступила.

— Зуля! Ложку! Быстрее!!! — она схватила ложку, протиснула ее между зубов и с силой оттянула нижнюю челюсть. Потом пальцами вытащила запавший к нёбу язык. Вытерла лицо полотенцем. Перевернула Альфию на правый бок. Та задышала, как-то сразу обмякла, словно из нее выкачали воздух. Вдвоем с Зулей они перенесли несчастную на полку. Укрыли одеялом.

— Сделайте чай горячий с сахаром! — крикнула Зоя проводнице.

Альфия медленно приходила в себя, непонимающе оглядываясь вокруг. Только покрасневшие белки глаз, выдавали случивший эпилептический припадок.

— Я... Я... Чо... нәрсә. Янә минем белән булды? — испуганно шептала она.

Зоя погладила ее седые редкие волосы.

— Все хорошо, Альфия-апа, — улыбаясь, сказала она. По морщинистым щекам старухи текли слезы. Одна из постоялиц сказала:

— Ты святая, Зоя. Бог воздаст тебе...

Подруги по несчастью закивали головами, а Дуся добавила дрогнувшим голосом:

— Ты, наш Ангел-Хранитель...

...Тимур не мог заснуть. Перед его глазами всплывало искаженное гримасой страшное лицо старой эпилептички и резкие, подчас грубые приказы Зои. И почти неслышное: «Не надо!», сказанное совсем недавно в тамбуре. Он забылся тяжелым сном, проснулся от крика.

— Вставайте же. Пассажир, ваша станция Кермене!

Поезд набирал скорость. Тимур схватил сумку и спрыгнул с полки и, оглядываясь, побежал по проходу, ища глазами Зою. Но ее нигде не было. Проводница торопила его:

— Быстрее. Быстрее!

Он спрыгнул с последней ступеньки подножки уже прилично движущегося вагона. Пробежал по инерции несколько шагов, но сумел сохранить равновесие. Четвертый вагон уходил все дальше и дальше. И в следующий момент он увидел Зою. Она почти наполовину высунулась из дверного проема и, держась за поручни, что-то кричала ему. Но степной ветер относил голос девушки в сторону. Низко гудел тепловоз. Он попытался догнать уходящий поезд, но тщетно. Этот «самый медленный поезд» вдруг развил хорошую скорость. Тимур смотрел ему вслед, пока четвертый вагон не скрылся за поворотом... И вдруг со всей пронзительной ясностью понял, что больше никогда, никогда он не увидит ее. А перед глазами стояла та желтая огромная луна, которая была единственным свидетелем короткой вспышки взаимной приязни, а может быть, любви.

Ташкент

Эвелина Азаева

Полукровка

Рассказ

В жизни полукровок самое главное — выбрать, с кем ты. С папой или с мамой. Ну, какой ты национальности. Нет, конечно, можно (в теории) быть в равной степени представителем того и другого народа, но практика показывает, что не всегда это работает. Есть такие тяжелые случаи, что надо все-таки выбрать и идти уверенно одной лишь колеей.

Вот, например, ты помесь русской и чеченца. Обычаи и нравы этих народов настолько разные, что быть тем и тем одновременно просто-таки не полезно для психического здоровья. Чеченцы требуют строгого соблюдения своих традиций, и если ты уклоняешься, значит не чеченец. Русские, если ты вдруг начнешь проявлять чеченские замашки, тоже удивятся. Нет, они не станут к тебе плохо относиться — народ имперский, терпеливый, но в твоем присутствии, как бы ты ни бил себя в грудь, что в паспорте написано «русский», время от времени будут говорить: «Знаешь, а чеченцы — хороший народ. Вот у нас парень в армии был...»

Однако если ты выберешь одну сторону и будешь ей строго следовать, то всё, никаких проблем у тебя не будет. Чеченцы не будут обращать внимания на твою русскую кровь и признают за своего, русские забудут про кавказскую кровь и тоже будут считать своим.

Другое дело, если в тебе намешаны еврейская кровь и какая-то иная. Пусть будет русская, для примера. Тут тебя не примет до конца ни одна сторона. Для евреев, если мама не еврейка, ты не еврей. Для русских ты — «с прожидью». Не для всех, но все же. Нет, никто не будет тебя обижать, а некоторые будут и любить, но в определенные моменты, моменты истины, так сказать, на тебя будут обращать пристальные взоры. И в итоге ты ощутишь, что до конца никому и не свой.

Так грустно думал Тони о своей судьбе. Судьбе человека с ярко выраженной еврейской внешностью — от папы — и золотым крестиком на шее под рубашкой — от мамы. Той самой мамы, которая, по совету своей сестры, кандидата исторических наук, назвала его Антонием или, в просторечии, Антоном. В Тони он переделался, когда эмигрировал в Канаду.

Антон вырос с русскими мамой и тетей. Они его воспитывали вдвоем, отец где-то растворился сразу после рождения. Соответственно, мальчик рос русским. Несмотря на советское время, его окрестили и учили обычным христианским

Эвелина Азаева — журналист, корреспондент «Комсомольской правды» в Канаде. Родилась в 1970 году в Алма-Ате, окончила журфак КазГУ. Работала собкором «Комсомольской правды» в Сибири. До конца 2017 года издавала газету «Комсомольская правда в Канаде» на русском языке, с 2018 — на английском языке. Автор сборников рассказов «А хочешь в Канаду?» и «Полное накрытие». Печаталась в журналах «Аврора», «Нева» и др. Живет в Торонто. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

добродетелям, которые удивительным образом (это он уже во взрослом возрасте заметил) совпадают с коммунистическими: не ищи легких путей, будь честным и принципиальным, не лукавь, защищай слабых, не лебези перед сильными, деньги — не главное...

Мальчик рос шустрым, любознательным, любил играть с мальчишками во дворе. Однажды в разговоре сказал: «Мы, русские...» (в войну играли), и один из друзей поправил: «Ты не совсем русский, у тебя папа еврей». Без зла сказал, констатировал факт. Антон уверен, что дружок и не знал, кто такие евреи, а просто слышал от взрослых, что у его мамы, Людмилы, был парень-еврей. Во дворе все знали, кто с кем встречался.

Антон стал искать информацию о евреях. Интернета тогда не было, но он нашел ее в библиотеке. И с тех пор читал и читал о них. Пока не превратился в законченного, домашнего «сиониста» (так он сам себя называл). А почему? А потому что, во-первых, ему, русскому мальчишке (а он ощущал себя именно таковым, других перед его глазами не пробегало), было интересно, что он такой вот особенный, не как все — еврей, представитель Ближнего Востока — жаркого, экзотического. Во-вторых, он начитался о том, какие евреи талантливые, и что вообще народ избранный, и... ну, приятно же было в это поверить! Кому не приятно знать, что он из ряда вон уже по самому факту своего рождения? А еще писали, что народ гонимый и нуждается в постоянной защите.

Тринадцатилетний Тоша (так его звали дома) понял, что он — тот самый Давид, который призван сражаться с Голиафом.

И вот тут начались первые проблемы. Мама с тетей не разделяли его убеждений. Тетя говорила обидное: «Сколь волка ни корми...» — и вздыхала. Дед ругался, не выбирая выражений. Мама тогда вступилась, плакала. В общем, скандал был до потолка.

Мама вступилась, но потом пеняла, что Тоша неблагодарный, что она его растит одна, без алиментов, а отец где-то шляется по свету, Родину не любит, в общем — сволочь. И чем ей сын отплатил? Да, говорила мама, в том, чтобы быть евреем, нет ничего плохого. Но это если у тебя мама и папа евреи. А если у тебя мама русская, тетя русская, дед русский, и все они тебя растят и на золотом блюде носят, а ты вдруг выбираешь вторую половину, которая «перекати поле» и неизвестно где обретается, о тебе не заботится, то это свинство.

Антон обнимал маму и чувствовал вину. Но желание быть особенным, так свойственное подростку, все же возобладало. К этому располагала и внешность — ну не видел в ней паренек славянских черт. И дожив до девятнадцати лет (в армию не был взят из-за плохого зрения), он окончательно сформировался как еврей. Так он считал.

И тут объявился папа. Из Израиля. Он позвонил и сказал, что может сделать мальчику документы для переезда в эту страну.

Мама ходила в ОВИР, просила сына не выпускать. В квартире пахло валерьянкой и разбитыми надеждами, дед перестал с внуком разговаривать. Но Тоша уехал.

И с тех пор ни разу не виделся с мамой. Чего не может простить себе до сих пор. Все умерли без него, через семнадцать лет после отъезда. Один за другим. Но пока были живы, любили его, не обижались, с любой оказией присылали весточку и подарки.

Антон же в Израиле приехал к отцу, в его новую семью, и быстро понял, что он там не нужен. Отец был ласков, но его жена и дочери тяготились гостем. Перебрался в кибуц. Там кормили, обучали ивриту... Потом попал в армию. И не просто в армию, а на войну. Участвовал. Несмотря на плохое зрение. И не сказать чтобы чувствовал, что его за своего не принимают. Нет, внешность помогла, он не ощущал дискриминации. Там он еще больше укрепился в своем еврейском патриотизме.

Который горел ярким пламенем до тех пор, пока он не захотел эмигрировать в Канаду. Израиль душил его своей жарой и маленькими размерами. У парня, выросшего в Питере, было чувство, что он перебрался в Ташкент. К тому же там постоянно происходят теракты и, женившись (на такой же полукровке), он решил, что лучше

перебраться в более спокойное место — США или Канаду. Там можно не бояться за детей, а свой воинский долг Тоша исторической родине отдал, так что не о чем беспокоиться.

Он обратился в еврейскую организацию и честно сказал, что он христианин и у него русская мать. Ему объяснили, что он в таком случае не еврей. Повисла пауза. Тоша осмыслял. Потом сказал: «Я воевал». Ему ответили, что «это достойно похвалы» и посоветовали обратиться к христианам, дали телефон.

И он обозлился. Вдруг понял, что он — «русская морда». И просто вмиг оценил все: и что в СССР к нему относились хорошо и никогда он не ощущал притеснений, хотя многие пишут, что притеснения были. (А он вот не ощущал на себе, хоть убейте!) И что Россия — страна великая. Да, люди, как везде, есть хорошие и плохие, но страна — великая, и не о чем тут спорить! Огромная страна с великими достижениями и восхитительной культурой. И мать у него — русская красавица, и тетка — духовно развитый человек, кандидат исторических наук, а дед — воевал под Сталинградом.

Тоша вдруг понял, что быть рядовым, обычным русским — таким, как другие сто пятьдесят миллионов, вовсе даже неплохо. И стали выплывать в мозгу мамины да дедовы поучения из детства: «Выделяться надо своим трудом, смелостью, добротой, честностью... А кровь — что? Всяк кулик свое болото хвалит».

Он обратился в католическую организацию, и католики помогли, переселили в Канаду. И стал после этого Антон русским.

Все, конечно, его принимали за еврея — очень уж колоритна внешность, но Тоша окрестил своих двоих детей, а когда они подросли, даже стал возить в церковь, и те пели в хоре.

В храме заприметили его и стали приглашать «откушать». Тоша с детьми трапезничал после службы и вскоре счел своим долгом отплатить храму за бесплатное питание — стал жертвовать деньги. Опять же, стоять в храме и слушать, как поют твои дети и не поставить свечку — как-то странно. Антон, который до того религией не увлекался, хоть и был в детстве крещен, стал ставить свечки. За маму, тетю и деда. Он ведь у них один. Кто за них поставит? Стал плакать...

Он стоял, чернявый, с орлиным носом, черными глазами, и плакал. И в душе просил прощения за то, что покинул их. Нет, он не жалеет, что живет в Канаде, эта страна ему очень нравится, и не жалеет, что воевал за Израиль, но ему жаль, что нельзя было взять с собой семью. И что не смог к ним ни разу приехать. Советского паспорта его лишили, в то время нельзя было эмигрантам свободно туда-сюда ездить. А когда разрешили, было уже поздно.

На него с любопытством поглядывали и тут же опускали глаза. Тоше сначала было неловко, а потом заметил, что он не один еврей тут, и на других не смотрят, значит, на него глазели просто как на новичка. Познакомился с Исааком Львовичем, который был яростным христианином. Называл себя именем собора в Питере — «Исаакий»! Он стал Тоше книжки разные давать... И вот на Пасху, на крестный ход, Исаакий с Антонием стали главными хоругвеносцами. Они шли впереди всех и несли святые лики. И были горды тем, что им доверили.

Потом Тоша стал ссориться со своими любимыми русскими друзьями. Они любили его и доверяли настолько, что при нем рассуждали о евреях-большевиках (нелестно), о евреях-олигархах (тоже нелестно), а также возлагали на тех и других вину за «гибель России». В революцию и в перестройку.

Тоша крепился. Иногда он и сам был согласен, когда читал в какой-нибудь эмигрантской газетке антироссийские статьи, написанные людьми с еврейскими фамилиями. Тоша тогда звонил в газету и кричал: «Вы антисемиты! Вот такие, как вы, и заставляют русских не любить еврейский народ! Что вы привязались к этой России? Пишите про Канаду! Вы здесь живете, или где?» Антон рассказывал друзьям о том, как он заткнул за пояс русофобов, и его хвалили, обнимали и пели с ним песни.

— *Ой, то не вечер, то не вечер, мне малым-мало спалось...*

Когда доходили до слов «налетели ветры злые, да с восточной стороны, и сорвали чёрну шапку с моей буйной головы», Тоша начинал сильно волноваться. Думал: едрит твою! Ведь какие слова простые, а как за душу берет! Прямо будто кто взял тебя рукой за сердце и крутит, крутит. В такие минуты он ощущал себя внуком героя Сталинграда и сыном русской красавицы. Тоже пел.

«Едрит твою» — любимое выражение деда.

Но иногда он начинал беситься. Когда, например, говорили, что хорошо бы казнить на Лобном месте Гусинского, Ходорковского, Смоленского, Чубайса, Коха и Авена.

— А Потанина? А Доронина? — вскидывался Антон. — А Ельцина? Он, конечно, умер, но гипотетически?

Все соглашались, что их в первую очередь. Но говоря о «проклятой перестройке», цитировали Бунина. Говорили, будто бы он написал, что «революцию совершили евреи и примкнувшие к ним русские дураки». Так вот, мечтали друзья русских олигархов казнить на Лобном в первую очередь. И даже сперва на кол, а потом казнить.

Но это Тошу не успокаивало. Он думал: а почему они сначала сказали только о нерусских? Он напивался от обиды и начинал привязываться ко всем речам, кои, при трезвом слушании, были бы вполне безобидны.

— Вы за Асада? А вы хоть одного араба в своей жизни видели?

Все молчали и переглядывались. Тоша по-своему понимал этот взгляд.

— Да, я еврей! — орал он. — И что?

— А ничего, напился ты, братец, — ласково говорили ему. — Такое чувство, что ты не еврей, а эскимос, и у тебе нет ферментов для расщепления этилового спирта.

— У меня дети в церкви поют! А у вас — поют? — вскрикивал снова Антон. — Я хоругви ношу, а вы... вы... да вы в церковь никто не ходите! На Пасху только яйца себе раскрашиваете...

Все хохотали. Говорили, что ему больше не наливать. Мужчины заверяли, что яйца у них природного, натурального цвета. Объясняли, что против евреев ничего не имеют, а имеют против олигархов, продажных журналистов, Россию хающих, против Сороса, Бжезинского, Ротшильда и Рокфеллера. А против него, Тоши, стопроцентно ничего.

— И я на парад Бессмертного полка хожу, мой дед под Сталинградом, — заплетающимся языком приводил Тоша последний аргумент и переходил со стула на кресло, чтобы удобнее было вздремнуть.

Там он успокаивался и думал, что как же хорошо, что в Канаде столько всех — русских, евреев, украинцев, казахов, кавказцев. Ты будто в маленьком Советском Союзе. Том самом, из которого когда-то бежал, оставив самое дорогое. А сейчас, к старости, почему-то хочется там быть. И отмечать День Победы, 8 Марта, и даже День пионерии. А что, она его учила только хорошему: защищать младших, помогать старшим.

Тоша видит перед собой стол, на котором остатки холодца, оливье, салата «Мимоза», селедка с кольцами лука... Все, как у мамы. В его памяти она осталась молодой — в голубом кримпленовом платье, с высокой прической. Сколько бы ей сейчас было? Он мысленно подсчитывает... Ах, как поздно открыли границы! Сколько всего интересного он показал бы ей, какими вкусностями накормил, на Ниагару бы свозил.

И еще Тоша думает, что его жизнь была бы куда легче, если бы он родился просто русским или просто евреем, а так — ни богу свечка, ни черту кочерга. А с другой стороны, тут же спорит он сам с собой, зато такой человек реже встречается! Он, Тоша, получается, особенный. Как пурпурный единорог. Смешение кровей делает детей талантливее. Вот у него дети — и поют, и танцуют, и рисуют хорошо. А что ему самому приходится воевать то за тех, то за других — за евреев с оружием в руках в Израиле, а за русских словесно — в Канаде, так и что? Его имя — Антоний — переводится как «вступающий в бой».

Арина Обух

Свободный переулок

Рассказы

Nie spoczniemy

Вся страна плакала, провожая медведя в небо.

Женщина написала из роддома мужу: «Ну вот, из-за этих родов я так и не увидела Олимпиаду!..»

Сразу после Олимпиады у нее родился мальчик.

Этому мальчику уже сорок лет, и он рассказывает:

— Октябрёнком был, пионером был, в Ленина и в бревно верил.

...Я смотрю Олимпиаду-80 в 2020-ом. Люди глядят на медведя и плачут, я гляжу на людей и тоже плачу.

У старой пленки еще цвет такой, приглушенный, цвет воспоминания.

Люди, это ж медведь. Чего мы с вами плачем?

Драгоценные какие-то люди. Люди-ретро.

И даже мой парень — ретро.

Я люблю его уже пять лет. Он старше меня на сорок один год (эта разница с каждым годом уменьшается). Он писатель. Он талантлив, красив. Он великолепен. Я знаю наизусть все его слова. И праздную его день рождения несколько раз в год. Его зовут Джеп Гамбарделла. У него только один минус: он не существует. Точнее, существует, но в кино. В фильме «Великая красота».

А еще мне нравится парень в белом клёше. Он поет песню под названием Nie spoczniemy. То есть «Не успокоимся». Любимая песня поколения 70-х.

А в один прекрасный день прошлое вдруг засияло ярко-красной головой голландского сыра. Сыр лежал на обеденном столе и ждал, когда о нем заговорят:

— Знаешь, я всегда мечтала, чтобы сыр...

— Ты уже говорила.

— Нет, чтобы сыр был круглый и в красной оболочке.

— Говорила уже четыре раза. Сейчас скажешь про лису.

— Да, в детской книжке была такая иллюстрация: лиса ела от куска. Красная голова круглого сыра, и лиса откусывает. Я всегда смотрела и тоже так хотела.

Арина Обух — прозаик, художник. Родилась в 1995 году в Санкт-Петербурге. Выпускница Художественно-промышленной академии им.А.Л.Штиглица. Автор книг: «Выгуливание молодого вина», «Муха имени Штиглица». Печаталась в журналах «Звезда», «Дружба народов», «Знамя», «Юность». Лауреат ряда литературных премий.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2020, № 3.

В сказке мишки делили сыр. Лиса им помогала: откусывала, чтобы им было поровну, и все время промахивалась. В конце концов она почти все съела.

Мишки — лохи.

В жизни иногда чувствуешь себя таким мишкой. То есть хочешь справедливости и обращаешься за добрым советом к лисе, отдаешь ей свой сыр, смотришь, как она его ест, потом наблюдаешь, как она уходит, вертя хвостом. Красивая и сытая падла. И ты ощущаешь себя мишкой. Бесконечным мишкой в бесконечном дремучем лесу.

А потом живешь, периодически репетируя правильный ответ для лисы. То есть вся твоя жизнь — это репетиция к закончившемуся спектаклю. И еще ты всю жизнь мечтаешь тоже есть от куска (как лиса), — и чтобы сыр был именно круглым и в красном панцире.

Она пятый раз пересказывает мне эту сказку.

Затем берет сыр и демонстрирует мне наглядно: «Вот так я всегда мечтала». Она в образе лисы задорно откусывает и вытягивает руку с сыром в сторону, словно показывая мишкам — вот, мол! Еще укус. Еще укус.

Этот сыр мы купили за три тыщи рублей. А она его кусает со всей легкостью бытия. Пытаюсь сказать что-то против такого беспечного пожирания трех тысяч рублей.

— Остановись! Ты ешь три тыщи!

— Этот кусок стоит тысячу восемьсот, — отвечает она и снова откусывает.

— Перестань! Опять ты пятьсот рублей откусила!

— Моя мечта дорогого стоит.

А виной всему советский художник-анималист Евгений Рачёв. Он так проиллюстрировал венгерскую народную сказку, что она тут же стала русской народной. Вошла в состав крови и жизни.

— Пожалуй, это моя первая советская мечта, которая исполнилась, — говорит моя визави.

Это была мечта о легкости. Не о сыре.

Мечта родилась еще в СССР. Такого сыра там не было, но его могли достать лисы. Сыр, джинсы, жвачка, кока-кола...

— Набор предателя, — усмехаются мишки. — За это мы родину продали.

Продали родину и переехали из Ленинграда в Петербург.

Теперь они живут в ленинградском Петербурге.

Рассказывают, где стояла «Девушка с веслом» и где находился легендарный «Сайгон». Где было ателье женской одежды «Смерть мужьям!», а где — кафе-мороженое «Лягушатник». И снова всё по кругу.

Nie spoczniemy. Не успокоимся.

Короткометражки

I. Два человека для масштаба

Город, ветер, двое на «вы».

А на часах уже два ночи. Еще пятнадцать минут — и всё. Они просто гуляют по городу и разговаривают.

Три часа ночи. Ладно, еще пять минут...

Еще пятнадцать минут — и решительно всё.

Четыре часа. Ей хотелось лечь пораньше, но она дождалась титров.

Профессионалы всегда читают титры. Она не была профессионалом. Но прочла.

Белая ночь перешла в белое утро. Девушка задернула шторы.

Она все думала про этот фильм, а потом ушла в сон.

Утром открыла глаза и снова начала думать про фильм.

Жизнь шла, и фильм шел.

Сначала их было трое: Довлатов, он и она.

Но Довлатов остался стоять на улице Рубинштейна, а двое двинулись дальше и остановились у Пяти углов.

Она обратила его внимание на дом с башней.

— Это башня художника Саши Мельничука. Ночью, когда горят окна, видна огромная красивая Сашина люстра. Всю мастерскую он сделал сам. А потом умер. Теперь там живет фотограф. Однако башню люди называют «башней художника». И это название хранит память о Саше. Но люди знают только про этого фотографа...

Посмотрели на башню, а потом свернули с темы народного беспамятства на Ломоносовскую улицу. Нашли кафе, сели за столик. Сидеть можно было только на улице — карантин закончился, но призрак коронавируса еще бродил по планете — рекомендовалось соблюдать дистанцию.

Она первый раз за два месяца самоизоляции вышла в люди, в центр города. И он с иронией смотрел на ее карантинные перчатки.

— Ваши синие перчатки очень подходят к этой синей чашке.

Помолчали, потом сказали, что очень рады друг друга видеть. Порадовались и снова замолчали.

Раздался звонок.

— Алё. Нет, я сейчас не в Москве. В Питере, да, на три-четыре дня приехал...

Разговор заканчиваться не спешил. Он два раза успел приложить руку к груди, мол, извините, но тут важный разговор.

— Это продюсер звонил. По поводу окончательного монтажа. Простите.

— Нет, мне было даже интересно.

— Думаете, я бы все это говорил, если бы вас не было? Нет, конечно. Это я для вас старался. Производил впечатление.

— И вам удалось.

Она с улыбкой смотрела на человека из титров.

Они шли по улице, разговор заворачивал во дворики, переходил мосты, разворачивался на площадях. А если вдруг наступало молчание, то оно было каким-то необременительным.

На центральных улицах было много людей, но стоило свернуть, пройти чуть дальше, вглубь, все исчезало: шум, люди, машины — ничего не было. Картина «Двое в городе» в духе Эдварда Хоппера. Бессюжетная живопись, портреты домов.

И два человека для масштаба.

На улице Декабристов они увидели одинокий маленький столик и скамейку. Именно скамейку. Картинка показалась необычной, они не устояли и сели.

— Знаете, я был в Италии, жил на берегу моря, и там хозяева разводили мидии. Горы мидий, а я вегетарианец. Не выдержал: сказал себе, что это достопримечательность, которую обязательно нужно попробовать. Ну, это как быть в Голландии и не съесть сыр. Или в Германии не попробовать сосиски с капустой. Это все — достопримечательности.

Их беседу прервал голос проходящего мимо маленького мальчика:

— Папа, а что такое декабристы?

Крошка сын спросил отца, но не получил ответа.

— Папа! А что такое декабристы?

На этот раз мальчик уже проорал свой вопрос на всю улицу Декабристов.

— Декабристы — это... — отец замялся. — Ну-у... это такие цветы. Они цветут в декабре.

Трехлетний человек ответ отца принял.

Девушка быстро открыла интернет и прочла:

— «Декабристы. Эпифитные кактусы. Произрастают не в почве, а на другом растении. Расцветают в декабре», — и добавила: — Надо думать, расцветают алым мятежным цветом.

— Сначала улицы будут называться именами цветов, потом мальчик подрастет, будет читать Шефнера, и улицы превратятся в «Линии грустных размышлений» и «Проспекты замечательных недоступных девушек».

Отец и сын растворились в конце улицы. Мир замер. Нежно-серый, перламутровый, мягкий. Рыжее небесное тело куталось в облаках, смотрело сон.

— Ну-ка, замрите. Давайте я вас сфотографирую. Смотрите прямо, да, теперь в сторону, чуть на меня, стоп.

Поднялся сильный ветер и принял горячее участие в фотосессии.

Город, ветер, двое на «вы».

Получилось девяносто две фотографии.

Одна была общая.

Он поставил телефон на парапет, включил камеру и таймер, они быстро сели на ступеньки набережной и полминуты сидели неподвижно. Был в этом какой-то девятнадцатый век, фотоателье Карла Буллы, фото на память: не дышать, не двигаться, важность момента. Он чуть склонил голову в ее сторону, как и положено кавалеру на старинной открытке.

На следующий день опять встретились у Довлатова.

Довлатов их ждал.

Периферическим зрением оба заметили, что открылись ворота в знаменитый двор Толстовского дома. Быстро, с ловкостью двенадцатилетних, побежали к воротам. Успели. Она юркнула в арку, а он попридержал дверь.

— Хочется кому-нибудь хорошее сделать, пропустить, но, видимо, хорошее никому не нужно.

Огромный арочный Толстовский двор принял двоих в свою утробу.

— Я сегодня короткометражку придумал. Представьте: два человека — мужчина и женщина. Первый кадр: он просыпается в своем доме, одергивает шторы, смотрит в окно. Следующий кадр: она едет в поезде. А можно и без первых кадров. Просто встречаются двое и говорят друг другу: «привет — привет», обезличенно так, не обращаются друг к другу ни на «вы», ни та «ты». Мы пока не понимаем, знакомы они или первый раз друг друга видят. Идут куда-то, и он ей рассказывает... Ну, сейчас я наугад что-нибудь придумаю: «Вот видите балкон? С него в свое время упал граф. И после этого таких балконов больше не строили. А теперь посмотрите сюда...» Ну, то есть мы понимаем, что девушка приехала в город на экскурсию, он — экскурсовод. И вот как бы ничего не происходит, они гуляют, он рассказывает ей о городе, но зритель при этом чувствует, как этих двух незнакомых людей друг к другу тянет, бешено. Сильное напряжение, которое нарастает. Всё на уровне энергии. И вот в конце короткометражки они просто прощаются. Пока. Пока. Всё.

— Мне нравится, — сказала девушка.

Но ей показалось, что она не первая, кому он рассказывает эту только что придуманную короткометражку.

Режиссеры — люди опасные и продуманные. Особенно, когда у них есть собственный сценарий.

А впрочем, это неважно. Люди часто рассказывают всем одни и те же истории. И даже не потому, что желают понравиться, а, наоборот, возможно, просто ждут какой-то другой, инакой реакции.

— Смотрите, какая стенка красивая. Интересно, это такой дизайн или просто штукатурка посыпалась, — сказал он и стал фотографировать.

Стена замерла, не дышала, желая еще больше приглянуться.

Девушка тоже сфотографировала, чтобы в памяти телефона осталась эта стена. Память телефона как-то связывалась с ее собственной памятью.

Питер включил белую ночь.

Их перехватила улица Зодчего Росси.

— «Зодчего»... Зачем такая архаика? — сказал он. — И зачем вообще эта добавка, все же знают, кто такой Росси.

— Звучит красиво, — ответила она. — И, может быть, еще из коллективного чувства вины. Он построил Петербургу дворцы, а умер в бедности на съемной квартире. Справедливость держит дистанцию от Земли, соблюдает карантин.

Стало темнеть, загорелись люминесцентные вывески баров.

За одним из вечерних столиков сидел Петр I. Его глаза горели, отражая экран смартфона. Сам царь был сумрачен.

Девушке очень хотелось сфотографировать эту сценку, было понятно, что царь бы ее не помиловал. Его рабочий день закончился. Он больше не хочет фотографироваться. Он хочет быть просто уставшим человеком.

Двое свернули с центральных улиц и оказались в лабиринте дворов-колодцев. Темнота, дворы не заканчивались, выхода не было. Но вдруг в одной из арок показался свет. Это ресторанная улица Рубинштейна сияла и пела. Людей было очень много. Довлатов потерялся в толпе.

А потом Питер сократился до одного неба. Размером примерно метр на метр. Квадрат светил с потолка черным светом. Малевич сидел на мансардной крыше гостиницы и водил кисточкой, рисуя ночь. Двое сидели в комнате и следили за его работой.

Наступило молчание. Посередине комнаты стояла кровать. Стояла и на себе настаивала. Она была композиционным центром.

— Помните, вы говорили, что были в Италии и ели там мидии. И что в Голландии надо обязательно попробовать сыр, а в Германии — сосиски с капустой. Потому что это достопримечательности...

Он кивнул.

Она хотела продолжить монолог, но потом поняла, что роль неудачная. В конце должна была бы быть фраза: «А я не хочу быть достопримечательностью». Но зачем тогда она пришла в гостиницу — вопрос.

...У него был такой фильм, где двое не спали. Точнее, они именно спали — просто засыпали вместе на одной кровати. И это было хорошо. Она про этот фильм думала.

Режиссер умел держать паузу.

Наступило время окончательного монтажа.

Малевич пишет «Белый квадрат». Ночь не наступает.

Прощаются, сохраняя дистанцию.

— Пока.

— Пока.

Всё. Снято.

II. Легкий ветерок колышет волосы

Девушка надела новое платье — значит, это уже другая девушка.

Другая девушка и другой мужчина приехали в другой город.

Их встречал Свободный переулок. Такое название. От чего именно свободный — неизвестно. Но, проходя по такому переулку, приятно примерить его название на себя.

Свободные люди в Свободном переулке.

По чувству — это был приморский городок. В котором у тебя нет дел, обязанностей... Вообще ничего нет. И как будто тебя самого нет.

Всю жизнь так нельзя прожить, а два дня — можно.

— А куда мы идем? Ты уже был здесь?

— Да, давно.

Он был в этом городе шесть лет назад. И ел мороженое. И теперь создавалось впечатление, что он приехал на поиски этого мороженого. Причем он хотел купить его в том же месте, что и шесть лет назад: в парке, рядом с набережной.

Они долго искали. Вернее, они гуляли, разговаривали, смотрели, а «мороженое» — это была его подмысль.

Сработала синхронизация, и у нее тоже появилась эта подмысль: ей казалось, что вот-вот и свет белого фартука просочится сквозь листву, и даже не он узнает мороженщицу, а она его. И скажет: «Ну, здравствуй. Шесть лет тебя здесь жду, а тебя все нет и нет. Нет и нет».

Наконец нашли повозку с мороженым. Но это, конечно, была не та повозка, не тот продавец и не то мороженое. В городе встретили еще несколько лотков, но они тоже не подошли.

Делать было нечего. Свобода как отсутствие сюжета. Ищи мороженое, читай названия улиц, рассказывай о своем детстве.

Попадая в маленький город, ты сам несколько увеличиваешься, ты такой значимый теперь, ты единственен. А с тобой рядом мужчина. Или женщина. Или эльф. Неважно. В данную минуту это просто самое близкое к тебе существо. Возьми его руку — и это будет просто продолжение твоей руки.

Они шли куда глаза глядят.

А глаза были жадными и смотрели во все стороны.

Его манили стены из фортификационного кирпича — старые заводы и фабрики, построенные в готическом стиле.

— Мне тоже нравится готика. И шотландские сказки. Особенно концовки этих сказок: «И жили они долго и счастливо. И, если не умерли, значит, живут до сих пор». Или такая: «Гости пировали много дней, и, если еще не закончили, значит, и сейчас пируют». Там настоящее время не заканчивается.

Прохладная шелковая ткань ветра гладила ноги и плечи. Тени ложились на дома, как краска на влажную акварельную бумагу.

Они вдвоем могли бы совершить злодейство или хотя бы украсть ложку из кафетерия. Город как будто специально для них убрал с улиц всех свидетелей. Но нет, ничего не происходило, никакого развития сюжета и объединяющего действия.

Городу было скучно с ними, поэтому ночь пришла раньше, чем обычно. Явилась на Тверскую площадь, где главным был фонтан. Трогательный и торжественный. Как царь игрушечный.

— Пойдем к фонтану? А то приехали, а у фонтана не были, дураки, что ли?

Девушка кивнула. Ничего против фонтана она не имела.

— Знаешь, в моем родном городе было мало памятников, но был фонтан. Я часами на него мог смотреть и смотрел.

Встреча с фонтаном была чем-то воде компенсации после невстречи с мороженым.

Двое смотрели на него. И фонтан был несколько смущен таким вниманием. Обычно все шли мимо, лишь мельком поглядывая на его работу.

На следующий день город, в котором они находились, стал еще меньше. Тверь превратилась в Торжок.

А прогноз погоды сообщал следующее: «+23, ощущается как +25. Легкий ветерок колышет волосы».

— Не прогноз погоды, а начало романа, — усмехнулась девушка.

Ветер и правда был нежным, теплым, ненавязчивым. Как и сам город.

Храмы, холмы, земля выворачивалась, дыбилась, скатывалась, как на картинах Петрова-Водкина.

Встречая очередной храм, девушка крестилась незаметно, словно стараясь не оскорбить чувства неверующих.

Он это заметил. И улыбнулся.

Улыбка совершенно меняла его лицо: детский человек, чей мальчик? А потом он снова возвращался в себя: взрослый, обособленный. Уединенный в себе. Фортификационный человек.

Вдруг город, по которому они гуляли, снова изменил облик: храмы пропали, дома исчезли, дороги размыло. Остались только лес и поле.

— Ты когда-нибудь была в панике?

— В смысле?

Он показал на табличку, стоявшую среди деревьев. На ней большими буквами было написано: «ПАНИКА».

— Что это?

— Деревня. С населением в семь человек.

— Интересно, как здесь называют жителей — «паникёры»?

И тут же представила, как достала местных жителей эта шутка.

...А прямо в поле, на столбе, висел телефон. Девушка взяла трубку. И услышала голос.

— Алё, здравствуй. А это кто? А в поле больше никого нет? Странно. Гроза, что ли, начинается?.. А ты не клади трубку, ладно? Расскажи лучше о себе... Ну как «что», я вот в Пани́ке родилась, некоторые думают, что в Па́нике, но это неправильно. Была речка Пани́ка, поникшая, а теперь так деревня называется, вот. У меня есть шесть друзей. Они все предали меня, но мы все равно живем рядом. Алё, ты не молчи, скажи что-нибудь: ты вообще кто? Как живешь?.. Я тоже нормально. А ты из какого города?.. О, я там была, белые ночи смотрела. Открытку привезла: там мост Дворцовый и Эрмитаж — красиво, но наяву все немножко не так было, не знаю, как сказать. Алё, да чего ты молчишь?! Как будто говорить не о чем! Ты что тут делаешь? На мост из валунов приехала посмотреть? Про мост не знаешь?! Ну, смотри: видишь дорожку вдоль поля? Вот, иди прямо, долго, и будет тебе мост. Там камни на собственной силе держатся, была дорога из Петербурга в Москву, и вот мост от нее остался. По нему еще Екатерина ездила, представляешь? Что-то мне с тобой прощаться не хочется — говоришь мало, но слушаешь хорошо. А мы с тобой, получается, первый и последний раз говорим, случайная встреча, да, ну ладно, иди смотри...

Девушка повесила трубку и оказалась в Петербурге. «+20» ощущалось как «+17».

А он оказался в Москве. «+20» ощущалось как «+20».

И жили они долго и счастливо.

И, если не умерли, значит, живут до сих пор.

Марк Марченко

...И пусть остальное добавят потомки

Рассказ

Этого человека с трагической судьбой, которого местные за эксцентричные выходки и неизменный внешний вид с улыбкой и за глаза называли «Мистером в шортах», звали Алан, о чем уже позднее я узнал от доктора Джоффри Стивенсона, и впервые я встретил его в читальном зале Национальной Библиотеки Шотландии. Рослый, молодой, светловолосый, одет он был легко и даже неподобающе для такого места: спортивные шорты, безрукавная жилетка, за спиной — черный рюкзак, на ногах — тяжелые армейские ботинки. То, сколько книг он заказывал, казалось выходкой еще более вопиющей: от стойки он уходил со стопкой в дюжину толстых томов, которые аккуратно, в обеих руках, громко пыхтя, нес на верхний ярус зала. Там он раскладывал книги по всему столу и, шумно вздыхая, принимался читать одну за другой. Окружающие старались игнорировать его, хотя кто-то нет-нет да бросал нахмуренный взгляд, а персонал библиотеки, судя по всему, хорошо его знал, из чего я сделал предположение, что Алан был тут завсегдатаем.

Позже, прогуливаясь прохладными вечерами после лекций в душных университетских помещениях, я встречал его на центральных улицах города: он то молча, вооружившись двумя бутылками воды, вышагивал по одному ему известному маршруту, то приходил на один и тот же перекресток, с одной стороны которого раскинулись сады Princes Street, с другой же располагалось величественное здание Нового Колледжа с огромными коваными воротами, и начинал неразборчиво и злобно выкрикивать какие-то призывы в адрес то ли прохожих, обходящих его стороной, то ли самого здания. Я бывал там нечасто — я приехал изучать философию в университете Эдинбурга, а здание Нового Колледжа было исторической обителью факультета богословия и семинарии. Временами, однако, я ловил себя на том, что мне хотелось с ним встретиться — неужели чтобы послушать его или посочувствовать ему, или присоединиться к его обвинениям (я не разбирал слов, но, судя по тону, это были именно обвинения)? Однажды, когда я проходил мимо и, поравнявшись с Аланом, приготовился дружелюбно кивнуть и поздороваться, я перехватил его взгляд: это был взгляд не безумца, не городского сумасшедшего, ради потехи веселящего или

Марк Марченко родился в Москве, окончил Московский университет им.М.А.Шолохова, факультет «Европейские языки и культуры». Учится в магистратуре Эдинбургского университета, пишет эссе и прозу на русском и английском языках. Живет в городе Эдинбург, Соединенное Королевство.

Предыдущая публикация в «Дружбе народов» — 2020, № 6.

распугивающего толпу, нет, в его взгляде была необъяснимая, ужаснувшая меня своей мощью боль, сводившая, судя по всему, его с ума. Я смотрел в глаза испытавшему помешательство, страдающему от страхов и мании преследования, глубоко несчастному и от чувства жалости утерявшему последние остатки рассудка, — Алан был не таким. В его глазах было понимание, осознание своей участи, скрытое пеленой непереносимой боли и слез.

Прошло несколько месяцев с начала моей учебы в Эдинбурге. Я продолжал встречать Алана, но у меня не хватало духу остановиться и расспросить о его истории, хоть меня и одолевало любопытство; он же всегда был сосредоточен на своих мыслях и часто просто не замечал моих вежливых приветствий на улице, а когда он разражался громогласными тирадами в сторону семинарии, предпочитал не прерывать их на то, чтобы ответить мне. С наступлением декабря я, как и все студенты, перенял привычку обвязывать шею длинным темно-синим шерстяным шарфом с гербом нашего университета и гордой цифрой 1582 и проводить вечера в Teviot House, большом университетском замке с фотографиями основателей студенческих сообществ на стенах и кубками за спортивные достижения в стеклянных витринах — в уютной и просторной зале первого этажа за книгой и чашкой чая с имбирем. И даже когда в Эдинбурге ветер едва ли не срывал балконы верхних этажей домов и к всеобщей радости студентов из более теплых стран шел снег, Алан все равно продолжал появляться на улице в спортивных шортах и жилетке.

Однажды я зашел в магазинчик Armchair Books, торговавший подержанными и антикварными книгами, и в самом дальнем зале наткнулся на несколько томов с отчетами о выпускниках нашего университета. Альбомы эти были старые, потертые, обернутые в кожу, и, открывая их, я будто прикасался к истории. Я нашел альбом своего факультета, выпуск 1982 года, и ближе к середине томика обнаружил несколько цветных страниц со снимками студентов и преподавателей. Что-то заставило меня остановиться и начать рассматривать слегка пожелтевшие фотографии; внезапно в одном из молодых студентов-выпускников я узнал Алана. Я не поверил своим глазам: прошло почти сорок лет, а он едва изменился. Всё те же светлые волосы, хмурое выражение лица, крепкое телосложение — здесь он был одет, как и все остальные, в строгий серый костюм, но перепутать было невозможно: разница между двумя каплями воды и то заметней.

Я обратился к продавцу: тот подтвердил подлинность альбома. Откуда в коллекции его книжной лавочки взялся этот экземпляр, он не знал. Я с его позволения сделал снимок страницы с фотографией, а также с именами профессоров кафедры в надежде найти хоть кого-то, кто преподавал у Алана (тогда я встретил это имя впервые, на подписи к фотографии; несмотря на разительное сходство портретов, я все еще думал, что это мог быть его отец).

Доктор Джоффри Стивенсон оказался единственным, кого я смог разыскать: поиски остальных преподавателей оканчивались либо на некрологах в местных газетах, либо на печальных «увы, их с нами больше нет» их детей и внуков. Перед тем как отправиться на поезде в небольшой городок в получасе от Эдинбурга, на полпути к Стирлингу, я провел свое небольшое расследование: Гугл выдал несколько страниц форумов, где студенты обсуждали странные манеры Алана, и кто-то даже поделился рассказом о том, как ему удалось разговориться с ним о поэзии и истории, но ничего конкретного о его личности или прошлом выяснить не удалось. Создавалось впечатление, что Алан появился в Эдинбурге из ниоткуда и был тут совсем один, что подтвердило мою мысль, что тех, кто хоть что-то о нем знал, уже просто нет в живых.

Я решил не предупреждать доктора Стивенсона о своем визите, предполагая, что он может попытаться избежать встречи. Он оказался приятным пожилым джентльменом, и узнав, что я учусь на философском факультете, где он когда-то преподавал, пригласил меня в дом. После непринужденной беседы об учебе и моих первых впечатлениях от города (его особенно интересовало, успел ли я посетить место захоронения Дэвида Юма на Old Calton Burial Ground — «любопытное место, молодой человек, обратите внимание на надпись — как она лаконична, как скромна — Юм, которому и Старый, и Новый Свет обязаны необычайным вкладом в освобождение от оков средневекового, не побоюсь этого слова, мракобесия, который стоял у истоков Шотландского Просвещения и был первопроходцем рациональной мысли, просил, чтобы на его могильном памятнике не указывали ни одной из его заслуг, а только имя и дату рождения и смерти, в надежде, что память о его заслугах будет говорить сама за себя. И ведь так и случилось: память о заслугах, она жива и говорит — вы поймете это, как только ваш взгляд упадет на его могильную плиту!»); он, наконец, поинтересовался, чем может мне помочь. Я показал фотографию выпуска 1982 года, объяснив свою озадаченность. Выражение его лица мгновенно изменилось; чашка чая выскользнула из рук и разбилась об пол. Его голос окрасился гневом — он был готов прогнать меня из своего дома, сотрясая воздух проклятиями, — так ненавистна ему была моя непрошенная попытка вернуть его к воспоминаниям, очевидно по-прежнему откликавшимся тяжелыми чувствами.

Я рассыпался в извинениях, я объяснял свое дерзкое вторжение в его прошлое врожденной любознательностью, я взывал к сходствам в наших натурах, которые и привели нас на один и тот же факультет. В конце концов он сдался. Доктор Стивенсон поведал мне, что студента с фотографии почти сорокалетней давности звали Алан и что он действительно тот самый человек, которого я встречаю на улицах города. Доктор Стивенсон познакомился с ним за год до того, как Алан, обладая живым умом и незаурядными познаниями в области гуманитарных наук, выпустился с факультета философии, — он преподавал у него курс по нормативной этике. Алан был эксцентричен — прогулки по улице в легкой одежде и неожиданные приступы гнева случались уже тогда, — но ему, эрудированному и наделенному необычайной интеллектуальной любознательностью студенту, это прощалось. После Алан поступил в докторантуру, где планировал заниматься философией морали — особенно его интересовали вопросы, связанные с эпистемологией добра и зла, а также с природой возмездия. Увы, сообщил мне доктор Стивенсон, им не суждено было работать вместе: поведение Алана становилось все более неконтролируемым, он мог сорваться и накричать даже на преподавателя, вопрос о его отчислении был вынесен на рассмотрение дисциплинарного комитета, ему объявили выговор. Ходили слухи, что Алан страдал серьезным психическим расстройством, — слухи, которые он ревностно отрицал. Стивенсон взял на себя ответственность поговорить с ним; в результате было решено, что Алан начнет терапию с одним из практикующих психиатров, а также, по настоянию самого Алана, ему организовали встречу с преподавателем семинарии университета, который обладал саном священнослужителя в католической церкви и мог принимать исповеди и проводить обряды отпущения грехов. На мой немой вопрос Стивенсон ответил отказом, сказав, что тот давно умер. День их встречи стал днем, когда Алана отчислили из университета: очевидцы утверждали, что, когда приехала полиция, юноша стоял на коленях перед воротами здания Нового Колледжа и, сотрясаясь в рыданиях, просил священника еще раз провести обряд отпущения грехов. Можно было предположить, что священник, услышав что-то крайне неподобающее, отказался отпускать грехи Алану, но Стивенсон, уже намного позже, сумел узнать, что священник хоть и не был готов к тому, что услышал, но все же посчитал своим долгом

перед Всевышним исполнить таинство. Странным и необъяснимым было поведение Алана после — что могло привести его в такое исступление, заставить упасть ниц перед священником, разбив колени о мостовую и сложив ладони в мольбе? Доктор Стивенсон пытался выяснить, но смог узнать лишь, что безумные крики отчаяния вскоре превратились в злобные и переполненные бессильным гневом проклятия; когда Алана забрали, по его лицу текли слезы, его рот продолжал — едва ли сознательно — исторгать богохульства, а его лоб был разбит в кровь. Его отпустили из-под стражи на третий день, и к тому моменту университет уже издал указ о его отчислении, а полиция запретила ему входить на территорию школы богословия в Новом Колледже. С тех пор Алан приходил к ее массивным вратам, продолжая выкрикивать едва различимые проклятия в адрес церкви.

Это все, что Джоффри Стивенсон был в силах мне поведать; с каждой минутой нашей беседы он погружался в темную, зловещую меланхолию, и я отказался от дальнейших расспросов. Ясно было одно: Алан рассказал священнику о своем состоянии и о своем прошлом, но что-то пошло не так. Едва ли тот отказался отпустить грехи Алану, даже если и предположить, что история молодого человека показалась ему неправдоподобной или недостойной: церковь учит, что любая заблудшая душа в поисках истины и прощения достойна божественной милости. Что же могло вызвать такой гнев у молодого, эмоционально подвижного, но обладавшего незаурядным разумом студента и толкнуть его в пучину безумия?

Последним, что мне удалось выведать у доктора Стивенсона, была нацарапанная на клочке бумаги фамилия — фамилия лечащего врача, к которому был направлен Алан.

Меня снедало не только любопытство, но и странная тревога, предчувствие раскрытия тайны, значение которой я не в силах был понять. Два адреса и два номера телефонов оказались неверными; третья попытка привела меня к порогу изящных апартаментов в районе Марчмонта, где меня встретила дама, вышедшая на прогулку со своим английским сеттером. Она пригласила меня пройтись вместе с ней, и я не посмел возразить. Я несколько раз озвучил свой вопрос; она вновь и вновь встречала его молчанием. Вскоре мы оказались на кладбище, у памятного камня с именем и фамилией человека, который, похоже, был единственным, кто знал тайну необычной болезни (посмел бы я назвать это проклятием?) Алана.

«Моя мать умерла восемнадцать лет назад».

Я выразил сожаление и, извинившись, был готов уйти.

«Вы ведь по поводу Алана, не так ли? Вы тоже хотите понять, что с ним случилось?»

Я остановился и лишь молча кивнул. На обратном пути я рассказал о своей встрече с доктором Стивенсоном.

«Моя мать действительно знала его, — был ответ. — Но терапия продолжалась недолго. Мама отказалась вести Алана после того, как он рассказал ей о природе своего... затруднения».

Я внимательно слушал в ожидании — наконец! — ответа на главный вопрос.

«Алан мучился. Мучился от боли, которую описывал как пылающий в груди огонь. Судя по всему, боль эта то атаковала его, то ненадолго отступала. Приступы со временем становились чаще, боль — сильнее. Ни один врач не мог ему помочь — согласно всем медицинским заключениям, Алан был совершенно здоров. Мама видела все отчеты и документы — они действительно не смогли ничего найти».

«Но... откуда же боль?»

«Алан сказал моей матери, что боль была возмездием его совести. Знаете, как

человек мучается от угрызений совести? Алан чувствовал не фантомные переживания, истощающие рассудок, а настоящую боль, выжигавшую его изнутри. Боль эта, как и угрызения совести, то утихала, когда ее удавалось отвлечь интеллектуальным трудом или заглушить физическими упражнениями, то разгоралась с новой силой и доводила до умопомешательства. Моя мама хотела, но не смогла ему помочь — и еще долго терзалась осознанием собственного бессилия. Не проходило и дня, чтобы она не вспоминала об этом, а я наблюдала, как ее уверенность в себе и в божественном умысле таяла на глазах. Почему она должна была тоже мучиться? Кто допустил, чтобы за грех одного страдали многие? Я бы прокляла Алана, если бы могла. Похоже, за меня это уже сделал кто-то другой».

Я оставил ее в весьма расстроенном состоянии духа, да и сам испытывал смешанные чувства. Испытание муками совести, которые причиняли настоящую физическую боль? Окажись это правдой, это было бы нечеловечески жестоким наказанием. Но кто мог подтвердить или опровергнуть то, что я узнал? Кто мог хотя бы попытаться объяснить мне, за какие грехи человек мог навлечь на себя такое возмездие? Почему Алан сыпал проклятиями в адрес семинарии и Церкви?

Мне долго не удавалось разговориться с Аланом. Он либо игнорировал меня, либо отвечал кивком на мои слова приветствия и проходил мимо, делая вид, что не слышит, либо разражался такой громкой тирадой (то ли это особенность его дикции, то ли он делал это намеренно, но разобрать слова, которые он выкрикивал, было почти невозможно), что мне пришлось оставить попытки заговорить с ним. Так продолжалось несколько месяцев — я сдал свою первую сессию, встретил девушку, полюбил прогулки под ночным небом и прочитал надпись на могильном камне Дэвида Юма, — пока последним зимним днем, когда весь Эдинбург оказался во власти едва проницаемого тумана, я во время утренней пробежки не услышал — совсем близко, со стороны небольшого парка — крики о помощи. Я приблизился и увидел Алана, который сидел на земле, закрыв ладонями лицо, и выкрикивал одно лишь слово: «Воды!» Какой-то прохожий, едва нас завидев, поспешил скрыться за поворотом. Я предложил свою бутылку. Когда Алан поднял взгляд, мне пришлось сделать усилие, чтобы не отшатнуться: покрасневшее лицо, залитые слезами глаза, стиснутые зубы — так выглядит человек, который испытывает сильнейшую боль.

Алан жадно выхватил бутылку и залпом ее осушил. Я опустился на землю рядом. Месяцы вежливых приветствий и встреч на улице и в библиотеке не прошли даром — он меня вспомнил. Я не надеялся, что он разговорится, но ему стало лучше. Ровным голосом, не зная еще, чего от него ожидать, и боясь его спровоцировать, я рассказал о фотографии в альбоме выпускников. Узнать Алана было легко — с тех пор, как я уже отмечал, он едва изменился. Затем, надеясь на ответную искренность, я сообщил, что тоже был студентом философского факультета и что моя любознательность привела меня к его старому преподавателю, а затем и к дочери психиатра, который когда-то пытался ему помочь.

То ли он поверил в мою искренность, то ли я был первым, кто за все эти годы проявил к нему неподдельный интерес, но мои опасения оказались напрасны: Алан поведал мне свою историю.

Он приехал в Англию в конце семидесятых; где он скитался до этого, какая страна была ему когда-то домом, — об этом Алан умолчал. Он действительно страдал: жгущая боль то разгоралась, то утихала в его груди. Он обошел всех врачей; он побывал во всех больницах. Боль не покидала его, и лишь стоило ему начать о ней думать, как она овладевала им с новой силой и мешала трезво мыслить, причиняя неимоверные страдания. Со временем Алан научился ее прогонять: помогали физические упражнения, и он проводил большую часть времени на ногах. Когда боль была не очень сильной,

отвлечься от нее помогала простая холодная вода — и он всегда носил несколько больших бутылок в рюкзаке. Разочаровавшись в медицине, Алан начал искать причину в себе и установил связь между появлением боли и угрызениями совести, которые терзали его из-за чего-то, что он совершил в прошлом. И тогда он понял, что боль эта была дана ему в наказание — совесть его обрела форму адского пламени, в котором горела его душа, не давая физическому телу угаснуть — ведь нести бремя адского пламени грешникам уготовано вечно.

Алан пытался смириться со своей участью, но боль лишала его рассудка; припадки ярости, насылаемые на него вместе с жаром огня внутри, пугали даже его самого, и он предпринял попытку понять, как избавиться от этого страшного проклятия. На душе его лежал грех, но он не понимал, как добиться прощения. Так Алан приехал в Эдинбург и поступил в университет на факультет философии в поисках ответа на вопрос, что было добром и что было злом, дабы осознать свой грех и встать на путь искупления. Он изучил работы Гегеля и Лейбница, утверждавших, что зло есть неотъемлемая часть сущего, без которой не может существовать ни добро, ни положение вещей, и отверг их — будь это правдой, не последовало бы с ним столь жестокой расправы за содеянное. Платон, Эпиктет и Сенека считали, что нет зла и добра кроме того, что не присуще природе человека, — Алан усомнился и в них, ведь было время, когда он совершал ужасное, себе в том не признаваясь, и это каким-то уродливым, неподобающим образом соответствовало его природе. Ницше и Гоббс пытались доказать, что зла не существует и что есть лишь представления каждого из нас о том, что хорошо, а что плохо, и любое наказание человек придумывает себе сам, но Алан страдал, и страдания его говорили об обратном: то, что злом ему не казалось, злом было, и боль его, уготованная в расплату, воле его не подчинялась. Другой мыслитель, имя которого продолжает от меня ускользать, утверждал, что зло было отсутствием Бога, и Алан обратился к богословию и обнаружил, что Августин Блаженный, а за ним и все догматы Церкви говорили о том, что жестокость, войны, убийства, будучи злом по своей сути, могли быть обращены в добро, ведь зло, свершающееся во имя Господа, во имя защиты себя и ближнего, становится священным актом повиновения воле Его. Алан обратился к поискам Господа, и прочитал он в Библии и в Коране, что Господь милостив к грешникам и что нужно лишь прийти к нему, дабы получить прощение.

Жажда искупления привела Алана к профессору богословия, о котором и рассказывал мне доктор Стивенсон. Исповедь продолжалась долго, и несколько раз Алан пресекал попытки ее остановить, в слезах, сотрясаясь от невыносимой боли, изливая свою душу. Наконец, несмотря на величину его преступлений, священник узрел в нем раскаяние и отпустил грехи.

Не успели они расстаться, как очередной, небывалой прежде силы приступ выжигающей внутренности боли заставил Алана броситься на мостовую. И тогда в прозрении своем он осознал, что лишь приумножил зло и что не в силах священника отпущение греха его, и что узрел он еще одно явление многоликого зла, и проклял он священника и школу, и Церковь, и, повторив слова Иоанна Богослова, осудил их на погибель от пламени дракона, числом имени которого было шестьсот шестьдесят шесть, и пообещал он, что не будет им спасения.

Алану было сложно говорить, его и тогда мучила боль, но то, что он делился со мной своей историей, отвлекло его и дало временное облегчение. С тех пор как его отчислили, он проводил все свое время в чтении, продолжая искать ответы на свои вопросы; в моменты же сильнейших припадков, когда рассудок его почти покидал и сила воли уступала место нечеловеческому страданию, Алан возвращался к месту, где Враг, чрез которого искал он прощение, в последний раз поймал его в ловушку. Там

он, воздевая руки к небу, продолжал выкрикивать проклятия и пророчить гибель всем, кто в слепой уверенности своей правоты продолжал творить зло.

Было бы сложно поверить Алану, если бы он не оставался молодым в течение последних сорока лет (кто знает, сколько лет ему было на самом деле?) и не цитировал мне Аристотеля, Святого Августина, Юма и Колаковски, с легкостью переходя с греческого на латынь, с безупречного академического английского на мой родной польский, которым он владел уверенно и непринужденно, и если бы я не видел ту боль и то раскаяние, которые отражались в его взгляде.

Алан так и не отважился рассказать о причине его угрызений совести; я подозревал, что это могло быть преступление, может быть, убийство, законного наказания за которое ему удалось избежать, и я устрашился брать на себя бремя подобного знания. Я ушел с тяжелым сердцем, но с радостью от того, что, пусть и на несколько часов, облегчил страдания этого несчастного человека.

В следующий раз я встретил Алана уже перед своим отъездом: он по-прежнему совершал свои ежедневные прогулки с рюкзаком и бутылкой воды в руке, но мне хотелось верить, что он нашел способ обуздать свою боль. Завидев меня издалека, он окликнул и попросил принести ему ту самую фотографию, которую я увидел когда-то в томике с отчетом о классе по философии 1982 года. Я не знаю, как он догадался, что я все-таки купил его; кажется, я об этом не упоминал. Мы договорились о месте встречи — так получилось, что день этот был и днем моего отъезда.

Местом нашей встречи оказался перекресток, с которого открывался вид на школу богословия. Алан оставался невозмутим. Я передал ему книгу; в ответ, вместе со словами благодарности, он попросил меня подставить ладонь и опустил в нее предмет. Не дожидаясь моей реакции, он развернулся и зашагал прочь.

Предмет оказался кольцом, но в суматохе сборов я, посчитав его памятной безделицей, забыл о нем; лишь по прибытии в Варшаву я нашел кольцо во внутреннем кармане своей куртки и с удивлением обнаружил, что сверху его венчает череп и скрещенные кости, по бокам же начертаны сдвоенные руны «зиг», а сзади был начертан девиз: «Gott mitt uns». На оборотной стороне кольца тоже была надпись, но из-за патины и потертости я не разобрал букв. На следующий день я отнес кольцо антиквару, и тот подтвердил, что кольцо подлинное и датировано, судя по всему, концом тридцатых годов; такие наградные кольца дарились офицерам отрядов «Мертвая голова» за выслугу лет. Я поинтересовался надписью, нанесенной на кольцо изнутри. Антиквар ответил, что надпись была именем человека, представленного к награде. Мне пришлось подождать, пока он с необычайной осторожностью рассматривал предмет. Затем уверенным голосом он сообщил мне имя первого владельца кольца: *Алан*.

19.08.2020

Анастасия Трифонова

Контур человека

Тире

На жёрдочке, как певчий кенар,
свистит и прыгает весёлое житьё.
Такое многоклеточное тело
окажется ничьё

и растворится, не оставив
надежды повторить по нотным образ*а*м
такое пение: до белого незнания,
до чистоты в глазах.

* * *

Наискось погнута плоскость
в казимировых полях,
контур человека остр,
остры зубья на граблях.

Градиентная, как Марфа,
треугольный геометр,
сквозь траву плыву — не барка,
женщина в расцвете лет —

в жерло жатвы поднебесной.
Жилка бьётся, будто рыбка
золотая, говоря:

и тебя похоже выгнут
повседневность, повсеместность,
полосатая земля.

Трифонова Анастасия Владимировна — поэт, филолог. Родилась в 1987 году в Смоленске. В 2010 году окончила Смоленский государственный университет, кандидат филологических наук. Работает учителем. Публиковалась в журналах и интернет-изданиях «Юность», «Вопросы литературы», Prosodia, «Кольцо А», «Формаслов», в антологии «Современный русский свободный стих». Живет в Смоленске. В журнале «Дружба народов» печатается впервые.

На своё сорокалетие

Фотографии в стенке
безусловны, как брачный сон,
родословные слепки
в чёрно-белом дыму отпечатков пальцев
на стекле. Каждодневно
и непреклонно стоим за стеклом
мы с сестрой, мать, отец, бабушка, дед.
И наша праматерь —

знак для неспящего в темноте —
вопрошает у своего народца:
— Не прервёмся?
Вернёмся, прильнём к тебе.
Ничего неспящего не остаётся.

Горечь прошлого — непреходящий кошмар,
не дающий прилечь, забыться и примириться
с песчинкой в носке,
тенью на потолке,
катетером в руке.
Тянет-потянет волынку свою комар,
одинокая птица.

* * *

Когда отец меня из зеркала корит —
рот набок, недовольная гримаса, —
такое разгорается внутри,
что ни вода, ни время не погасят.

Все интонации — похоже говорю,
полупродукт из волевых усилий, —
сплавляются в чугунную хандру,
которую таскать невыносимо;

не разобрать отдельные слова,
молчание на горло не набросить.
Под возмущённый голос голова
отцовскую приобретает проседь,

всё очевидней проявляются очки
и мысль — не осознать, не примириться, —
что копия, хоть в зеркало стучись,
ни в ком не отразится.

Перед Казанской

Я помню глаз
и трещину насквозь,
как будто не доска, а книга разломилась
на том единственно возможном развороте:
ни красок, ни оклада, только глаз,
пронизанный насквозь, насквозь разящий
всезнанием, всеболью, вселюбовью.
Нет рук, лица, лишь полутьма собора
теснит толпу пришедших *ближе, ближе*
и раскрывает сводов полотно —
войди, войди, — а я стою, насквозь —
не в силах самоё себя умерить —
надтреснутая, суетливая душа.

Кари Амирханян
«НЕЗАМЕЧЕННАЯ КРАСОТА» АСМИК АВЕТИСЯН

К чисто белому цвету она шла с десяти лет: однажды увиденный белый пейзаж со всеми оттенками белого, поразил и пробудил неожиданную для ребенка просветленность, на многие годы оставшуюся с ней. Сейчас трудно судить, что было для художницы Асмик Аветисян главной причиной такого притяжения к белой палитре. Может, груз штампов и наработанных стереотипов в советском изобразительном искусстве, а может, тяга к безыскусности и тишине, даруемым белым цветом? Так или иначе, но Асмик четко осознала свое призвание: привнести в мир новые неожиданные краски.

Скрытое проявление Космоса сияет глазу ищущего

В любой эксперимент еще до его начала закладывается возможный вариант случайности.

Асмик Аветисян: Мы сидели с художниками и говорили об искусстве, обсуждали, кто над чем работает. И вдруг — как если бы мне вставили чип в голову или нашептали на ухо: «А почему бы и не альбиносы?» Я замерла от неожиданности. Уже спустя какое-то время, когда проект с альбиносами был готов, я отчетливо поняла, что в действительности не я нашла эту тему, а она — меня, и, по сути, то, что ты ищешь, тоже ищет тебя.

Асмик Аветисян делает свой арт. Она в постоянном поиске новых идей и путей развития. Природный дар, унаследованный от родителей (мать — художник, отец — архитектор) и взрощенный на родной земле, помноженный на завидное усердие и тщание, плюс критическое отношение к себе и отказ от того, что другой бы счел богатством, дали прекрасный результат. В своем творчестве она обычно не просто использовала чистые краски, но и продуманно оркестровала холст, сочетая, сопоставляя основной и промежуточные цвета в пределах одного тона. С появлением белого цвета ее письмо обретает какую-то новую свежесть — острую, легкую, щемящую.

Портретная галерея альбиносов — людей и животных (как правило, очеловеченных) — демонстрирует в их лицах немного отрешенное самоуглубление, очищение до некоего идеала. И одновременно — их нежность и застенчивость. Их прообразы — реальные люди разных национальностей. В основном она выбирала людей красивых — все-таки проект был о красоте, непознанной, но открытой ею. И художнице хотелось увлечь всех этим своим открытием.

Пыль Бога

Почти год Асмик писала исключительно портреты людей, лишенных пигмента меланина. (Это важнейший пигмент, отвечающий за цвет кожи, волос и глаз и защищающий от ультрафиолетовых лучей и радиации. Про меланин знали еще в Древнем Египте и называли его «пылью Бога».) По ходу работы эта тема все глубже захватывала Асмик как попытка изучения нового для художницы эстетического опыта. Причастность к неведомому окрыляла, воодушевляла.

Она узнала, насколько кардинально отличается отношение к альбиносам в разных странах, насколько эти люди могут быть внутренне беззащитными и внешне незащищенными. Скажем, в некоторых африканских странах альбиносы обречены на смерть — их истребляют, потому как в местных колдовских практиках из фрагментов тела альбиносов готовят амулеты для привлечения благополучия и удачи. Их даже хоронят в тайных местах, чтобы колдуны не смогли польститься. И в то же время именно в Африке «лунных» детей рождается в десятки раз больше, чем по всему миру.

Асмик Аветисян. «*Незамеченная красота*». Картины и их прообразы.

Но у художницы помимо сострадания было и желание открыть миру иную, чисто эстетическую составляющую этой «четвертой» расы человечества, напомнить об их существовании, обратить внимание людей на их проблемы. Она пристально всматривалась в лица, постигала характеры. К тому же Асмик хотелось непременно найти местных альбиносов. Где только она ни искала их в Армении, но отыскать удалось лишь восемь человек. Она легко подружилась с ними — некоторые даже пришли на выставку, им посвященную.

Асмик Аветисян: Альбиносы дали мне шанс многое осознать и ответить на многие волнующие меня вопросы. Я поняла, что есть люди, которые несут крест своей судьбы и вынуждены дорого платить за свою уникальность. Причем кто-то, будучи альбиносом, гордится своей уникальностью, а кто-то, наоборот, чувствует себя ущербным. Совсем как в жизни обычных людей. И надо верить, что человеческий дух растет благодаря переработанным переживаниям. С осознанием происшедшего.

О красоте

Асмик Аветисян: Для меня нет красоты без некой необычности во всем облике человека. У меня сердце сжималось от красоты этих «лунных» людей — и от необходимости ее описывать. Я очень привязалась к ним в душе — они постепенно стали частью моей жизни. Более всего поражал их окрас — прозрачность, с отливом розового, этакая инопланетность. Есть художники, которые изображают то, что видят. Я, скорее всего, изображаю то, что поняла. Ясно одно: любой чужой, непонятный для нас мир, имеет право на существование. Это и стало одной из концепций моего проекта «Незамеченная красота. Дети Луны».

«Если не знаешь, что делать, делай то, что знаешь»

Асмик Аветисян: Я люблю переосмысливать прожитую жизнь, передо мной всегда стоит тема выбора. Своими размышлениями я и делюсь в своем творчестве.

То же происходило и перед проектом об альбиносах. После поездки в Париж в 2010 году во мне что-то резко изменилось. Свойственная моим картинам многокрасочность, многослойность и фактурность вдруг как-то исчерпали себя. Вернувшись из Парижа, я ощутила непреодолимое желание творить. Я написала картину, в которой соединилось то, что уходило, и то, что только созревало в сознании. Это был осознанный, прочувствованный выбор. Почти физически я ощущала перемены, происходящие во мне.

В это сложно, наверное, поверить, но я люблю изучать, понимать себя через живопись. И каждый раз, как только случается сбой, как только я перестаю понимать себя, я начинаю писать. И тогда мне становится ясно, ч т о меня волновало. Состояние это похоже на замкнутый круг, круговой оберег — «Если не знаешь, что делать, делай то, что знаешь».

Она собрала все свои картины и в 2012 году сделала ретроспективную выставку: надо было заново полностью осмыслить точность и своевременность выбора. И именно тогда была написана последняя работа Асмик, которая называлась «Возможный финал». Художница поняла, что настал конец очередного этапа.

Прошло какое-то время после нашумевшей выставки Асмик Аветисян в Ереванском Музее современного искусства. Но предложенная художницей тема не исчерпала себя — она требовала продолжения, реинкарнации в иные образы.

«Если…» стал логическим и закономерным продолжением прежнего проекта, посвященного альбиносам. И если первая часть была посвящена «другим», то вторая — настроила фокус внимания на своих, очень близких по духу людях. Произошла своеобразная персонализация героев. Разомкнутая эстетическая метафора философского толка трансформировалась в чувственно воплощенный слепок с фантазии художницы. Но что таилось в этом названии — «Если…»?

Асмик Аветисян: Наша жизнь, как известно, делится на «до» и «после». А между ними стоит «если»: «Если бы не пошла, если бы не сделала, если бы сохранила…» Чтобы осознать этот вопрос и ответить на него, я вновь обратилась к моим «белым воронам». Идея очередной выставки заключалась в том, что я попробовала увидеть знаменитых представителей искусства Армении в облике альбиносов и понять, как это перевоплощение изменило бы их жизнь и отношение к ним. И представьте себе, бомонд, люди искусства в контексте проекта выглядели весьма неожиданно и интересно. Все были приятно удивлены.

Выставка картин Асмик Аветисян, состоявшаяся в 2018 году в Ереванском Музее современного искусства, стала логическим завершением темы альбиносов.

Асмик Аветисян: В процессе подготовки этого проекта изменилась я сама, изменилось и мое мышление — от абсолютного абстракционизма перешла к реализму, приближенному к сюрреализму, даже стала слушать другую музыку: потянуло к космической музыке. Техно. Раньше такая музыка воспринималась мною как шум — нынче же я чувствовала потребность в ней, особенно во время работы.

Цвет настроения — красный

Она любит часами наблюдать за людьми, писать их лица, руки. Чем разнообразнее люди, тем интереснее. Находясь за границей, Асмик выбирала укромное место и изучала прохожих, присматривалась к пластике их тела, жестам, походке. Но больше всего она вглядывается в лица — для художницы это самая открытая зона для изучения. Лицо, которое вылепила человеку жизнь. Она уверена, что лицо человека говорит больше, нежели его слова: уста высказывают только мысль человека, лицо — его природу.

Асмик Аветисян: Вы не замечали, что цвета, порождаемые мыслями, светятся? Я поняла, как важно по жизни отыскать свет и любовь во всем, что тебя окружает. Даже если это беспросветная тьма, все равно надо непременно отыскать свет в конце тоннеля. Иначе никак. Но при этом я люблю ставить сложные задачи, выбирать сложные темы. А после непременно приходить к балансу, равновесию. Жизнь для меня — это когда возникает динамическое равновесие, когда не можешь не творить.

…Я никогда не давала выход эмоциям. Только события последней войны в Карабахе вывели меня из себя — я взяла валик и стала отчаянно наносить темно-алые размывы… Я должна была действовать, и это было мое оружие.

А что если вдруг предположить, что у художницы нет ни одной написанной картины, что она находится в запертой на все замки мастерской и предоставлена самой себе — единственное условие: выбрать одну только краску для созидания. Какой цвет она выберет?

Асмик Аветисян: Пустая мастерская… Ни одной картины… И всего одна краска? Вообще-то я люблю одноцветные картины. Я изучаю и знаю себя через цвета. Люблю создавать картины в одном цвете (я даже стараюсь одеваться в одной гамме цветов). Но при этом нет искусства без контраста, с той только разницей, что контраст должен исходить, как это было у Караваджо, изнутри.

Любое душевное состояние способно отразиться в одном цвете. В самой скупой гамме всегда таится сдерживаемая энергия. И если мне придется выбирать в предложенной безвыходной ситуации, то я выберу уже не белый. Это будет, скорее всего, красный. Тот красный, который несет с собой добро, торжество. Это что-то очень хорошее, это победа и торжество в творчестве — и в жизни тоже. Столкнувшись с «чистым листом», я услышу вибрацию Космоса и начну творить.

Асмик Аветисян с художницей-мультипликатором Нарой Мурадян

На выставке «Незамеченная красота»

О революции и вязальщицах

Два письма на одну тему

Геннадий Прашкевич

О новом разделении человечества

Дорогой Алексей!

Что ни говори, многие (если не все) мечтают о прекрасном завтрашнем дне — чтобы все здоровые, счастливые, умные; и чтобы равенство, свобода, а ко всему этому — прекрасное искусство, никаких обид, насилия. Все лучшее — всем и сразу.

Но все-таки отнюдь не самая малая часть таких мечтателей ждет для себя (именно для себя) равенств и свободы чуть больше, чем будет дано другим. Понятно, начнутся споры и стычки. Дело обычное. Да и опыт (мировой) есть: самых «свободолюбивых» отправлять в дальние края, где без трудностей не проживешь.

Работа делает свободным. Тоже ведь мировой опыт.

И с искусством не без проблем. Сколько можно любоваться безрукими венерами, — мы давно хотим совершенства! Хватит с нас обаятельных императоров, красавцев-королей, диктаторов, массово сгонявших счастливцев в создаваемое для них будущее. Не пора ли разобраться с великими подделками? Вот амфора с печаткой: *третий год до нашей эры!* А вот памятник Оскару Уайльду в Лондоне работы Мэгги Хэмблинг — напоминающий исключительно о духовном уродстве писателя, и статуя Иоанна-Павла Второго в Риме, подчеркивающая духовное и физическое несовершенство святого, и мемориал Альберту Эйнштейну в Вашингтоне — бедность, бедность...

Впрочем, когда искусство утверждало равенство и свободу?

Разве дух египетских скульптур — дух равенства? Разве китайские терракотовые воины — символ свободы? А Давид с мечом (Донателло) и Давид с камнем для пращи (Микеланджело) — неужели они думали о равноправии? Сотни тысяч художественных работ за пышной своей победительной ложью (как амфора с той пресловутой печаткой) с давних пор прячут, прикрывают отчаяние поколений, всеми способами

Прашкевич Геннадий Мартович — прозаик, публицист.

пытавшихся прорваться в будущее. Невидимая, неслышимая, тщательно скрываемая информация только просачивается во все слои общества — как нечистые грунтовые воды, беспокоит, подсказывает смутные сны. Зло ведь не обязательно украшено рогами, оно не всегда грязно-мохнатое и с оскаленной пастью. Статую Люцифера, установленную в Соборе Святого Павла в Льеже называют — Гений зла, а ведь сама по себе она прекрасна.

И все же она — статуя Люцифера.

Значит, правы те, кто требует общей зачистки мира?

Значит, революционеры, готовые опять и опять силой менять мир, призваны свыше? Распахнуть настежь мир, впустить свежий воздух, разнести на мелкие осколки бесчисленные (как правило, двусмысленные) памятники, сжечь портреты, прототипы которых никогда не были примером нежности и добра. О чем нам каждый час, каждую минуту долбят с телеэкранов? «Из пистолета музыканта Ш. убито девять человек...» «Тело адвоката Ф. найдено возле собственного дома...» «Две близкие подруги разбивают семьи друг друга...» «Звезда студенческого баскетбола зарезана в постели любовника...» Или совсем уж сложный сюжет: «К. обвиняет Л. в шантаже, потому что Л. хочет рассказать П., что его жена была любовницей его друга...»

Это и есть будущее, к которому мы стремились?

Шайка карточных шулеров... Любовница президента... Повара ножами оспаривают крупный денежный приз... Неужели даже Адам пал жертвой подобного мышления? Неужели не попавшие на борт ковчега твари (чистые и нечистые) тоже стали жертвами заговора? Как же так? Выходит, нам действительно не обойтись без очистительных революционных переворотов? Сам воздух, насыщенный нашим дыханием, сама вода, которую мы пьем, зовут нас на баррикады.

Сейчас и здесь!

Революция — это не повара, ножами оспаривающие крупный денежный приз.

Не случайно именно революция, как огонь, притягивала и притягивает тех, кто о ней услышал. Не случайно вокруг гильотин в революционной Франции первыми рассаживались *вязальщицы* — самые обыкновенные женщины, для которых в наше время пишут и снимаются телепрограммы, цитировавшиеся выше. Этих милых женщин (ничуть не фурий) так и называли — вязальщицы Робеспьера. Тихие домашние женщины революционной Франции, милые ревностные сторонницы защищающей их диктатуры, они, улыбаясь, занимали места рядом с гильотиной — с неизменным рукоделием в руках. Они приносили с собой складные стульчики, укутывали зябнущие от волнения плечи теплыми платками, раскладывали на коленях спицы и пряжу. Они никому не мешают! Они за свободу и равенство! Они за будущее для всех! И устраивались они рядом с гильотиной только для того, чтобы самим своим присутствием подтвердить: они за равенство, за свободу (что бы это ни означало). Да, конечно, чисто по-человечески они сочувствуют приговоренным к смерти, мучения их пугают, но ведь именно эти тупые упрямцы, отправленные революцией под нож гильотины, никак не могут утихомириться, всячески мешают спокойной и сытой жизни общества, томят намеками на что-то *нездешнее,* пишут нервные книги, изобретают паровозы и пароходы, пытаются взлететь в небо, устраивают гладиаторские бои, придумывают неудобные законы, отдают самые лучшие залы для выставок, на которых красуются портреты все тех же великолепных императриц, написанных с известных шлюх (как еще назвать натурщиц?); именно они, эти агрессивные упрямцы, возводят роскошные мемориалы кровавым полководцам-победителям, расстрельным красавчикам с душами Минотавра.

Хватит! Революционный огонь выжжет заразу.

Ах, вязальщицы! Ах, добрые законопослушные гражданки!

Тонкие спицы так и мелькали в их умелых руках. В конце концов, носок, связанный перед гильотиной, греет ничуть не хуже, чем носок, связанный в кресле у домашнего камина. А может, и лучше. Присутствие вязальщиц (а они и есть народ) как ничто укрепляет жесткую справедливую власть. Европа... Азия... Обе Америки... Азиаты и европейцы, австралийцы и американцы — все одинаково жадно хотят свободы и равенства. Сейчас и здесь! Ведь мы, люди, живем очень недолго, дайте нам возможность насладиться равенством и свободой!

Вот вам российский опыт.

Разве мы кому-нибудь уступим в оригинальности?

«Дванов, — герой романа "Чевенгур" Андрея Платонова — в душе любил неведение больше культуры: невежество — чистое поле, где еще может вырасти растение всякого знания, но культура — уже заросшее поле, где соли почвы взяты растениями и где ничего больше не вырастет. Поэтому Дванов был доволен, что в России революция выполола начисто те редкие места зарослей, где была культура, а народ как был, так и остался чистым полем, — не нивой, а порожним плодородным местом. И Дванов не спешил ничего сеять; он полагал, что хорошая почва не выдержит долго и разродится произвольно чем-нибудь небывшим и драгоценным, если только ветер войны не принесет из Западной Европы семена капиталистического бурьяна». В конце концов, уверен Дванов, любая наша работа, любой толчок — это уступка уничтоженному капитализму. И наше так называемое искусство — уступка. Как ни крути, а любая работа, любой акт творчества производят какой-то продукт, значит, приводят к эксплуатации. А мы за равенство, мы за истинную свободу, чтобы в мире никаких больше угнетенных, чтобы за героями будущих скульптур и величественных монументов, за героями будущих книг и картин угадывались только чистые, обожженные пламенем борьбы революционеры. Ведь если в мире (герои Андрея Платонова были в этом уверены) не останется никого, кроме людей свободных и равных, тогда все эти такие желанные свобода и равенство расцветут сами по себе — мощно, для всех.

Основа мира — победители-революционеры и внимающие им вязальщицы.

«Мы, когда империи (помните?) бабахали...» Революция сносит с пути все препятствия. «Как громил он дома предместий с бронепоездных батарей...» Только из революционеров вырастают победители. «Тут были гунны-верблюжники из Азии, крестьяне с онучами и козьей шкурой, суровые Дюма-отцовцы южных гимназий, керенские прапоры и “волки” Шкуро...» Поэзия — всего лишь непостижимый туман, образы ее странно растут, ткутся один из другого.

«С коротким топотаньем пробежала похожая на Пушкина овца».

И это искусство?

А почему нет?

Революция победила.

В очередной раз объявлены свобода и равенство.

Навсегда! Здесь и сейчас! Так сказать, «все включено». Хватит терять быстротекущее время в сумеречных выставочных залах. Теперь-то мы знаем, что именно прячется в непостижимом поэтическом тумане там, за прекрасной статуей Нерона в миртовом венке, за голубым мужиком в небе революционного Витебска, за вызывающим черным квадратом, наконец, за булыжником — орудием пролетариата. Всего лишь клубы черного дыма над сожженными городами, мертвые, забитые чертополохом поля. «Купание красного коня» в таких случаях ни от чего не спасает. Это только микроорганизмы могут жить в кипящих облаках своих «черных курильщиков» и миллионы лет оставаться равными и свободными. И не только потому, что у них нет

никакого искусства. Просто им самой природой не дано сомнений в том, что мир таков, каков есть.

«Мы рождены. Вот факт. Давайте жить».

Обитатели «черных курильщиков» не думают о революциях. Они равны, среди них нет революционеров. Они не громят магазинов в Чикаго, не поджигают Нотр-Дам, не дают залп из пушек по древнему Кремлю. У них нет насилия. Это у нас, у людей, мир часто не совпадает с тем, который мы создаем. Даже такого решительного революционера, как А. А. Богданов (близкий ленинский друг) мучили сомнения. Вот слова из его записной книжки. «Смольный после Октября. Красин: "Теперь самое трудное организовать производство". Ленин: "Что ж тут трудного? Наставим станков, заставим инженеров работать"».

И вот, наконец, победа.

Постаменты освобождены от двусмысленных статуй, музеи — от еще более двусмысленных портретов, эрмитажи и лувры отданы под хозяйственные помещения, введены бессрочные моратории на создание *нового* искусства. Хватит с нас фальши. Пусть выветрятся скопившиеся гниль и копоть, пусть проявит себя революционная энергия, упростится усложненная информация, сгустится (как солнечный свет) чистота. Человек свободен. Человек — существо творческое. И вообще, если честно, на другие планеты проще летать на демонах, чем выдумывать фотонные двигатели.

Но рябит экран. Это птица села на телеантенну, поставленную на крыше.

Вязальщицы вздыхают. Гильотины давно упразднены. К счастью, есть плазменные экраны. О чем вещают новые умники? Ну да, прежде всего, о свободе и равенстве. Опаленный революциями мир стал гораздо понятнее. «Я не религиозен в обычном смысле, — признавался (понятно, для вязальщиц) Стивен Хокинг. — Я верю, что вселенная управляется научными законами». Вязальщицы восхищены. Они, вязальщицы, люди простые, они тоже понимают, что законы могут быть установлены только Богом, но тогда наверно (откуда, откуда эти сомнения?), даже сам Бог не должен нарушать их своим вмешательством?..

Вязальщицы — опора всех революций.

Герберт Уэллс в свое время разделил земное человечество на элоев и на морлоков. Очень гармонично. Одни создают искусство, другие питаются творчеством (собственно, самими творцами). «Мы — лишь продвинутый род мартышек на небольшой планете совершенно рядовой звезды».

Звучит обидно. Но мы это исправим.

Где там топоры? Где ядерная бомба?

Когда-то мы сокрушили каннибализм. Потом сокрушили (по крайней мере, так считается) рабство. Художники, скульпторы, поэты подтверждают названные победы многочисленными художественными творениями. Вязальщицы в очередной раз восхищены силой воли Робинзона Крузо — он преодолел все препятствия, он — наш герой. Ну а то что в Гвинею он отправлялся как раз за рабами и на своем благословенном острове больше всего мечтал о самой дешевой в мире рабочей силе — двуногой, можно объяснить обстоятельствами. Так для всех проще. В конце концов, за что боролись продвинутые северяне США? Разве не за свободу и равенство? Вот и преклоните теперь — победители — свои колени перед обиженными черными, сжигающими в святом революционном экстазе ваши мастерские и магазины.

Получается, чем больше равенства, тем меньше свободы.

Но как же так? Мы громили застывшие общественные формации, мы создавали сотни вариантов нового свободного мышления. В сущности, все мировое искусство — революционное. «Факелы принесли аннунаки, их огнем осветили землю...» Сейчас и здесь! Громи лавки и торговые центры, мародеры — как москиты, их все равно не

остановить, как ничем не остановишь робких вязальщиц; теперь они сами все чаще и чаще выходят на улицы.

«Мы, начинавшие с креветок, прикончим ваших трёх китов».

Темные поэты о многом догадывались. Даже о том, что революции требуют слишком много ярости. Они как взрыв. Так, наверное, и должно быть. Это Господь может позволить себе непреклонную медлительность. А человек (обыкновенная вязальщица), к сожалению, живет недолго, при этом он (она) постоянно умудряется самому себе сокращать жизнь.

Ну, ладно.

Очередная революция победила.

Мир — наш дом. Украсим его ликами новых героев, расставим в просторных арках статуи революционеров, не пожалевших ничьей (и своей) крови ради свободы и равенства. Вязальщицы прильнули к экранам телевизоров. На белоснежную хризантему (экранную) садится радужная (экранная) бабочка. Падают (экранные) лепестки. Триумф равенства (экранного). А за окнами на улицах яростные борцы уже разносят витрины торговых центров, и очередной мускулистый самец яростно выбивает из мостовой булыжники.

«На баррикады!»

Свобода и равенство! Сейчас и здесь!

В конце концов, даже мародерство можно объяснить как акт справедливости (вынужденной), ведь человеческое добро никогда не бывает полным. Чевенгур — это всего лишь романтические варианты. Вы сами, Алексей, вспоминали об этом в наших беседах, длящихся уже не один год. «Не сотвори себе кумира». Конечно. Кто спорит? Но *кумиром* так легко становится все, что нам угодно *сейчас*, *здесь*: любимая (надоевшая) семья, чудесное (жестокое) отечество, великая (опасная) наука, прекрасное (давно прогнившее) искусство, цветущая (неэффективная) экономика, наконец, все те же равенство и свобода. И вновь выходят миллионы взбудораженных людей на улицы Парижа и Киева, Чикаго и Минска, Балтимора и Москвы, Лондона и Бишкека, вечного Рима и только что возведенной Астаны — бить вчерашних учителей, бить будущих учеников.

А за окном зима.

А в стране карантин.

Темно и тускло в природе.

«Из глубин взываю...» И сразу слышу ответ.

«Старый Гедали — (И. Бабель, "Конармия", первая треть прошлого века) — расхаживает вокруг своих сокровищ в розовой пустоте вечера — маленький хозяин в дымчатых очках и в зеленом сюртуке до полу. Он потирает белые ручки, он щиплет сивую бороденку и, склонив голову, слушает невидимые голоса, слетевшиеся к нему...

— Революция — скажем ей “да”, но разве субботе мы скажем “нет”? — так начинает Гедали и обвивает меня шелковыми ремнями своих дымчатых глаз. — “Да”, кричу я революции, “да”, кричу я ей, но она прячется от Гедали и высылает вперед только стрельбу...

— В закрывшиеся глаза не входит солнце, — отвечаю я старику, — но мы распорем закрывшиеся глаза...

— Поляк закрыл мне глаза, — шепчет старик чуть слышно. — Поляк — злая собака. Он берет еврея и вырывает ему бороду, — ах, пес! И вот его бьют, злую собаку. Это замечательно, это революция! И потом тот, который бил поляка, говорит мне: “Отдай на учет твой граммофон, Гедали...” — “Я люблю музыку, пани”, — отвечаю я революции. — ”Ты не знаешь, что ты любишь, Гедали, я стрелять в тебя буду, тогда ты это узнаешь, и я не могу не стрелять, потому что я — революция...”

— Она не может не стрелять, Гедали, потому что она — революция...

— Но поляк стрелял, мой ласковый пан, потому что он — контрреволюция. Вы стреляете потому, что вы — революция. А революция — это же удовольствие. И удовольствие не любит в доме сирот. Хорошие дела делает хороший человек. Революция — это хорошее дело хороших людей. Но хорошие люди не убивают. Значит, революцию делают злые люди. Но поляки тоже злые люди. Кто же скажет Гедали, где революция и где контрреволюция? Я учил когда-то талмуд, я люблю комментарии Раше и книги Маймонида. И еще другие понимающие люди есть в Житомире. И вот мы все, ученые люди, мы падаем на лицо и кричим на-голос: горе нам, где сладкая революция?..

— Заходит суббота, — с важностью произносит Гедали, — евреям надо в синагогу. Пане товарищ, привезите в Житомир немножко хороших людей. Ай, в нашем городе недостача, ай, недостача! Привезите добрых людей, и мы отдадим им все граммофоны. Мы не невежды. Интернационал... мы знаем, что такое Интернационал... И я хочу Интернационала добрых людей, я хочу, чтобы каждую душу взяли на учет и дали бы ей паек по первой категории. Вот, душа, кушай, пожалуйста, имей от жизни свое удовольствие...»

P.S.

Разумеется, есть варианты.

1993 год, октябрь, Москва. Танки бьют по Белому дому.

Мы с другом в баре. Мой друг — хороший писатель, человек самых революционных взглядов. Сейчас и здесь! Клубы дыма над Белым домом его не пугают. «Но что же завтра?» — спрашиваю я, допивая коньяк. Мой революционный друг удивленно пожимает плечами. Он завтра улетает в Нью-Йорк. Там, в Нью-Йорке в прокате он возьмет машину, и куда она стоит носом, туда и поедет. Только в полдень (у него день рождения) он остановит машину. Если рядом окажется ресторанчик, — отлично, он устроится в ресторанчике. Увидит белого — предложит выпить белому, окажется рядом черный, какая разница? У него, у моего революционного друга день рождения!

А в московском баре шумно и дымно.

Вязальщицы (и вязальщики) обмениваются слухами.

Люди Макашова пытались захватить какой-то штаб... Шальной пулей убита сотрудница какого-то издательства... Лужков пригрозил обороняющим отключить Белому дому воду... На улицах милиционеры (в зависимости от внезапных пристрастий) срывают то указы Руцкого, то указы Ельцина...

«Не любишь революций, — делится революционной мудростью мой хороший друг, — выбирай вахтенный способ жизни. Штаты — Россия... Россия — Штаты...»

А у меня в голове строка все того же оставшегося неизвестным поэта.

«Мы, начинавшие с креветок, прикончим ваших трёх китов».

Бабель прав. Мой друг прав. Мародеры правы. Поэт прав. Революция — это удовольствие. За окном снег. Карантин не отменен. Что же думает Он, — там, над нами, в снегах, в молниях, в облаках, в темном дыму, видящий все, но остающийся невидимым? К чему нас подталкивает?

Алексей Буров

Моя теория революций

Вязальщицы Робеспьера — сильный и точный образ, Геннадий Мартович; беру его в свою революционную коллекцию, спасибо! Свои ответные размышления начну с упомянутой Вами метафоры революции как взрыва. Такой взрыв требует хорошего запаса взрывчатки и какой-нибудь искры. Искра — вещь случайная, а вот накопление взрывчатки вполне закономерно; о нем и поговорим.

Всякая власть копит груз народного недовольства — своими ошибками и злодеяниями. Копят по-разному, быстрее или медленнее, но копят всегда. Бремя недовольства может быть снято только сменой власти, притом альтернативность новой должна быть достаточно подчеркнута. В сознании народа, его политически активных групп, растет счет к действующей власти, и лучше для всех, если она сменится, когда этот счет еще не слишком длинен и может быть оплачен самим фактом ухода главы государства и его приближенных. Такой момент безопасного ухода нередко бывает, но его легко упустить, особенно если нет традиций регулярной смены власти. Если же руководство страны упускает этот благоприятный момент, оно оказывается в ловушке, описанной еще учеником Сократа Ксенофонтом в коротком сочинении «Гиерон или о тирании». На русском языке это замечательное эссе можно найти в составе книги Лео Штрауса «О тирании», изданной в 2006 году в переводе Руткевича. Суть ловушки проста: когда момент упущен, уходить можно либо в тюрьму, либо вперед ногами. Если не бежать за границу, других вариантов нет. Поскольку вариант побега унизителен, да и не всегда имеется, то потеря власти оказывается не слишком отличной от потери жизни, и не только своей, но и многих из окружения. Таким образом, верховная власть, столь вожделенная для амбициозных молодых людей, легко оборачивается отравленной добычей. Уходить некуда, надо держать оборону: давить протест, наращивать и щедро оплачивать спецслужбы карателей и убийц. Властитель, еще вчера любимец народа, превращается во все более ненавидимого тирана, пятнающего себя все новыми и новыми преступлениями. Ловушка захлопнулась, деваться некуда, вот так и копится та самая взрывчатка. Двадцать пять веков назад этот механизм был уже описан, и притом с детской простотой, но проблема не везде еще решена, мягко говоря.

Что же мешает ее решению? Почему бы не написать в Конституции — не более двух сроков, без всяких двусмысленных «подряд»? Напишем при случае и решим проблему? Не думаю. Мало ли что у нас где-то написано, а жизнь идет по-своему. Возможно, мои слова прозвучат идеалистически-наивно, но жизнь народа определяется прежде всего его нравами. Истинный прогресс, писал Пушкин, состоит в улучшении нравов народных. Если люди исходят из того, что человек человеку волк, что доверять никому нельзя, что жизнь заканчивается смертью и это все; что отчет за свои дела я держу лишь перед самим собой и, возможно, еще перед грозным начальством — какая

Буров Алексей Владимирович — кандидат физико-математических наук, философ, научный сотрудник Национальной ускорительной лаборатории им. Ферми, США.

общественная жизнь может быть у таких людей? Что они могут построить, помимо тирании, спасаясь от еще более страшной беды, войны кланов или всех против всех? Томас Гоббс, живший в страшную эпоху всеевропейской смуты XVII века и весьма пессимистично смотревший на человека, никаких иных возможностей не видел. Его младший современник Джон Локк надеялся на лучшее, на то, что перспектива Страшного Суда, с одной стороны, и разделение властей, с другой, позволят выстроить правовое общество. Отец либерализма Локк был религиозным мыслителем; его последним произведением были комментарии к посланиям апостола Павла. Порядок, установленный в Соединённом Королевстве после Славной Революции 1688 года показал правоту Локка; отцы-основатели Соединённых Штатов были его заочными учениками. «Мрачное средневековье» запугало британцев и американцев Страшным Судом настолько крепко, что правовое общество построить удалось, и оно худо-бедно работает до сих пор. «Но есть и божий суд, наперсники разврата, есть грозный суд: он ждёт...» — бросал в лицо властвующей черни Михаил Лермонтов. Локк очень бы одобрил такое напоминание о главном. Но если и Страшный Суд, и надежда на спасение ушли в прошлое, как мифы и предрассудки, — возможно ли тогда правовое общество или мы возвращаемся к Гоббсу, к его прекрасным вариантам? Могут ли люди, уверовавшие в истины дарвинизма и бессмысленность вселенной, построить общество, основанное на благородных основаниях служения и самопожертвования высшим началам? Ради чего такие люди будут жертвовать собой, когда дело справедливости потребует от них жертв? Если жизнь — *только миг, за него и держись*, как пелось когда-то, то чего ради я буду этим мигом, единственным, жертвовать?

Чтобы старая власть могла уйти хоть в какой-то момент, она должна доверять народу, должна верить, что раздосадованный народ не пересажает этих лишившихся защиты властителей и не поставит их к стенке. А для того должна быть твердая власть закона. Закон и фиксирует линию безопасности уходящей власти. Государственный деятель, не нарушавший закона, получает его защиту, уходя в отставку. Тут необходим именно закон, который совсем не равен авторитарным указам. Указы начальника могут как-то исполняться силой его кнута и пряника. Когда же кнуты и пряники он выпускает из рук и на его место приходит тот, кому воленс-ноленс придется взваливать на предшественника груз прошлых несчастий, цена прошлых указов обнуляется. Закон же должен работать независимо от смены начальства. Для этого кое-что должно быть обеспечено. Закон должен быть чтим народом. Должен быть корпус непродажных, мужественных судей, решающих дела в соответствии с законом и справедливостью, кто бы на судью ни давил и чем бы ни угрожал. Для этого сам закон должен исходить от уважаемого народом законодателя, а не от назначенцев. Последние теряют власть вместе со своим начальником, превратившимся в главного козла отпущения. Много чего требуется для работы закона — и где же это все взять верующим в дарвинизм и бессмысленность мира? Если нет Высшего Суда, откуда возьмется хоть какой-то суд, помимо шемякина? Нет, на таком болоте дворцы правосудия не строятся и никогда не строились. Не строились они и на той религии, что утратила связь со строгой моральной ответственностью, сведясь к магическим ритуалам разного рода. Ну а если нет правосудия, то и глава государства будет склонен оттягивать прекрасный момент перехода из президентского дворца в тюремную камеру, а то и в лучший мир. Даже если он и не совершал кровавых преступлений до определенного момента, ему придется на них пойти — иначе он будет сметен растущим негодованием вязальщиц. И эти преступления окончательно захлопнут ловушку тирании, в которой оказываются и властитель, и народ. Взрывчатка здесь может копиться долго, а по-настоящему рванет она не тогда, когда тирания будет нарастать, как утверждал известный демагог, а на фазе смягчения, когда народ не будет слишком угнетен и начнет смелеть. Это свойство революций отмечалось еще Фрэнсисом Бэконом и обсуждалось Алексисом де Токвилем на примере Французской революции; его подтверждают и современные исследователи.

Таков один из типов революций — его можно назвать *либеральным* или *освободительным.* Его главной целью является устранение тирании, установление или восстановление гражданских свобод и прав. Достижение же этой цели зависит прежде всего от моральной твердости народа, от его мужества и благородства, готовности жертвовать собой ради справедливости, и даже в одиночку жертвовать. При слабости морали минутная свобода после свержения тирании обернется очередным возвращением к невеселым альтернативам Гоббса. Мораль же народа, еще раз подчеркну, тесно связана с его общим мировоззрением и религиозностью. Понимание зависимости правового общества от религиозного состояния народа все более проникает в российское освободительное движение, в чем я вижу надежду на постепенный выход из гоббсовского болота. «Я рискну сказать вам в ответ: в неверующей стране ничего сделать нельзя. Ничего, вот и все. Я более 45 лет занят тем, что пытаюсь понять: как в России устроить современную жизнь, как провести адекватные реформы. И то, что я вам только что сказал, — один из итогов моих размышлений. Поэтому все, что связано с церковью, очень важно для нашей страны», — заявил в недавнем интервью Григорий Алексеевич Явлинский. Не помню, чтобы раньше он говорил нечто подобное. И еще интересно здесь его «рискну». Среди российских либералов подобные идеи пока выглядят ересью. Но лед, надеюсь, тронулся.

Освободительные общественные движения нацелены на расширение индивидуальных гражданских прав и свобод: совести, слова, собраний, разного рода предпринимательства. Им противостоят партии, нацеленные на ограничение индивидуальных свобод ради так или иначе понимаемых общих благ: прогресса, справедливости, имперской мощи, национальной культуры, духовных целей, защиты природы, спасения человечества — список может быть продолжен. Эти партии можно назвать *тоталитаристскими* или *социалистическими,* ибо свободы урезаются ими ради некоего целого, социальной тотальности. Сюда относятся интернационал- и национал-социалистические, фашистские, экологические движения, все воплощения духа Великого Инквизитора, как бы они себя ни называли.

В демократическом обществе мягкая часть этого спектра, демократические социалисты, не посягают на базовые свободы граждан, требуя коррекции рыночной стихии, роста налогов на богатых в поддержку нуждающимся, усиления природоохранных ограничений и подобных вещей. При всей важности этих целей и сравнительной мягкости средств их достижения демократическими социалистами, движение общества в этом направлении легко оборачивается подавлением творческой энергии народа, растущим социальным паразитизмом, ростом бюрократии, умножением числа необходимых справок, обязательных процедур отчета, бессмысленных тренингов, усложнением решения любой задачи, удлинением очередей — то есть деградацией общества, медленно удушаемого мягкими объятиями социал-демократического государства. В качестве иллюстрации приведу характерный пример из своего опыта. Когда я приехал в Фермилаб в 1997 году как визитер на полгода, рабочий телефон на моем столе появился в первый же день, без всякого моего участия. Когда в 2011 году я прилетел в ЦЕРН как визитер на год, получение официального телефона потребовало от меня с полсотни писем и пары месяцев ожидания. Таков эффект бюрократии Евросоюза, опутывающей крупнейшую физическую лабораторию мира. Об открытии Хиггс-бозона ЦЕРН объявил на следующий 2012 год. Оно было триумфом изобретательности и высочайшего профессионализма физиков, инженеров и рабочих, совершивших новый шаг в познании природы, несмотря на гигантские объективные трудности и несмотря на бюрократию.

Революционные социалисты, в отличие от демократических, не очень-то церемонятся с демократическими и правовыми нормами. В зависимости от обстоятельств, они либо используют эти нормы, либо попирают их в своей борьбе за *светлое будущее*, так или иначе понимаемое. Террор, грабежи и поджоги, безгранично-

лживая пропаганда, подавление свободомыслия, развязывание гражданской войны, тираническая власть — типовые инструменты партий этого типа. Это люди особой морали, где ради светлого будущего все позволено, а в это будущее они верят со всем фанатизмом. В среде этой эрзац-религии есть свои пророки, теоретики, проповедники и рядовые верующие. Есть среди них и по сути безыдейные, но увлекаемые течением и работающие на него авантюристы, карьеристы и конформисты. В социологическом отношении это движение состоит из двух основных групп: интеллигенции и пролетариата. Первых увлекают идеи построения правильного нового мира, вторым же ближе лозунги типа «грабь награбленное». И тех, и других возбуждает единый огонь ресентимента — смеси обиды и жажды мести, что горел в глазах вязальщиц Робеспьера.

Почему организаторов и исполнителей массовых казней не мучил комплекс Раскольникова, почему они спали спокойно? Откуда они получали эту твердую уверенность в праве и даже обязанности массовых убийств? В общей сложности миллионы людей работали на советский террор — но где же покаянные тексты, где признания в мучениях совести? Не слышал о таких, ни разу не слышал. Где покаяния организаторов и исполнителей «окончательного решения еврейского вопроса»? Эйхман, отвечавший за эту задачу перед Гиммлером и Гитлером, прятался после войны в Аргентине, откуда его в 1960 году выкрал Моссад, тайно вывез в Израиль, где Эйхман предстал перед судом. Никаких следов душевных терзаний в его показаниях следствию и речах на суде не было и близко. Доказывал даже Эйхман, что был в согласии с категорическим императивом Канта, ибо действовал в соответствии с максимой исполнения воли законной власти. Волей другой законной власти, однако же, он был украден, судим и приговорен к повешению. Заметим, что в силу своей замечательной трактовки императива, Эйхман должен был бы одобрить и эту работу тоже. Присутствовавшая на заседаниях суда философ Ханна Арендт выпустила в 1963 году книгу «Эйхман в Иерусалиме: репортаж о банальности зла». Основная идея выражена в заголовке: организатор Холокоста — заурядный, ничем не примечательный служака, винтик механизма, не озабочивающийся такими материями как моральная ответственность за решения начальства. Это банальный карьерист и конформист национал-социалистической революции, готовый ревностно исполнять все, что ему поручат; не двигатель, но исправный передаточный механизм чего угодно. И все же, почему они все, и фанатики, и служащие неслыханного террора, спали спокойно? У пушкинского царя Бориса были «мальчики кровавые в глазах». Раскольников не выдержал мучений совести и пришел с повинной. А на миллион массовых убийц советской страны — никаких кающихся, ни единого. Это значительный факт. Он говорит нечто важное о том, что такое совесть вообще, когда она может работать, а когда нет. Как вывод из приведенных наблюдений я бы предложил следующее: у нормального человека совесть работает в том случае, когда злодеяние совершено им в одиночку или в составе небольшой группы. Когда этот нормальный человек участвует в коллективном злодеянии, вместе с массами, воодушевляемыми на то лидерами, — совесть особо беспокоить не будет. К такому выводу подводит не только опыт национал- и интернационал-социалистических геноцидов, но и опыт войн. Тоже и у вернувшихся с войн солдат и офицеров покаянных воспоминаний не сыскать. Типична обратная ситуация — вернувшихся с войны чествуют как героев, и они принимают это как должное и мучений совести как-то не проявляют. На миру, говорят, и смерть красна. Да, и более того. И убийство — тоже не преступление, если оно на миру, вместе с народом и партией, по воле великих вождей ради светлого будущего и подлинной справедливости, и как заслуженное возмездие врагам всего хорошего. Тогда оно — подвиг, ему рукоплещут вязальщицы, за него награждают вожди. Но неужели это означает, что любой общественный идеал чреват геноцидом? Нет, не любой, но лишь тот, что замешан на раздувании вражды. И если такой идеал

раскаляется в общественном сознании, если противостоящие ему миротворческие учения ослабевают — то считай, что беда уже входит в дом.

Но коли так, то отчего же в определенные эпохи у определенных народов эти революционные идеалы раскаляются? Что именно их раскаляет?

«*...Утрата веры с сохранением религиозной христианской психологии могла создать только отчаянного революционера и социалиста. Все желания перенеслись в эту, земную жизнь. С утратой веры в Бога и в неземную жизнь, оставалась только жизнь на земле, помышления о благе принимали земные формы, и стремление к счастью для себя и для других неизбежно перенеслось к доступности благ земных»,* — так писал Лев Александрович Тихомиров, бывший член Исполкома террористической «Народной Воли», переосмысливая в эмиграции свое революционное прошлое, в брошюре «Почему я перестал быть революционером». Слова Тихомирова перекликаются с теми, к которым пришел с годами видный участник природозащитного движения Майкл Шеленбергер. Приведу цитату об *апокалиптической природозащите* из его недавней книги «Apocalypse Never»:

«Имея вначале опыт, а затем изучая этот феномен в течении пятнадцати лет, я думаю, что секулярных людей влечет к апокалиптической природозащите потому, что она отзывается на те же психологические и духовные нужды, что иудео-христианство и другие религии. Апокалиптическая природозащита дает людям цель: спасти мир от изменения климата или иного экологического ужаса. Она предлагает людям историю, где они предстают как герои, в чем, как полагают некоторые знатоки, мы нуждаемся, чтобы найти смысл жизни... Беда с этой новой природозащитной религией в том, что она становится все более апокалиптичной, деструктивной и саморазрушающей. Она ведет своих приверженцев к демонизации оппонентов, часто лицемерно. Она ведет их к поискам ограничения мощи и процветания дома и за рубежом. И она распространяет тревожность и подавленность, не соответствуя тем глубоким психологическим, экзистенциальным и духовным нуждам, удовлетворения которых ищут ее как бы секулярные приверженцы».

Основные черты этих революционных суррогатов религии нетрудно перечислить; они присутствуют уже в их общем предке — марксизме.

Во-первых, они крайне узки и примитивны по содержанию. В них нет ничего о происхождении мира и человека; их коллекция нравственно-значимых историй ничтожна, если и есть вообще; нет обоснования морали (но требование служения революции есть, конечно); нет вечного и трансцендентного, нет Бога, нет философской мудрости.

Во-вторых, все они сконцентрированы на социальном; все они раздувают групповые конфликты, играя на энергии ресентимента, разделяя людей на правильных и неправильных, наших и ненаших, хороших и дурных на основе социального положения, национальности, расы или этничности. Все они выделяют особое место для борцов за великое дело, с коими адепты себя и отождествляют. Задачей борцов является распространение учения, вовлечение в борьбу тех, что еще не пробудились; будить их, накачивать злыми обидами и претензиями ко всем и вся, захватывать власть и устанавливать новый порядок.

В-третьих, все эти революционные учения принципиально не допускают их критического обсуждения: всякая попытка такого рода предосудительна, заранее объявляется злодеянием, осознанным или неосознанным выражением интересов порочных групп. Таким образом, революционные эрзац-религии глубоко враждебны свободе мышления и рационализму: в ответ на свою критику они всегда прибегают к риторике ad hominem, перехода на личность, заявляя об извращенности и порче самого критика. Вместо ответа по существу они атакуют личность критика. Отсюда же следует установка эрзац-религий на переписывание всего культурного наследия: а как иначе, если это наследие все пронизано интересами порочных групп?

Поскольку разум и мораль объявляются порождением старого порочного общества, а все благо исходит от эрзац-религий, никаких моральных или разумных ограничений их адептам быть не может. Эрзац-религии тяготеют к обрастанию атрибутами традиционных религий — почитанием мощей, реликвий и икон, совместным пением религиозных гимнов, пророчествами, инициациями, исповедями, покаяниями и проклятиями. Там, где вырублен вековой сад, растет что попроще: бурьян, репей, чертополох. На месте изгоняемого с общественных площадок Запада христианства будут расти эрзац-религии, религиями не называющиеся (богов-то у них нет!), а потому вполне годные, а то и обязательные для «отделенных от религий» школ и университетов Европы и Америки.

Ценностный вакуум, создаваемый современным либерализмом во имя свободы, заполняется: духовная природа, как и физическая, не терпит пустоты. Там, где запрос на смысл жизни не удовлетворен, люди либо губят себя в наркоманиях и самоубийствах, либо падают в сон механической рутины будней, либо ищут новую религию. Самый простой и доступный вариант таковой — эрзац-религия, пропагандируемая школами и университетами не как религия, а как правильный, научный и моральный взгляд на мир. Люди, охваченные революционными эрзац-религиями, есть варвары, порождаемые либерализмом и враждебные ему. Они его и хоронят, и свободу, и равенство, и братство. Либерализм жив лишь до тех пор, пока он не уничтожил свои базовые ценности, укорененные в христианстве.

«Либералы локковского толка, совершившие Американскую революцию, например, Джефферсон или Франклин, или страстно веровавшие в свободу и равенство, как Авраам Линкольн, заявляли не колеблясь, что свобода требует веры в Бога. Социальный контракт между разумно-эгоистичными индивидуумами не был, иными словами, самоподдерживающимся; требовалась еще и вера в божественные награды и наказания», —так писал американский философ Фрэнсис Фукуяма в своем бестселлере «Конец истории и последний человек». Продолжая эту мысль, он отмечал тенденцию либерализма к самоуничтожению: «Другими словами, либеральная демократия не самодостаточна: общественная жизнь, на которой она основана, должна в конечном счете исходить из источника, отличающегося от либерализма... За долгий срок либеральные принципы оказали разъедающее воздействие на ценности, предшествующие либерализму и необходимые для сохранения сильных общин, а потому необходимые и для возможности самоподдержания либерального общества».

Откуда черпали свою силу ведущие ценности либерализма, запущенные Французской революцией принципы свободы, равенства и братства? Из самой природы человека, из естественного закона, как думали многие революционеры? Коли так, то отчего же мы можем встретить их за пределами Запада лишь как импортированные? Стоит, однако, обратиться к азам христианского учения, как мы легко найдем эти ценности, изобильно и разнообразно представленными. О свободе как важнейшем элементе богоподобия, главнейшего религиозного определения человека, мы уже не раз говорили с вами, Геннадий Мартович. Фундаментальные равенство и братство всех людей следуют уже из их общего происхождения от созданной Богом первой пары. Равенство перед законом задано универсальными заповедями Ветхого и Нового заветов. То что разница социальных статусов не может затмить принципиального равенства и братства, иллюстрируется мимолетной переменчивостью социального положения: раб Иосиф становится ближайшим к фараону вельможей, а видный городской старейшина Иов оказывается последним изгоем. Но если люди в высшем, святом смысле свободны, равны, то как можно терпеть бесправие, громадный разрыв в социальных возможностях и угнетение одних другими? Разве не должен христианин с гневом восставать против норм греховного мира, требуя именно свободы, равенства и братства? Были и есть церковнослужители, что отвечают положительно на этот вопрос, но они всегда были маргинальны среди христиан. Да и как бы оно могло быть

иначе, если основатель религии был учителем мира, а не восстания? Отдай кесарю кесарево, будь добр с иноплеменниками и оккупантами, вложи меч в ножны и заботься лишь о Царствии Небесном, а все остальное приложится тебе — вот Его учение. Как ни ищи, не найдешь в нем одобрения акций возмездия или призыва к народному восстанию; не найдешь и порицания полицейской и воинской службы. Иисус из Назарета был подлинным другом кесаря — в той мере, в какой последний, не претендуя на божие, обеспечивал мир и поддерживал привычный порядок, в чем и состояла идея Pax Romana. Следует признать, что основатель христианства был твердым сторонником цивилизации, ни разу не одобрив воинствующих революционеров, коих вокруг него было немало.

Но если современный либерализм, следуя ложному пониманию свободы, уничтожает свою же ценностную основу, то это и значит, что он не может быть долгосрочным. В обществе, где доминирует вера в бессмысленность мира, цинизм, эрзац-религии — либеральный порядок невозможен, а построенный будет рушиться. Совместимы с подобными воззрениями лишь тирании, клановые войны и война всех против всех. Либеральный порядок, однако, не допускает навязывания даже и самой лучшей и правильной картины мира, в том его коренное отличие от порядка тоталитарного. Но каким же образом тогда свободное общество может удерживать и транслировать через поколения свои главные ценности? Очевидно, есть только одна возможность: самые главные вопросы должны не вытесняться с общественных площадок, не табуироваться в школах и университетах как неполиткорректные или оскорбляющие чьи-то чувства, а наоборот, — должны культивироваться качественные дискуссии по этим самым вопросам. Либеральные ценности укоренены в христианстве; а стало быть, и духовные победы христианства силою слова, образа и мысли будут победами либерализма. На сегодня эта идея может представиться утопичной. Не знаю, насколько мы далеки от нее, но, может быть, и не так далеки. Некоторые дебаты по основным религиозно-философским вопросам собирают миллионы просмотров — обращу внимание на фигуру профессора психологии Джордано Питерсона, например. Да ведь оно и естественно, в конце концов: что может быть интереснее качественного обсуждения самого главного — есть ли у вселенной Автор, каково его отношение к людям вообще и ко мне в частности, каков смысл жизни, и что нас может ждать после смерти? Посвятив немалую часть своей жизни изучению данных по этим вопросам, осмыслению этих данных, осмыслению прошлых осмыслений, я нахожу эту тему фантастически интересной, даже самой интересной из всех, что мне как-то известны. Какими путями критическое обсуждение самого главного, то есть философия, будет приходить в общественное пространство, судить не берусь, и не думаю, что это дастся легко, но верю, что это обязательно будет происходить. Когда-то люди открыли искусство мышления, философию; до сих пор она остается уделом лишь очень немногих. Думаю, что человечество подходит к философской революции, решительному расширению числа мыслящих. Такая революция будет означать преображение человека, имея глубокое влияние на все сферы общественной жизни. Она может осуществиться не в силу экономических интересов, не волей к власти, не энергией страстей, не какой-то хитрой социальной инженерией, не ловкой пропагандой, но духовным взрослением человечества.

Не думаю, что свыше нас к тому подталкивают, Геннадий Мартович.

Скорее всего, нам незаметно содействуют — в той мере, в какой это совместимо с нашей свободой.

СВЯЗКА РЕЦЕНЗИЙ

Александр Чанцев

Пьеро ди Козимо — собрат де Кирико: дадаизм, импрессионизм и традиционализм

Персонажей всех трех книг из этой подборки отличает, как сейчас бы сказали, инновационный подход к собственному — и не только — творчеству. Но в каждом отдельном случае творчество не существовало без идейной подоплеки — и они изобретали ее буквально на ходу, методом проб и ошибок на пространстве собственной жизни. Нельзя сказать, что их идеи стали магистральными для последующих поколений — как нельзя и не отметить, что без их опыта искусство и идеи последующих поколений были бы как минимум несколько преснее.

Арто, кошки и свидетельство гармонии мира

БАЛЬТЮС. Воспоминания / Пер. с фр. А. Воинова. — М.: Libra, 2021. 126 с.

Жизнь Бальтюса (Бальтазара Клоссовски де Рола, 1908—2001) так же необычна, как и он сам, — зависимость, кажется, тут именно такая. Совершенно сновидческий[1] художник, настоящий нонконформист, друг всех, от Арто до Боно, он и происхождением/семьей может похвастаться соответствующим. Родом из польского шляхетства, родился в Париже. Отец Эрих Клоссовски — немецкий художник, мать, еврейская художница Баладина (настоящее имя — Элизабет Доротея Спиро) — муза Рильке (тот называл ее Мерлин), старший брат — Пьер Клоссовски, философ и много кто еще (с ним Балтюс был не очень близок, в этой книге говорит о негармоничной эстетике и называет «черным алмазом»), наставник и своего рода крестный отец — Рильке (он посоветовал еще подростку Бальтюсу издать свои первые работы о пропавшем коте Мицу[2] и написал предисловие). Как и его семья, подгоняемая войнами и бедностью, он много поколесил в жизни — впрочем, кроме службы в Марокко, о которой у него остались самые красивые воспоминания, странничество всегда было сознательным выбором. На 30-е годы приходятся его знакомство с Арто, Джакометти и Жувом и первая выставка, увенчавшаяся скандалом. Кроме живописи, занимался театральными декорациями (для постановок Арто, Камю и других). Чуть не погибнув на войне, продолжал, женившись, заниматься живописью.

---

[1] Не зря Мальро в рассматриваемой далее в нашем обзоре книге формулирует: «Особая поэзия, которая присуща современному вкусу, охотно творит свой мир, созвучный тому, что сулят сновидения и все иррациональное».

[2] Мицу — совершенно японское по звучанию и значению слово (например, переводится как «три», хотя в изобилующем омонимами японском можно легко найти и другие значения подобного «кунного» чтения иероглифов). Метафизически оно задало японский вектор его судьбы, о котором чуть позже.

Всегда были весьма интересны и его романы — с 17-летней дочерью Батая, с собственной племянницей, падчерицей Клоссовски, и, наконец, в Японии с 19-летней Сэцуко Идэта, которая и стала его второй женой (и была в этой роли гораздо более успешна, чем Ёко[1] Оно при Ленноне, вдохновляла его, заботилась, вела его архив, переписку и прочие дела).

В Японию его послал Мальро, который вообще сыграл большую роль в его судьбе, не только невольного свата, но и серьезного работодателя. В 1960 году Мальро, новый министр культуры Франции и друг Бальтюса, предложил ему пост директора Французской Академии в любимом художником Риме. Опять скандал, но Бальтюс приступил к своим обязанностям — реконструкция виллы Медичи и выставка Родена, Джакометти, Дерена и других в отреставрированных залах стали его самым большим достижением. С Мальро они хорошо дружили — в отличие от тех, с кем он разошелся. Так, в книге Бальтюс вспоминает, как Мальро рассказывал ему то, что затем стало содержанием его знаменитых «Антимемуаров». Скорее всего, их взгляды совпадали и по более принципиальным моментам, позволившим осуществить совместную музейную работу, а именно — сам подход к концепции музея. Вот что пишет в своих воспоминаниях Бальтюс: «Когда в Париже открылся центр Жоржа Помпиду, я страшно беспокоился, что он имеет такой публичный успех. Я всегда относился с настороженностью к внезапной славе и массовым проявлениям, когда произведения искусства служат лишь поводом, используются в качестве приманки для оправдания политических целей и демагогии. Я говорил еще на вилле Медичи, что устремившиеся в музей толпы не увидят живописи, их встреча с ней невозможна. Мне отвечали, что посещаемость способствует приобщению, формированию вкусов. Не верю. Я шутил, что количество посетителей следует сократить до нескольких сотен в месяц[2], и показывать им только самое непреложное, картин тридцать...» Так и Мальро в «Музее без стен»[3] обращает внимание, насколько чужда была, например, Востоку сама идея музеев (цель созерцания-медитации там никак не могла быть достигнута). Но музея не было еще совсем недавно и на Западе, замечает он. И вообще музей больше отрицает, элиминирует — например, ту пространственную, религиозную целостность, частью которой была извлеченная из храма в выставочный зал фреска или икона, — чем дает. Бальтюс же продолжает чуть дальше — художник любыми средствами «должен стремиться к тишине. Любая попытка объяснить живопись нелепа и бесполезна. Каким языком, какими словами поведать о пространстве тишины, тайны и неизвестности, которым все мы пытаемся отыскать мысль, передать их черты?» Мальро отличал столь же радикальный подход к восприятию искусства, и Бальтюс оставил свидетельство иной проницательности своего друга: «Мальро был энтузиастом, который, если бы и не верил в Бога, как я, все равно казался бы человеком религиозным. Он обожествлял искусство, и главной причиной в его глазах было то, что искусство неопровержимо доказывает величие человека пред лицом смерти. Это побуждало его верить, что искусство — носитель жизни, противоядие, препятствующее исчезновению. Наше согласие происходило из этой общей уверенности».

Столь долгое отступление о Мальро позволяет показать не только свободу мысли этих двоих, но и то, что свои мемуары они строят сходным образом, то есть — несходным с общепринятым. Бальтюс сам это отмечает. И не скрывает, ведь его кредо, как он как-то написал в своей биографии для Tate, «Балтюс — художник, о котором ничего не известно. Взгляните на его картины»: «Художник говорит посредством картин <...> Я решил что-то вспомнить и привести краткие размышления, небольшие зарисовки в стиле Монтеня не потому, что хочу составить подобие завещания, а из

[1] Если уж мы заговорили о японском, то именно такой способ транскрибирования принят в русском (в отличие от английского Yoko).

[2] План Бальтюса исполнился в наши локдаунные дни.

[3] Концепция Мальро, раздвигающая стены обычного музея до масштабов всего мира, вполне допускает подобный перевод, используемый в данном издании.

желания зафиксировать на склоне лет моменты, когда я что-то открывал, чувствовал с особой силой».

Его воспоминания — и есть такие импрессионистские мазки, философские максимы, даже нет, он слишком скромен, религиозен для этого, поэтому вернее будет вспомнить японский жанр — дзуйхицу, свидетельство о мире, быте, себе, с моментальным почти выходом на вселенское, поиск, ощущение себя в этом мире. Или, так как перед нами художник, перевод укиё-э — «картины изменчивого мира». Бальтюс — вспомним его более чем почтенный возраст на момент написания, почти наступившую слепоту и прочие немощи — иногда повторяется. Например, не устает говорить о красоте итальянской природы, посреди которой он избрал свой дом, или о коренной ошибке считать его портреты девочек и женщин эротизированными — чушь, это же свидетельство невинности, волшебства, не разрушенной еще гармонии мира, к которой мы можем вернуться как посредством работы над собой, так и того же искусства[1] (не зря перед работой над каждой картиной он надолго замирает в молчаливом самососредоточении, сродни медитации). Но, даже несмотря на эти повторы и очень небольшой объем книжки, Бальтюс расскажет очень и очень о многом. О наставничестве Рильке, о любви к ясности Моцарта, о величественных пейзажах и лицах Марокко, о самонаучении (специально не учился, только копировал великих мастеров), о мистике Арто (видел в нем своеобразного брата, ушел в свои миры безумия и мрака, обвинял Бальтюса в том, что в своих портретах тот уловил лишь отрицательные черты), о жене и дочери, о любимых книгах, о любви к вестернам по телевизору, о своей католической вере, о замечательных тибетских фотографиях Ричарда Гира, приезжающего в гости, о живописи, которая есть откровение, а никак не резервуар личных желаний и тайных страхов, о детстве... И о том, как одна девушка, еще «в эпоху Арто», звала его Кошачьим королем за его любовь к кошачьим, а он написал ее портрет — «Кошачья принцесса».

Большинство этих воспоминаний-суждений — свидетельство его обретенной гармонии, влюбленности в мир (в пейзаж ли, в просто ли сигарету перед окном), дарованной им просветленности и сокровенности. Но есть и что-то, чего Бальтюс не может принять. Он, например, никогда не мог понять абстракцию-сюрреализм (Пикассо — другая история, они тоже очень уважительно и тепло дружили), ибо тот искусственно искажает мир, говорит больше о художнике и его аналитическом «я», чем о самом мире. Тогда как, он глубоко верует, «нужно долго, упорно трудиться, чтобы восстановить израненную, исстрадавшуюся душу, работать, чтобы вернуть миру волшебство». «Общество же настойчиво добивается, чтобы люди уходили от самих себя, оно подсовывает зеркала, что реальность не отражают. Все ложь, уловки и маски. Рынок искусства отравлен заразой, а возведенная в ранг святыни подпись художника стоит дороже картины. Какая же ерунда, какое тщеславие, если смотреть в прошлое! Как далеки мы от целомудрия Древних!» Беда искажения сути же началась, возможно, во времена Французской революции, которая «способствовала созданию мерзостного царства, которым заправляет буржуазия с мелкими, ничтожными ценностями и культом денег. Королевские династии, Медичи мыслили широко, масштабно, и хотя я не разделяю их принципы управления, стоит отметить: они умели распознать красоту, сохранить искусство»[2].

---

[1] Мальро также пишет об асексуальном эротизме — и возводит его в качестве примера, заметим, к китайской традиции: «В эпоху, когда буддизм найдет в китайском искусстве свое наивысшее сентиментальное выражение, он теряет в этом искусстве всякое чувство и находит чувственность, лишенную сексуальности».

[2] Ср. с инвективами Мальро: «...когда на место прав человека были поставлены права буржуа, руководящий и эффективный, но без достоинства класс оказался наследником касты, которая некогда несла ответственность за высочайшие светские ценности Запада. Это были христианские ценности; но Христос пришел искупить вину всех людей. Героизм когда-то был достоинством солдат и граждан, а буржуазия отказывала в нем и Империи, и Революции; не выдвинув никаких идеалов, которые принадлежали бы ей органически, она отбрасывала те, что раньше объединяли людей, или принимала их только для собственного употребления».

Но подобных страстных инвектив у Бальтюса — раз-два и обчёлся. Гораздо больше тут — настоящей дзэнской медитации над красотой природы, мира, его мелочей. Он так описывает свое вдохновение от гор, снега, китайских гравюр, что еще больше уважаешь его за то, что он остался ревностным католиком, а не перекрестился, по моде тех лет, с головой в увлечение восточными религиями, практиками и прочий New Age (при этом жену свою, настоящую эмансипе, он сам просил ходить чаще в кимоно, готовить японскую еду). Он весь уходит, почти ушел в желание самоумалиться, убрать свое я, всему отдаться служению Богу и красоте его мира. Ему, кажется, удалось — он видит гармонию и познает суть даже шороха кисти, наносящей краску на полотно (вот еще доказательство, кстати, что подобные вещи — не эксклюзивный удел восточных медитативных религий, но вполне есть и в традиционных религиях Запада!). Шороха кисти или же легкого электрического треска кошачьей шерстки под рукой: «В Россиньере у кошек райская жизнь. Они соседствуют с нами, участвуют в застольях, ластятся к нам во время чайных церемоний и спят на вышитых графиней подушках с их собственными портретами. Слушают со мной Моцарта, пока я в полусне лежу в гостиной под широкими окнами, из которых ближе к вечеру льется золотистый и ясный свет».

Поэтому из этой книги не узнать биографических обстоятельств и дат. Зато ее хочется учить наизусть. Вроде такого — «Я убежден, что величие живописи сродни величию детства»[1].

Искусство на службе великого регресса

Андре МАЛЬРО. Голоса тишины / Пер. с фр. Г.Беляевой. СПб.: Алетейя, 2021. 494 с.

Основополагающее эссе Мальро «Голоса тишины» («Воображаемый музей») (размером с большой роман, с такими же масштабными интенциями, стилем и т.д.) у нас уже выходило под названием «Голоса безмолвия» в 2012 году в издании петербургской «Науки». Но и книга та стала уже библиографической редкостью (как, увы, тяжело у нас купить все, что не является «новинками»), и переводы уместно сравнить, так что появление этого откомментированного, с предисловием и иллюстрациями издания можно только приветствовать.

Как и будущее появление не только переводов других вещей Мальро, но и работ о нем. Ведь даже биография его — сюжет на несколько голливудских фильмов и авантюрно-философских романов. В сокращенном виде с ней можно ознакомиться в предисловии к данному изданию или же из доступного в сети очерка[2]. Дадим лишь опорные пункты, реперные точки. О детстве сам Мальро (1901—1976) особо не пишет — как и Бальтюса, его волнует не собственно биографическое, сколько та выжимка, что можно получить из прожитого и продуманного человеком. Мальро, по сути, даже более — если можно тут сравнивать — импрессионистичен, чем Бальтюс, так же следует монтеневским заветам и — увидим чуть дальше — соединяет несоединимое (как католицизм и Япония у Бальтюса, к слову): «Чтобы мог состояться диалог Христа и Платона, надо было родиться Монтеню», — написал он в конце жизни в послесловии к своему раннему роману «Завоеватели». Как подросток Юнгер сбежал в Африку служить в Иностранном легионе, так и Мальро, пусть и в более сознательном возрасте, отправился в камбоджийские джунгли, откуда, как Лара Крофт, вывозил-спасал храмовые артефакты. И оказался в тюрьме — в земляной яме в Сайгоне.

[1] Ср. с максимой Мальро из «Воображаемого музея»: «Привлекательность произведений детей велика потому, что в лучших из них, как и в искусстве вообще, мир утрачивает свое бремя».

[2] *Безуглов Д.* Воображаемый Мальро // Горький. 2017. 2 марта (https://gorky.media/reviews/voobrazhaemyj-malro/).

Мировая шумиха помогла его спасти, как уже в наши дни вынуть Лимонова из тюрьмы по УДО, но вектор уже ясен — Мальро интересует даже не Восток (хотя и непосредственно он), сколько соединение его с Западом в своей всемирной теории. Он печатается, выступает одним фронтом с Андре Жидом. Но, как и тот же Лимонов, интересуется жизнью больше, чем литературой (вернее, для него это один, очень динамичный процесс). Мальро участвует в политической борьбе в Индокитае, в коммунистическом движении, в Народном фронте, в Сопротивлении. И обо всем этом пишет. Автор предисловия З. Кирнозе справедливо сравнивает его произведения тех лет с американской литературой факта, но можно вспомнить и то, к чему писатели пришли уже в наши годы — травелоги даже не Кристиана Крахта, но Брюса Чатвина. Получив в 1933 году Гонкуровскую премию, Мальро не сидит на месте — от Ирана и Советского Союза до Индии и Японии он везде выступает, исследует музеи, храмы, все, что можно и нельзя. Во время войны в Испании Мальро становится летчиком (в бригаде построенных на собранные им же средства самолетов), режиссером (фильм «Надежда» так тогда и не показали, тут же запретив). Фашизм вообще подоспел вовремя — эта угроза пришлась на постепенный отход Мальро от солидарности с коммунистическими идеями. В войну немцы несколько раз чуть не расстреляли командира бригады «Эльзас-Лотарингия», но добрались до двух его братьев (смерть, щадя самого Мальро, вообще взяла с него большие проценты — разбились на машине два его сына, покончил с собой отец). После войны последовала работа министром культуры в правительстве де Голля.

О чем же именно пишет Мальро, каков его Воображаемый музей? Его концепция точно не сводима к сухой энциклопедической формуле-выжимке. Возможно, эта система слишком динамична и суггестивна, чтобы вообще быть строгой системой. Скорее, Музей — это прежде всего отрицание существующих устаревших видений. Это жест, размыкающий музейные сцены для включения в него природы, не воспринимаемых западными конвенциями стран, вообще всего мира. И это тот голос тишины, что есть крик, вестничество о других возможностях. Огрубляя: как — весьма близкий, особенно в начале, — Ницше провозгласил смерть Бога, так и Мальро утверждает, что старая концепция искусства уже нерелевантна, сама должна быть сдана в музей. А вместе с ней — и многое другое из схем нашего мышления.

Явно не претендует на научное изложение или даже манифестарность Мальро и формой своего эссе в сотни страниц. И методом. Да, он более чем может излагать как настоящий искусствовед. «Начиная с церкви Санта Пуденциана, колорит займет место, которое уже не будет более игнорироваться и которое, кстати, не ограничится драматической выразительностью. В церкви Санти Косма э Дамиано темная интенсивность глубины купола уравновешивает тяжеловесных персонажей, избавляет от барельефа. Синий и белый цвет орнаментальных композиций. Цвета коричневый и золотой, которые в церкви Сант-Аполлинаре Нуово в Равенне продолжат декоративную традицию, будут принадлежать другой области». И так на протяжении многих страниц, кстати. Эрудиция Мальро потрясает не менее, чем коллекция сделанных им самим фотографий храмов, и особенно видна на азиатском материале, до сих пор не сказать бы массово введённом в массовое сознание, — храмовое искусство Китая, Японии, Афганистана он анализирует так же легко, как другие пишут, купив альбом на выставке в Версале. При этом, конечно, попадается у Мальро много и спорных высказываний — конечно, ведь система живая, дышит, кричит. «Никогда, быть может, великий народ не был столь глубоко, столь перманентно лишен изобразительного стиля, как римский народ. Я имею здесь в виду не только то, что он импортировал формы, но и то, что он никогда не обладал гением, позволившим Ирану или Японии придать непрерывность и качество формам, которые они последовательно ассимилировали». И эта противоречивость на самом деле есть свойство системы Мальро — привлечь материал отовсюду, все сравнить с тем, чтобы объединить. Расширить, вообще снести стены музея. Отсюда такие наблюдения, как «Пьеро ди Козимо — собрат де Кирико» или «первые Будды Афганистана — копии Аполлонов, которые наделялись знаками мудрости: точкой между глазами и бугорком на макушке головы».

К чему же призывает Мальро в своем тотальном эссе по философии искусства? Тяжело и, возможно, не нужно, как уже было сказано, сводить его к строгой концепции, но перечислить некоторые пункты следует, они того стоят. Близкий в этом к Бальтюсу, он подчеркивает, что сама идея музея довольно виртуальна. Появилась очень недавно — еще в XIX веке желавшие осмотреть итальянскую живопись совершали арт-паломничество по храмам (вспомним тут путешествия по Италии российских дворянских отроков как обязательную часть образования); большая часть живописи и архитектуры все равно доступна только в плохих копиях (здесь Мальро ошибается, утверждая, что даже качество фотографий никогда не дорастет до идеала, а интернет в своих снах он не увидел). Само становление искусства, его восприятия, продолжает он, вещь довольно обусловленная и случайная. Да, живопись Италии по праву признана за идеал, но ведь могло произойти и иначе. Тем более что только в новое и новейшее время мы начали воспринимать искусства всех стран, всех эпох, раньше же царящее в определенный момент искусство исключало, задвигало на задворки, клеймило искусство прежних эпох как темное и недостойное. Да даже дошедшие до нас, всем известные произведения — не те совы, каковыми кажутся: римские и японские статуи раскрашивали, у Зевса были красные глаза и отнюдь не белое тело.

И уже ясно, что Мальро — за пересмотр концепций, за признание того, что многие из них — результат довольно случайной исторической парадигмы. Но, кроме этого глобального анализа, Мальро делает массу очень точных, хирургических буквально суждений на ее счет. Искусство раньше было движением от детали к целому (к Богу, сакральному, Абсолюту), сейчас же вектор — от целого к частностям (вспомним те же мигрирующие толпами по интернету части изображения великих картин, отколовшиеся от первоисточников и ставшие расхожими цитатами, мемами даже). Мальро вообще радикально впереди своего времени. Он выступает за включение в общемировой контекст не только искусства Азии, но и исламского мира (в контексте ли оно сейчас? В том ли самом Лувре?). Что же касается Азии, то он призывает не ограничиваться лишь модной Японией, но и воспринимать более сложное и герметичное древнекитайское искусство (мода на все восточное не дойдет у нас все никак до Китая, в Корее остановилась в не столь даже «массовом сегменте» на K-Pop и корейских «дорама»).

Мысль Мальро так остра и оригинальна, что даже, можно предположить, неудобна. «От примитивизма до античности, от варваров до Рафаэля все более и более насущной становилась идея прогресса в искусстве» — и многое оставалось за бортом, как и ныне для какого-нибудь гипотетического владельца галереи или выдавателя грантов важна, прежде всего, «актуальность», «художественная новизна» и прочие пустотные по сути характеристики. «Культура становится госпожой искусства, образованный человек — высшим судьей. Не потому, что он любит живопись, но потому, что он любит культуру и сообщал свой культуре абсолютную ценность». Это чревато даже более негативными последствиями: «Живопись на службе вымысла, претендующая на качество, неизбежно служит общепринятой идее цивилизации: это живопись, призванная приукрашать действительность и мечты, — живопись, чьи специфические ценности зависимы». И привело это к развлекательной — так или иначе, через шок ли, актуальность ли — функции искусства как его первостепенной задаче. Хлеба и зрелищ. Так и набожность заступила место настоящей веры, а «художественные проблемы все более и более рационализировались, подобно тому, как энциклопедистами рационализировались проблемы религиозные».

Мальро отнюдь не только бьет снаряд за снарядом в одну эту эстетическую воронку. В его потрясающе густом тексте масса ярчайших наблюдений (гений не совершенствуется, он углубляет; христианство провозглашает себя истиной, но не реальностью и т.п.) и просто изящнейших афоризмов в духе лучших французских мастеров от Ларошфуко, любимого Паскаля и до Чорана (вот, кстати, в нем пример чаемого Мальро слияния культурных кодов — православный, мрачный дух Румынии

и блистательная Франция). Но присутствует, конечно, у Мальро и выход не только на эстетические, но и идеологические обобщения, которые ближе всего к мысли традиционалистов и деятелей консервативной революции. От Руссо до Фрейда терялась постепенно свобода человека, горько резюмирует он. Ведь «христианский мир не был тоталитарным: тоталитарные государства возникли в результате стремления создать тоталитарность без религии». Искусство вышло из мира сакрального целеполагания, да, создало и продолжает создавать шедевры, но очень многое и утратило — «античное искусство одержало побед больше, чем любой завоеватель, соединило империю Цезаря с империей Александра. С крушением человека античности Великий регресс охватил мир от Галлии Нарбоннской до территорий Средней Азии за Амударьей». Но «каким бы чудовищно жестоким ни было время, его стиль никогда не передает только эту музыку; Воображаемый Музей — песнь истории, а не ее иллюстрация».

Очень жаль, что тираж этой песни посреди тишины — 99 (!) экземпляров, а цена его сопоставима с хорошим художественным альбомом.

Горстка борцов в руинах

Дмитрий МОИСЕЕВ. Политическая доктрина Юлиуса Эволы в контексте «консервативной революции» в Германии. — М.; Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2021. 320 с.

В принципе, что Эрнсту Юнгеру, что Юлиусу Эволе грех у нас жаловаться, переведены они в последнее время довольно представительно, те же переводы на английский уже даже уступают. Пришло время и монографий-биографий. То, что данная книга выросла из магистерской диссертации, есть процесс радостный (в книге есть и обзор значимых отечественных публикаций по проблеме) и в чем-то естественный. Хотя и с не менее естественными минусами — меня и в диссертационном жанре всегда смущали эти разделы: в начале вроде «источники», «метод исследования», странные, ведь через несколько страниц читатель и сам все поймет про метод исследования, так зачем же экспортировать их в книгу.

Плодотворнее работает жанр сравнительного жизнеописания. Традиционализм — увы или ура — никогда не был единым движением, начиная с того, что к нему можно причислить по желанию разных деятелей, а те придут с различными взглядами, от (крайне условно тут говоря) милитаризма Юнгера до достоевско-христианских мотивов Артура Мёллера ван ден Брука. Произвести картографию традиционалистской мысли и высветить общие моменты и различия — весьма благодарное мероприятие.

Кроме главного героя, рассматриваемых авторов много. Шпенглер, Мёллер и Юнгер — друзья на главных ролях, но многие персонажи получат значительные роли второго плана, от Фихте до Зомбарта (и анализ их хорош, особенно для небольшого объема, прямо тот случай учебника-пособия, который не грех почитать и для «самого себя»), плюс множество камео. Все это персонажи, разумеется, неоднозначные, начиная с самого Эволы: «В мемуарах дадаистов Эвола — один из “президентов Дада” и видный деятель итальянского авангарда, в сочинениях современных радикалов — ведущий теоретик борьбы против современного мира, для культурологов и религиоведов — специалист по буддизму и восточным эзотерическим доктринам, для неофашистов — “языческий империалист” и критик Муссолини, для оккультистов — автор работ по магии, герметизму и мистериям Митры». Уже одной подобной ипостаси из перечисленных хватит для многих pro et contra оценок, поэтому работа Дмитрия Моисеева заслуживает высоких похвал.

Не хватает тут, пожалуй, оценки Эволы как человека — из его личных качеств акцентируется, пожалуй, лишь тема его убежденной независимости, летовское «я всегда буду против». Никогда не вступал в партию, испытывая на определенном этапе надежды на наставничество над Муссолини и предпринимая к этому определенные

шаги, позволял себе жестко критиковать последнего — нонконформизм этот начался еще в юности. Происходя из религиозной семьи, католицизм Эвола откровенно не жаловал, закончив курс, отказался от ученой степени, презирая академию, опубликовав ряд весьма фундированных философских работ, оставил это поприще. Здесь — к финалу книги — автор делает, кстати, ценное замечание о том, что большинство деятелей так называемой консервативной революции не сговариваясь избрали сходный способ письма — символами (в авторской терминологии), «для тех, кто понял, и кому не нужно объяснять». Действительно, их стиль — межжанровый, между, вне устоявшихся дискурсов политических ли памфлетов, научного ли письма или художественного произведения. Хорошим примером, кажется, будет Юнгер, книги которого немецкие солдаты зачитывали до дыр, а Хайдеггер цитировал и дискутировал с ними.

Все это еще и еще раз подчеркивает сложность поставленной в монографии задачи, с которой Моисеев работает очень тщательно. Не говоря про ссылки на различные непереведенные и труднодоступные источники (еще одна примета диссертационного жанра), он дает биографический и идейный очерк каждого персонажа, тянет (под конец получится настоящая паутина) от одного к другим сравнительные пунктиры, в случае того же Эволы и остальных героев дает представление об эволюции их взглядов.

К общему системному сравнению их взглядов, сходствам и различиям, можно обратиться в выводах книги. Но едва ли не интереснее те аналогии, что появляются буквально по ходу рассказа. Как — вот, кстати, радостное расширение рядов традиционалистов, их узкой страты[1] — и персонажи нашего обзора, Французскую революцию и ее последствия для Европы они отнюдь не жалуют. «Всем известно, насколько тесная связь существует между идеалами всемирного братства и гильотиной, между правами человека и массовыми убийствами» — это из «Рабочего в творчестве Эрнста Юнгера» самого Эволы. Или же юнгеровская тема «ухода в лес»[2] от пагуб цивилизации для одинокого сохранения, воспитания себя ради хотя бы индивидуальной борьбы находит такой отклик в идеях Эволы: «В работе “Люди и руины” он подробно раскрывает “правое” понимание свободы как органической и функциональной “свободы для”, выступает с жесткой критикой тоталитаризма, пишет о самоуважении как основном условии аристократизма, выступает против историзма, ставит гильдии в пример современным капиталистам, отвергая синдикализм, опровергает принадлежность итальянцев к латинскому миру, пишет о своем идеале Европейского союза как органического наднационального объединения, а также призывает “срывать маски с идей” и не поддаваться тем, кто пытается манипулировать сознанием других. <...> Выстояв среди руин, он должен твердо стоять на своем, трезво оценивать собственные возможности и делать свое дело в союзе с высшими силами».

---

[1] Тут, кстати, можно вернуться к вечным вопросам, кого именно следует причислять к рядам консервативных революционеров (это исторически более или менее понятно) и к традиционалистам. Вопрос полемичен, но некоторые замечания можно сделать. В книге не раз поминаются Дугин и даже Гейдар Джемаль — но нет Головина и Мамлеева. Из румын — Кодряну и «Железная гвардия», но нет Элиаде, которому много есть что сказать по теме этого доклада, и многих других его любопытных соотечественников. Нет идейного «фашиста» Пьера Дриё ла Рошеля. Между тем, буквально в последнее время о них/у них вышли значимые книги (возможно, это и есть причина «неучета» их, автор просто не успел). Пользуясь правами обозревателя, отошлю к своему обзору книг о румынских традиционалистах, известном противнике демократии и прочих бед современного мира Шарле Моррасе и Дриё: *Чанцев А.* Как он мог поверить в фашизм и социализм? Три книги о неудобных мыслителях // «Новый мир», 2021, № 1 (http://www.nm1925.ru/Archive/Journal6_2021_1/Content/Publication6_7661/Default.aspx). Известный исследователь традиционализма Марк Сэджвик в своей работе «Наперекор современному миру: Традиционализм и тайная интеллектуальная история XX века» подбросит еще много современных европейских имен, менее известных, чем Ален де Бенуа.

[2] Об этом важном — как для его творчества, так и для наших с вами пандемийных дней — концепте Юнгера позволю себе опять же отослать к своему отклику: *Чанцев А.* Сопротивление в мире масок // Перемены, 2 мая 2020 г. (https://www.peremeny.ru/blog/24671).

Тут можно, наверное, не касаться отличий «ухода в лес» по Юнгеру и Эволе, но стоит чуть раскрыть другие темы среди этих пунктиров. «Свобода для» (служения, той темы «свободы в служении», что в наши дни, кстати, стала девизом группы «Оргии праведников», близость которой идеям традиционализма и Евгения Головина заслуживает отдельного исследования) противопоставляется английской идее «свободы от» — государства, лишних усилий на благо других (а подобный индивидуализм англичан честят почти все рассматриваемые персонажи). Протест против тоталитаризма — немецкого у остальных, немецкого и советского у Эволы — также объединяет героев книги. Вряд ли стоит еще и еще раз возражать наивным инвективам антитрадиционалистов о том, что те-де были близки гитлеризму — можно просто вспомнить едкого Юнгера, назвавшего нацистов «сектантами, которые заклинают расу» и отказавшегося от мандата депутата Рейхстага от НСДАП с формулировкой «гораздо почетнее написать одну добротную строчку, нежели представлять в рейхстаге шестьдесят тысяч болванов». Забавнее, возможно, тот факт, что Эвола почти не уступает Юнгеру, предсказавшему множество атрибутов нашего быта, от смартфонов до пандемии. Так, он почти раньше всех писал об идее политического ЕС и проповедовал корпоративную культуру (безусловно, из других оснований и с другими интенциями, нежели нынешние HR-щики и эффективные менеджеры): «В новой корпоративной системе капиталист, владелец средств производства, должен вновь стать ответственным главой, техническим руководителем и организатором, центром всего предприятия, поддерживающим тесные, личные контакты с наиболее верными и квалифицированными силами, как со своего рода личным офицерским составом, сплачивая вокруг себя своих работников, свободных от профессиональных объединений и гордящихся своей принадлежностью к собственному предприятию». Более того, Эвола выступал за свободный рынок: «Именно свободная частная экономика, в рамках которой была сохранена определенная иерархия, продемонстрировала наибольшую эффективность — по Эволе, это был верный шаг (отказавшихся от национализации предприятий нацистов. — *А.Ч.*)». Другие его прозрения, можно предположить, более сложны для моментального усвоения и апроприации. Например, «фашист», «аристократ», сторонник каст (в традиционном индийском изводе — шудры, вайшьи, кшатрии и брахманы) так примерно видит идеальное государство: «Тоталитарный характер фашистского режима также отвергается Эволой. Любая система традиционного типа признает значение личности; она основана на иерархических принципах и духовных ценностях. Традиционное государство не тоталитарно — оно органично. Координируя различные силы, оно признает ценность свободы и необходимость некоторой автономии. Механическая централизация, ставшая характерной чертой всех тоталитарных режимов XX века, говорит об их слабости. Подлинная власть всегда признана; люди лояльны ей благодаря ее престижу, авторитету. Государство является могущественным не тогда, когда заставляет себя бояться, а тогда, когда позволяет и определенную децентрализацию, и личную свободу».

Все это, увы, лишь wishful thinking, прекраснодушные идеи. Но нельзя не признать, что та же пандемия с ее демонстрацией крайней уязвимости технологической фаустианской (по Шпенглеру) цивилизации, неравным распределением благ как во всем мире (вакцинируется прежде всего «золотой миллиард»), так и внутри отдельных стран (богатые слои более защищены) высветила необходимость уделить более пристальное внимание таким общим для традиционалистов посылам, как недоверие к манипулирующей демократии, опоре лишь на конъюнктуру рынка, сиюминутную выгоду и прочие примитивно рациональные базисы ради радикального пересмотра всей цивилизационной парадигмы.

Елена Сафронова

Семейный вальс

С известным современным прозаиком Мариной Москвиной меня «свела» в середине нулевых далеко не самая популярная ее книга: «Учись видеть» (М.: Гаятри, 2005; серия НоуХау). На фоне ставших культовыми «Моя собака любит джаз», «Роман с Луной», «Гений безответной любви», переведенных на многие языки мира, «Учись видеть», вероятно, теряется. Но мне она помогла в свое время «найти» этого великолепного автора. На Москвину я написала одну из своих первых рецензий. Восторженную.

Издательство «Гаятри» тогда задумало проект «Путь Художника», посвященный становлению творчества. Серию начали с книги Марины Москвиной, где она описывала семинары для детей по развитию литературных способностей и обучению искусству письма. Книга была «мозаичной»: состояла из маленьких эссе, написанных вперемешку ведущей семинара и ее учениками. Девиз Москвиной был «Учись видеть». Первая заповедь: «Смотрите на ботинки!» Практическое пояснение: «Всегда первым делом смотрите на ботинки! Они вам все скажут о человеке. Когда научитесь смотреть на ботинки, у вас будет право заглянуть человеку в лицо, отразиться в его глазах и нарисовать его портрет». Результаты не замедлили:

«Андрей Буянов читает абсолютный шедевр:

“В метро сидел мужик.

Глаза голубые-голубые!!! ЗАТО ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ...”»

Еще мне понравилось в этой «обучающей» книге то, что Москвина не делила своих учеников на «писателей» и «журналистов» и всем прививала умение видеть и внимание к деталям. Ботинки — пример единичный. Полный список того, что еще характеризует человека одним штрихом, не приведет никто. Никакой интонации превосходства прозы над журналистикой или наоборот в тексте «Учись видеть» не прослеживалось. Более того — юных писателей и юных журналистов Москвина учила одинаково: они ходили на различные мероприятия, встречи, выставки с диктофонами и фотоаппаратами наготове и практиковались в получении интервью и «отписывании» по заданиям. Меня такое «равенство и братство» особенно обрадовало. Важна для книги была неизменная доброта рассказа. Эта доброта роднила документальное сочинение с лучшими детскими сказками Москвиной, за которые она стала лауреатом Международного Почётного диплома Андерсена.

Принцип, который Марина Москвина внушала ученикам, — основополагающий для ее прозы и определяющий ее писательскую манеру. Манеру эту прекрасно описал Михаил Визель, говоря о книге «Между нами только ночь»: «Марина Москвина уверенно и изящно соединяет фикшн с нон-фикшном со времен, когда это еще казалось смелым экспериментом, а не стало, как сейчас, мейнстримом. ...вроде все персонажи реальные, хоть дружись с ними в фейсбуке, и перипетии не бог весть какие, а получается настоящая литература. Потому что, как бы банально это ни звучало, главное же не что, а как. А получается это у Марины Москвиной так, как получается только у нее и больше ни у кого» (отзыв приведен на личном

Марина Москвина. Вальсирующая: Повести, роман. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2020.

сайте писательницы). По сути — это обо всем, вышедшем из-под пера нашего автора.

Визель же раскрыл один из важных «секретов Полишинеля» Москвиной: она очень часто пишет «о собственном муже-художнике Лёне (художник Леонид Тишков, иллюстратор практически всех книжных изданий Москвиной и соавтор рассказа «Дай списать!», по которому снят сюжет в «Ералаше». — *Е.С.*) и сыне Серёже», а также о родных, знакомых и друзьях семьи. И никого это не смущает. Ни писательницу, ни ее «прототипов». Наоборот, «попавших в переплет» прозы Москвиной такая честь радует.

В своем facebook Марина Москвина 31 марта с.г. сделала грустный пост: «Сегодня впервые за много-много лет я не могу позвонить Сергею Бархину и, услышав в трубке его роскошный баритон, поздравить с днем рождения». Известный художник, сценограф и писатель скончался в ноябре 2020 года. Вспоминая в следующий день рождения Бархина, уже без него, как они познакомились, как подружились (художник был на 16 лет старше), Москвина слово за словом подводит к важному для меня замечанию: «Нравится, что я прообраз в твоём рассказе, — отвечал он мне, прочитав “Вальсирующую”. — Помню, что я был прообразом Остапа Бендера у Лёни Тишкова в иллюстрациях к “Золотому телёнку”. Люблю вас обоих». Как понимаю, Бархин выведен Учителем.

Иллюстрации к книге «Вальсирующая» сделаны тоже Тишковым. Это ироничная графика без «архитектурных излишеств», подчеркивающая своим грустно-насмешливым аскетизмом словесную вязь текста. Москвина и Тишков явно не только в семье нашли друг друга.

Часто книги, написанные на реальных событиях, интересны только их участникам. То же самое касается и семейных саг, которые нынче «в моде». В рецензии на предыдущий роман Москвиной «Крио» Надежда Каменева пишет: «По словам автора, роман основан на реальных документах из семейного архива. Это тренд современности, и для “Редакции Елены Шубиной” — привычный формат... “Крио” тоже, безусловно, роман века — его сюжет разворачивается в начале столетия и венчается судьбой самой Марины Москвиной. Ведь именно о ее семье идет речь». «Сочные и густые эпизоды жизни Витебска, Москвы, Крыма и даже Америки двадцатых годов, волны музыки и самобытного говора, гарь и горечь войны, потустороннее сияние смерти и, конечно же, жар революции», — так представила свое полотно писательница в интервью «Мир явно движется по кругу» Валерии Галкиной для «Литгазеты».

Рецензент отмечает эту родово-биографическую основу в сочетании с художественной полнотой изложения: «Писателю удалась как раз бережная и животворящая “разморозка” — оживление не только персонажей историй, но и каждой травинки». Каменева резюмирует: «...остановиться невозможно: для читателей-гурманов такие тексты — истинное удовольствие».

Соглашусь — остановиться невозможно. Это я уже говорю о книге «Вальсирующая», составленной из трех вещей: одноименной повести, повести «Глория мунди»[1] и романа «Дни трепета», выходящего не в первый раз, но идеально укладывающегося в эту канву семейного бытописания. Она читается на одном дыхании — точнее не скажешь. А теперь — несколько слов о каждом из трех источников и трех составных частей сборника.

«Вальсирующая» не так историографична, как «Крио». Нет там потрясений революции, нет мясорубки политических репрессий, а большинство событий повести — личные драмы членов одной семьи. Чаще всего анекдотичные. Например, Галактион (отец героини-рассказчицы) в некие советские годы начал подумывать об измене Искре (матери героини-рассказчицы) с женой знаменитого дирижера, которая возглавляла приемную комиссию в секретариате Союза композиторов. «Прознав об этом, Искра... нацепила бабушкины очки — верней, роговую оправу без стекол, — выудила из сундука всклокоченный парик, доставшийся в наследство от ее героического отца, старого подпольщика, соратника Ильича (именно вождь пролетарской революции настоял, чтобы девочку назвали в честь первой большевистской газеты!), накинула какую-то

[1] Повесть «Глория мунди» была впервые опубликована в «ДН» (2018, № 2).

хламиду — и в таком виде явилась в секретариат Союза композиторов». Как раз в тот миг, когда соперница надменно объясняла гостье, прикинувшейся соискательницей вожделенного членского билета, правила приема: «У нас в приоритете качественная академическая музыка, так что заявки лиц, сочиняющих авторскую песню, джаз и прочая, будут рассматриваться в последнюю очередь», — на пороге «обозначился Галактион с тортом и гвоздикой» и успел услышать, как возлюбленная спрашивает его ряженую жену, в каком жанре она творит.

«— В жанре "...и прочая", — ответила моя доблестная мать. После чего поднялась и с достоинством удалилась».

Любовные передряги много раз нарушат течение и без того неразмеренной и непростой жизни этой семьи — в разных поколениях. У героини-рассказчицы собственная история с Лёшкой, не говоря уж о романах-воспоминаниях, до сих пор не отболевших. Но это не любовная повесть. По-моему, даже не абсолютно семейная — хоть и на семейном материале. Она больше о старости и о смерти. Москвина беспощадно прописывает, каково это — терять мать. Со своими «фирменными» деталями: «...это время, проведенное в больнице, теперь мне видится огромным дирижаблем, зависшим между было и не было».

Потеря матери происходит во всех смыслах; прежде всего — физически. Все повествование — это подготовка к моменту, когда Искра окончательно заболеет, получит безнадежный прогноз равнодушной докторши и упокоится на любимом ею Ваганьковском кладбище. «...Она оставила нам ряд крылатых выражений, записанных в тетрадку ее округлым и красивым почерком... Пару военных черно-белых фотографий, где она — молоденькая, в шинели — возле настоящей пушки... Конверт "Мои разводы и замужества", самоучитель игры на гитаре, визитку "Борис Вульфович Левин, начальник отдела наук о Земле", кассету с песней "Бесаме мучо", азбуку Морзе и записку:

"Обнимаю вас всех снова и снова!
Звоните, не забывайте.
Целую!
Ваша навек —
Искра"».

С таким прощальным письмом телесная гибель выглядит если не оптимистичной, то хотя бы не такой горькой, как то чувство, что разлито между строк повести. Его героиня-рассказчица (да и сама Москвина) не проговаривает, а доверяет произнести мудрой Искре. «Когда мы выходим на финишную прямую — ну, в смысле, во второй половине жизни, то начинаешь неизбежно ощущать, что мы живем в царстве абсолютно преходящих феноменов». Абсолютно преходящим с течением времени становится, как ни кощунственно, детско-родительская связь. Как бы ни были родители бодры и разумны, но берет свое даже не старость — а годы, превращающие самих детей во взрослых людей с собственной картиной мира и накопленным опытом — а мамы с папой в этой картине становятся уже не центром. Может быть, камертонами. А может быть, персонажами, как у Москвиной... Не всем же дано оставаться вечными детьми, как Костя Городков!.. О нем я ничего не расскажу в рецензии — об этом самобытнейшем герое надо читать, впивая каждое слово.

Пронзительная «Вальсирующая» и два остальных произведения в сборнике читаются одинаково увлекательно. В повести «Глория мунди» больше юмора. По сути, это развернутый житейский анекдот о злой шутке, какую сыграло с писательницей наличие полной тезки. В Крыму в творческой командировке она прочитала в газете статью со своим портретом и броским заголовком: «Марина Москвина отработает каждую бутылку!» И текст: «Марину Москвину приговорили к исправительным работам за кражу спиртного. Женщина и ее подруга пытались вынести несколько бутылок с банкета...» Эту же самую статью прочитали участники литературного семинара, ведомого Мариной — собственно, они ненавязчиво подложили ей свинью, то есть газету, на стол. Это придало пикантную окраску и учебному мероприятию, и дальнейшим событиям биографии Марины, когда едва ли не каждый встречный узнавал в ней похитительницу алкоголя, а газета не торопилась давать опровержение. Дурацкая ситуация (из которой сценарист уровня Москвиной сделал бы отменную комедию) привела ее к вовсе не смешным размышлениям: «Развеется ли

когда-нибудь пелена, и я познаю истину о самой себе, которая приносит понимание и свободу, или мне придется вечно барахтаться в неумолимом потоке сансары?» Анекдот чуть не привел «лирическую героиню», крайне близкую Москвиной, к переосмыслению своего места в мире, предназначения, судьбы. А то больно уж суетна эта глория мунди... «В конце концов, общая картина уже нарисована в пространстве и во времени, мы видим только малую ее часть, и выбора нет, есть только уникальная возможность...» К счастью, газета извинилась, хоть и в крохотной заметке без портрета, и писательница не «переосмыслила» себя настолько, чтобы отречься от творчества. Значит, у нас впереди еще много книг Марины Москвиной.

И, наконец, «Дни трепета». Это роман-сказка. Роман-легенда. Роман — библейское предание. Оно опять о семье. Семья Пиперштейн — не обыкновенные обыватели, а персонажи Священного писания с характерными именами: отец Иосиф и мать Эсфирь. Дочь, правда, зовет их Йося и Фира, а они ее — Милочка. Основная проблема текста — это беда Милочки: «Я хочу выйти замуж за первого встречного. Но мой папа Иосиф сует нос в мои дела и не дает мне разгуляться». То, как ретиво Йося отваживает от дочери всех женихов (Фарида — за то, что «ублюдок», «молодого человека из приличной семьи по фамилии Рожакорчев» — за то, что «он не из Рюриковичей!», Кукина — потому что «имеет такой жуткий облик, что мне показалось, я видел его портрет на стенде “их разыскивает милиция”» и т.д.), — только с первого взгляда отцовская ревность или пожилые чудачества. Обоснование этого сквозного сюжета лежит в тысячелетней истории еврейства и априорного понимания избранности народа: «Иосиф, смутитель небес, не мужчина ты и не женщина, ты хочешь, чтобы я жила в пустыне или на вершинах гор и родила от непорочного зачатия», — возвышенно глаголет в адрес отца истосковавшаяся дочь, тут же до комичного снижая тон: «что ж, в нашем славном роду Пиперштейнов случалось и не такое». Но самое прельстительное в романе — что непорочное зачатие Милочки все же состоялось, хоть и при обстоятельствах самых невероятных. Столь же невероятно и прекрасно, что от духа святого она родила шестерых детей в разные годы. Юмористически-любовный роман становится гимном искренней вере. В такой истории все вероятно — промыслом Божиим.

В книге «Вальсирующая» — а в «Днях трепета» особенно — нон-фикшн срастается с пьесами абсурда. Надо признать, оксюморон рискованный. Но Москвиной он удается. Ему соответствует речь, легко переходящая от разговорной к вдохновенной, как у проповедника в экстазе. Зачем сочетать настолько несочетаемое? Наверное, не зачем, а отчего. Слегка искусственный язык к этим сюжетам выбран оттого же, отчего люди говорят с юмором о самых близких людях и награждают их смешными прозвищами. О самом дорогом мы часто рассказываем с иронией, чтобы не произносить всуе священное для человека имя. Так и Москвина прикрывает литературностью то, что для нее драгоценно. Семья, духовная близость, память рода и наставничество, — вот те священные предметы, к которым она обиняками адресуется. Ибо: «Ты сколько угодно можешь парить в небесах, но в основе должно лежать настоящее», — как говорила Москвина в процитированном выше интервью.

Дмитрий Артис

Осадные орудия

Книга стихотворений Сергея Золотарёва «Линзы Шостаковича» не для беглого чтения. Если погружаться, то основательно и надолго. Мир, придуманный автором, если рассматривать невооружённым глазом, размыт и причудлив. Больше походит на игры чуть обезумевшего разума, чем на выверенные творения мастеровитого стихотворца.

слава богу не все ещё
нынче в здравом уме

Но когда натыкаешься на совершенно неожиданную трактовку хрестоматийного эпизода из пьесы Шекспира, где Гамлет обращается к черепу шута, то понимаешь — никакого сумасшествия в (казалось бы) несвязной авторской речи нет. Это не абы как набранные из воздуха слова, посаженные в клетку условностей, характеризующих поэтический текст. Тут всё немного иначе.

Гамлет стоит с обретенной главой
Иоанна Предтечи
возле могилы шута.

Сцена из шекспировской трагедии в мини-поэме Сергея Золотарёва «Гамлет в Крыму» роднится с преданиями о трех обретениях главы Иоанна Предтечи. Небольшой штрих к портрету — и крымский Гамлет наделяется отличным от своего прототипа мировоззрением. Здесь уже нет всепоглощающей депрессии — ничто не вечно и потому лишено смысла. Она вытесняется размышлениями о бесконечности существования. Обретение главы — это ведь как обретение надежды. Символ выходит за рамки религиозной тематики, поскольку обрамлён мирским бытованием, и за счет этого становится общечеловеческим.

Золотарёвский Гамлет не отягчён местью, а если разгорячен, то крымским солнцем и портвейном. Он прикладывает к уху, как ракушку, череп и слушает шум крови — жизнь. Распавшаяся связь времен соединяется заново. Такому человеку (персонажу) не составит особого труда написать на прибрежном песке слово «вечность», даже зная о том, что с приливом оно исчезнет.

Драматургическая основа не только в мини-поэме «Гамлет в Крыму», с которой начинается сборник. Небольшие стихи формой подачи также напоминают как бы случайно выбранные и собранные под единой обложкой монологи (или реплики) из классических пьес. Стихи настолько сценичны, что звучат в полный голос, даже если читаешь про себя, прикусив нижнюю губу.

Маска безумца, наигранная уверенность в себе, показное мальчишество — всё это очень театрально, хотя, безусловно, трогательно и не без искрящейся на заднем плане (подтекстом) самоиронии. Если бы я не знал, что Сергей Золотарёв в свободное от литературы время занимается тренерской деятельностью в мире большого тенниса, то я бы рисовал себе образ автора, который похож на Сальвадора Дали. Но тут надо заметить, что эпатаж великого сюрреалиста был все-таки на грани вкуса (а то и за гранью). Эпатаж Золотарёва скорее интеллектуальный, без перекоса в сторону уже набившей оскомину физиологии.

Как говорил Семён Белиц-Гейман,
выходя на покой:
Разницы между выигранным и проигранным
геймом
нет никакой.

Сергей Золотарёв. Линзы Шостаковича. — М.: Русский Гулливер; Центр современной литературы, 2020. — 120 с. (Поэтическая серия).

Не только удары, но и все шаги твои
на Земле посчитаны.
И высушены в уме.
И высыпаны обратно на корт песчинками,
мерцающими во тьме.
/.../
Только проигрывающий постоянно,
адресно,
может читать Ганс Христиана
Андерсена.

Тема Гамлета «быть или не быть» — сквозная для всей книги. Она звучит на втором, третьем — и так далее — планах почти в каждом стихотворении, рассматривается с разных сторон и с разной степенью иронии.

Если в самом начале, вопреки хрестоматийному пониманию образа, череп символизировал надежду и жизнь, то к середине книги он уже становится хранилищем Вселенной. Его значимость растет пропорционально авторской воле и желанию персонажа удержаться от прямого ответа на гамлетовский вопрос.

Купол неба — как огромный череп,
звёздами обитый изнутри...

Да и какой может быть ответ, если смерть — небытие — рассматривается автором, как форма вечного существования, притом максимально комфортного. Предсмертная агония — вот он ад («Пушкин в аду»), а сама смерть так же прекрасна, как жизнь: главный персонаж со своей возлюбленной обязательно попадут в рай; Цветаева, как земля Санникова, завесилась в елабужской дали облаком сиротства (мощный образ, да?), и даже целитель из телевизора, разрядившись, в смерти находит покой.

Перед смертью надо еще отмучаться, —
говорила она, — потому и живу.

Небольшие стихотворные тексты, будто реплики из чеховских пьес, умещаются в один выдох-вдох. Предложения (сложные, со всеми возможными и невозможными оборотами) растягиваются на целую строфу. Дыхание глубокое (через молитву), лишённое эсэмэсочности, порывистости, истеричных выхлопов.

я говорю тебе дыши
через молитву

Обыденность рассматривается через разнообразные линзы («слёзы линзами Шостаковича», «линзы подкожного жира», «листья в роговой оправе воспользоваться линзами смогли», «и ходил он (Крымский Гамлет. — *Д.А.*) с выпуклой линзою, тьму сгущая перед собой») и поэтизируется. Иной раз слышится романс под гитарный перебор. Что-то вроде «Утро туманное...». Только в реальности Золотарёва он звучит так:

Утро бездомное.
Утро обманутых дольщиков.

Стихотворные тексты держатся на мощной внутренней энергии. Они выносят мозг, подобно тому как осадные орудия пробивают крепостные ворота. Здесь очевидна абсурдность высказывания о том, что звук порождает новые смыслы. Потому что новые смыслы даёт внутренняя энергия, которая как раз строится на многообразии звуков, а не на назойливом повторении однородных согласных. Партия тромбона не заменит собой симфонию. Если где-то используется аллитерация, то исключительно как частный (единичный) приём, не вытесняющий изначального смысла стыкующихся слов, как, допустим, в этом четверостишии:

хочу прихрамывать при храме
стеклом дрожать в оконной раме
не отвлекаться на детали
и жить с такой какую дали

«...Прихра-при хра...» прозвучала парной нотой, как каламбур, вставной гэг, и отставлена в покое. Больше к ней автор не возвращается, избегая превратить лирическое высказывание в скороговорку для занятий по сценической речи. Никаких псевдо-«новых» смыслов.

Лексический ряд не перенасыщен модными словами и терминами, взят из жизни обывателя. Отсылки к другим литературным произведениям (здравствуй, постмодернизм!), рассыпанные внутри стихотворений, не мешают. Тексты всё равно остаются самодостаточными. После второго-третьего прочтения даже с «туманных» строк будто спадает пелена.

Возвращаясь к названию книги, хочется сказать, что у композитора Дмитрия Шостаковича гармония (слаженность, соразмерность) считается основной чертой музыкального языка. То же самое можно сказать и о поэтике Сергея Золотарёва.

Дмитрий Бавильский

Таня и Саша в трипе

Третья книга Светланы Сачковой — интересный эксперимент по построению текста, где интонация важнее сюжета. Автор, видимо, уже знает, что «высокая литература» отличается от беллетристики тем, что сюжет в ней не самое главное. Куда важнее отстроить «уровень письма», движимый как раз интонацией, а так же ритмом и прочими литературными приправами, работающими на то, что в театре называют «кусками по атмосфере» — эпизодическими вкраплениями, казалось бы, не несущими особой фабульной нагрузки.

Обычно интонация пока лишь только смотрит в сторону реальности, существуя отдельно от нее, как бы в «автономном плаванье». Через стилистические ухищрения она намекает на очертания действительности, окружающей автора, изменяя ее, раз уж «все уже было», набором разных фотографических виражей и жанровых оттенков — гоголевских, достоевских или же, к примеру, сологубовских.

А есть ведь еще авторы многочисленных иностранных литератур, которых тоже можно припомнить в осенних сумерках писательских намерений. Автор перебирает литературные приемы, подобно ключам в связке, настраиваясь под тембры, опознаваемые читателем как приметы «физиологического очерка», русской прозы социальной тревоги или же как предельную модернистскую субъективность.

Это ведь только кажется, что выдержать текст в едином ключе (дыхании, размере) проще простого — следуй личной синдроматике, и счастье будет не только автору, но и его читателям. Но в том-то и дело, что стилистические колоратуры, образующие в конечном счете элементы неповторимого авторского голоса, не всегда равны проявлениям натуры.

Их то в сторону одного жанра клонит, то на территорию другого стилистического направления заносит, из-за чего стилистические кружева постоянно требуют дополнительных «риторических фигур» и ритмических проявлений, когда в бой вступают уже не голосовые связки, но синтаксис и пунктуация. А их способ и образ действия являют не прямой, но символический слепок авторской физиологии. При переносе трехмерности на бумагу всегда велика вероятность сфальшивить или, доверившись тому, куда интонация ведет, завести свой текст вообще не туда.

Зная о превратностях своего метода и всяческих потенциальных засадах, Светлана Сачкова тем не менее, подобно опытному садоводу, выращивает интонацию «Людей и птиц» именно что органическим способом. А читатель, открывая книгу, вслед за Егором Михайловым из журнала «Афиша» (фраза его украшает низ зеленой обложки) попадает в весьма лирическое настроение: «*Вот, оказывается, какой была бы Амели, родившаяся в Москве: букет неврозов, серая юбка и никакой парижской романтики*».

Если проводить параллель, заданную Михайловым, но не из кино, а из актуальной беллетристики, то можно вспомнить роман Барбери Мюриель «Элегантность ёжика», где тоже ведь действует неловкая и предельно скованная (зажатая, забитая, но тем не менее по-своему привлекательная, а потенциально так и вовсе огневая интеллектуалка) консьержка Рене.

Таня, героиня Сачковой, впрочем,

Светлана Сачкова. Люди и птицы: Роман. — М.: Эксмо, 2020.

социальным статусом ниже даже Рене, поскольку хронически безработная — большая часть книги посвящена ее поискам не только личного счастья, но и социального места под солнцем.

Ее нервные метания по Москве дают Сачковой возможность «широкой панорамы общественной жизни»: раз уж сюжет в книге не главное, то на первый план выходят времена и нравы — им, чтоб читатель не заскучал, и нужна интонационно выдержанная подача, превращающая роман еще и в картинки с выставки совсем недавнего (судя по некоторым обмолвкам, вроде ареста Ходорковского, действие романа происходит в 2003 году), но конкретно неопределимого прошлого.

Интонационные (или же стилистические) приоритеты позволяют сделать Сачковой какую-то совершенно неправильную (в хорошем смысле) книгу. Составленные из тем и мотивов, свойственных качественной женской беллетристике, «Люди и птицы» постоянно обманывают ожидания, таким образом еще раз перенося внимание читателя с сугубого нарратива на жанровые игры.

Впрочем, понимание, что мы имеем дело с необычным творением, настигает уже на самой первой странице, выстроенной против всех правил. Сачкова начинает первую главу с отвлеченной цитаты из римской истории: «*Чезаре Борджа зарезал зятя из-за любви к собственной сестре, состоявшей в интимной связи с их отцом — Папой Римским...*»

Заявленный таким образом градус ожиданий далее не подтверждается, почти сразу перестраиваясь на бытовой, даже отчасти приземленный лад, тем более, что кухня по производству корейских салатов, которой владеет Саша, второй главный персонаж романа, расположена на цокольном этаже, сиречь в подвале жилого дома.

Саша — такой же неудачник, как и Таня, по ходу действия книги теряющий не только бизнес, семью, но и себя. Было бы логично, чтобы два одиночества постоянно двигались навстречу друг другу, чтобы в финале образовать счастливую пару. Штука, однако, в том, что Саша — сын ближайшей подруги Таниной мамы, и они знакомы еще до цитаты о Чезаре Борджа, регулярно встречаясь, например, на семейных днях рождения. Между ними ничего не может случиться по определению, хотя в неправильном, с точки зрения «памяти жанра», тексте может произойти все что угодно.

Видимо, поэтому Саша сходится с Таниной мамой, переживающей из-за внезапного любовного романа вторую молодость.

Впрочем, я отвлекся от первой страницы, где после дебютной цитаты про римский инцест идет объемное описание осеннего пейзажа, как бы призванного продемонстрировать, что автор «Людей и птиц» никуда не торопится, да и вам не советует.

«*Это был заурядный день ранней осени. Яркими пластами солнце вплывало через распахнутые створки, падало на стол и вздымало пылинки. В жарком мареве тонули панельные дома и кроны деревьев разнузданных желто-рыжих оттенков. На небе — ни облачка. Вороны запрокидывали головы в истоме и разевали рты, издавая гортанные крики из глубины своих тел, тренированных экстремальными условиями. В куче листвы у дороги что-то закопошилось. Однако Таня этого не заметила, поскольку смотрела совершенно в другую сторону...*»

Я исхожу из того, что мы бессознательно относимся к первой странице (любого) романа как к витрине, на которой автор выкладывает чуть ли не главные завлекаловки. Чтобы определить, о чем книга и стоит ли ее выбирать в книжном магазине, у современного человека не так много времени, а алгоритм отбора достаточно стереотипен — смотришь на фразы с обложки (вот и модный екатеринбургский прозаик Алексей Сальников в верхнем правом углу радуется: «*Господи, как хорошо, дико и весело получается в итоге*!»), а затем открываешь начало, пробегаешь глазами, вдруг что-то зацепит...

...Здесь меня зацепила не цитата, но то, что не увидела Таня в куче листвы, из-под которой внезапно вылезло непонятное, чудное: «*Сухая листва, обрывки целлофана, бумажки, окурки — раздвинулись. На свет выползло крошечное существо вроде карлика и сердито нахмурилось...*»

Существо это и дальше будет время от времени навещать то Таню, то Сашу, то менее существенных персонажей. Причем чаще

всего по ночам, все отчетливее напоминая Недотыкомку из «Мелкого беса» Фёдора Сологуба, причем, не от того, что я безмерно начитан, но потому что инфернальное это существо выполняет в книге Сачковой примерно те же самые функции, что и в образцовом шедевре русского модернизма. Не участвуя напрямую в развороте фабулы, оно, во-первых, задает сюжету дополнительные измерения, во-вторых, заставляет следить еще и за иррациональной составляющей, не давая «Людям и птицам» потонуть в бытовухе.

В-третьих, озабоченный карлик, картинно издохший в финале без каких бы то ни было видимых причин (непонятно откуда взялся и непонятно зачем теперь ушел), заметно повышает уровень нарративной неопределенности, окончательно смущая читательские планы на определить, с чем дело имеешь. Понятно ведь, что появление нечисти, как бы она затем не объяснилась (глюк, поди?), способно спутать любые ожидания.

И это, как кажется, ход правильный, хотя и несколько холостой (Недотыкомка Сачковой существует параллельно людям, с ними не пересекаясь, и поступки их не меняет, работая лишь «по атмосфере») — раз уж самые важные страницы любой книги — это именно пара первых глав.

Ибо дальше читатель начинает примерно понимать, куда ведет автор, заканчивая перебор потенциальных жанровых вариантов, извлекаемых из памяти. Так уж устроена воспринимательная машинка, что нам важно осознавать, с чем мы имеем дело на этот раз. Ум только тем, кажется, и занят, что определяет начатое чтение на ту или иную полку, забитую уже знакомыми и осознанными вариантами.

Кстати, именно этот процесс чаще всего замедляет восприятие сюжета, до которого нужно же еще только добраться. Прорваться, пробравшись сквозь то, что автор вываливает на страницы в первую очередь как самое первостатейное.

И лишь потом, когда читатель определится с жанровым или же дискурсивным прототипом, книжка начинает катиться как с горки.

Быстрота нахождения аналогов и есть один из косвенных, но максимально верных признаков отличия беллетристики от подлинно изящной словесности: коммерчески озабоченный автор в первую очередь думает о читательском комфорте, из-за чего и сдает карты как можно скорее.

Литература высокого накала, та самая, что «ставит проблемы» и «задает вопросы», напротив, заинтересована в повышенной активности читательского творчества, из-за чего играет с памятью особенно аккуратно. Сдавая не только фабульные данные, но и дискурсивные особенности не торопясь и, если такое возможно, по частям.

Книга Сачковой демонстративно нетороплива — особенно автору нравятся самоигральные сцены городской жизни: долгие путешествия героев в метро, импровизированные рынки возле станций, курилки возле контор и ковыряние бомжей в мусорных баках. Не вдаваясь в причины социальных проблем, «Люди и птицы» увлекаются самодостаточными картинками — их Светлана Сачкова научилась живописать, публикуясь в журналах Marie Claire и «Большой город».

Впервые я обратил внимание на эту особенность авторского стиля, идущего от традиций физиологического очерка, уже на первом десятке страниц, в тот самый момент, когда Таня захотела в туалет. Но нашла на улице лишь общественный сортир под девизом «на миру и смерть красна», куда змеилась весьма протяженная очередь. Описание ее Сачкова растягивает с тщательностью едва ли не судьбоносной сцены.

Честно говоря, я еще не встречал в нормированной нынешней прозе таких откровенных описаний, связанных с физиологией, в том числе и эротических сцен. Их, впрочем, в книге Сачковой не так много, и срежиссированы они боковым, что ли, зрением. Но вот мимо общественного толчка, окраинного и во всех смыслах маргинального, «Люди и птицы» пройти не могут.

«Таня взошла на постамент, окончательно отрешившись от наблюдавших за ней женщин. Аккуратно спустила трусы, присела не очень удобно, но скромно, сдвинув колени. Ботинки мысками внутрь. Взгляд вниз. На эмалированной емкости сеть мелких трещин. Ржавчина там, где когда-то стояла вода. Ык!Ык! Электрический сигнал мышцам...»

Уже очень скоро мультяшная «московская

Амели», «элегантность ёжика» и заставки в духе «Секса в большом городе», на которые настраиваешься после фраз на обложке, незаметно мутируют в более естественный для наших широт тотальный бытовой дискомфорт. Интонация меняется, точно с временем суток, задавая роману совсем уже непредсказуемое направление.

Сачкова, конечно, избегает надрыва, но как тут не проявить себя стервой, если беда не приходит одна, но наваливает одни неразрешимые проблемы на другие?

Интонационные приоритеты тем и хороши, что их не обманешь — встав на колею стилистической искренности, ничего не остается, кроме как хранить верность глубинным авторским интенциям, порождающим складки на поверхности текста. Мизантропия Сачковой противоречива и амбивалентна — так можно ведь легко решить, что романтика и поиски счастья, вышивающие недосягаемые узоры поверх свинцовых мерзостей общежития, — неизбывное свойство человеческой натуры, не зависящей от места жительства. Автору, де, важно устремить своих героев, мысленно порхающих, подобно птицам, в даль неизбывно светлую, так как надежда умирает последней, а финал грозит обретением если не счастья, то уж точно покоя. Особенно после того, как Недотыкомка-карлик издыхает под бочкой в уличной пыли.

Жизнь для смертных непереносима по определению, из-за чего без легкого налета иррациональности и депрессии (ну, чтобы персонажам было что наглядно преодолевать) не обойтись. Однако Алёша Рогожин, рецензент из «Горького», определил книгу Сачковой «*пламенным манифестом социального расизма*», заклеймив мизантропию ее описаний как самодостаточную и самодовольную.

«*Все эти "бабищи" и "ханурики" подаются нам в самом что ни на есть реалистическом ключе. Сачкова действительно уверена, что если охарактеризовать сто персонажей подряд как жирных, потных, пьяных и грубых, получится убедительная картина русской жизни...*»

Тут, конечно, многое зависит от точки зрения, и когда автор не давит на читателя конкретикой трактовки, оставляя простор для маневра, интерпретация начинает говорить не столько о писателе, сколько о самом интерпретаторе.

Ведь в том-то и дело, что слова Рогожина имеют под собой основание, если проводить «Людей и птиц» по ведомству кондовой беллетристики, которую возможно прочесть лишь под углом восприятия одним на всех. Но интонационные поиски Сачковой работают, должны работать, на расширение возможностей «женской прозы», более несводимой к «любовным историям» и «ироническим детективам». Самые интересные эксперименты современных писательниц (всерьез написать «авторок» рука не поднимается — надеюсь, поветрие это скоро пройдет, а нормированный вкус восторжествует), как кажется, связаны с заступом на территорию «метафизических исканий», воплощаемых в прозе непрямого действия.

Поскольку, как известно, метафизика, что бы под ней не понимали, чурается конкретики называния, используя для достижения авторских целей всяческие окольные пути. Единого алгоритма прочтения демонстративно неправильной прозы не может быть по определению. Особенно когда многочисленные детали, выпирающие при дополнительном стилистическом усилии, несводимы к общему целому.

Гораздо существеннее и интереснее определить, почему Недотыкомка издыхает в Москве, а счастье Саша с друзьями находит на берегу теплого моря в неназванной стране, про которую только известно, что она южная, испаноговорящая и, скорее всего, остров.

Елена Елагина

А напоследок я скажу...

Перед нами последний роман Владимира Шпакова «Пленники амальгамы». И слово «последний» приходится произносить, уже не опасаясь никакого авторского суеверия, а с дружеской и неизбывной горечью. Эту книгу Володя так и не увидел. Она вышла уже после его стремительного, столь неожиданного для друзей и близких и столь безвременного осеннего ухода. Казалось бы, совсем недавно шумно и празднично отмечали его шестидесятилетие — и вот стоим, растерянные, перед местом упокоения на петербургском Волковском кладбище с его знаменитыми Литераторскими мостками...

Тему для романа на этот раз он выбрал более чем тяжелую. Достаточно прочитать оба эпиграфа, вынесенные на страницу, предваряющую повествование. Они как предостережение — легко не будет, выдержишь ли, читатель? Сначала прикинь свои силы.

Итак, эпиграф первый, тютчевский:

Там, где с землёю обгорелой
Слился, как дым, небесный свод, —
Там в беззаботности веселой
Безумье жалкое живёт.

А второй — из французского философа Мишеля Фуко: «Душа безумцев — не безумна».

И если Тютчев со свойственной его гению беспощадностью каждым словом рисует картину вовсе безнадежную и окончательную, то Фуко, напротив, дает нам не только надежду, но и призывает к человечности, к гуманизму, мол, взгляните, это же брат ваш, он такой же, как вы, и душа у него жива и не безумна, ее надо только пробудить к тому состоянию, которое вы все считаете нормой. Собственно, об этом извилистом и невыносимо трудном пробуждении души и написаны все эти 450 страниц.

Экспозиция романа такова: три главных героя, три жизненных русла, по которым течет повествование, пока они все не переплетутся и не сольются в один поток. Старшекурсник Максим, учившийся на философском (а как же!) факультете и подававший неслыханные надежды, но вдруг — сорвавшийся с резьбы и впавший в полузвериное состояние, тем не менее оснащенное собственной железной логикой, что зачастую свойственно этим людям. Об этом чуть ниже. Девушка Майя, страдающая тяжелой формой шизофрении, в голове которой живет голос, именующий себя Капитаном, пугающий, мучающий и мешающий ей, а заодно и руководящий ее поведением и направлением ее мыслей. И — психиатр Ковач, незаурядный ученый, отвергающий медикаментозные методы, как следствие вытесняемый научным сообществом из своих рядов, однако при этом вынужденно — насмешка судьбы! — занимающийся пропагандированием на периферии новых якобы чудодейственных психотропных препаратов. Такова завязка. Причем повествование ведется от первого лица разных персонажей, за исключением разве что Максима. Мы слышим и людей в норме, и людей вне нормы.

Но есть и еще один бессловесный герой, имеющий власть над всеми перечисленными, недаром роман назван «Пленники амальгамы». И это — зеркало, предмет во многих оккультных практиках безусловно мистический и играющий в жизни каждого героя ключевую роль. Как источник тревоги и различных

Владимир Шпаков. Пленники амальгамы: Роман. — М.: ИД «Городец», 2021.

паранормальных явлений и, как выясняется уже в конце романа, — панацея от болезней души. Если бы зеркало могло отражать душу (вспомним Фуко!) — вздыхает отец Максима, не теряющий надежду вылечить сына. Но пока этого не происходит, зеркала тревожат и вторгаются в жизнь каждого персонажа. У Максима, которого его измученный отец называет Каем (по имени андерсеновского героя, в глаз и сердце которого попали осколки волшебного зеркала, разбитого злобными троллями), зеркала — это оптика так называемых наблюдателей. Эти наблюдатели, по безумной теории Кая, сослали на Землю «бракованных» людей, поставили над ними надсмотрщиком Бога, а сами через зеркала следят за тем, что с их подопытными происходит. Майя посредством зеркала приобрела способность ночных полетов над Петербургом с безумной (извините за невольный каламбур) скоростью. А психиатр, отрицающий медикаментозное лечение психических расстройств в конце концов нащупывает метод их купирования с помощью зеркал. И, пожалуй, с этого места критиком должен выступать критик не литературный, а медицинский, желательно опытный и с высокой степенью, поскольку здесь, по скромному мнению критика литературного, автор вступает уже в область своего любимого и испытанного магического реализма, то бишь с точки зрения здравого смысла — фантастики.

Тема безумия в литературе не нова. Но как в сказках дело кончается свадьбой, — хотя Лев Николаевич и пытался преломить эту традицию, — так и тут обычно безумием героя повествование заканчивается. Сошел с ума, перестал быть правильным потребителем, таким как все, выбыл из экономически активного общества и — finita la commedia, тут, как говорится, и сказочке конец. У Шпакова — с ярких картин безумия и невыносимой жизни родственников рядом с безумцами роман только начинается. Эти мученики, продолжающие любить своих детей, страдают невыносимо, потому что вся их худо-бедно налаженная жизнь летит кувырком, и в центр, управляющий всей их жизнедеятельностью, превращается несчастный безумец, которого глушат таблетками. А что еще может предложить им психиатр из районного ПНД (для тех, кто не в курсе, — психоневрологического диспансера)? Альтернатива одна — госпитализация, и тогда человек, задурманенный химией, превратится в окончательный бесчувственный (но зато не буйный и послушный!) овощ. Этих неприглядных картин со многими историями тоже в романе с избытком. Думаю, всем известно, что такое официальная психиатрия, бессмысленная и беспощадная. Хотите услышать психиатра? Пожалуйста: «Если день не можешь помочь, месяц, год, то больные начинают раздражать. А некоторые даже бесят, им хочется мстить, непонятно, правда, — за что? За нашу беспомощность? За тупик, в котором пребываем, хотя делаем вид, что схватили бога за бороду?»

Но обессиленные родственники главных героев руки не опускают, продолжают настойчиво искать нетрадиционные методы. И — живем все-таки в эпоху глобального интернета и вездесущих социальных сетей — находят. Находят они некий нетрадиционный и новейший метод в практике психиатра-одиночки, принимающего и излечивающего на дому, — Ковача. Не буду пересказывать все перипетии его нелегкой профессиональной (да и личной) судьбы, но в конце концов Ковач, уже имеющий определенный вес в профессиональном сообществе не только в России, но и за ее пределами (здесь и личные связи не лишние), разживается иностранным грантом, покупает в захолустье некое строение и устраивает что-то вроде известного в Петербурге «Дома на горе» (там лечат алкоголиков и наркозависимых), своеобразный реабилитационный центр, куда начинают привозить в надежде на излечение душевнобольных их близкие.

И вот мы подошли к тому месту, где вместо критика литературного требуется критик с высшим медицинским психиатрическим образованием. Метод Ковача состоит в том, что душевнобольной должен, сидя перед зеркалом, изобразить свой автопортрет в любой технике и в любом материале, будь то графика, живопись, скульптура, что угодно. По сути дела, изобразить портрет своей души (вспомним мечту отца Максима), которая не больна, вычленить ее из кокона налипшего на сознание безумия и таким образом излечиться. Творчество должно вытеснить безумие, и зеркало здесь выступает уже не темной и

неведомой силой, а воскресителем. Другое дело, как убедить это сделать, как усадить безумца на несколько сеансов, как принудить его к этому очищающему действу? Исключительно силой убеждения и энергетикой контактера, то есть самого Ковача. Разумеется, оба главных героя — и Кай-Максим, и Майя — попадают в это психиатрическое чистилище и долгими усилиями Ковача недуг одолевают. Более того, начинают симпатизировать и тянуться друг к другу. Но тут, к несчастью, Ковач, как это случается с психиатрами, получает свою идефикс, свою манию: он полагает, что путем излечивания душевнобольных создает на Земле новую расу гениев. И Максим с Майей в его сознании становятся как бы новыми Адамом и Евой, которые и должны положить начало этому новому человечеству, свободному от безумия. Захваченный непрерывной, изнуряющей работой, одержимый своей идеей, доктор внезапно сам превращается в обессиленного полубезумца — и уже Максиму с Майей в будущем предстоит поставить его на ноги, и они преисполнены решимости Ковача возродить. Но это должно свершиться уже за пределами романа.

Вот такой роман-исследование Его Величества Безумия, от которого никто из нас не застрахован (а, скажем, о том, что у переболевших ковидом наблюдается деформация психики, уже давно говорят врачи), написал в конце своего творческого и жизненного пути петербургский прозаик Владимир Шпаков. Написал, как всегда, ярко и убедительно. Тяжелое это чтение? Да, тяжелое. Страшное? Да, страшное. Недаром он придумал психиатра-избавителя с его зеркальным методом, чтобы дать хоть какую-то надежду — нет, не самим душевнобольным, многие из них себя таковыми и не считают (это, кстати, первый признак безумия — отрицание своей болезни) и, может быть, даже счастливы в своих недоступных нам мирах, а их близким, которые страдают, имея рядом с собой этот ежедневный исподволь убивающий радиоактивный фон, и которые тем не менее продолжают любить своих безумных домочадцев. Дать надежду тем, у кого рука не поднимается и сердце не допускает освобождения от этого ежедневного груза, которое они полагают предательством. А, казалось бы, чего проще — говоря бытовым языком малаховских шоу, — сдать в сумасшедший дом и жить дальше своей привычной жизнью. Да не получится привычной! Все равно эта заноза будет саднить и беспокоить. Нет, если уж этот крест появляется в вашей жизни, то он навсегда. А о состоянии нашей медицины читайте в бравых отчетах Роспотребнадзора.

Шпаков начал свой роман цитатой из Тютчева, а мне хочется завершить свой небольшой текст цитатой из Александра Кушнера. И хоть речь в стихотворении идет о феномене человека, о его неизменных пороках и вообще его неизменности в веках, недоступной осмыслению никакими мудрецами, но мне кажется, что это описание беспомощности в поисках объяснения и панацеи годится и для мировой психиатрии:

Колёса грубые по оси в землю врыты.
Под них подкладывали лапник и тома
Священных кодексов, но так же нет защиты,
И колет тот же луч, и дышит та же тьма.

Да, человеческий мозг так пока и остается тайной за семью печатями. Черным ящиком, в котором непонятно что происходит.

Не могу не сказать, что написан роман с кинематографической живостью, едва ли не с раскадровкой и детализацией мизансцен (недаром Шпаков в петербургском Союзе писателей возглавлял секцию драматургии). И, надо думать, попадись «Пленники амальгамы» в руки влиятельному кинопродюсеру, он своего не упустит. А уж что за сериал получится, Бог весть. Видали мы всякие хваленые экранизации вполне маститых режиссеров. Так что все-таки лучше это кино смотреть у себя в воображении, читая книгу.

Мне же напоследок хочется пожелать возможным читателям не забывать писателя Владимира Шпакова, у которого в творческом наследии, помимо романов, есть несколько превосходных сборников рассказов, ведь он блестящий мастер малой формы и виртуоз магического реализма. Не раз мне доводилось эти сборники обозревать — с радостью и читательским восторгом. Очень хочется, чтобы у книг Шпакова была долгая жизнь с неугасающим читательским вниманием и интересом.

Амаяк Тер-Абрамянц

В поисках корней и истоков

«Игерманландия» — впервые это слово, кажется, прочитал у Набокова в романе «Подвиг». И тут же посчитал художественной выдумкой, игрой воображения мэтра, сочинителя кроссвордов, энтомолога, столь склонного к литературному подмигиванию. То была мифическая страна, куда стремился воспитанный в Лондоне русский герой романа, сказочная несуществующая прародина...

Каково же было мое удивление, что край под названием Ингерманландия действительно существовал, населенный финно-угорскими народами, вольный, не успевший обзавестись собственной государственностью до того, как стать сначала приписанным к землям Великого Новгорода, затем оказаться под шведской короной и стать местом возведения столицы Российской империи — Санкт-Петербургом. Однако успел этот край создать собственную самобытную культуру, которая продолжала жить, развиваться и в составе Российской империи, а была подавлена и развеяна лишь сталинской коллективизацией, пришедшей вслед за ней войной с немецкой оккупацией и послевоенным запретом на возвращение в родные места, разбросав коренных жителей этого края от Финляндии до Сибири, а впоследствии рассеяв их по разным странам и континентам.

И собрать по крупицам, казалось, безвозвратно ушедший в прошлое образ Ингерманландии, восстановить его взялась составитель этой книги, литературовед, скандинавист, известный переводчик с норвежского Элеонора Панкратова — Нора Лаури, ингерманландка по маме. В сборнике удалось воскресить облик почти исчезнувшей страны, рассказать о судьбах людей, создать образ теперь уж «небесной Ингерманландии». Эта книга — плод любовного и бескорыстного труда — включает 18 авторов, их безыскусно-правдивых рассказов о своих судьбах и судьбах предков, живые голоса не только литераторов, но и людей различных специальностей, влюбленных в Ингрию, как урожденных ингермаландцев, так и их потомков: этнографические очерки, рассказы, воспоминания, заботливо собранные народные пословицы, стихи...

Знаешь, есть пустынный берег
У холодного залива,
Где рассказывает ветер
Сказку серым валунам...

(*Аля Деконская*)

А что мы слышали вообще об этом крае, кроме пушкинского «убогого чухонца» из «Медного всадника»?

Книга открывает нам суровый край с его коренными финскими обитателями, людьми упорного труда, с несгибаемым чувством собственного достоинства.

Сама Элеонора Панкратова родилась в Ленинграде в семье капитана дальнего плавания, но летние месяцы детства проводила в одной из последних ингерманландских деревень, родной деревне мамы, северной красавицы, впитывая нравы ее людей, их природную доброжелательность и любовь к порядку, красоту и своеобразие здешней природы с ее соснами, валунами, озерами, «пронзительной морской синевой». Так и получилось, что духовная ее родина не в блестящем многонациональном Петербурге, а в деревне Копаницы, известной по писцовым

«Ингрия — наша родина...»: Воспоминания, эссе, стихи, рассказы / Составление и предисловие Элеоноры Панкратовой. — СПб.: ГЙОЛЬ, 2020.

новгородским книгам с 1500 года, где до сих пор сохранился дедовский добротный дом, а уцелевшие люди старшего поколения еще не забыли местный финский диалект.

Цель книги — поиск собственных корней, — недаром на обложке Элеонора Панкратова снята на фоне склона с обнаженными корнями сосны. Первые упоминания об этом крае есть в финском эпосе «Калевала». Народности, обитавшие издревле на болотистых землях вокруг устья Невы, относились к финно-угорским племенам ижорцев и ингерманландских финнов — эуромяйсет и совакот.

Со времен Пушкина финские деревни снабжали столичный Петербург свежим молоком утренней дойки:

> С кувшином охтенка спешит,
> Под ней снег утренний хрустит...
> *(«Евгений Онегин»)*

Веры ингерманладцы были в основном лютеранской, в традиции долгое время сохранялись певческие праздники, которые так объединяют народ в целое (подобное мы наблюдаем у эстонцев и финнов). Родной язык был свой, хотя близкий к финскому и эстонскому. «Родной диалект, — пишет исследователь Э.Г.Карху, — оставался тогда родным в самом непосредственном значении этого слова...»; «Родной язык, как и родная мать, являются по-настоящему родными, когда человек даже еще не осознает, что может быть иначе».

Несмотря на близость многонациональной столицы и соседство с русскими деревнями, ингерманландцам удавалось сохранять свою этническую обособленность. Финские крестьяне здесь занимались посевом и обработкой зерновых, выращиванием картофеля, заготовками сена, животноводством (разведение молочных пород коров, лошадей), — везли в столицу сливочное масло, копорский овес и копорский чай, — занимались собирательством грибов и ягод в лесу. Тяжелый труд крестьян начинался до рассвета, но не хлебом единым... Существовал и развивался национальный фольклор: кроме участников церковных и песенных праздников были свои рунопевцы. Особенно известной исполнительницей древних рун была ижорянка Ларин Параске (Прасковья Никитична Никитина). Ее образ увековечен скульптором Алпо Сайло в памятнике финским рунопевцам в центре Хельсинки, а песни, наряду с наследием других сказителей, разучивают как образцы древнего финского пения в Академии Сибелиуса. Не забывали финские крестьяне о том, что детям надо давать образование, создавая двухклассные церковно-приходские школы, впоследствии была создана и учительская семинария в Колпанах; а у кого была возможность, отдавали дальше в Петербург — учиться в немецких школах.

Алексей Крюков в своем очерке «Финский характер» отмечает трудолюбие, терпение и доброжелательность, особенно — финскую честность («Чужого не бери, не трогай, с земли не поднимай»), но и упрямство тоже. «Безусловно, финны больше думают, чем говорят». Об этом, кстати, и финские пословицы: «Думай много, не всем говори», «Не будь скор в речах, будь скор в работе».

И еще одно любопытное открытие удалось сделать в процессе создания книги. Существует в Сибири, в Омской области деревня Рыжково, населенная финнами, эстонцами и латышами. После поисков документов в архивах выяснилось, что деревня основана в 1806 году финскими крестьянами, не пожелавшими платить грабительский оброк своему хозяину барону Унгерну-Штернбергу. Финны не роптали, а просто молча требования игнорировали, как ни уговаривали их царские чиновники. В конце концов барона заставили поубавить аппетиты, но финны продолжали барона не замечать. Дело дошло до царя. Было решено переселить недовольных в Сибирь. Двести человек, собрав, что можно было взять с собой, погрузились на телеги и пустились в путь, который продолжался целый год, несколько человек в пути умерло. Но обильное черноземом место, куда их определили в омской области, оказалось по сравнению с Ингрией для крестьян настоящим подарком. Так и появилась в Сибири зажиточная финская деревня Рыжково.

Во время сталинской коллективизации очень многие ингерманландцы были приговорены к ссылке в Заполярье и Сибирь.

Не только коллективизация, но и война прошлась по ингерманландцам: немцы к ним

относились не лучше, чем к русским: согнали взрослых и детей в концлагерь «Клоога» в Эстонии, мучили непосильным трудом, избивали, держали на голодном пайке. Потрясает деталь: в этих нечеловеческих условиях, истощенные голодом дети выменивали на драгоценный кусочек хлеба у взрослого узника самодельную куклу! В 1944 году узников, в том числе и детей, перевезли в Финляндию, где распределили как работников по семьям.

Но во многих финских семьях к детям отнеслись тепло, почти как к собственным. Некоторых даже стремились усыновить/удочерить (история Айно Хиеканен). Однако в 1945 году появился в тех местах советский офицер, который стал зазывать детей обратно на родину, утверждая, что нашлась их мать. Это была ложь. В России они были отправлены в детдома. Зачем это было нужно Советскому Союзу, я до сих пор не могу понять. Скорее всего, работала бездумная бюрократическая машина, подчиняясь очередному бессмысленному приказу.

До 1952 года финнам запрещалось возвращаться в родные места, но кое-кто из тех представителей финно-угорских народов, кто носил русские имена и фамилии, все-таки смог вернуться (особенно если глава семьи был на фронте), многие осели в Карелии и Эстонии.

В советское время не существовало официально такого понятия как *жители Ингрии, ингерманландцы*. Книга «Ингрия — наша родина» возрождает о них память. Существует даже гимн Ингрии и желто-красно-синий флаг несуществующей страны, которая живет в человеческих душах.

Евгений Абдуллаев

«Резко сняли министра...»

На тему этого «барометра» меня натолкнул сборник Вячеслава Шаповалова, вышедший в начале года в «Русском Гулливере», — «Безымянное имя». В нем я нашел стихотворение, которое запомнилось еще по его публикации в «Арионе» (2014, № 1), «Бегство в Египет».

Но сперва — о теме. О современной гражданской лирике.

Это словосочетание, кстати, используется все реже, вытесняемое «политической поэзией» — калькой с английского *political poetry*. Почему бы и нет: «гражданская лирика» звучит несколько хрестоматийно[1].

В прошедшее десятилетие всё политизировалось; поэзия не стала исключением. И тренд этот, насколько можно судить, не только российский.

«Британские поэты сейчас очень политизированы, — говорит поэтесса и переводчица Саша Дагдейл (Dugdale), — до такой степени, с какой мне лично не приходилось сталкиваться раньше. Это отражение растущей политизированности общества, которая началась с победы консерваторов в 2010 году, режима строгой экономии и расколовшего страну на два лагеря прошлогоднего референдума по поводу выхода из Евросоюза. Думаю, не будет преувеличением сказать, что большинство поэтов относятся к левому крылу политических сил, придерживаются либеральных взглядов, и поэтому их ужаснули побочные эффекты референдума: рост ксенофобии и оголтелого национализма, информационные вбросы в СМИ и стремление отвернуться от Европы, мультикультурализма и прогрессивных взглядов» («Иностранная литература», 2018, № 2).

Нечто похожее можно сказать и о российской поэзии 2010-х.

В самом начале десятилетия в «Дружбе» вышла моя статья «Террор, война и... Новая гражданская лирика в поисках языка, темы и субъекта» (2010, № 2), подводившая итоги нулевых. Что изменилось за десятилетие? Ушла в тень тема терроризма. Тема войны сохранилась, но в значительно переформатированном виде. В нулевые это был травматический шлейф чеченской войны; в десятые — обострение страхов мировой войны и конфликт с Украиной. Громче (порой даже слишком громко) зазвучала феминистская тема. Гражданская лирика все больше дополняется социальным и политическим активизмом. Хотя, конечно, слабые (или просто «средние») стихи никакой активизм не спасет.

Пожалуй, основной для гражданской лирики 2010-х становится тема *отношения с властью*.

И в нулевые, конечно, хватало стихов на эту тему. И у Дмитрия Быкова, и у Игоря Иртеньева; где-то со второй половины десятилетия — у Евгения Лесина и Всеволода Емелина. Всё это осталось и в десятых, даже где-то усилилось. Но это — только один, хотя и важный, регистр гражданской лирики: *сатирический*.

---

[1] Хотя «гражданское» все же шире «политического». Это еще и социальное — то, что связано не только с властью, но и с обществом.

В десятые тема власти вышла за рамки сатирической поэзии.

В «Бегстве в Египет» Шаповалова политическое, «медийное» накладывается на евангельский сюжет.

Резко сняли министра, и всё у них там закрутилось.
Как обычно, в Кремле не туда и не так покатилось,
сколько слёз извели, сколько грязной посуды побили,
ну а весь конфискат — золотишко да автомобили.

Имя снятого министра не называется; читатель пока не догадывается, что героем стихотворения окажется — нет, не сам министр, а кто-то из связанных с ним людей, оказавшийся «крайним». У которого, к тому же, жена скоро должна родить.

Ход неожиданный. Обычно «коррупционерам» сочувствовать не принято; героя, связанного с коррупцией, вообще не припомню; разве что в цикле рассказов Виктора Драгунского о посаженном взяточнике и его близких. Написанном вполне сочувственно, изнутри. Но и Драгунский признается: его изумило, что «некоторые читатели отказывают участникам этой истории в праве размышлять и переживать. Метаться, тосковать, приходить в отчаяние. То есть совершать простые человеческие душевно-умственные действия»[1].

Стихотворение Шаповалова — как раз про эти «человеческие действия».

А кого и нашли по подставе, так разве что крайних —
за другими неслышно повёрнут газпромовский краник.
Что Марию ждало, вы б в колонке прочли мемуарной.
Ну а я кто такой? — шеф малярный по части столярной.

Проступает подоснова евангельского сюжета: не просто осовремененного (это как раз не ново), но неожиданно стилистически аранжированного. Шаповалов отчасти следует здесь Галичу; та же смесь — если не гуще, — разговорной речи, балладной интонации и горькой иронии.

Маша еле идёт с животом... Тут менты в изобилье,
на ступеньках у офиса как-то о нас позабыли,
о невыезде то есть, конечно, забрали подписку,
чтоб родную страну не подвергнуть излишнему риску.

И уж ясно, что нам бесполезно куда-то соваться.
Но сказала Мария: «Иосиф, нам надо смываться!»
Я прикинул: и впрямь не сегодня, так завтра закроют,
да и раньше зароют, чем в деле чего-то нароют,
вон и тёща, гляди, в час урочный возьмёт да подсыпет.
Тут, на грех, к нам турфирма соседкина: «Чо не в Египет?»

Иосиф, посомневавшись («Ты рехнулась, — шепчу, — ты ж родишь в Шереметьеве сразу»), но видя упорство жены, решается бежать с ней в Египет.

Улетели — одно, но другое — когда прилетели:
что Каир, что Рязань — русским матом набиты отели,
и внизу, у охранника в тесной клетушке с экраном,
вечер крылья сложил и в обнимку сидит с чемоданом,
как не сторож, гляди, а патолого, скажем, анатом,
и несвежий салат приправляет несвежим закатом.

Сюжет бегства в Египет оказывается наложенным на другой — Рождества. Стилистический регистр снова слегка переключается — в поток бытовой речи и бытовых наблюдений вкрапливаются неожиданные по своей яркости образы.

[1] *Драгунский Д.* Окна во двор. М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2014. С. 146.

И вот в этот момент, как всегда по закону природы,
у любимой моей отошли горемычные воды.
И пришли три врача, три вообще-то почтенных араба:
— Где она, — говорят, — что рожать собирается, баба?
— Тут она, — говорят, — где-то только что вот мельтешилась,
как бы, правда, уже второпях она не разрешилась.

Фамилии трех врачей — Каспаров, Валтасаров и Мельхиоров; за рулем скорой помощи — «шофер Симеон»... Эта несколько излишняя однозначность — пожалуй, единственное, что можно было бы поставить здесь в упрек автору...

Прямо в «скорой» происходят роды. Машина заезжает в какой-то госпиталь при коптском монастыре.

Назовите мне, если хотите, любую обитель,
кто родился — не знаю.
Но знаю, что точно: Спаситель! —
спас же Мать, и меня там, где голос нам был: не отпустим! —
пусть, конечно, я вор и мой дом — ходорковская пустынь...

Тема столкновения лирического героя с властью решается без обычной в подобных случаях жесткой бинарности: добро (герой) — зло (власть). Или жертва (герой) — палач (власть)... Герой сам связан с властью, пусть даже в прошедшем времени. Сочувствие вызывает не то, что его «нашли по подставе», а его отношение к жене, тревога за нее. Одномерность гражданского высказывания усложняется, сопрягаясь не только с религиозной, но и любовной линией: «Я держал ее руку, салфеткой промакивал слёзы...» Становится более психологически насыщенным.

«...Новая гражданская лирика формируется именно через отказ от прежней парадигмы прямого отклика, прямого отражения».

Это из всё той же «дружбинской» статьи 2010 года.

Прямой отклик из поэзии десятых никуда не исчез; возможно, его даже стало больше. Почти на две трети состоит из стихов-откликов «Волынщик над Арлингтоном» («ОГИ», 2020) Юлия Гуголева — поэта, прежде редко писавшего на злобу дня. Здесь и изменения в Конституции, и карантин, и «секс-скандалы в МГУ»... Логично. В более политизированное время востребована более политизированная, скорострельная поэзия.

И все же — ощущение, что в жанре «утром в газете — вечером в куплете» Гуголев, несмотря на все мастерство, слегка уступает своим более бойким коллегам. Стихия Гуголева — все же философская лирика; ее линия, идущая от античного скептицизма, с его недоверчивостью, насмешливостью и мудрой печалью. На этом пространстве и возникают лучшие тексты «Волынщика»: «Вот мало-помалу рассеялась ночь...», «Я этого больше не вынесу...». И возможно, наиболее сильное:

Шеренги неприкосновенных,
неприкасаемых отряд:
не синевой, не медью в венах —
железом, ржавчиной горят.

Судьба рогатым и клыкастым
ложиться в общую кровать,
чтоб принадлежность к прочим кастам
доказывать/опровергать?

Ну неужели на смех курам,
решив на пирамиды влезть,
вы верили, что этот Cuprum
и вправду в ваших жилах есть?

Посмотрим, что вы запоёте,
когда не по такому дну
побеги новой вашей плоти
сначала — ниточку одну,

ну а потом — во все пределы,
во все пространства и углы,
и чтобы, вторя, вечность пела
одно неумолчное «ы»,

чтоб, за каким неясно х..ом,
невнятным ропотом сирот
вернул бы миру ржавый Ferrum
отжатый вами кислород.

Стихотворение встраивается в мрачноватый ряд образов политического Левиафана — от «Чудища обла, озорна, огромна...» до «Мы живём, под собою не чуя страны...» Конкретный повод стихотворения, если таковой был, определить сложно (падение мировых цен на медь? экопротесты против разработки месторождения меди в Башкирии?). Повод здесь не важен. Важнее образы самих металлов, меди и железа (ржавчины), их метафизического столкновения и переплетения.

И последний пример, из еще одного недавно изданного сборника. Алексей Кубрик, «Рыба важнее» («Воймега», 2021), стихотворение «Птицы знаки препинанья...». Начинается оно вполне элегическим пейзажным этюдом:

птицы знаки препинанья
вечер сумерки безгласных
стены собственно тенями
лампа в тесном абажуре
<...>
вон аллеи в запустенье
погоди покуда чудо
через голову снимает
листопада одеянье

Аллея это — то ли кладбищенская, то ли находящаяся рядом с каким-то важным административным зданием (возможно, даже Кремлём), где «чиновные деревья», где

жил однажды ужас липкий
в толстом глянце толстых пальцев
в пухлых рожах самовластья
он теперь на пни и шорох
на могилы убиенных
наползает днём и ночью
<...>
в птицах знаках препинанья
в глянце сумерек безгласных
в чистых рожах новояза
под стеной кремлёвской плача
под забором новой дачи
пахана из тарантаса
чтобы в небе этом синем
с барабаном старой песни
петь могли одни деревья
на могилах безымянных
не солдат и не героев

Хотя политическая образность («пухлые рожи самовластья», «пахан из тарантаса»...) грешит некоторой газетностью, ее соединение с медитативной пейзажной линией дает интересный стилистический контрапункт. Интересна и работа с рифмой в этом стихотворении, написанном в целом нерифмованным хореем. Рифма прорезается именно в наиболее политически-заостренном месте («новояза — плача — дачи — тарантаса»).

Итак, три стихотворения из трех недавно вышедших книг. Тема всех трех — человек и власть. Все три выдержаны не в привычном сатирическом ключе и вообще не в духе прямого отклика; сама гражданская лирика в них «привита» к другим жанровым ветвям. У Кубрика — к ветви пейзажной лирики, у Гуголева — философской, у Шаповалова — религиозной и, отчасти, любовной.

Можно, правда, заметить, что все три автора — представители «старшего» поэтического поколения[1]. Интересно было бы рассмотреть политические стихи у более молодых; обладающих, соответственно, иным социальным опытом. Но я уже исчерпал «барометровский» объем, так что к этому разговору вернусь как-нибудь в другой раз.

[1] Шаповалов 1947 года рождения, Кубрик — 1959-го, Гуголев — 1964-го.

Борис Минаев

Способность вычитывать

Бэтмен против Брежнева

На спектакль Театра на Малой Бронной «Бэтмен против Брежнева» билеты нужно покупать заранее — за месяц, а лучше за два. Да, в зале может находиться лишь 50% зрителей, и все же понять природу аншлагов (а это именно они) сразу непросто.

Во-первых, сам «Театр на Бронной» («Малую» зачем-то убрали из логотипа, и я даже не знаю, зачем и когда) находится на ремонте, уже давно. И ехать надо на Электрозаводскую, во «Дворец на Яузе», то есть в бывший ДК МЭЛЗ, где когда-то снимался КВН, а в недавние годы переживал свой плановый ремонт «Современник». Далеко.

Во-вторых, ну да, пьеса молодого драматурга о советских временах, нет, не ностальгия, нет, не веселая комедия (хотя бабушку играет знаменитый Александр Семчев, а Брежнева — не менее знаменитая Ольга Лапшина). Но что случилось-то? На безрыбье и рак рыба? Вряд ли. Одно из первых заметных событий восставшего из ковидных руин театрального сезона — стоит рассмотреть пристальнее.

«Брежнев против Бэтмена» — произведение не простое и к тому же имеющее целый ряд зрительских ограничений. Ну скажем, чтобы его смотреть, неплохо бы знать, кто такой этот Бэтмен, и с чем его едят: то есть посмотреть хотя бы один фильм из знаменитой эпопеи про летающего защитника идеалов. А фильмы эти, американские, чтоб не соврать, начали показывать в нашей стране лишь в конце 80-х годов. Ларьки с видеокассетами, на которые пиратским образом были списаны разные американские хиты, от «Апокалипсиса» до «Греческой смоковницы», появлялись тогда повсеместно. Даже были такие отделы или, как бы это сказать, лотки — в универсамах и продовольственных магазинах, ибо жизнь в ту пору (даже в Москве) была трудна и без этих видеокассет было никак не обойтись.

А с другой стороны — ну хорошо, а вот человек, у которого не было видеомагнитофона, и он этот фильм по понятным причинам не смотрел тогда, не смотрел потом и вообще он не любит американское кино в принципе — ему-то что делать на этом спектакле?

Но и ту часть аудитории, которая с трудом представляет себе Брежнева — тоже сбрасывать со счетов не надо. Ну да, они знают, что был такой генсек, но *что* такое Брежневская эпоха — представляют себе уже слабо. Не представляют себе главным образом то ощущение тотальной безнадежности, когда ты понимаешь, что никаких изменений в этой унылой, опостылевшей реальности не предвидится...

Ведь вся эта история, которая начинается, кстати, именно в конце 80-х годов, построена на мифологии «человека-летучей мыши», на характере человека-неудачника, у которого есть совсем иная «вторая жизнь», скорее всего, воображаемая, подвиг в

полном тотальном одиночестве. И увидена эта история — глазами его дочери, влюбленной в своего отца-неудачника, это с одной стороны, и воспитанной на этих перестроечных сказках, на американском кино, вообще на «открытии Америки», на мечтах об иной реальности — с другой.

...Итак, если вы в возрасте папы, главного героя спектакля, и если вы при этом вместе с дочерью не смотрели эти фильмы, не понимаете этих кинокомиксов, не впитали этот ядовитый и сладкий воздух перестроечной свободы 80-х — вы ничего не поймете в произведении Саши Денисовой (она здесь и драматург, и режиссер).

Кстати, о Саше Денисовой.

Человек она молодой, но уже творчески зрелый — выпустила в свет немало спектаклей на разных площадках города Москвы, уже получала «Золотую маску», прямо сейчас ждет своей премьеры в питерском БДТ, но... Но я-то ее помню с еще более младых ногтей, когда она была журналистом, репортером, литератором, и вот тогда-то у нас состоялась некоторая полемика, если не сказать серьезная заруба, на страницах быстро почившего в бозе журнала «Город женщин» — полемика на вечную тему о поколениях.

Свой текст у меня остался, а ее — к сожалению, нет, но в нем, насколько я помню, она с восторгом писала о своем поколении: Вырыпаев, братья Пресняковы, Сигарев, целый ряд новых тогда фамилий, но главное, — она писала, что создавать новую реальность, в культуре да и вообще в жизни, им, этим детям перестройки, предстоит на совершенно *выжженном поле* (вот это выражение я помню очень хорошо), что родители в наследство не оставили им буквально ничего — разрушено все, от страны до культуры, от детского сада до линии электропередач, и все надо начинать практически с нуля. Это заявление меня, признаться, глубоко возмутило и я что-то там горячо ей возражал.

Увидев спектакль, я вдруг понял, что ничто никуда не уходит и не проходит, и важные мысли остаются с тобой навсегда, и важные вопросы задаются вновь и вновь — так вот, спектакль этот, о поколении отцов, шагнувших из махрового застоя в дымную перестройку, принял эстафету от той, совсем зеленой Саши Денисовой, и вот теперь они, эти самые отцы и матери, бабушки и дедушки, увидены ею с иронией, иногда вполне язвительной, но в то же время жизнетворной, мягкой, увидены с огромным уважением и любовью (ну мне, по крайней мере, так показалось).

Спектакль яркий, забавный, местами загадочный, с резкой сменой настроений — обладает для меня одним наиважнейшим качеством: нежностью.

Эту обволакивающую, нежную иронию создают, конечно, детали и актеры.

Советские детские и эстрадные песни (задорные и веселые), которые тут очень часто не поют, а просто читают со сцены их слова «с выражением» — вдруг звучат очень депрессивными, печальными стихами. Что почему-то очень смешно. «Члены политбюро» в карнавальных своих мундирах — предстают цирковыми комиками и клоунами (возможно, так оно и было, просто мы этого не замечали?). Брежнев в исполнении маленькой Ольги Лапшиной — это и вовсе трагическая фигура, совсем потусторонний, потерявший связь с реальностью старичок, которого держат в заточении эти злые клоуны. И когда Брежнев вдруг вовсе не умирает, а переселяется к бабушке Клавдии Георгиевне, которую, напомню, играет веселый толстяк Семчев, ты вдруг четко осознаешь, что вся ткань спектакля — это детская сказка, и одновременно детская травма, и детская боль за отца-неудачника и его развод с матерью, и вообще вся эта поздняя советская жизнь, унылая и предсказуемая, увидена через эти очень острые и свежие детские чувства. И что в этой, казалось бы, такой серой тогдашней жизни — они, эти острые и свежие чувства, все-таки были.

А сейчас их нет...

Конечно, игра и Лапшиной, и Семчева заслуживает особых слов, но все же образ Брежнева, нарисованный создателями спектакля, остался для меня окружен

каким-то ореолом мистической тайны. Сам Брежнев оказался тут каким-то странным идолом советской эпохи, что мне, например, очень близко: я давно перестал воспринимать его как живого, конкретного человека. А начал видеть в его фольклорной фигуре некий странный вывих истории, уродливый темный парадокс, который позволял так долго удерживать всю эту прогнившую, хоть и грандиозную конструкцию, о чем, кстати, и говорит в спектакле Дудочкин, папа-Бэтмен (актер Сергей Епишев). Но как это делает Лапшина, я, если честно, до конца не понимаю.

Но вот Семчев, этот великий характерный актер, комик, добирающийся до трагических высот легко, в два прыжка, вполне себе наследник Евгения Леонова — в роли бабушки Клавдии Георгиевны — тут совсем другое дело. Тут все открыто, прозрачно, чисто. И то, что по детской фантазии Брежнев «никуда не умер», а «переселился жить к бабушке», и она стала его кормить — из своего необъятного по запасам холодильника, который, несмотря на дефицит и очереди — был всегда под завязку полон, — это во всей истории очень важная деталь. Брежнев как кот, как домовой, как домашнее привидение — такого, наверное, еще нигде не было. Это открытие.

И смех становится благодаря этой детали не жестким, и ирония не пустой, и доброта — не сладкой.

А доброта, она тут очень нужна — ведь все-таки основная фигура в спектакле, некто Дудочкин, папа-Бэтмен, живое воплощение перестроечной интеллигенции, он все-таки для всех своих женщин (а взгляд тут, безусловно, женский) — фигура очень неоднозначная, слишком сложная, состоящая из самых острых углов. И для дочери-рассказчика (актриса Александра Виноградова), и для жены Лели (актриса Мария Шумакова), так и не простившей Дудочкина за то, что его соблазнила «женщина с телевидения» (актриса Лина Миримская), для них для всех папа-Бэтмен — фигура одновременно и отталкивающая и притягательная. Он пьет, он совершает дурацкие поступки, он говорит невпопад, он думает только о своей будущей книге, совершенно никому не нужной, он не зарабатывает денег, он не содержит семью, он водит свою маленькую дочь не в театр, а в пивную, да вообще... О чем тут можно говорить?

Для меня же в Дудочкине воплотились все герои перестройки. И Сахаров в мешковатом костюме, и следователь Гдлян и бывшие кандидаты наук, ставшие в одночасье депутатами и министрами, но так и не сумевшие удержать власть, и журналисты, и писатели, и все-все-все они... Все они бэтмены, которые вылетали в окно из этой советской жизни, чтобы совершать невидимые миру подвиги — и таки они их совершили.

Жить в том обществе, которое сходило с ума от заграничных тряпок и бытовых мелочей, совершенно не удивлялось вранью и было в шоке от любой правды, — жить и при этом оставаться верными своему идеалу, своим моральным принципам, своему чувству справедливости — было очень тяжело. И не все дошли до конца пути. Многие не дожили до наших дней.

Собственно, им и посвящен этот спектакль, всем Дудочкиным. Я думаю, что вряд ли это только личная, автобиографическая нота — во всех бэтменах перестройки, во всех нелепых интеллигентах, кем бы они ни были, Саша Денисова увидела своего отца. Отца, который оставил после себя отнюдь не «выжженное поле», хотя и был неудачником.

И мне очень дорого, что вся эта тотальная, хоть и мягкая ирония завершается репликой в последнем эпизоде — абсурдной экскурсии по «квартире-музею диссидента и писателя Дудочкина». «А вот окно мы оставляем открытым всегда. Почему? Потому что мы верим, что он вернется».

Я тоже верю.

Гроза прошла

В Театре имени Моссовета — большие перемены, пришел новый художественный руководитель Евгений Марчелли — и начались новые проекты: репетиции, как он сказал, идут во всех помещениях театра, все пытаются что-то новое поставить, а кто-то — уже поставил.

Прекрасное время экспериментов.

Один из них связан с именем Андрея Максимова, известного телеведущего, психолога, литератора, журналиста и режиссера. Со спектаклем «Бэтмен против Брежнева» поставленный им спектакль «Гроза прошла» (по пьесе Дмитрия Мережковского) — связывает не только то, что как и Саша Денисова, Андрей Максимов пришел в театр из «смежного цеха». Это сближение лишь формальное.

Важно другое: мы все сегодня пытаемся вычитывать из разных слоев истории, из разных исторических периодов — какой-то свой шифр, ключ к происходящему именно сейчас, на наших глазах.

Серебряный век — эпоха еще более сложная, наверное, чем поздний застой и ранняя перестройка с их парадоксами. Предвоенное, предреволюционное время, время перед страшной катастрофой, когда целая страна пошла на дно.

Типы того времени, человеческие амплуа, характерные диалоги, коллизии, самые актуальные для тех лет идеи — все это рассматривать сейчас безумно интересно.

И, в общем, выясняется, что в основании всех наиболее важных течений общественной мысли, в основании всех ключевых судеб, всех поворотов истории — стоят не марксистские «средства производства» или «классы», или «интересы», а вполне себе живые страдающие люди, их конкретные обстоятельства, трагедии личной жизни.

Это стало понятно, кстати, еще по пьесе Стоппарда «Берег утопии», которую представил РАМТ усилиями Алексея Бородина.

Но и Серебряный век дает нам возможность такого же неожиданного взгляда на привычные типажи.

Андрей Максимов, автор инсценировки и режиссер, обозначил жанр как «спектакль-романс», и действительно, история про двух мужчин и одну женщину обладает всеми качествами жестокого романса, то есть лирической песни о злой судьбе и великой любви (все песни, кстати, написаны на стихи русских поэтов исполнителем одной из главных ролей актером Игорем Карташовым). История про то, как любимый некогда муж тяжело болеет и для его спасения нужны деньги, и деньги можно попросить только у влюбленного в женщину мужчины, который, к тому же, сказочный богач миллионер Палицын (актер Валерий Ярёменко). Но и отдать ему любовь за деньги невозможно, и жить после этого тоже, и смерть одного из мужчин — единственный выход из неразрешимой коллизии, ну чем вам не романс?

Вполне романс. И красивая, мягкая, умная женщина Елена Сергеевна с ее трагическими метаниями и спазмами души (актриса Марина Кондратьева) — вполне прочная для романса, для этой «песни о любви», основа.

Впрочем, слово «романс» в нынешние времена (особенно после книги Марии Степановой «Памяти памяти») приобрело совсем иной смысл — это жанр личного высказывания, которое не сообразуется с привычными стереотипами о времени, об эпохе.

Однако довольно скоро проступает и другая основа — более жесткая, историческая. Серебряный век, как и наш «век» (названия у него еще нет, и вряд ли оно будет столь же красивым) — это век меценатов, богачей, спонсоров, как сейчас говорят. За многими благими начинаниями, будь то фильм, книга, газета, театр,

благотворительный проект — стоят большие деньги. О реальной *цене* этих денег говорят мало. Сколько стоит в человеческом, душевном смысле эта помощь — тоже молчат. Но и без этой помощи ничего бы не сдвинулось с места. Ничего не было бы возможно. Это довольно трагическая коллизия, хотя порой и мирная, и гармоничная, но иногда — ведущая к последствиям. Особенно сейчас, в эпоху обострения старых, казалось бы, забытых «партийных страстей», мучительного выбора между человеческим и политическим, тяжелых угрызений совести...

Ну и так далее.

Игнатий Петрович Калиновский (актер Игорь Карташёв) не только вылечился на деньги несостоявшегося любовника Елены Сергеевны — но даже запустил на те же деньги журнал, стал известным редактором, сделал карьеру, напечатал много прогрессивных авторов, создал в литературе целое «направление», то есть из такого, казалось бы, интимного эпизода, из влюбленности кого-то в кого-то, родилась вдруг целая «политика».

Родилась история. Родилась тема выбора и компромисса.

Я, признаюсь честно, от мелодраматического романса такой глубины не ожидал. Все о любви, о любви, а тут вдруг — такое. Деньги. Деньги на благое дело. Деньги, как бы нечестные, и в то же время — неизбежные.

Что с этим делать? Как с этим жить?

Герои спектакля как-то переживут, как-то справятся, продолжат и любить, и литераторствовать (в конце спектакля мы оставляем их именно с этими намерениями), ну а мы с вами?

Вот этот сгущающийся над нами тяжелый воздух, эта гибельность и сладкий яд компромисса — нам-то куда от него сбежать?

Только что разве — спеть романс. И заплакать от бессилия.

Summary

Marina KUDIMOVA. Absorption Fields. An extract from the novel

This novel is not about the specifics of the hydraulic engineering of the irrigation fields. "Absorption fields" here is a pervasive metaphor of the forage lands of Life. Exciting plot, immensity of the time and space, dramatic lives of the characters and original language of the writer give the readers a sense of the big Russian prose.

Alexej USTIMENKO. Barsa-Kelmes

"You'll go and never come back" so is translated the name of the biggest island in the Aral Sea and it's not only a metaphor. This long short story is about post-revolutionary Turkestan, about Tashkent where lives and works the protagonist — writer and dramatist, editor-in-chief of "The Turkestan Truth" Boris Lavrenev, who is trying to find out his own truth "in the skirmish of two different-coloured sides — the whites and the reds".

Poetry

In this issue "DN" presents the jubilee collection of poems by Yourij RYASHENTSEV — the well-known poet, the author of many famous hits for the films and musicals.

As if taking up the baton of generations their works present the new authors — Irina KOLESNIKOVA, Anastasija TRIFONOVA and Roman SMIRNOV.

Gennadij PRASHKEVICH, Alexej BUROV. About the Revolution and the Knitters. Two Letters on the Same Topic

The writer G.Prashkevitch and physicist A.Burov go on meditating over "eternal questions". In this issue they see into today's actual problem: social revolutions, participation and role of "the ordinary people" in them and also comprehension of the notion of freedom by the modern liberalism.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Электронную версию «ДН» можно купить на **http://дружбанародов.com**

Журнал продается в московских магазинах:

«Фаланстер» (Малый Гнездниковский пер., 12/27)

«Бункер» (Покровка, 17; ежедневно с 12 до 22)

Также журнал можно приобрести через интернет-магазин **Лабиринт.ру**

в любом городе страны.

Вёрстка: Елена ЖИРНОВА

Корректура: Елена ЛАПШИНА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЬЯНОВ

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»

Цена свободная

Индекс 70250

7/2021

Читайте:

Владимир Ермолаев.
Роман «Движение на закат»:

«Берега отражались в воде так ясно, что казалось, будто рыбы плавают среди ветвей. Г. представил, что это именно так и есть. Зеленое дерево и мелькающие среди его ветвей темные рыбы. А ведь под водой и вправду растут леса. Подводные растения. Среди них плавают, ползают разнообразные существа. Но это было большое дерево с листьями, похожими на листья сливы. И за ним виднелось голубое небо и белые облака. Рыбы плавали в воздухе среди облаков и листьев. А под ними проглядывало дно, и на дне — раздвоенная коряга, обросшая мхом. Вода у самого берега была бирюзовая, а подальше — синяя. Г. нашел камешек и бросил его в воду. Рыбы бросились прочь, но тут же развернулись и подплыли к тому месту, куда упал камень. “Пойдем”, – сказал отец. Он уже выключил камеру…»

Георгий Гратт.
Роман «Русский Стикс»:

«Некоторые разумные люди полагают, что как театр начинается с вешалки, так и Европа начинается с Львова или с Риги, или даже с Кракова. Может, оно и так, но любопытно знать и другое: а откуда начинается Россия? Но не с исторической, а именно с географической точки зрения. Исходя из логических размышлений, следовало бы предположить, что где началось одно, там же, верно, закончилось и другое. Но это лишь на первый и самый поверхностный взгляд…»

ISSN 0012-6756

Дружба народов • 2021 • №6 • 1—272